П. И. МЕЛЬНИКОВ
(АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ)

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

П. И. МЕЛЬНИКОВ (АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ)

Собрание сочинений

в восьми томах

ТОМ 2

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

●

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». МОСКВА. 1976

Составление и общая редакция
М. П. Еремина

Иллюстрации художника
И. С. Глазунова

В ЛЕСАХ

КНИГА ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Верховое Заволжье — край привольный. Там народ досужий, бойкий, смышленый и ловкий. Таково Заволжье сверху от Рыбинска вниз до устья Керженца. Ниже не то: пойдет лесная глушь, луговая черемиса, чуваши, татары. А еще ниже, за Камой, степи раскинулись, народ там другой: хоть русский, но не таков, как в Верховье. Там новое заселение, а в заволжском Верховье Русь исстари уселась по лесам и болотам. Судя по людскому наречному говору — новгородцы в давние Рюриковы времена там поселились. Преданья о Батыевом разгроме там свежи. Укажут и «тропу Батыеву» и место невидимого града Китежа на озере Светлом Яре. Цел тот город до сих пор — с белокаменными стенами, златоверхими церквами, с честными монастырями, с княженецкими узорчатыми теремами, с боярскими каменными палатами, с рубленными из кондо́вого, негниющего леса домами. Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славного Китежа. Скрылся он чудесно, божьим повеленьем, когда безбожный царь Батый, разорив Русь Суздальскую, пошел воевать Русь Китежскую. Подошел татарский царь ко граду Великому Китежу, восхотел дома́ огнем спалить, мужей избить либо в полон угнать, жен и девиц в наложницы взять. Не допустил господь басурманского поруганья над святыней христианскою. Десять дней, десять ночей Батыевы полчища искали града Китежа и не могли сыскать, ослепленные. И досель тот град невиди́м стоит,— откроется перед страшным Хри-

стовым судилищем. А на озере Светлом Яре, тихим летним вечером, виднеются отраженные в воде стены, церкви, монастыри, терема княженецкие, хоромы боярские, дворы посадских людей. И слышится по ночам глухой, заунывный звон колоколов китежских.

Так говорят за Волгой. Старая там Русь, исконная, кондо́вая. С той поры как зачиналась земля Русская, там чуждых насельников не бывало. Там Русь сысстари на чистоте стоит,— какова была при прадедах, такова хранится до наших дней. Добрая сторона, хоть и смотрит сердито на чужа̀нина.

В лесистом Верховом Заволжье деревни малые, зато частые, одна от другой на̀ версту, на̀ две. Земля холодна, неродима, своего хлеба мужику разве до масленой хватит, и то в урожайный год. Как ни бейся на надельной полосе, сколько страды над ней ни принимай, круглый год трудовым хлебом себя не прокормишь. Такова сторона!

Другой на месте заволжа̀нина давно бы с голода помер, но он не лежебок, человек досужий. Чего земля не дала, уменьем за дело взяться берет. Не побрел заволжский мужик на заработки в чужу-дальнюю сторону, как сосед его вязниковец, что с пуговками, с тесемочками и другим товаром кустарного промысла шагает на край света семье хлеб добывать. Не побрел заволжанин по белу свету плотничать, как другой сосед его галка [1]. Нет. И дома сумел он приняться за выгодный промысел. Вареги зачал вязать, поярок валять, шляпы да сапоги из него делать, шапки шить, топоры да гвозди ковать, весовые коромысла чуть не на всю Россию делать. А коромысла-то какие! Хоть в аптеку бери — сделано верно.

Леса заволжанина кормят. Ложки, плошки, чашки, блюда заволжанин точит да красит; гребни, донца, веретена и другой щепной товар работа̀ет, ведра, ушаты, кадки, лопаты, коро́бья, весла, лейки, ковши — все, что из лесу можно добыть, рук его не минует. И смолу с дегтем сидит, а заплатив попенные, рубит лес в казенных дачах и сгоняет по Волге до Астрахани бревна, брусья, шесты, дрючки, слеги́ и всякий другой лесной товар.

---

[1] Крестьяне Галицкого и других уездов Костромской губернии. (Все примечания, данные в сносках, принадлежат автору.— *Ред.*).

Волга по́д боком, но заволжанин в бурла́ки не хаживал. Последнее дело в бурла̀ки идти! По Заволжью так думают: «Честней под о́коньем Христовым именем кормиться, чем бурлацкую лямку тянуть». И правда.

Живет заволжанин хоть в труде, да в достатке. Сысстари за Волгой мужики в сапогах, бабы в котах. Лаптей видо̀м не видано, хоть слыхо́м про них и слыхано. Лесу вдоволь, лыко нипочем, а в редком доме кочедык найдешь. Разве где такой дедушка есть, что с печки уж лет пяток не слезает, так он, скуки ради, лапотки иной раз ковыряет, нищей братье подать, либо самому обуться, как станут его в домовину обряжать. Таков обычай: летом в сапогах, зимой в валенках, на тот свет в лапотках...

Заволжанин без горячего спать не ложится, по воскресным дням хлебает мясное, изба у него пятистенная, печь с трубой; о черных избах да соломенных крышах он только слыхал, что есть такие где-то «на Горах» [1]. А чистота какая в заволжских домах!.. Славят немцев за чистоту, русского корят за грязь и неряшество. Побывать бы за Волгой тем славильщикам, не то бы сказали. Кто знаком только с нашими степными да черноземными деревнями, в голову тому не придет, как чисто, опрятно живут заволжа́не.

Волга рукой подать. Что мужик в неделю наработает, то́тчас на пристань везет, а поленился — на соседний базар. Больших барышей ему не нажить; и за Волгой не всяк в «тысячники» вылезет, зато, как ни плоха работа, как работников в семье ни мало, заволжанин век свой сыт, одет, обут, и податные за ним не стоят. Чего ж еще?.. И за то слава те, господи!.. Не всем же в золоте ходить, в руках сѐребро носить, хоть и каждому русскому человеку такую судьбу мамки да няньки напевают, когда еще он в колыбели лежит.

Немало за Волгой и тысячников. И даже очень немало. Плохо про них знают по дальним местам потому, что заволжанин про себя не кричит, а если деньжонок малу толику скопит, не в банк кладет ее, не в акции, а в родительску кубышку, да в подполье и зароет. Миллионщиков за Волгой нет, тыся́чников много. Они по Волге своими пароходами ходят, на своих паровых мельницах сотни тысяч четвертей хлеба перемалывают. Много за Вол-

[1] «Горами» зовут правую сторону Волги.

гой таких, что десятками тысяч капиталы считают. Они больше скупкой горянщины [1] да деревянной посуды промышляют. Накупят того, другого у соседей, да и плавят весной в Понизовье. Барыши хорошие! На иных акциях, пожалуй, столько не получишь.

Один из самых крупных тысячников жил за Волгой в деревне Осиповке. Звали его Патапом Максимычем, прозывали Чапуриным. И отец так звался и дедушка. За Волгой и у крестьян родовые прозванья ведутся и даже свои родословные есть, хотя ни в шестых, ни в других книгах они и не писаны. Край старорусский, кондовой, коренной, там родословные прозвища встарь бывали и теперь в обиходе.

Большой, недавно построенный дом Чапурина стоял середь небольшой деревушки. Дом в два жилья, с летней светлицей на вышке, с четырьмя боковушками, двумя светлицами по сторонам, с моленной в особой горнице. Ставлен на каменном фундаменте, окна створчатые, стекла чистые, белые, в каждом окне занавеска миткалевая с красной бумажной бахромкой. На улицу шесть окон выходило. Бревна лицевой стены охрой на олифе крашены, крыша красным червляком. На свесах ее и над окнами узорчатая прорезь выделана, на воротах две маленькие расшивы и один пароход ради красы поставлены. В доме прибрано все на купецкую руку. Пол крашеный,— олифа своя, не занимать стать; печи-голландки кафельные с горячими лежанками; по стенам, в рамках красного дерева, два зеркала да с полдюжины картин за стеклом повешено. Стулья и огромный диван красного дерева крыты малиновым трипом, три клетки с канарейками у окон, а в углу заботливо укрыты платками клетки: там курские певуны — соловьи; до них хозяин охотник, денег за них не жалеет.

По краям дома пристроены светелки. Там хозяйские дочери проживали, молодые девушки. В передней половине горница хозяина была, в задней моленная с иконостасом в три тябла. Канонница с Керженца при той моленной жила, по родителям «негасимую» читала. Внизу стряпущая, подклет да покои работников и работниц.

---

[1] Горянщиной называется крупный щепной товар: обручи, дуги, лопаты, оглобли и т. п.

У Патапа Максимыча по речкам Шишинке и Чернушке восемь токарен стояло. Посуду круглую: чашки, плошки, блюда в Заволжье на станках точàт — один работник колесо вертит, другой тóчит. К такому станку много рук надо, но смышленый заволжанин придумал, как делу помочь. Его сторона место ровное, лесное, болотное, речек многое множество. Больших нет, да нет и таких, что «на Горах» водятся: весной корабли пускай, в межень курица не напьется. В песчаных ложах заволжских речек воды круглый год вдосталь; есть такие, что зимой не мерзнут: летом в них вода студеная, рука не терпит, зимой пар от нее. На таких-то речках и настроили заволжские мужики токарен: поставит у воды избенку венцов в пять, в шесть, запрудит речонку, водоливное колесо приладит, привод веревочный пристегнет, и вертит себе такая меленка три-четыре токарных станка зàраз. Работа не в пример спорее. Таких токарен у осиповского тысячника было восемь, на них тридцать станков стояло; да, кроме того, дома у него, в Осиповке, десятка полтора ручных станков работàло. Была своя красильня посуду красúть, да пять печей; чуть не круглый год дело делала. Работников по сороку и больше Патап Максимыч держал. Да по деревням еще скупал крашоную и некрашоную посуду. Горянщиной сам в Городце торговал. Две крупчатки у него в Красной Рамени было, одна о восьми, другая о шести поставах. Расшивы свои по Волге ходили, из Балакова да из Новодевичья пшеницу возили, на краснораменских крупчатках Чапурин ее перемалывал. Мукой в Верховье он торговал: славная мука у него бывала — чистая, ровно пух; покупатели много довольны ей оставались.

У Макарья Патап Максимыч две лавки снимал, одну в щепяном, другую в мучном ряду. Вот уж тридцать лет, как он каждый год выправляет торговое свидетельство и давно слывет тысячником. Денег в мошне у него никто не считал, а намолвка в народе ходила, что не одна сотня тысяч есть у него. И в казенны подряды пускался Чапурин, но большого припену от них не видал. Говаривал подчас приятелям: «Рад бы бросил окаянные эти подряды, да больно уж я затянулся; а помирать бог приведет, крепко-накрепко дочерям закажу, ни впредь, ни после с казной не вязались бы, а то не будь на них родительского моего благословения».

Почет Патапу Максимычу от всех был великий. По Заволжью никто его без поклона не миновал; окольные мужики, у которых Чапурин посуду скупал, в глаза и за глаза звали его «наш хозяин». Доверие имел не в одном крестьянстве, но и в купеческом обществе. Да вот какой случай раз приключился. Мостил Чапурин в городе мостовую, подряд немалый, одного залога десять тысяч было представлено им. Кончил работу, сдал как следует и поехал в город заработанную плату да залоги получать. Дорогой узнаёт, что назавтра торги на перевозку казенной соли в Рыбинск назначены. Посчитал, посчитал, раскинул умом-разумом, видит — по́ставка будет с руки: расшива без дела, бурла̀ки недороги, паводок девять четвертей. Приехал в город, прямо на торги. Соляные чиновники так и ахнули, увидав Патапа Максимыча,— знали его. «Вот черт принес незваного-непрошо́ного»,— тихонько меж собой поговаривают,— а дело-то у них с другими было полажено. Проведали, однако ж, соляные, что денег у Чапурина в наличности нет, упросили приятелей в строительной комиссии залогов ему не выдавать, пока на̀ соль переторжка не кончится. Пошли в строительной водить Патапа Максимыча за нос, водят день, водят другой: ни отказа, ни приказа: «Завтра да завтра, то да сё, подожди да повремени; надо в ту книгу вписать, да из того стола справку забрать». Известно дело!.. Чапурину невтерпеж... Дотянули строительные до того, что час один до переторжки остается, а денег не выдают. Смекнул Чапурин каверзы, видит, хотят его в дураки оплести. «Так врешь же, барин,— думает себе,— ты у меня погоди». Да, отвесив поклон строительным, вон из присутствия. Те: «Куда, да зачем, да постой», а он ломит себе, да прямо в гостиный двор. Там короткой речью сказал рядовичам, в чем дело, да, рассказавши, снял шапку, посмотрел на все четыре стороны и молвил: «Порадейте, господа купцы, выручите!» Получаса не прошло, семь тысяч в шапку ему накидали. «Будет, будет!..— кричит Патап Максимыч.— Спаси вас Христос». Духу не переводя, поскакал на переторжку. Там ему первым словом:

— Залоги?

— Вот они! — молвил Патап Максимыч.

Отдал деньги и пошел цену сносить. Снес чуть не по-

ловину, а четыре копейки нажил на рубль. Очень недовольны соляные остались.

Патап Максимыч с семьей старинки придерживался, раскольничал, но закоснелым изувером никогда не бывал. Не держался правила: «С бритоусом, с табашником, щепотником и со всяким скобленым рылом не молись, не водись, не дружись, не бранись». И раскольничал-то Патап Максимыч потому больше, что за Волгой издавна́ такой обычай велся, от людей отставать ему не приходилось. Притом же у него расколом дружба и знакомство с богатыми купцами держались, кредита от раскола больше было. Да, кроме того, во время отлучек из дому по чужим местам жить в раскольничьих домах бывало ему привольней и спокойней. На Низ ли поедет, в верховы ли города, в Москву ли, в Питер ли, везде и к мало́ знакомому раскольнику идет он, как к родному. Всячески его успокоят, все приберегут, все сохранят и всем угодят. И то льстило Патапу Максимычу, что после родителя был он попечителем городецкой часовни, да не таким, что только по книгам значатся, для видимости полиции, а «истовым», коренным. От часовенного общества за то ему почет был великий. А почет Чапурин любил.

Семья была у него небольшая, сам с женой да две дочери. Богоданная дочка была еще, Груня — сиротка, сызма̀льства Чапуриным призренная,— та уж замуж выдана была в деревню Вихорево за тысячника. Родные дочери тоже на возрасте были: старшей, Настасье, восьмнадцать минуло, другая, Прасковья, годом была помоложе. Только что воротились они в родительский дом от тетки родной, матери Манефы, игуменьи одной из Комаровских обителей. Гостили девушки у тетки без мала пять годов, обучались божественному писанию и скитским рукодельям: бисерны лестовки вязать, шелковы кошельки да пояски ткать, по канве шерстью да синелью вышивать и всякому другому белоручному мастерству. Отец тысячник выдаст замуж в дома богатые, не у квашни стоять, не у печки девицам возиться, на то будут работницы; оттого на белой работе да на книгах больше они и сидели. Настя да Параша в обители матушки Манефы и «часовник» и все двадцать кафизм псалтыря наизусть затвердили, отеческие книги читали бойко, без запинки, могли справлять уставную службу по «Минее

месячной» петь по крюкам, даже «развод демественному и ключевому знамени» разумели. Выучились уставом писать и, живя в скиту, немало «цветников» да «сборников» переписали и перед великим праздником посылали их родителям в подаренье. А Патап Максимыч любил на досуге душеспасительных книг почитать, и куда как любо было сердцу его родительскому перечитывать «Златоструи» и другие сказанья, с золотом и киноварью переписанные руками дочерей-мастериц. Какие «заставки» рисовала Настя в зачале «цветников», какие «финики» по бокам золотом выводила — любо-дорого посмотреть!

Настя с Парашей, воротясь к отцу, к матери, расположились в светлицах своих, а разукрасить их отец не поскупился. Вечерком, как они убрались, пришел к дочерям Патап Максимыч поглядеть на их новоселье и взял рукописную тетрадку, лежавшую у Насти на столике. Тут были «Стихи об Иоасафе царевиче», «Об Алексее божьем человеке», «Древян гроб сосновый» и рядом с этой псáльмой «Похвала пустыне». Она начиналась словами:

Я в пустыню удаляюсь
От прекрасных здешних мест.
Сколько горести напрасно
Я в разлуке с милым должна снесть...

Перевернул Патап Максимыч листок, там другая псáльма:

Сизенький голубчик,
Армейский поручик.

Поморщился Патап Максимыч, сунул тетрадку в карман и, ни слова не сказав дочерям, пошел в свою горницу. Говорит жене:

— Ты, Аксинья, за дочерьми-то приглядывай.

— Чего за ними, Максимыч, приглядывать? Девки тихие, озорства никакого нет,— отвечала хозяйка, глядя удивленными глазами на мужа.

— Не про озорство говорю,— сказал Патап Максимыч,— а про то, что девки на возрасте, стало быть от греха на вершок.

— Что ты, Максимыч! Бога не боишься, про родных дочерей что говоришь! И в головоньку им такого мотыж-

ничества не приходило; птенчики еще, как есть слетышки!

— Гляди им в зубы-то! Нашла слетышков! Настасье-то девятнадцатый год, глянь-ка ей в глаза-то — так мужа и просят.

— Полно грешить-то, Максимыч,— возвысила голос Аксинья Захаровна.— Чтой-то ты? Родных дочерей забижать! Клеплешь на девку!.. Какой ей муж?.. Обе ничегохонько про эти дела не разумеют.

— Держи ка́рман!.. Не разумеют!.. В Комарове-то, поди, всякие виды видали. В скитах завсегда грех со спа́сеньем по-соседски живут.

— Да полно ж грешить-то тебе!..— еще больше возвысила голос Аксинья Захаровна.— Как возможно про честных стариц такую речь молвить? У матушки Манефы в обители спокон веку худого ничего не бывало.

— Много ты знаешь!.. А мы видали виды... Зачем исправник-то в Комаров кажду неделю наезжает... Даром, что ли?.. В Московкиной обители с белицами-то он от писанья, что ли, беседует?.. А Домне головщице за что шелковы платки дарит?.. А купчики московские зачем к Глафириным ездят?.. А?..

— Полно тебе, старый хрен, хульные словеса нести,— с озлобленьем вскричала Аксинья Захаровна.— Слушать-то грех!.. Совсем обмирщился!.. Аль забыл, что всяко праздно слово на последнем суде взыщется?.. Повелся с табашниками-то!.. Вот и скружился. На святые обители хулу нести!.. А?.. Бога-то, видно, в тебе не стало... Знамо дело, зачем в Комаров люди ездят: на могилку к честному отцу Ионе от зубной скорби помолиться, на поклоненье могилке матушки Маргариты. Мало ль в Комарове святыни!.. Ей христиане и приезжают поклоняться. А по лесу сколько святых мест на старых скитах, разоренных!

— Уж исправник-от не тем ли святым местам ездит поклоняться? — усмехаясь, спросил жену Патап Максимыч.— Домашка головщица, что ли, ему в лесу-то каноны читает?.. Аль за те каноны Семен-от Петрович шелковы платки ей дарит?

Не вытерпела Аксинья Захаровна, плюнула и вон пошла. Сама за Чапурина из скитов «уходом» бежала, и к келейницам сердце у ней лежало всегда.

Поспорь эдак Аксинья Захаровна с сожителем о мирском, был бы ей окрик, пожалуй, и волосник бы у ней Патап Максимыч поправил. А насчет скитов да лесов и всего эдакого духовного — статья иная, тут не муж, а жена голова. Тут Аксиньина воля; за хульные словеса может и лестовкой мужа отстегать.

Так исстари ведется. Раскол бабами держится, и в этом деле баба голова, потому что в каком-то писании сказано: «Муж за жену не умолит, а жена зà мужа умолит».

Сел за стол Патап Максимыч. Хотел счеты за год подводить, но счеты не шли на ум. Про дочерей раздумывал.

«Хоть и жаль расставаться, а лучше к месту скорей,— думал он.— Дочь чужое сокровище: пой, корми, холь, разуму учи, потом в чужи люди отдай. Лучше скорей тем делом повернуть. Для́ чего засиживаться?.. Мне же Данило Тихоныч намедни насчет сына загадку загану л... Что ж?.. Дом хороший, люди богобоязные, достаток есть... Отчего не породниться?.. Настасья с Прасковьей не бесприданницы, с радостью возьмут. Жених, кажись, малый складный: и речист, и умен, дело из рук у него не вали́тся... На крещенском базаре потолкуем и, бог даст, порешим... А долго девок дома не держать... Долго ль до греха?»

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вечер крещенского сочельника ясный был и морозный. За околицей Осиповки молодые бабы и девки сбирали в кринки чистый «крещенский снежок» холсты белить да от сóрока недугов лечить. Поглядывая на ярко блиставшие звезды, молодицы заключали, что новый год белых ярок породит, а девушки меж себя толковали: «Звезды к гороху горят, да к ягодам; вдоволь уродится, то-то загуляем в лесах да в горохах!»

Стары старухи и пожилые бабы домовничали; с молитвой клали они мелом кресты над дверьми и над окнами ради отогнания нечистого и такую думу держали: «Батюшка Микола милостивый, как бы к утрею-то оттеплело, да туман бы пал на святую Ердань, хлебушка бы тогда вдоволь нам уродилось!» Мужики вкруг лоша-

дей возились: известно, кто в крещенский сочельник у коня копыта почистит, у того конь весь год не будет хромать и не случится с ним иной болести. Но, веря своей примете, мужики не доверяли бабьим обрядам и, ворча себе под нос, копались середь дворов в навозе, глядя, не осталось ли там огня после того, как с вечера старухи пуки лучины тут жгли, чтоб на том свете родителям было теплее. В избах у красного угла толпились ребятишки. Притаив дыханье, глаз не спускали они с чашки, наполненной водою и поставленной у божницы: как наступит Христово крещенье, сама собой вода колыхнется и небо растворится; глянь в раскрытое на един миг небо и помолись богу: чего у него ни попросишь, все подаст.

— Пусти нас, мамынька, с девицами снежок пополоть,— просилась меньшая дочь у Аксиньи Захаровны.

— В уме ль ты, Паранька? — строго ответила мать, набожно кладя над окнами мелом кресты.— Приедет отец да узнает, что́ тогда?

— Да ведь мы не одни! Все девицы за околицей... И мы бы пошли,— заметила старшая, Настасья.

— Пущу я вас ночью, с девками!.. Как же!.. С ума своротила, Настёнка! Ваше ль дело гулять за околицей...

— Другие пошли же.

— Другие пошли, а вам не след. Худой славы, что ль, захотели?

— Какой же славы, мамынька? — приставала Параша.

— А вот как возьму лестовку да ради Христова праздника отстегаю тебя,— с притворным негодованьем сказала Аксинья Захаровна,— так и будешь знать, какая слава!.. Ишь что́ вздумала!.. Пусти их снег полоть за околицу!.. Да теперь, поди чай, парней-то туда что навалило: и своих, и из Шишинки, и из Назаровой!.. Долго ль до греха?.. Девки вы молодые, дочери отецкие: след ли вам по ночам хвосты мочить?

— Да пошли же другие,— настаивала Настя. Очень ей хотелось поиграть с девицами за околицей.

— Коли пошли, так туда им и дорога,— ответила мать.— А вам с деревенскими девками себя на ряду считать не доводится.

— Отчего ж это, мамынька?.. Чем же мы лучше их?..— спросила Настасья.

— Тем и лучше, что хорошего отца дочери,— сказала Аксинья Захаровна.— Связываться с теми не след. Сядьте-ка лучше да псалтырь ради праздника Христова почитайте. Отец скоро с базара приедет, утреню будем стоять; помогли бы лучше Евпраксеюшке моленну прибрать... Дело-то не в пример будет праведнее, чем за околицу бегать. Так-то.

— Да, мамынька...— заговорила было Настя,— нам бы с девушками посмеяться, на морозце поиграть.

— Сказано, не пущу! — крикнула Аксинья Захаровна.— Из головы выбрось снег полоть!.. Ступай, ступай в моленну, прибирайте к утрени!.. Эки бесстыжие, эки вольные стали — матери не слушают!.. Нет, девки, приберу вас к рукам... Что́ выдумали! За околицу!.. Да отец-от съест меня, как узнает, что я за околицу вас ночью пустила... Пошли, пошли в моленную!

Помялись девушки и со слезами пошли в моленную.

— Ишь что баловницы выдумали!..— ворчала Аксинья Захаровна, оставшись одна и кладя меловые кресты над входами и выходами,— ишь что выдумали —снег полоть!.. Статочно ли дело?.. Сведают, что Патапа Максимыча дочери по ночам за околицу бегают, что в городу скажут по купечеству?.. Срам один... Просто срам... Долго ль девкам на̀век ославиться?.. Много недобрых-то людей... Как пить дадут — наплетут, намочалят невесть чего!.. И что им, глупым, захотелось за околицу!.. Чего не видали?.. Снег полоть, холсты белить!.. Да придется разве им холсты-то белить?.. Слава богу, всего припасено, не бесприданницы... А теперь, поди, у девок за околицей смеху-то, базованья-то что!.. Была и я молода, хаживала и я под Крещенье снежок полоть... Точим балясы до вторых петухов; парни придут с балалайками... Прибаутками со́ смеху так и морят... И чего-то, чего не бывало!.. Ох, согрешила я, грешница!.. А хочется девонькам за околицу... Ну, да им нельзя, хорошего отца дети; нельзя!.. Ох, девичья пора!.. Веселья все хочется, воли... Девоньки, мои девоньки!.. и пустила б я вас, да как сам-от приедет, как сам-от узнает... Тогда что?..

В то время гурьба молодежи валила мимо двора Патапа Максимыча с кринками, полными набранного снега. Раздалась веселая песня под окнами. Пели «Авсѐнь», величая хозяйских дочерей:

Середи Москвы
Ворота пестры,
Ворота пестры,
Вереи красны.
Ой Авсень, Таусень!..

У Патапа на дворе,
У Максимыча в дому
Два теремушка стоят,
Золотые терема.
Ой Авсень, Таусень!..

Как во тех во теремах
Красны девицы сидят,
Свет душа Настасьюшка,
Свет душа Прасковьюшка.
Ой Авсень, Таусень!..

— О, чтоб вас тут, непутные!..— вздрогнув от первых звуков песни, заворчала Аксинья Захаровна, хоть величанье дочерей и было ей пó сердцу. По старому обычаю, это не малый почет.— О, чтоб вас тут!.. И свят вечер не почитают, греховодники!.. Вечор нечистого из деревни гоняли, сегодня опять за песни... Страху-то нет на вас, окаянные!

Гурьба парней и девок провалила. Какой-то отсталóй хриплым, нестройным голосом запел под окнами:

Я тетерку гоню,
Полевую гоню:
Она под куст,
А я за хвост!
Авсень, Таусень!
Дома ли хозяин?

— Мать пресвята богородица! — всплеснув руками, вскликнула Аксинья Захаровна.— Микешка беспутный!.. Его голос!.. Господи! Да что ж это такое?..

Пьяный голóс слышен был у ворот. Кто-то стучался. Сбежав в подклет, Аксинья Захаровна наказывала работникам не пускать на двор Микешку.

— Хоть замерзни, в дом не пущу. Не пущу, не пущу! — кричала она.

Заскрипел снег под полозьями. Стали сани у двора Патапа Максимыча.

— Приехал,— весело молвила Аксинья Захаровна и засуетилась.— Матренушка, Матренушка! Сбирай поскорей самоварчик!.. Патап Максимыч приехал.

В горницу хозяин вошел. Жена торопливо стала распоясывать кушак, повязанный по его лисьей шубе. Прибежала Настя, стала отряхивать заиндевелую отцовскую шапку, меж тем Параша снимала вязанный из шерсти шарф с шеи Патапа Максимыча. Ровно кошечки, ластились к отцу дочери, спрашивали:

— Привез гостинцу с базару, тятенька?

— Тебе, Параня, два привез,— шутил Патап Максимыч,— одну плетку ременную, другу шелковую... Котору прежде пробовать?

— Нет, тятенька, ты не шути, ты правду скажи.

— Правду и говорю,— отвечал, улыбаясь, отец.— А ты, Параня, пока плеткой я тебя не отхлыстал, поди-ка вели работнице чайку собрать.

— Сказано, уж сказано,— перебила Аксинья Захаровна и пошла было в угловую горницу.

— Ты, Аксинья, погоди,— молвил Патап Максимыч.— Руки у тебя чисты?

— Чисты. А что?

— То-то. На, прими,— сказал он, подавая жене закрытый бурак, но, увидя входившую канонницу, отдал ей, примолвив: — Ей лучше принять, она свят человек. Возьми-ка, Евпраксеюшка, воду богоявленскую.

Аксинья Захаровна с дочерьми и канонница Евпраксия с утра не ели, дожидаясь святой воды. Положили начал, прочитали тропарь и, налив в чайную чашку воды, испили понемножку. После того Евпраксия, еще три раза перекрестясь, взяла бурак и понесла в моленну.

— В часовне аль на дому у кого воду-то святили? — садясь на диван, спросила у мужа Аксинья Захаровна.

— У Михайла Петровича у Галкина, в деревне Столбовой,— ответил Патап Максимыч.

— Кто святил? Отец Афанасий, что ли? — спросила Аксинья Захаровна.

— Из острога, что ли, придет? — молвил Патап Максимыч.— Чай, не пустят?.. Новый поп святил.

— Какой же новый поп? — с любопытством спросила Аксинья Захаровна.

— Матвея Корягу знаешь?

— Как не знать Матвея Корягу? Начитанный старик, силу в писании знает.

— Он самый и святил.

— Как же святить ему, Максимыч? — с удивлением спросила Аксинья Захаровна.

— Как святят, так и святил. На Николин день Коряга в попы поставлен. Великим постом, пожалуй, и к нам приедет... «Исправляться» у Коряги станем, в моленной обедню отслужит,— с легкой усмешкой говорил Патап Максимыч.

— Ума не приложу, Максимыч, что ты говоришь. Право, уж я и не знаю,— разводя руками и вставая с дивана, сказала Аксинья Захаровна.— Кто ж это Корягу в попы-то поставил?

— Епископ. Разве не слыхала, что у нас свои архиереи завелись? — сказал Патап Максимыч.

— Австрийские-то, что ли? Сумнительны они, Максимыч. Обли́ванцы, слышь,— молвила Аксинья Захаровна.

— Пустого не мели. Ты, что ли, их обливала?..— сказал Патап Максимыч.

— У нас, в Комарове, иные обители австрийских готовы принять,— вмешалась в разговор Настя.— Глафирины только сумневаются, да еще Игнатьевы, Анфисины, Трифинины, а другие обители все готовы принять, и Оленевские, и в Ула̀нгере, и в Чернухе — везде, везде по скитам.

— Из Москвы, из Хвалыни, из Казани пишут про епископа, что он как есть совсем правильный,— молвил Патап Максимыч.— Все мои покупатели ему последуют. Не ссориться с ними из-за таких пустяков... Как они, так и мы. А что есть у иных сумнение, так это правда, точно есть. И в Городце не хотят Матвея в часовню пускать, зазорен, дескать, за деньги что хочешь сделает. Про епископа Софрония тоже толкуют... Кто их разберет?.. Ну их к богу — чайку бы поскорей...

Как утка переваливаясь, толстая работница Матрена втащила ведерный самовар и поставила его на прибранный Настей и Парашей стол. Семья уселась чайничать. Позвали и канонницу Евпраксию. Пили чай с изюмом, потому что сочельник, а сахар скоромен: в него-де кровь бычачью кладут.

Патап Максимыч дела свои на базаре кончил ладно. Новый заказ, и большой заказ, на посуду он получил,

чтоб к весне непременно выставить на пристань тысяч на пять рублей посуды, кроме прежде заказанной; долг ему отдали, про который и думать забыл; письма из Балакова получил: приказчик там сходно пшеницу купил, будут барыши хорошие; вечерню выстоял, нового попа в служении видел; со Снежковым встретился, насчет Настиной судьбы толковал; дело, почитай, совсем порешили. Такой ладный денек выпал, что редко бывает.

Удачно проведя день, Чапурин был в духе и за чаем шутки шутил с домашними. По этому одному видно было, что съездил он подобру-поздорову, на базаре сделал оборот хороший; и все у него клеилось, шло как по маслу.

— Ты, Аксинья, к себе на именины жди дорогих гостей. Обещались пироги есть у именинницы.

— Кого звал? — вскинув на мужа глазами, спросила Аксинья Захаровна.

— Скорняков Михайло Васильич с хозяйкой обещались, кум Иван Григорьич с Груней, Данило Тихоныч с сыном, Снежков прозывается.

— Не знаю такого. Что за Снежков? — сказала Аксинья Захаровна.

— Не знала, так узнаешь,— молвил Патап Максимыч.— Приятель мой, дружище, одно дельце с ним заведено: подай господи хорошего совершенья.

— Откуда сам-от?

— Самарский... Мужик богатый: свои гурты из стѐпи гоняет, салотопленый завод у него в Самаре большущий, в Питер сало поставляет. Капиталу ста четыре тысяч целковых, а не то и больше; купец, с медалью; хороший человек. Сегодня вместе и вечерню стояли.

— Так он из наших, из христиан? — спросила Аксинья Захаровна.

— Известно. Чужого разве пустил бы Михаил Петрович на освященье воды? Старинные старообрядцы; и деды и прадеды жили по древлему благочестию... С сыном Данило Тихоныч приедет; сын парень умный, из себя видный, двадцать другой год только пошел, а отцу уж помощь большая. Вот и теперь посылает его в Питер по салу, недели через две воротится, как раз к твоим именинам. Хорошенько надо изготовиться; не ударь лицом в грязь на угощенье. Ну-ка, девки-грамотейницы, книжные келейницы, смекните, в какой день материны именины придутся? В скоромный аль в постный?

— Хоть в середу, да на сплошной,— ответила Настя.

— Ну и ладно. Мясным, стало быть, потчевать станем. А рыбки все-таки надо подать. Без рыбы нельзя. Из скитов ждешь кого?

— Матушка Манефа обещалась,— ответила Аксинья Захаровна.

— Значит, и мясное надо и рыбное. Стряпка одна не управится? Пошли в Ключову за Никитишной, знатно стряпает, что твой московский трактир. Подруги, чай, тоже приедут из Комарова к девкам-то?

— Марья Гавриловна обещалась,— сказала Аксинья Захаровна,— да еще Флёнушка.

— Эту бы, пожалуй, и не надо. Больно озорна.

— Ах, тятенька, что это ты? Фленушка девица во всем самая распрекрасная,— вступилась за приятельницу Настя.

— Ладно, знаем и мы что-нибудь,— молвил Патап Максимыч.— Слухом земля полнится.

— Полно, батько, постыдись,— вступилась Аксинья Захаровна.— Про Фленушку ничего худого не слышно. Да и стала бы разве матушка Манефа с недоброй славой ее в такой любви, в таком приближенье держать? Мало ль чего не мелют пустые языки! Всех речей не переслушаешь; а тебе, старому человеку, девицу обижать грех: у самого дочери растут.

— Да я ничего,— молвил Патап Максимыч.— Пусть ее приезжает. Только уж, спорь ты, Аксинья, не спорь,— а келейницей Фленушка не глядит.

— А по-твоему девицам бирюком надо глядеть, слова ни с кем не сметь вымолвить? Чай, ведь и они тоже живой человек, не деревянные,— вступилась Аксинья Захаровна.

— Ну, ты уж зачнешь,— сказал Патап Максимыч.— Дай только волю. Лучше б еще по чашечке налила.

— Кушай, батюшка, на здоровье, кушай, воды в самоваре много. Свеженького не засыпать ли? — молвила Аксинья Захаровна.

— Засыпь, пожалуй,— сказал Патап Максимыч.— А к именинам надо будет в городе цветочного взять, рублев этак от шести. Важный чай!

— От ярманки шестирублевого-то осталось,— сказала Аксинья Захаровна.

— Свежего купим. Гости хорошие, надо, чтоб все по гостям было. Таковы у нас с тобой, Аксинья, будут гости, что не токмо цветочного чаю, детища родного для них не пожалею. Любую девку отдам! Вот оно как!

Девушки переглянулись меж собой и с матерью. Канонница глаза потупила.

— Уж что ни скажешь ты, Максимыч,— сказала Аксинья Захаровна.— Про родных дочерей неподобные слова говоришь! Бога-то побоялся бы да людей постыдился бы.

— Что сказал, то и сделаю, когда захочу,— решительно молвил Патап Максимыч.— Перечить мне не смеет никто.

Настя, ласкаясь к отцу, с притворным смехом спросила:

— Что ж ты с нами поделаешь, тятенька?

— Тебя ожарить велю,— сказал, смеясь, Патап Максимыч,— а Параша тебя пожирней, ее во щи. И стану вами гостей угощать!

— Пожалеешь, тятенька, не изжаришь.

— А вот увидишь.

— Полно-ка вам вздор-от молоть,— принимаясь убирать чайную посуду, сказала Аксинья Захаровна.— Не пора ль начинать утреню? Ты бы, Евпраксеюшка, зажигала покаместь свечи в моленной-то. А вы, девицы, ступайте-ка помогите ей.

Канонница с хозяйскими дочерьми вышла. Аксинья Захаровна мыла и прибирала чашки. Патап Максимыч зачал ходить взад и вперед по горнице, заложив руки за спину.

— Братец-от любезный, Никифор-от Захарыч, опять в наших местах объявился,— сказал он вполголоса.

— Объявился, батюшка Патап Максимыч, точно что объявился,— горьким голосом ответила Аксинья Захаровна.— Слышала я давеча под окнами голос его непутный... Ох, грехи, грехи мои!..— продолжала она, вскидывая на мужа полные слезами глаза.

— Песнями у ворот меня встретил,— молвил Патап Максимыч.— Кому сочельник, а ему все еще святки.

— И не говори, батюшка!.. Что мне с ним делать-то?.. Ума не приложу... Не брат, а враг он мне... Век бы его не видала. Околел бы где-нибудь, прости господи, под оврагом.

— Пустого не мели,— отрезал Патап Максимыч.— Мало пути в Никифоре, а, пожалуй, и вовсе нет, да все же тебе брат. Своя кровь — из роду не выкинешь.

— Ох, уж эта родня!.. Одна сухота,— плачущим голосом говорила Аксинья Захаровна.— Навязался мне на шею!.. Одна остуда в доме. Хоть бы ты его хорошенько поначалил, Максимыч.

— Не учил отец смолоду, зятю не научить, как в коломенску версту он вытянулся,— сказал на то Патап Максимыч.— Мало я возился с ним? Ну, да что поминать про старое? Приглядывать только надо, опять бы чего в кабак со двора не стащил.

— Батюшка ты мой!.. Сама буду глядеть и работникам закажу, чтоб глядели,— вопила Аксинья Захаровна.— А уж лучше бы, кормилец, заказал ты ему путь к нашему дому. Иди, мол, откуда пришел.

— Не дело говоришь, Захаровна. Велик перед богом грех родного человека из дому выгнать,— молвил Патап Максимыч,— от людей зазорно, роду-племени покор! У добрых людей так не водится. Слава богу, нас не объест. Лишь бы не дурил да хмельным делом поменьше зашибался. Парень он не дурак, руки золотые, рыло-то на беду погано. По нашим местам, думаю я, Никифору в жизнь не справиться, славы много; одно то, что «волком» был; все знают его вдоль и поперек, ни от кого веры нет ему на полушку. А вот послушай-ка, Аксинья, что я вздумал: сегодня у меня на базаре дельце выгорело — пшеницу на Низу в годы беру, землю, то есть, казенную на сроки хочу нанимать. Старые приятели Зубковы сняли на́ годы в Узенях казенны земли, пшеницу сеять. Набрали дела через силу; хочу я у них хутора два годов на шесть взять. По весне, пожалуй, самому сплыть туда придется, осмотреть все, хозяйство завести. Кого приказчиком послать — придумано. У того приказчика на другом хуторе будет ему подначальный. И пало мне на ум: в подначальные-то Никифора. От того хутора, где думаю посадить его, кабака кругом верст на сорок нет. А Никифор, как не пьет, золото. Так я и решил его в Узени. Что скажешь на это?

— Что тебе, Максимыч, слушать глупые речи мои? — молвила на то Аксинья Захаровна.— Ты голова. Знаю, что ради меня, не ради его, непутного, Микешку жалеешь. Да сколь же еще из-за него, паскудного, мне

слез принимать, глядя на твои к нему милости? Ничто ему, пьянице, ни в прок, ни в толк нейдет. Совсем, отятóй, сбился с пути. Ох, Патапушка, голубчик ты мой, кормилец ты наш, не кори за Микешку меня, горемычную. Возрадовалась бы я, во гробу его видючи в белом саване...

— Нишкни. Пустых речей не умножай. Грех! Кто тебя, глупую, корит? — так заговорил Патап Максимыч.— Эх, Аксинья, Аксиньюшка! Не знаешь разве, что за брата сестра не ответчица?.. Хоть и пьяница Никифор, хоть и вором приличился, хоть «волком» по деревням водили его, все же он тебе брат. Что ни делай, из родни не выкинешь. Значит, не чужу остуду на себя беру, своего рода сухоту на плéча кладу. Лишнего толковать нечего, пошлем его в Узени. Все хорошей рукой облажу; и толковать про то больше не станем... А тебе, Аксиньюшка, вот какое еще слово молвлю: недаром девкам-то загадку загануд, что ради гостя дорогого любой из них не пожалею. С Данилой Тихонычем Снежковым мы совсем, почитай, решили.

— Что решили? — спросила Аксинья Захаровна, пристально глядя на мужа.

Он остановился перед ней у стола и сказал:

— Насчет судьбы Настиной.

У Аксиньи руки опустились. Жаль ей было расставаться с дочерями, и не раз говаривала она мужу, что Настя с Парашей не перестарки, годика три-четыре могут еще в девках посидеть.

— Не раненько ли задумал, Максимыч? — сказала.— Надоела, что ль, тебе Настасья, али объела нас?

— Пустого не говори, а что не рано я дело задумал, так помни, что девке пошел девятнадцатый,— сказал Патап Максимыч.

— Пожалей ты ее, голубушку! — молвила Аксинья Захаровна.

— Чего жалеть-то! Худа, что ли, отец-от ей хочет? — резко и громко сказал Патап Максимыч.— Слушай: у Данилы Тихоныча четыреста тысяч на серебро капиталу, опричь домов, заводов и пароходов. Два сына у него да три ли, четыре ли дочери, две-то замужем за казанскими купцами, за богатыми. Старшему сыну Михайле Данилычу, жениху-то, отец капитал отделяет и дом дает, хочешь с отцом живи, хочешь свое хозяйство правь. Ста-

ло быть, Настасье ни свекрови со свекром, ни золовок с деверьями бояться нечего. Захочет, сама себе хозяйкой заживет. А Михайло Данилыч — парень добрый, рассудливый, смышленый, хмелем не зашибается, художеств никаких за ним нет. А из себя видный, шадровит маленько, оспа побила, да с мужнина лица Настасье не воду пить; муж-от приглядится, бог даст, как поживет с ним годик-другой...

— Ох, батюшка, Патап Максимыч, повремени хоть маленько,— твердила свое Аксинья Захаровна.— Скорбно мне расставаться с Настёнкой. Повремени, кормилец!

— И повременю,— молвил Патап Максимыч.— В нынешнем мясоеде свадьбы сыграть не успеть, а с весны во все лето, до осенней Казанской, Снежковым некогда да и мне недосуг. Раньше Михайлова дня свадьбы сыграть нельзя, а это чуть не через год.

— Так зачем же сговором-то торопиться! Время бы не ушло,— сказала Аксинья Захаровна.

— Кто тебе про сговор сказал? — ответил Патап Максимыч.— И на разум мне того не приходило. Приедут в гости к имениннице — вот и все. Ни смотрин, ни сговора не будет и про то, чтоб невесту пропить, не будет речи. Поглядят друг на дружку, повидаются, поговорят кой о чем и ознакомятся, оно все-таки лучше. Ты покаместь Настасье ничего не говори.

Узнав, что не близка разлука с дочерью, Аксинья Захаровна успокоилась и, прибрав чайную посуду, пошла в моленную утреню слушать.

Патап Максимыч взял счеты и долго клал на них.

«Работников пятнадцать надо принанять, а то не управишься»,— подумал он, кладя на полку счеты.

Потом взял свечу и пошел на заднюю половину богу молиться. Едва вышел в сени, повалился ему в ноги какой-то человек.

— Не оставь ты меня, паскудного, отеческой своей милостью, батюшка ты мой Патап Максимыч!.. Как бог, так и ты — дай теплый угол, дай кусок хлеба!..— так говорил тот человек хриплым голосом.

Он был в оборванной шубенке, в истоптанных валенках, голова всклокочена.

— Встань, Никифор, встань! Полно валяться,— строго сказал ему Патап Максимыч.

Никифор поднялся. Красное от пьянства лицо было все в синяках.

— Где, непутный, шатался? — спросил Чапурин.

— Где ночь, где день, батюшка Патап Максимыч, и сам не помню,— отвечал Никифор.

— Ах ты, непутный, непутный! — качая головой, укорял шурина Патап Максимыч.— Гляди-ка, рожу-то тебе как отделали!.. Ступай, проспись... Из дому не гоню с уговором: брось ты, пустой человек, это проклятое винище, будь ты хорошим человеком.

— Кину, батюшка Патап Максимыч, кину, беспременно кину,— стал уверять зятя Никифор.— Зарок дам... Не оставь только меня своей милостью. Чего ведь я не натерпелся — и холодно... и голодно...

— Ладно, хорошо. Ступай покаместь в подклет, проспись хорошенько, завтра приходи — потолкуем. Может статься, пригодишься,— молвил Чапурин.

— Рад тебе по гроб жизни служить, кормилец ты мой!..— заплакал Никифор.— Только вот — сестра лиходейка... Заест меня...

— Ну, ступай, ступай — проспись... Да ступай же!..— прикрикнул Патап Максимыч, заметив, что Никифор и не думает выходить из сеней.

Мыча что-то под нос, слегка покачиваясь, пошел Никифор в подклет, а Патап Максимыч в моленну к богоявленской заутрене. За ним туда же пошли жившие у него работники и работницы, потом старики со старухами, да из молодых богомольные. Сошлись они из Осиповки и соседних деревень. Чапурин на большие праздники пускал к себе в моленну и посторонних. На то он попечитель городецкой часовни, значит ревнитель. Когда собрались богомольцы и канонница, замолитвовав, стала с хозяйскими дочерьми править по «минее» утреню, Аксинья Захаровна торопливо вышла из моленной и в сенях, подозвав дюжего работника, старика Пантелея, что смотрел за двором и за всеми живущими по найму, тревожно спросила его:

— Запер ли, Пантелеюшка, ворота-то? Поставил ли на задах караульных-то?

— Не беспокойся, матушка Аксинья Захаровна,— отвечал Пантелей.— Все сделано, как следует,— не впервые. Слава те, господи, пятнадцать лет живу у вашей милости, порядки знаю. Да и бояться теперь, матушка,

нечего. Кто посмеет тревожить хозяина, коли сам губернатор знает его?

— Не говори, Пантелеюшка,— возразила Аксинья Захаровна.— «Не надейтеся на князи и сыны человеческие». Беспременно надо сторожким быть... Долго ль до греха?.. Ну, как нас на службе-то накроют... Суды пойдут, расходы. Сохрани, господи, и помилуй.

— Ничего такого статься не может, Аксинья Захаровна,— успокоивал ее Пантелей.— Никакого вреда не будет. Сама посуди: кто накроет?.. Исправник аль становой?.. Свои люди. Невыгодно им, матушка, трогать Патапа Максимыча.

— Нет, Пантелеюшка, не говори этого, родимой,— возразила хозяйка и, понизив голос, за тайну стала передавать ему: — Свибловский поп, приходский-то здешний, Сушилу знаешь? — больно стал злобствовать на Патапа Максимыча. Беспременно, говорит, накрою Чапурина в моленной на службе, ноне-де староверам воля отошла: поеду, говорит, в город и докажу, что у Чапуриных в деревне Осиповке моленна, посторонни люди в нее на богомолье сходятся. Накроют-де, потачки не дадут. Пускай, дескать, Чапурин поминает шелковый сарафан да парчовый холодник!

— Какой сарафан, какой холодник? — спросил Пантелей.

— А видишь ли, Пантелеюшка,— отвечала хозяйка,— прошлым летом Патап Максимыч к Макарью на ярманку ехал, и попадись ему поп Сушила на дороге. Слово за слово, говорит поп Максимычу: «Едешь ты, говорит, к Макарью — привези моей попадье шелковый, гарнитуровый сарафан да хороший парчовый холодник». А хозяин и ответь ему: «Не жирно ли, батько, будет? Тебе и то с меня немало идет уговорного; со всего прихода столько тебе не набрать». Осерчал Сушила, пригрозил хозяину: «Помни, говорит, ты это слово, Патап Максимыч, а я его не забуду,— такое дело состряпаю, что бархатный салоп на собольем меху станешь дарить попадье, да уж поздно будет, не возьму». С той поры он и злобится. «Беспременно, говорит, накрою на моленье Чапуриных. В острог засажу», говорит.

— В острог-от не засадит,— с усмешкой молвил Пантелей,— а покрепче приглядывать не мешает. Поэтому —

может напугать, помешать... Пойду-ка я двоих на задах-то поставлю.

— Ступай, Пантелеюшка, поставь двоих, а не то и троих, голубчик, вернее будет,— говорила Аксинья Захаровна.— А наш-то хозяин больно уж бесстрашен. Смеется над Сушилой да над сарафаном с холодником. А долго ль до греха? Сам посуди. Захочет Сушила, проймет не мытьем, так ка́таньем!

— Это так. Это от него может статься,— заметил Пантелей и, направляясь к лестнице, молвил: — Троих поставлю.

— Поставь, поставь, Пантелеюшка,— подтвердила Аксинья Захаровна и медленною поступью пошла в моленную.

Тревога была напрасна. Помолились за утреней как следует и часы, не расходясь, прочитали. Патап Максимыч много доволен остался пением дочерей и потом чуть не целый день заставлял их петь тропари Богоявленью.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Верстах в пяти от Осиповки, середи болот и перелесков, стоит маленькая, дворов в десяток, деревушка Поромово. Проживал там удельный крестьянин Трифон Михайлов, прозвищем Лохматый. Исправный мужик был: промысел шел у него ладно, залежные деньжонки водились. По другим местам за богатея пошел бы, но за Волгой много таких.

Было у Трифона двое сыновей, один работник матерый, другой только что вышел из подростков, дочерей две девки. Хоть разумом те девки от других и отстали, хоть болтали про них непригожие речи, однако ж они не последними невестами считались. В любой дом с радостью б взяли таких спорых, проворных работниц. Девки молодые, сильные, здоровенные: на жнитве, на сенокосе, в токарне, на овине, аль в избе за гребнем, либо за тканьем, дело у них так и горит; одна за двух работает. Лохматый замуж девок отдавать не торопился, самому нужны были. «Не перестарки,— думал он,— пусть год, другой за родительский хлеб на свою семью работа́ют. Успеют в чужих семьях нажиться».

Старший сын Трифона, звали Алексеем, парень был лет двадцати с небольшим, слыл за первого искусника по токарной части. И красавец был из себя. Роста чуть не в косую сажень, стоит, бывало, средь мужиков на базаре, всех выше головой; здоровый, белолицый, румянец во всю щеку так и горит, а кудрявые темно-русые волосы так и вьются. Таким молодцом смотрел, что не только крестьянские девки, поповны на него заглядывались. Да что поповны! Была у станового свояченица, и та по Алеше Лохматом встосковалась... Да так встосковалась, что любовную записочку к нему написала. Ту записку становой перехватил, свояченицу до греха в другой уезд к тетке отправил, а Трифону грозил:

— Быть твоему Алешке под красной шапкой, не миновать, подлецу, бритого лба.

— Да за что ж это, ваше благородие? — спросил Трифон Лохматый.— Кажись, за́ сыном дурных дел не видится.

— Хоть дурных дел не видится, да не по себе он дерево клонит,— говорил становой.

Не разгадал Трифон загадки, а становой больше и говорить не стал. И злобился после того на Лохматых, и быть бы худу, да по скорости его под суд упекли.

Бывало, по осени, как супрядки начнутся, деревенские девки ждут не дождутся Алеши Лохматого; без него и песен не играют, без него и веселья нет. И умен же Алеша был, рассудлив не по годам, каждое дело по крестьянству не хуже стариков мог рассудить, к тому же грамотой господь его умудрил. Хоть за Волгой грамотеи изда́вна не в диковину, но таких, как Алексей Лохматый, и там водится немного: опричь божественных книг, читал гражданские и до них большой был охотник. Деньгу любил, а любил ее потому, что хотелось в довольстве, в богатстве, во всем изобилье пожить, славы, почета хотелось... Не говаривал он про то ни отцу с матерью, ни другу-приятелю; один с собой думу такую держал.

Жил старый Трифон Лохматый да бога благодарил. Тихо жил, смирно, с соседями в любви да в совете; добрая слава шла про него далеко́. Обиды от Лохматого никто не видал, каждому человеку он по силе своей рад был сделать добро. Пуще всего не любил мирских пересудов. Терпеть не мог, как иной раз дочери, набравшись

вестей на супрядках аль у колодца, зачнут языками косточки кому-нибудь перемывать.

— Расщумелись, как воробьи к дождю! — крикнет, бывало, на них.— Люди врут, а вы вранье разносить?.. Потараторьте-ка еще у меня, сороки, сниму плеть с колка, научу уму-разуму.

Девки ни гу-гу. И никогда, бывало, ни единой сплетни или пересудов из Трифоновой избы не выносилось.

Без горя, без напасти человеку века не прожить. И над Трифоном Лохматым сбылось то слово, стряслась и над ним беда, налетела напасть нежданно-негаданно. На самое Вздвиженье токарня у него сгорела с готовой посудой ста на два рублей. Работали в токарне до сумерек, огня и в заводях не было. В самую полночь вспыхнула. Стояла токарня на речке, в полуверсте от деревни,— покуда проснулись, покуда прибежали — вся в огне. В одно слово решили мужики, что лихой человек Трифону красного петуха пустил. Долго Лохматый умом-разумом по миру раскидывал, долго гадал, кто бы таков был лиходей, что его обездолил. Никого, кажись, Трифон не прогневал, со всеми жил в ладу да в добром совете, а токарню подпалили. Гадал, гадал Трифон Михайлыч, не надумал ни на кого и гадать перестал.

— Подавай становому объявление,— говорил ему удельного приказа писарь Карп Алексеич Морковкин.— Произведут следствие, сыщут злодея.

Ни слова Трифон не молвил на ответ писарю. На миру потом такую речь говорил.

— Ни за что на свете не подам объявления, ни за что на свете не наведу суда на деревню. Суд наедет, не одну мою копейку потянет, а миру и без того туго приходится. Лучше ж я как-нибудь, с божьей помощью, перебьюсь. Сколочусь по времени с деньжонками, нову токарню поставлю. А злодея, что меня обездолил,— суди бог на страшном Христовом судище.

Любовно принял мир, слово Трифоново. Урядили, положили старики, если объявится лиходей, что у Лохматого токарню спалил, потачки ему, вору, не давать: из лет не вышел — в рекруты, вышел из лет — в Сибирь на поселенье. Так старики порешили.

С одной бедой трудовому человеку не больно хитро справиться. Одну беду заспать можно, можно и с хлебом съесть! Но беда не живет одна. Так и с Лохматым слу-

чилось. С самого пожара пошел ходить по бедам: на Покров пару лошадей угнали, на Казанскую воры в клеть залезли. Разбили злодеи укладку у Трифона, хорошу одежу всю выкрали, все годами припасенное дочерям приданое да триста целковых наличными, на которые думал Трифон к весне токарню поставить. Обобрали беднягу, как малинку, согнуло горе старика, не глядел бы на вольный свет, бежал бы куда из дому: жена воет не своим голосом, убивается; дочери ревут, причитают над покраденными сарафанами, ровно по покойникам. Сыновья как ночь ходят. Что делать, как беде пособить? Денег нет, перехватить разве у кого-нибудь? Но Трифон в жизнь свою ни у кого не займовал, знал, что деньги занять — остуду принять.

— Прихвати, Михайлыч, сколько ни на есть деньжонок,— говорила жена его, Фекла, баба тихая, смиренная, внезапным горем совсем почти убитая.— И токарню ведь надо ставить и без лошадок нельзя...

— Рад бы прихватить, Абрамовна, да негде прихватить-то; ни у которого человека теперь денег для чужого кошеля не найдешь. Хоть проси, хоть нет — все едино.

— Да вот хотя бы у писаря, у него деньги завсегда водятся,— подхватила Фекла,— покучиться бы тебе у Карпа Алексеича. Даст.

Молчит Трифон, лучину щепает; Фекла свое.

— Что ж, Михайлыч? Заем — дело вольное, любовное; бесчестья тут никакого нет, а нам, сам ты знаешь, без токарни да без лошадок не прожить. Подь покланяйся писарю,— говорила Фекла мужу, утирая рукавом слезы.

— Не пойду,— отрывисто, с сердцем молвил Трифон и нахмурился.— И не говори ты мне, старуха, про этого мироеда,— прибавил он, возвысив голос,— не вороти ты душу мою... От него, от паскудного, весь мир сохнет. Знаться с писарями мне не рука.

— Да что же не знаться-то?.. Что ты за тысячник такой?.. Ишь гордыня какая налезла,— говорила Фекла.— Чем Карп Алексеич не человек? И денег вволю, и начальство его знает. Глянь-ка на него, человек молодой, мирским захребетником был, а теперь перед ним всяк шапку ломит.

— Ну и пусть их ломят, а я, сказано, не пойду, так и не пойду,— молвил Трифон Лохматый.

— А я что говорила тебе, то и теперь скажу,— продолжала Фекла.— Как бы вот не горе-то наше великое, как бы не наше разоренье-то, он бы сватов к Параньке заслал. Давно про нее заговаривал. А теперь, знамо дело, бесприданница, побрезгует...

Прасковья, старшая дочь Трифона, залилась слезами и начала причитать.

— Плети захотела? — крикнул отец.

Смолкла Прасковья, оглядываясь и будто говоря: «Да ведь я так, я, пожалуй, и не стану реветь». Вспомнила, что корову доить пора, и пошла из избы, а меньшая сестра следом за ней. Фекла ни гу-гу, перемывает у печи горшки да Исусову молитву творит.

Нащепав лучины, обратился Трифон к старшему сыну, что во все время родительской перебранки молча в углу сидел, оттачивая токарный снаряд.

— Алеха! Неча, парень, делать, надо в чужи люди идти, в работники. Сказывают, Патап Максимыч Чапурин большой подряд на посуду снял. Самому, слышь, управиться сила не берет, так он токарей приискивает. Порядися с ним на лето аль до зимнего Николы. Десятков пять, шесть, бог даст, заработаешь, к тому ж и с харчей долой. У Чапурина можно и вперед денег взять, не откажет; на эти деньги токарню по весне справили бы, на первое время хоть не больно мудрящую. А Саввушку, думаю я, Фекла, в Хвостиково послать, он мастер ложкарить. Заработает сколько-нибудь. А сами, бог милостив, как-нибудь перебьемся.

— Я, батюшка, всей душой рад послужить, за твою родительскую хлеб-соль заработать, сколько силы да уменья хватит, и дома радехонек и на стороне — где прикажешь,— сказал красавец Алексей.

— Спасибо, парень. Руки у тебя золотые, добывай отцу,— молвил Трифон.— Саввушка, а Саввушка! — крикнул он, отворив дверь в сени, где младший сын резал из баклуш ложки.

— Чего, тятенька? — весело тряхнув кудрями, спросил красивый подросток, лет пятнадцати, входя в избу.

— Избным теплом, сидя возле материна сарафана, умен не будешь, Саввушка. Знаешь ты это? — спросил его отец.

— Знаю,— бойко ответил Саввушка, вопросительно глядя на отца.

— Поживя в чужих людях, умнее будешь. Так али нет?

— Ты, тятя, лучше меня знаешь,— отвечал Саввушка, ясно и любовно глядя на отца.

Бросила горшки свои Фекла; села на лавку и, ухватясь руками за колени, вся вытянулась вперед, зорко глядя на сыновей. И вдруг стала такая бледная, что краше во гроб кладут. Чужим теплом Трифоновы дети не грелись, чужого куска не едали, родительского дома отродясь не покидали. И никогда у отца с матерью на мысли того не бывало, чтобы когда-нибудь их сыновьям довелось на чужой стороне хлеб добывать. Горько бедной Фекле. Глядела, глядела старуха на своих соколиков и заревела в источный голос.

— Чего завыла? Не покойников провожаешь! — сердито попрекнул ей Трифон, но в суровых словах его слышалось что-то плачевное, горестное. А не задать бабе окрику нельзя; не плакать же мужику, не бабиться.— Фекла,— сказал Трифон жене поласковей,— подь-ка, помолись!

И Фекла покорно пошла в заднюю, где была у них небольшая моленна. Взявши в руки лестовку, стала за налой. Читая канон богородице, хотелось ей забыть новое, самое тяжкое изо всех постигших ее, горе.

— Уж вы порадейте, ребятки, пособите отцу,— говорил Трифон.— Пустил ли бы я вас в чужие люди, как бы не беда наша, не последнее дому разоренье? Уж вы порадейте. А живите в людях умненько, не балуйте, работайте путем. Не знаю, как в Хвостикове у ложкарей, Саввушка, а у Чапурина в Осиповке такое заведенье, что, если который работник, окроме положенной работы, лишков наработает, за те лишки особая плата ему сверх ряженой. Чапурин — человек добрый, обиды никому не сделает. Служи ему, Алексей, как родному отцу; он тебя и впредь не покинет. Порадей же хорошенько, Алексеюшка, постарайся побольше денег заработать. Справиться бы нам поскорей! Тебе же подходит пора и закон совершить, так надо тебе, Алексей, об отце с матерью порадеть.

Долго толковал Трифон с сыновьями, как им работу искать. Порешили Алексею завтра ж идти в Осиповку рядиться к Патапу Максимычу, а в середу, как на сосед-

ний базар хвостиковские ложкари приедут, порядить и Саввушку.

Спать улеглись, а Фекла все еще клала в моленной земные поклоны. Кончив молитву, вошла она в избу и стала на колени у лавки, где, разметавшись, крепким сном спал любимец ее Саввушка. Бережно взяла она в руки сыновнюю голову, припала к ней и долго, чуть слышно, рыдала.

Рано поутру, еще до свету, на другой день Алексей собрался в Осиповку. Это было как раз через неделю после Крещенья. Помолившись со всею семьей богу, простившись с отцом, с матерью, с братом и сестрами, пошел он рядиться. К вечеру надо было ему назад к отцу в Поромово прийти повестить, на чем в ряде сошлись. Был слух, что Чапурин цены дает хорошие, что дело у него наспех, сам-де не знает, успеет ли к сроку заподряженный товар поставить. Все работники, что были по околотку, нанялись уж к нему; кроме того, много работы роздано было по домам, и задатки розданы хорошие.

Светало, когда Алексей, напутствуемый наставлениями отца и тихим плачем матери, пошел из дому. Выйдя за ворóта, перекрестился он на все стороны и, поникнув головой, пошел по узенькой дорожке, проложенной меж сугробов. Не легко человеку впервые оставлять теплое семейное гнездо, идти в чужи люди хлеб зарабатывать. Много было передумано Алексеем во время медленного пути. Думал он, что-то ждет его в чужом дому, ласковы ль будут хозяева, каковы-то будут до него товарищи, не было б от кого обиды какой, не нажить бы ему чьей злобы своей простотой; чужбина ведь неподатлива,— ума прибавит, да и горя набавит.

Патап Максимыч выходил из токарного завода, что стоял через улицу от дома за амбарами, когда из-за околицы показался Алексей Лохматый. Не доходя шагов десяти, снял он шапку и низко поклонился тысячнику. Чапурин окликал его:

— Здорово, парень! Куда бог несет?

— До вашей милости, Патап Максимыч,— не надевая шапки, отвечал Алексей.

— Что надо, парень? Да ты шапку-то надевай, студено. Да пойдем-ка лучше в избу, там потеплей будет нам разговаривать. Скажи-ка, родной, как отец-от у вас

справляется? Слышал я про ваши беды; жалко мне вас... Шутка ли, как злодеи-то вас обидели!..

— В разор разорили, Патап Максимыч, совсем доконали. Как есть совсем,— отвечал Алексей.

— Богу надо молиться, дружок, да рук не покладывать, и господь все сызнова пошлет,— сказал Патап Максимыч.— Ты ведь, слыхал я, грамотей, книгочей.

— Читаем помаленьку,— молвил Алексей.

— А чел ли ты книгу про Иева многострадального, про того, что на гноищи лежал? Побогаче твоего отца был, да всего лишился. И на бога не возроптал. Не возроптал,— прибавил Патап Максимыч, возвыся голос.

— Это я знаю, читал,— ответил Алексей.— Зачем на бога роптать, Патап Максимыч? Это не годится; бог лучше знает, чему надо быть; любя нас наказует...

— Это ты хорошо говоришь, дружок, по-божьему,— ласково взяв Алексея за плечо, сказал Патап Максимыч.— Господь пошлет; поминай чаще Иева на гноищи. Да... все имел, всего лишился, а на бога не возроптал; за то и подал ему бог больше прежнего. Так и ваше дело— на бога не ропщите, рук не жалейте да с богом работайте, господь не оставит вас — пошлет больше прежнего.

Разговаривая таким образом, Патап Максимыч вошел с Алексеем в подклет; там сильно олифой пахло: крашеная посуда в печи сидела для просухи.

— По каким делам ко мне пришел? — спросил Патап Максимыч, скидая тулуп и обтирая сапоги о брошенную у порога рогожку.

— Слышно, ваша милость работников наймуете...— робким голосом молвил Алексей.

— Наймуем. Работники мне нужны,— сказал Патап Максимыч.

— Так я бы...

Патап Максимыч улыбнулся.

Самый первый токарь, которым весь околоток не нахвалится, пришел наниматься незваный, непрошеный!.. Не раз подумывал Чапурин спосылать в Поромово к старику Лохматому — не отпустит ли он, при бедовых делах, старшего сына в работу, да все отдумывал... «Ну, а как не пустит, да еще после насмеется, ведь он, говорят, мужик крутой и заносливый...» Привыкнув жить в славе и почете, боялся Патап Максимыч пóсмеху от какого ни на есть мужика.

— В работники хочешь? — сказал он Алексею.— Что же? Милости просим. Про тебя слава идет добрая, да и сам я знаю работу твою: знаю, что руки у тебя золото... Да что ж это, парень? Неужели у вас до того дошло, что отец тебя в чужи люди посылает? Ведь ты говоришь, отец прислал. Не своей волей ты рядиться пришел?

— Как же можно без родительской воли, Патап Максимыч? Этого никак нельзя,— сказал Алексей.

— Так сами-то вы разве уж и подняться не можете?

— Не можем, Патап Максимыч; совсем злые люди нас обездолили; надо будет с годок в людях поработать,— отвечал Алексей.— Родители и меньшого брата к ложкарям посылают; знатно режет ложки: всякую, какую хошь, и касатую, и тонкую, и бо́скую, и межеумок, и крестовую режет. К пальме даже приучен — вот как бы хозяин ему такой достался, чтобы пальму точить...

— Доброе дело,— перебил Алексея Патап Максимыч.— Да ты про себя-то говори. Как же ты?

— Да как вашей милости будет угодно,— отвечал Алексей.— Я бы до Михайлова дня, а коли милость будет, так до Николы...

— До Николы так до Николы. До зимнего, значит? — сказал Патап Максимыч.

— Известно, до зимнего,— подтвердил Алексей.

— А насчет ряды, как думаешь? — спросил Чапурин.

— Да уж это как вашей милости будет угодно,— сказал Алексей.— По вашей добродетели бедного человека вы не обидите, а я рад стараться, сколько силы хватит.

Такое слово любо было Патапу Максимычу. Он назначил Алексею хорошую плату и больше половины выдал вперед, чтобы можно было Лохматым помаленьку справиться по хозяйству.

— Молви отцу,— говорил он, давая деньги,— коли нужно ему на обзаведенье, шел бы ко мне — сотню другу-третью с радостью дам. Разживетесь, отдадите, аль по времени ты заработаешь. Ну, а когда же работать начнешь у меня?

— Да по мне хоть завтра же, Патап Максимыч,— отвечал Алексей.— Сегодня домой схожу, деньги снесу, в бане выпарюсь, а завтра с утра к вашей милости.

— Ну, ладно, хорошо. Приходи...

Алексей хотел идти из подклета, как дверь широко распахнулась и вошла Настя. В голубом ситцевом сарафане с белыми рукавами и широким белым передником, с алым шелковым платочком на голове, пышная, красивая, стала она у́ двери и, взглянув на красавца Алексея, потупилась.

— Тятенька, самовар принесли,— сказала отцу. И голос у нее оборвался.

— Ладно,— молвил Патап Максимыч.— Так завтра приходи. Как, бишь, звать-то тебя? Алексеем, никак?

— Так точно, Патап Максимыч.

— Молви отцу-то, Алексеюшка,— нужны деньги, приходил бы. Рад помочь в нужде.

Помолился Алексей, поклонился хозяину, потом Насте и пошел из подклета. Отдавая поклон, Настя зарделась, как маков цвет. Идя в верхние горницы, она, перебирая передник и потупив глаза, впо́лголоса спросила отца, что это за человек такой был у него?

— В работники нанялся,— равнодушно ответил отец.

Возвращаясь в Поромово, не о том думал Алексей, как обрадует отца с матерью, принеся нежданные деньги и сказав про обещанье Чапурина дать взаймы рублев триста на разживу, не о том мыслил, что завтра придется ему прощаться с домом родительским. Настя мерещилась. Одно он думал, одно передумывал, шагая крупными шагами по узенькой снежной дорожке: «Зародилась же на свете такая красота!»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

К именинам Аксиньи Захаровны приехала в Осиповку золовка ее, комаровская игуменья, мать Манефа. Привезла она с собою двух по́слушниц: Фленушку да Анафролию. Марья Гавриловна, купеческая вдова из богатого московского дома, своим коштом жившая в Манефиной обители и всеми уважаемая за богатство и строгую жизнь, не поехала в гости к Чапуриным. Это немного смутило Патапа Максимыча; приязнью Марьи Гавриловны он дорожил, родственники ее люди были перво-

статейные, лестно было ему знакомство их. И по торговле имел с ними дела.

Молодая, красивая, живая, как огонь, Фленушка, приятельница дочерей Патапа Максимыча, была девица-белоручка, любимица игуменьи, обительская баловница. Она взросла в обители, будучи отдана туда ребенком. Выучилась в скиту Фленушка грамоте, рукодельям, церковной службе, и хоть ничем не похожа была на монахиню, а приводилось ей, безродной сироте, век оставаться в обители. Из скитов замуж въявь не выходят — позором было бы это на обитель, но свадьбы «уходом» и там порой-временем случаются. Слюбится с мóлодцем белица, выдаст ему свою одежу и убежит венчаться в православную церковь: раскольничий поп такую чету ни за что не повенчает. Матери засуетятся, забегают, погони разошлют, но дело поправить нельзя. Посердятся на беглянку с пóлгода, иногда и целый год, а после смирятся. Беглянка после мировой почáсту гостит в обители, живет там как в родной семье, получает от матерей вспоможение, дочерей отдает к ним же на воспитание, а если овдовеет, воротится на старое пепелище, в старицы пострижется и станет век свой доживать в обители. Таких примеров много было, и Фленушка, поминая эти примеры, думала было обвенчаться «уходом» с молодым казанским купчиком Петрушей Самоквасовым, но матушки Манефы было жалко ей — убило бы это ее воспитательницу...

Другая пóслушница, привезенная Манефой в Осиповку, Анафролия, была простая крестьянская девка. В келарне больше жила, помогая матушке-келарю кушанье на обитель стряпать и исправляя черные работы в кельях самой игуменьи Манефы. Это была из себя больно некрасивая, рябая, неуклюжая, как ступа, зато здоровенная девка, работала за четверых и ни о чем другом не помышляла, только бы сытно пообедать да вечером, поужинав вплотную, выспаться хорошенько. В обители дурой считали ее, но любили за то, что сильная была работница и, куда ни пошли, что ей ни вели, все живой рукой обделает безо всякого ворчанья. Безответна была, голоса ее мало кто слыхал.

Мать Манефу Аксинья Захаровна поместила в задней горнице, возле моленной, вместе с домашней канонницей Евпраксией да с Анафролией. Манефа, напившись

чайку с изюмом,— была великая постница, сахар почитала скоромным и сроду не употребляла его,— отправилась в свою комнату и там стала расспрашивать Евпраксию о порядках в братнином доме: усердно ли богу молятся, строго ли посты соблюдают, по скольку кафизм в день она прочитывает; каждый ли праздник службу правят, приходят ли на службу сторонние, а затем свела речь на то, что у них в скиту большое расстройство идет из-за австрийского священства: одни обители желают принять епископа Софрония, а другие считают новых архиереев обли́ванцами, слышать про них не хотят.

— На прошлой неделе, Евпраксеюшка, грех-от какой случился. Не знаю, как и замолят его. Матушка Клеопатра, из Жжениной обители, пришла к Глафириным и стала про австрийское священство толковать, оно-де правильно, надо-де всем принять его, чтоб с Москвой не разорваться, потому-де, что с Рогожского пишут, по Москве-де все епископа приняли. Измарагдушка заспорила: обли́ванцы, говорит, они — архиереи-то. Спорили матери, спорили, да обе горячие, слово за слово, ругаться зачали, друг с дружки иночество сорвали, в косы. Такой грех — насилу розняли! И пошли с той поры ссоры да свары промеж обителей, друг с дружкой не кланяются, друг дружку еретицами обзывают, из одного колодца воду брать перестали. Грех, да и только!

— А вы как, матушка, насчет австрийского священства располагаете? — робко спросила Евпраксия.

— Мы бы, пожалуй, и приняли,— сказала Манефа.— Как не принять, Евпраксеюшка, когда Москва приняла? Чем станем кормиться, как с Москвой разорвемся? Ко мне же сам батюшка Иван Матвеич с Рогожского писал: принимай, дескать, матушка Манефа, безо всякого сумненья. Как же духовного отца ослушаться?.. Как наши-то располагают, на чем решаются?.. По-моему, и нам бы надо принять, потому что в Москве, и в Казани, на Низу и во всех городах приняли. Разориться Патапушка может, коль не примет нового священства. Никто дел не захочет вести с ним; кредиту не будет, разорвется с покупателями. Так-то!

— Патап Максимыч, кажется мне, приемлет,— отвечала Евпраксия.

— Думала я поговорить с ним насчет этого, да не знаю, как приступиться,— сказала Манефа.— Крутенек. Не знаешь, как и подойти. Прямой медведь.

— Он всему последует, чему самарские,— заметила Евпраксия.—А в Самаре епископа, сказывают, приняли. Аксинья Захаровна сумлевалась спервоначала, а теперь, кажется, и она готова принять, потому что сам велел. Я вот уж другу неделю поминаю на службе и епископа и отца Михаила; сама Аксинья Захаровна сказала, чтоб поминать.

— Какого это отца Михаила? — с любопытством взглянув на канонницу, спросила мать Манефа.

— Михайлу Корягу из Колоскова,— сказала канонница.— Ведь он в попы ставлен.

— Коряга! Михайло Коряга! — сказала Манефа, с сомненьем покачивая головой.— И нашим сказывали, что в попы ставлен, да веры неймется. Больно до денег охоч. Стяжатель! Как такого поставить?

— Поставили, матушка, истинно, что поставили,— говорила Евпраксия.— На богоявление в Городце воду святил, сам Патап Максимыч за вечерней стоял и воды богоявленской домой привез. Вон бурак-от у святых стоит. Великим постом Коряга, пожалуй, сюда наедет, исправлять станет, обедню служить. Ему, слышь, епископ-от полотняную церковь пожаловал и одикон рекше путевой престол господа бога и Спаса нашего...

— Коряга! Михайло Коряга! Попом! Да что ж это такое! — в раздумье говорила мать Манефа, покачивая головой и не слушая речей Евпраксии.— А впрочем, и сам-от Софроний такой же стяжатель — благодатью духа святого торгует... Если иного епископа, благочестивого и бога боящегося, не поставят — Софрония я не приму... Ни за что не приму!..

Меж тем в девичьей светлице у Насти с Фленушкой шел другой разговор. Настя расспрашивала про скитских приятельниц и знакомых, гостья чуть успевала ответы давать. Про всех переговорили, про все новости бойкая, говорливая Фленушка рассказала. Расспросам Насти не было конца — хотелось ей узнать, какая белица сарафан к праздникам сшила, дошила ль Марья Головщица канвовую подушку, отослала ль ту подушку матушка Манефа в Казань, получили ли девицы новые бисера́ из Москвы, выучилась ли Устинья Московка

шелковы пояски с молитвами из золота ткать. Осведомившись обо всем, стала Настя Фленушку расспрашивать, как поживала она после отъезда их из обители.

— Что моя жизнь! — желчно смеясь, ответила Фленушка.— Известно какая! Тоска и больше ничего; встанешь, чайку попьешь — за часы пойдешь, пообедаешь — потом к правильным канонам, к вечерне. Ну, вечерком, известно, на супрядки сбегаешь; придешь домой, матушка, как водится, началить зачнет, зачем, дескать, на супрядки ходила; ну до ужина дело-то так и проволочишь. Поужинаешь и на боковую. И слава те, Христе, что день прошел.

— А к заутрене будют?

— Перестали. Отбилась. Ленива ведь я, Настасья Патаповна, богу-то молиться. Как прежде, так и теперь,— смеялась Фленушка.

— А супрядки нонешнюю зиму бывали? — спросила ее Настя.

— Как же! У Жжениных в обители кажду середу попрежнему. Завела было игуменья у Жжениных такое новшество: на супрядках «пролог» читать, жития святых того дня. Мало их в моленной-то читают! Три середы читали, игуменья сама с девицами сидела, чтобы, знаешь, слушали, не баловались. А девицы непромах. «Пролог»-от скрали да в подполье и закопали. Смеху-то что было!.. У Бояркиных по пятницам сходились, у Московкиной по вторникам, только не кажду неделю; а в нашей обители, как и при вас бывало,— по четвергам. Только матушка Манефа с той поры, как вы уехали, все грозит разогнать наши беседы и келарню по вечерам запирать, чтобы не смели, говорит, сбираться девицы из чужих обителей. А песенку спеть либо игру затеять — без вас и думать не смей; пой Алексея человека божьего. Как племянницы, говорит матушка, жили, да Дуня Смолокурова, так я баловала их для того, что девицы они мирские, черной ризы им не надеть, а вы, говорит, должны о боге думать, чтоб сподобиться честное иночество принять... Да ведь это она так только пугает. Каждый раз поворчит, поворчит, да и пошлет мать Софию, что в ключах у ней ходит, в кладовую за гостинцами девицам на угощенье. Иной раз и сама придет в келарню. Ну, при ней, известно дело, все чинно да стройно: стихиры запоем, и ни едина девица не улыбнется, а

только за́ дверь матушка, дым коромыслом. Смотришь, ан белицы и «Гусара» запели...

И, увлекшись воспоминаньями о скитских супрядках, Фленушка вполголоса запела:

Гусар, на саблю опираясь...—

давно уже проникший на девичьи беседы в раскольничьи скиты.

— А у Глафириных су́прядков разве не было? — спросила Настя.

— Как не бывать! — молвила Фленушка.— Самые развеселые были беседы, парни с деревень прихаживали... С гармониями... Да нашим туда теперь ходу не стало.

— Как так? — удивилась Настя.

— Да все из-за этого австрийского священства! — сказала Фленушка.— Мы, видишь ты, задумали принимать, а Глафирины не приемлют, Игнатьевы тоже не приемлют. Ну и разорвались во всем: друг с дружкой не видятся, общения не имеют, клянут друг друга. Намедни Клеопатра от Жжениных к Глафириным пришла, да как сцепится с кривой Измарагдой; бранились, бранились, да вповолочку! Такая теперь промеж обителей злоба, что смех и горе. Да ведь это одни только матери сварятся, мы-то потихоньку видаемся.

— Где ж веселее бывало на супрядках? — спрашивала Настя.

— У Бояркиных,— ответила Фленушка.— Насчет угощенья бедно́, больно бедно̀, зато парни завсегда почти. Ну, бывали и приезжие.

— Откудова? — спросила Настя.

— Из Москвы купчик наезжал, матушки Таисе́и сродственник, деньги в раздачу привозил, развеселый такой. Больно его честили; келейница матушки Таисе́и — помнишь Варварушку из Кинешмы? — совсем с ума сошла по нем; как уехал, так в прорубь кинуться хотела, руки на себя наложить. Еще Александр Михайлыч бывал, станового письмоводитель,— этот по-прежнему больше все с Серафимушкой; матушка Таисея грозит уж ее из обители погнать.

— А из Казани гости бывали? — с улыбкой спросила Фленушку Настя.

— Были из Казани, да не те, на кого думаешь,— сказала Фленушка.

— Петр Степаныч разве не бывал? — спросила Настя.

— Не был,— сухо ответила Фленушка и примолвила:— бросить хочу его, Настенька.

— Что так?

— Тоска только одна!.. Ну его... Другого полюблю!

— Зачем же другого? Это нехорошо,— сказала Настя,— надо одного уж держаться.

— Вот еще! Одного! — вспыхнула Фленушка.— Он станет насмехаться, а ты его люби. Да ни за что на свете! Ваську Шибаева полюблю — так вот он и знай,— с лукавой усмешкой, глядя на приятельницу, бойко молвила Фленушка.

— Какой Шибаев? Откудова?

— Эге-ге! — вскрикнула Фленушка и захохотала.— Память-то какая у тебя короткая стала, Настасья Патаповна! Аль забыла того, кто из Москвы конфеты в бумажных коробках с золотом привозил? Ай да Настя, ай да Настасья Патаповна! Можно чести приписать! Видно, у тебя с глаз долой, так из думы вон. Так, что ли?.. А?..

— Ничего тут не было,— потупясь и глухим шепотом сказала Настя.

— Как ничего? — быстро спросила Фленушка.

— Глупости одни,— с недовольной улыбкой ответила Настя.— Ты же все затевала.

— Ну, ладно, ладно, пущай я причиной всему,— сказала Фленушка.— А все-таки скажу, что память у тебя коротка стала. С чего бы это?.. Аль кого полюбила?..

Настя вся вспыхнула. Сама ни слова.

— Что? Зазнобушка завелась? — приставала к ней Фленушка, крепко обняв подругу.— А?.. Да говори же скорей — сора из избы не вынесем... Аль не знаешь меня? Что сказано, то во мне умерло.

Как кумач красная, Настя молчала. На глазах слезы выступили, и дрожь ее схватывала.

— Да говори, говори же! — приставала Фленушка.— Скажи!.. Право, легче будет. Увидишь!..

Настя тяжело дышала, но крепилась, молчала. Не могла, однако, слез сдержать,— так и полились они по

щекам ее. Утерла глаза Настя передником и прижалась к плечу Фленушки.

— Полюбила... Впрямь полюбила? — допрашивала та.— Да говори же, Настенька, говори скорей. Облегчи свою душеньку... Ей-богу, легче станет, как скажешь... От сердца тягость так и отвалит. Полюбила?

— Да,— едва слышно прошептала Настя.

— Кого же?.. Кого?..— допытывалась Фленушка.— Скажи, кого? Право, легче будет... Ну, хоть зовут-то как?

Молчала Настя и плакала.

— Говорят тебе, скажи, как зовут?.. Как только имя его вымолвишь, так и облегчишься. Разом другая станешь. Как же звать-то?

— Алексеем! — шепотом промолвила Настя и, зарыдав, прижалась к плечу Фленушки...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ведется обычай у заволжских тысячников народу «столы строить». За такими столами угощают они окольных крестьян сытным обедом, пивом похмельным, вином зеленым, чтоб «к себе прикормить», чтоб работники из ближайших деревень домашней работы другим скупщикам не сбывали, а коль понадобятся тысячнику работники наспех, шли бы к нему по первому зову. У Патапа Максимыча столы строили дважды в году: перед Троицей да по осени, когда из Низовья хозяин домой возвращался. Угощенье у него бывало на широкую руку, мужик был богатый и тороватый, любил народ угостить и любил тем повеличаться. Ста по полутора за столами у него кормилось; да не одни работники, бабы с девками и подростки в Осиповку к нему пить-есть приходили.

На радостях, что на крещенском базаре по торгам удача выпала, а больше потому, что сватовство с богатым купцом наклевалось, Патап Максимыч задумал построить столы не в очередь. И то у него на уме было, что, забрав чересчур подрядной работы, много тысяч посуды надо ему по домам заказать. Для того и не мешало ему прикормить заране работников. Но главный замысел не тот был: хотелось ему будущим сватушке да зятьку по-

казать, каков он человек за Волгой, какую силу в народе имеет. «Пускай посмотрит,— раздумывал он, заложив руки за спину и расхаживая взад и вперед по горнице,— пускай поглядит Данило Тихоныч, каково Патап Чапурин в своем околотке живет, как «подначальных крестьян» хлебом-солью чествует и в каком почете мир-народ его держит».

В той стороне помещичьи крестьяне хоть исстари бывали, но помещиков никогда в глаза не видали. Заволжские поместья принадлежат лицам знатным, что, живя в столице либо в чужих кра́ях, никогда в наследственные леса и болота не заглядывают. И немцев-управляющих не знавал там народ. Миловал господь. Земля холодная, песчаная, неродимая, запашку заводить нет расчета. Оттого помещики и не сажали в свои заволжские вотчины немцев-управляющих, оттого и спас господь милостивый Заволжский край от той саранчи, что русской сельщине-деревенщине во времена крепостного права приходилась не легче татарщины, ляхолетья и длинного ряда недородов, пожаров и моровых поветрий. Все крестьяне по Заволжью были оброчные, пользовались всей землей сполна и управлялись излюбленными миром старостами. При отсутствии помещиков и управляющих так называемые тысячники пользовались большим значеньем. Вся промышленность в их руках, все рядовые крестьяне зависят от них и никак из воли их выйти не могут. Такой тысячник, как Патап Максимыч,— а работало на него до двадцати окольных деревень,— жил настоящим барином. Его воля — закон, его ласка — милость, его гнев — беда великая... Силен человек: захочет, всякого может в разор разорить.

«Ну-ка, Данило Тихоныч, погляди на мое житье-бытье,— продолжал раздумывать сам с собой Патап Максимыч.— Спознай мою силу над «моими» деревнями и не моги забирать себе в голову, что честь мне великую делаешь, сватая за́ сына Настю. Нет, сватушка дорогой, сами не хуже кого другого, даром что не пишемся почетными гражданами и купцами первой гильдии, а только государственными крестьянами».

Поутру́ на другой день вся семья за ведерным самоваром сидела. Толковал Патап Максимыч с хозяйкой о том, как и чем гостей потчевать.

— Беспременно за Никитишной надо подводу гнать,— говорил он.— Надо, чтоб кума такой стол состряпала, какие только у самых нáбольших генералов бывают.

— Справится ли она, Максимыч? — молвила Аксинья Захаровна.— Мастерица-то мастерица, да прихварывает, силы у ней против прежнего вполовину нет. Как в последний раз гостила у нас, повозится-повозится ý печи, да и приляжет на лавочке. Скажешь: «Полно, кумушка, не утруждайся»,— не слушается. Насчет стряпни с ней сладить никак невозможно: только приехала, и за стряпню, и хоть самой неможется, стряпка к печи не смей подходить.

— Помаленьку как-нибудь справится,— отвечал Патап Максимыч.— Никитишне из праздников праздник, как стол урядить ее позовут. Вот что я сделаю: поеду за покупками в город, заверну в Ключову, позову куму и насчет того потолкую с ней, что искупить, а воротясь домой, подводу за ней пошлю. Да вот еще что Аксиньюшка: не запамятуй послезавтра спосылать Пантелея в Захлыстино стяг свежины на базаре купил бы да две либо три свиные туши, баранины, солонины...

— На что такая пропасть, Максимыч? — спросила Аксинья Захаровна.

— Столы хочу строить,— ответил он.— Пусть Данило Тихоныч поглядит на наши порядки, пущай посмотрит, как у нас, за Волгой, народ угощают. Ведь по ихним местам, на Низу, такого заведения нет.

— Не напрасно ли задумал, Максимыч? — сказала Аксинья Захаровна.— На Михайлов день столы строили. Разве не станешь на Троицу?

— Осень — осенью. Троица — Троицей, а теперь само по себе... Не в счет, не в уряд... Сказано: хочу, и делу конец — толковать попусту нечего,— прибавил он, возвыся несколько голос.

— Слышу, Максимыч, слышу,— покорно сказала Аксинья Захаровна.— Делай, как знаешь, воля твоя.

— Без тебя знаю, что моя,— слегка нахмурясь, молвил Патап Максимыч.— Захочу, не одну тысячу народу сгоню кормиться... Захочу, всю улицу столами загорожу, и все это будет не твоего бабьего ума дело. Ваше бабье дело молчать да слушать, что большак приказывает!.. Вот тебе... сказ!

— Да чтой-то, родной, ты ни с того ни с сего расходился? — тихо и смиренно вмешалась в разговор мужа с женой мать Манефа.— И слова сказать нельзя тебе, так и закипишь.

— А тебе тоже бы молчать, спасённая душа,— отвечал Патап Максимыч сестре, взглянув на нее исподлобья.— Промеж мужа и жены советниц не надо. Не люблю, терпеть не могу!.. Слушай же, Аксинья Захаровна,— продолжал он, смягчая голос,— скажи стряпухе Арине, взяла бы двух баб на подмогу. Коли нет из наших работниц ловких на стряпню, на деревнях поискала бы. Да вот Анафролью можно прихватить. Ведь она у тебя больше при келарне? — обратился он к Манефе.

— Келарничает,— отвечала Манефа,— только ведь кушанья-то у нас самые простые да постные.

— Пускай поможет, не осквернит рук скоромятиной. Аль грех, по-вашему?

— Какой же грех,— сказала мать Манефа,— лишь бы было заповеданное. И у нас порой на мирских людей мясное стряпают, белицам тоже ину пору. Спроси дочерей, садились ли они у меня за обед без курочки аль без говядины во дни положённые.

— Не бойсь, спасёна душа,— шутливо сказал Патап Максимыч,— ни зайцев, ни давленых тетерек на стол не поставлю; христиане будут обедать. Значит, твоя Анафролья не осквернится.

— Уж как ты пойдешь, так только слушай тебя,— промолвила мать Манефа.— Налей-ка, сестрица, еще чайку-то,— прибавила она, протягивая чашку к сидевшей за самоваром Аксинье Захаровне.

— Слушай же, Аксинья,— продолжал Патап Максимыч,— народу чтоб вдоволь было всего: студень с хреном, солонина, щи со свежиной, лапша со свининой, пироги с говядиной, баранина с кашей. Все чтоб было сготовлено хорошо и всего было бы вдосталь. За вином спосылать, ренского непьющим бабам купить. Пантелей обделает. Заедок девкам да подросткам купить: рожков, орехов кедровых, жемков, пряников городецких. С завтрашнего дня брагу варить да сыченые квасы ставить.

— Пряников-то да рожков и дома найдется, посылать не для чего. От Михайлова дня много осталось,— сказала Аксинья Захаровна.

— Коли дома есть, так и ладно. Только смотри у меня, чтобы не было в чем недостачи. Не осрами,— сказал Патап Максимыч.— Не то, знаешь меня,— гости со двора, я за расправу.

— Не впервые, батько, столы-то нам строить, порядки знаем,— отвечала Аксинья Захаровна.

— То-то, держи ухо востро,— ласково улыбаясь, продолжал Патап Максимыч.— На славу твои именины справим. Танцы заведем, ты плясать пойдешь. Так али нет? — прибавил он, весело хлопнув жену по плечу.

— Никак ошалел ты, Максимыч! — воскликнула Аксинья Захаровна.— С ума, что ли, спятил?.. Не молоденький, батько, заигрывать... Прошло наше время!.. Убирайся прочь, непутный!

— Ничего сударыня Аксинья Захаровна,— говорил, смеясь, Патап Максимыч.— Это мы так, шутку, значит, шутим. Авось плечо-то у тебя не отломится.

— Нашел время шутки шутить,— продолжала ворчать Аксинья Захаровна.— Точно я молоденькая. Вон дочери выросли. Хоть бы при них-то постыдился на старости лет бесчинничать.

— Чего их стыдиться-то? — молвил Патап Максимыч.— Обожди маленько, и с ними мужья станут заигрывать еще не по-нашему. Подь-ка сюда, Настасья!

— Что, тятенька? — сказала Настя, подойдя к отцу.

— Станешь серчать, коли муж заигрывать станет? А? — спросил у нее Патап Максимыч.

— Не будет у меня мужа,— сдержанно и сухо ответила Настя, перебирая конец передника.

— Ан вот не угадала,— весело сказал ей Патап Максимыч.— У меня женишок припасен. Любо-дорого посмотреть!.. Вон на материных именинах увидишь... первый сорт. Просим, Настасья Патаповна, любить его да жаловать.

— Не пойду за него,— сквозь зубы проговорила Настя. Краска на щеках у ней выступила.

— Знамо, не сама пойдешь,— спокойно отвечал Патап Максимыч.— Отец с матерью вживе,— выдадут. Не век же тебе в девках сидеть... Вам с Параньκой не хлеб-соль родительскую отрабатывать,—засиживаться нечего. Эка, подумаешь, девичье-то дело какое,—прибавил он, обращаясь к жене и к матери Манефе,— у самой только и на уме, как бы замуж, а на речах: «не хочу» да «не пойду».

— Не приставай к Настасье, Максимыч,— вступилась Аксинья Захаровна.— И без того девке плохо можется. Погляди-ка на нее хорошенько, ишь какая стала, совсем извелась в эти дни. Без малого неделя бродит как очумелая. От еды откинуло, невеселая такая.

— Кровь в девке ходит, и вся недолга́,— заметил Патап Максимыч,— увидит жениха, хворь как рукой снимет.

— Да полно ж тебе, Максимыч, мучить ее понапрасну,— сказала Аксинья Захаровна.— Ты вот послушай-ка, что я скажу тебе, только не серчай, коли молвится слово не по тебе. Ты всему голова, твоя воля, делай как разумеешь, а по моему глупому разуменью, деньги-то, что на столы изойдут, нищей бы братии раздать, ну хоть ради Настина здоровья да счастья. Доходна до бога молитва нищего, Максимыч. Сам ты лучше меня знаешь.

— Разве заказано тебе оделять нищую братию? Нищие нищими, столы столами,— сказал Патап Максимыч.— Слава богу, у нас с тобой достатков на это хватит. Подавай за Настю, пожалуй, чтоб господь послал ей хорошего мужа.

— Заладил себе, как сорока Якова: муж да муж,— молвила на то Аксинья Захаровна.— Только и речей у тебя. Хоть бы пожалел маленько девку-то. Ты бы лучше вот послушал, что матушка Манефа про скитских «сирот» говорит. Про тех, что меж обителей особняком по своим кельям живут. Старухи старые, хворые; пить-есть хотят, а взять неоткуда.

— Да,— вступилась мать Манефа,— в нынешнее время куда как тяжко приходится жить сиротам. Дороговизна!.. С каждым днем все дороже да дороже становится, а подаянья сиротам, почитай, нет никакого. Масленица на дворе — ни гречневой мучки на блины, ни маслица достать им негде. Такая бедность, такая скудость, что един только господь знает, как они держатся.

— Сколько у вас сиротских дворов? — спросил Патап Максимыч.

— Тридцать пять,— отвечала Манефа.

— Вот тебе тридцать пять рублев,— молвил тысячник, вынимая десятирублевую и отдавая ее Манефе.— Деньги счел по старине, на ассигнации. Раздай по рублю на двор,— примолвил сестре.

— Спаси тя Христос,— сказала Манефа, перекрестясь и завязывая бумажку в уголок носового платка.

— Ну, вот и слава богу,— весело проговорила Аксинья Захаровна.— Будут сироты с блинами на масленице. А как же бедные-то обители, Максимыч? — продолжала она, обращаясь к мужу.— И тамошним старицам блинков тоже захочется.

— За них, сударыня моя, не бойся, с голоду не помрут,— сказал Патап Максимыч.— Блины-то у них масляней наших будут. Пришипились только эти матери, копни их хорошенько, пошарь в сундуках, сколь золота да серебра сыщешь. Нищатся только, лицемерят. Такое уж у них заведение.

— Ах, нет. Праздного слова, братец, не говори,— вступилась Манефа.— В достаточных обителях точно — деньжонки кой-какие водятся, говорить про то нечего, а по бедным не богаче сирот живут. Вот хоть у нас в Комарове взять: налицо осталось двенадцать обителей, в семи-то, дай бог здоровья благодетелям, нужды не терпим, грех на бога роптать. А в пяти остальных такая, братец, скудость, такая нищета, что — верь ты, не верь моему слову — ничем не лучше сиротских дворов. Напольных взять, Марфиных, Заречных, покойницы матушки Солоникеи, Рассохиных... Чем питаются, един господь ведает. Совсем не стало им теперь подаяния. Оскудела рука христиан, стали больше о суете думать, чем о душеспасенье. Так-то, родной. С тех пор как на Керженце у Тарасия да в Осиновском у Трифины старцы да старицы от старой веры отшатнулись, благодеющая рука христиан стала неразогбенна. Зачали, слышь ты, на Москве все наши заволжские обители в подозренье держать, все-де мы за Керженцом да за Осинками в это единоверие последуем. Заподозрили и присылать перестали. Вот оно что, а ты еще говоришь: лицемерят. Какое тут лицемерие, как есть-то нечего. Хоть нашу обитель взять. Ты не оставляешь, в Москве и в Питере есть благодетели, десять канонниц по разным местам негасиму читают, три сборщицы по городам ездят, ну, покуда бог грехам терпит, живем и молимся за благодетелей. Бояркины тоже, Жженины, Глафирины, Игнатьевы, Московкины, Таисеины, все благодетелями не оставлены. А другие совсем до конца дошли. Говорю тебе: пить-есть не-

чего. Рассохиных взять: совсем захудала обитель, а какая в стары годы была богатая. Матушка Досифея, ихняя игуменья, с горя да с забот в рассудке инда стала мешаться...

— Запбем, слышь, пьет,— заметил Патап Максимыч.

— Не греши напрасно, братец! — возразила Манефа.— Мало ль чего люди не наплетут! Какое питье, когда жевать нечего, одеться не во что!

— Зачала Лазаря! — сказал, смеясь, Патап Максимыч.— Уж и Рассохиным нечего есть! Эко слово, спасенная душа, ты молвила!.. Да у них, я тебе скажу, денег куча; лопатами, чай, гребут. Обитель-то ихняя первыми богачами строена. У вас в Комарове они и хоронились, и постригались, и каких за то вкладов не надавали! Пошарь-ка у Досифеи в сундуках, много тысяч найдешь.

— Оно точно, братец, в прежнее время Рассохиных обитель была богатая, это правда и по всему христианству известно,— сказала Манефа.— Одних инокинь бывало у них по пятидесяти, а белиц по сотне и больше. До пожара часовня ихняя по всем скитам была первая; своих попов держали, на Иргиз на каждого попа сот по пяти платили. Да ведь такое пространное житие было еще при стариках Рассохиных. А теперь, сам ты знаешь, каковы молодые-то стали. Стару веру покинули, возлюбили новую, брады побрили, вышли в господа и забыли отчие да дедние гробы. Как есть одна копейка, и той от них на родительску обитель не бывало. Слава мира обуяла Рассохиных; про обитель Комаровскую, про строение своих родителей, и слышать не хотят, гнушаются... Ну, и захудала обитель: беднеть да беднеть зачала. К тому же господь дважды посетил ее — горели.

— Сундуки-то, чать повытаскали? — спросил Патап Максимыч.

— Не успели,— молвила Манефа.— В чем спали, в том и выскочили. С той поры и началось Рассохиным житье горе-горькое. Больше половины обители врозь разбрелось. Остались одни старые старухи и до того дошли, сердечные, что лампадки на большой праздник нечем затеплить, масла нет. Намедни, в рождественский сочельник, спасову звезду без сочива встречали. Вот до чего дошли!

Патап Максимыч подумал немного. Молча достал бумажник, вынул четвертную[1] и, отдавая Манефе, сказал:

— Получай. Дели поровну: на пять обителей по пяти целковых. Пускай их едят блины на масленице. Подлей чайку-то, Захаровна. А ты, Фленушка, что не пьешь? Пей, сударыня: не хмельное, не вредит.

— Много благодарна, Патап Максимыч,— с ужимочкой ответила Фленушка.— Я уж оченно довольна, пойду теперь за работу.

— За какую это работу? — спросил Патап Максимыч.

— Пелену шью,— ответила Фленушка.— Матушка приказала синелью да шерстями пелену вышить, к масленице надо кончить ее беспременно. Для того с собой и пяльцы захватила.

— Ступай-ка в самом деле, Фленушка,— сказала мать Манефа,— пошей. Времени-та немного остается: на сырной неделе оказия будет в Москву, надо беспременно отослать. На Рогожское хочу пелену-то послать,— продолжала она, обращаясь к Патапу Максимычу.— Да еще хочу к матушке Пульхерии отписать, благословит ли она епископу омофор вышивать да подушку, на чем ему в службе сидеть. Рылась я, братец, в книгах, искала на то правила, подобает ли в шитом шерстями да синелью омофоре епископу действовать,— не нашла. Хоть бы единое слово в правилах про то было сказано. Остаюсь в сумненьи, парчовые ли только омофоры следует делать, али можно и шитые. Вот и отписываю,— матушка Пульхерия знает об этом доподлинно.

Фленушка пошла из горницы, следом за ней Параша. Настя осталась. Как в воду опущенная, молча сидела она у окна, не слушая разговоров про сиротские дворы и бедные обители. Отцовские речи про жениха глубоко запали ей на сердце. Теперь знала она, что Патап Максимыч в самом деле задумал выдать ее за кого-то незнаемого. Каждое слово отцовское как ножом ее по сердцу резало. Только о том теперь и думает Настя, как бы избыть грозящую беду.

— А тебе, Настасья, видно, и в самом деле неможется? — спросил ее отец.— Подь-ка сюда.

Опустя голову и перебирая угол передника, подошла Настя к дивану, где сидел Патап Максимыч.

---

[1] Двадцатипятирублевый кредитный билет.

— Совсем девка зачала изводиться,— вступилась Манефа.— Как жили они в обители, как маков цвет цвела, а в родительском дому и румянец с лица сбежал. Чудно́е дело!

— Уж пытала я, пытала у ней,— заметила Аксинья Захаровна,— скажи, мол, Настя, что болит у тебя? «Ничего, говорит, не болит...» И ни единого слова не могла от нее добиться.

— Сядь-ка рядком, потолкуем ладком,— сказал Патап Максимыч, сажая Настю рядом с собой и обнимая рукою стан ее.— Что, девка, раскручинилась? Молви отцу. Может, что и присоветует.

Не отвечала Настя. То в жар, то в озноб кидало ее, на глазах слезы выступили.

— Чего молчишь? Изрони словечко. Скажи хоть на ушко,— продолжал Патап Максимыч, наклоняя к себе Настину голову.

— Тошнехонько мне, тятя,— вполголоса сказала Настя.— Пусти ты меня, в светлицу пойду.

— Эту тошноту мы вылечим,— говорил Патап Максимыч, ласково приглаживая у дочери волосы.— Не плачь, радость скажу. Не хотел говорить до поры до времени, да уж, так и быть, скажу теперь. Жениха жди, Настасья Патаповна. Прикатит к матери на именины... Слышишь?.. Славный такой, молодой да здоровенный, а богач какой!.. Из первых... Будешь в славе, в почете жить, во всяком удовольствии... Чего молчишь?.. Рада?..

У Насти в три ручья слезы хлынули.

— Не пойду за него...— молвила, рыдая и припав к отцовскому плечу.— Не губи меня, голубчик тятенька... не пойду...

— Отец велит, пойдешь,— нахмурясь, строгим голосом сказал Патап Максимыч, отстраняя Настю.

Она встала и, закрыв лицо передником, горько заплакала. Аксинья Захаровна бросила перемывать чашки и сказала, подойдя к дочери:

— Полно, Настенька, не плачь, не томи себя. Отец ведь любит тебя, добра тебе желает. Полно же, пригожая моя, перестань!

Настя отерла слезы передником и отняла его от лица. Изумились отец с матерью, взглянув на нее. Точно не Настя, другая какая-то девушка стала перед ними. Гордо подняв голову, величаво подошла она к отцу и ров-

ным, твердым, сдержанным голосом, как бы отчеканивая каждое слово, сказала:

— Слушай, тятя! За того жениха, что сыскал ты, я не пойду... Режь меня, что хочешь делай... Есть у меня другой жених... Сама его выбрала, за другого не пойду... Слышишь?

— Что-о-о? — закричал Патап Максимыч, вскакивая с дивана.— Жених?.. Так ты так-то!.. Да я разражу тебя! Говори сейчас, негодница, какой у тебя жених завелся?.. Я ему задам...

Аксинья Захаровна так и обомлела на месте. Матушка Манефа, сидя, перебирала лестовку и творила молитву.

— Не достанешь, тятя, моего жениха,— с улыбкой молвила Настя.

— Кто таков?.. Сказывай, покаместь цела,— в неистовстве кричал Патап Максимыч, поднимая кулаки.

— Христос, царь небесный,— отступая назад, отвечала Настя.— Ему обещалась... Я в кельи, тять, иду, иночество приму.

Патап Максимыч на сестру накинулся:

— Твои дела, спасенница?.. Твои дела?.. Ты ей в голову такие мысли набила?

— Никогда я Настасье про иночество слова не говаривала,— спокойно и холодно отвечала Манефа,— беседы у меня с ней о том никогда не бывало. И нет ей моего совета, нет благословения идти в скиты.— Молода еще, голубушка,— не снесешь... Да у нас таких молодых и не постригают.

— А коль я к воротам твоим, тетенька, босая приду да, стоя у вереи в одной рубахе, громко, именем Христовым, зачну молить, чтобы допустили меня к жениху моему?.. Прогонишь?.. Запрешь ворота?.. А?..

— Нет, не могу ворот запереть,— отвечала игуменья.— Нельзя... Господь сказал: «Грядущего ко мне не изжену»... Должна буду принять.

— Так слушай же ты, спасённая твоя душа,— закричал Патап Максимыч сестре.— Твоя обитель мной только и дышит... Так али нет?

— Так точно,— отвечала Манефа.

— Знаешь ты, какие строгие наказы из Питера насланы?.. Все скиты вконец хотят порешить, праху чтоб

ихнего не осталось, всех стариц да белиц за караулом по своим местам разослать... Слыхала про это?

— Как не слыхать! — спокойно сказала Манефа.

— А кто от вас эту беду до поры до времени, покуда сила да мочь есть, отводит? — продолжал Патап Максимыч.— Кто за вас у начальства хлопочет?.. Знаешь?..

— Знаю, что ты наш заступник. Тобой держимся,— молвила Манефа.

— Так помни же мое слово и всем игуменьям повести,— кипя гневом, сказал Патап Максимыч,— если Настасья уходом уйдет в какой-нибудь скит,— и твоей обители и всем вашим скитам конец... Слово мое крепко... А ты, Настасья,— прибавил он, понизив голос,— дурь из головы выкинь... Слышишь?.. Ишь какая невеста Христова проявилась!.. Чтоб я не слыхал таких речей...

Сказав это, Патап Максимыч вышел из горницы и крепко хлопнул за собой дверью...

* * *

На другой день после того у Чапуриных баню топили. Хоть дело было и не в субботу, но как же приехавших из Комарова гостей в баньке не попарить? Не по-русски будет, не по старому завету. Да и сам Патап Максимыч такой охотник был париться, что ему хоть каждый день баню топи.

Баня стояла в ряду прочих крестьянских бань за деревней, на берегу Шишинки, для безопасности от пожару и чтобы летом, выпарившись в бане, близко было окунуться в холодную воду речки. Любит русский человек, выпарившись, зимой на снегу поваляться, летом в студеной воде искупаться. Перед сумерками пошла париться Аксинья Захаровна с дочерьми и Фленушкой, Матрена работница шла с ними для послуги. Из дому в баню надо идти мимо токарен, от них узенькая тропинка пролегала середи сугробов к Чапуринской бане. Высокая, белая [1], светлая, просторная, она и снаружи смотрела дворянскою, а внутри все было чисто и хорошо прибрано. Липовые полки, лавки и самый пол по нескольку раз в год строгались скобелем, окна в бане были большие, со стеклами, и чистый передбанник прирублен был.

---

[1] Белою называется баня с дымовою трубой, а не курная, которую зовут обыкновенно черною.

Фленушка вышла из дому последняя, и когда вошла в передбанник, Аксинья Захаровна с Парашей уже разделись и ушли в баню, где Матрена полки и лавки подмывала. Настя еще раздевалась.

— Сейчас узнала, в которой токарне чей-то милый дружок работает,— вполголоса сказала ей вошедшая Фленушка,— вторая с краю, от нее тропинка к бане проложена.

— Зачем узнавала, Фленушка? — спросила Настя.

— Да так, на всякий случай. Может быть, пригодится,— отвечала Фленушка.— Ну, к примеру сказать, весточку какую велишь передать, так я уж и знаю, куда нести.

— Какие весточки? С ума ты, что ли, сошла?

— Да разве сохнуть тебе? — сказала Фленушка.— Надо же вас свести; жива быть не хочу, коль не сведу. Надо и его пожалеть. Пожалуй, совсем ума решится, тебя не видаючи.

— Может быть, он и думать-то про меня не хочет,— сказала Настя.

— Дурак он, что ли? — отвечала Фленушка.— Кто от этакой красоты отворотится? Смотри-ка какая!..— прибавила она, глядя на раздевавшуюся девушку.— Жизнь бы свою Алешка отдал, глазком бы только взглянуть теперь на свою сударушку. Ишь какая пышная, сдобная, белая!.. Точно атлас на пуху.

И принялась щекотать Настю.

— Да полно же тебе, безумная! — крикнула Настя и побежала в баню.

Часа через полтора настали сумерки. В токарнях зашабашили. Алексей остался в своей, чтобы маленько поизладить станок, он подводил к нему новый ремень. Провозился он с этим делом долго, все токари по своим местам разошлись, и токарни были на запоре. Когда вышел он и стал запирать свою токарню, почти совсем уже стемнело. Кругом ни души. Оглянувшись назад, увидел Алексей, что по тропинке из бани идет какая-то женщина в шубе, укрытая с головы большим шерстяным платком, и с веником под мышкой. Когда она подошла поближе, он узнал Фленушку. Аксинья Захаровна с дочерьми давно уж домой прошла.

— Здоровенько ль поживаешь, Алексей Трифоныч? — сказала Фленушка, поровнявшись с ним.

— Славу богу, живем помаленьку,— отвечал он, снимая шапку.

— Кланяться тебе велели,— сказала она.

— Кто велел кланяться? — спросил Алексей.

— Ишь какой недогадливый! — засмеясь, отвечала Фленушка.— Сам кашу заварил, нагнал на девку сухоту да еще спрашивает: кто?.. Ровно не его дело... Бесстыжий ты эдакой!.. На осину бы тебя!..

— Да про кого ты говоришь? Мне невдомек,— сказал Алексей, а у самого сердце так и забилось. Догадался.

— Некогда мне с тобой балясы точить,— молвила Фленушка.— Пожалуй, еще Матрена из бани пойдет да увидит нас с тобой, либо в горницах меня хватятся... Настасья Патаповна кланяться велела. Вот кто... Она по тебе сокрушается... Полюбила с первого взгляда... Вишь глаза-то у тебя, долговязого, какие непутные, только взглянул на девку, тотчас и приворожил... Велишь, что ли, кланяться?

— Поклонись, Флена Васильевна,— сказал Алексей, с жаром схватив ее за руку.— Сам я ночи не сплю, сам от еды отбился, только и думы, что про ее красоту неописанную.

— Ну, ладно,— молвила Фленушка.— Повидаемся на днях; улучу времечко. Молчи у меня, беспременно сведу вас.

— Сведи, Флена Васильевна, сведи,— радостно вскрикнул Алексей.— Век стану за тебя богу молиться!

Фленушка ушла. У Алексея на душе стало так светло, так радостно, что он даже не знал, куда деваться. На месте не сиделось ему: то в избе побудет, то на улицу выбежит, то за околицу пойдет и зальется там громкою песней. В доме петь он не смел: не ровен час, осерчает Патап Максимыч.

* * *

После этого Алексей несколько раз виделся с Фленушкой. И каждый раз передавала она ему поклоны от Насти и каждый раз уверяла его, что Настя дó веку его не разлюбит и, кроме его, ни за кого замуж не пойдет.

— Не отдадут ее за меня,— грустно сказал Алексей Фленушке, когда заговорила она о свадьбе.— У нас с Настасьей Патаповной ровна любовь, да не ровны обычаи. Патап Максимыч и богат и спесив: не отдаст дети-

ще за бедного работника, что у него же в кабале живет... Ведь я в кабале у него, Флена Васильевна, на целый год закабален... Деньги отцу моему он выдал наперед, чтобы нам домом поправиться: ведь сожгли нас, обокрали, может быть, слыхала?.. А ты сама знаешь, закабаленный своих выдает? Так и тут: все едино... Да и захочет ли еще Настасья Патаповна себя потерять, выйдя за меня?

— Ради милого и без венца нашей сестре не жаль себя потерять! — сказала Фленушка.— Не тужи... Не удастся свадьба «честью», «уходом» ее справим... Будь спокоен, я за дело берусь, значит, будет верно... Вот подожди, придет лето: бежим и окрутим тебя с Настасьей.. У нее положено, коль не за тебя, ни за кого нейти... И жених приедет во двор, да поворотит оглобли, как несолоно хлебал... Не вешай головы, молодéц, наше от нас не уйдет!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

По приказу Патапа Максимыча зачали у него брагу варить и сыченые квасы из разных солодов ставить. Вари большие: ведер пó сороку. Слух, что Чапурин на Аксинью-полухлебницу работному народу задумал столы рядить, тотчас разнесся по окольным деревням. Все деревенские, особенно бабы, не мало раздумывали, не мало языком работали, стараясь разгадать, каких ради причин Патап Максимыч не в урочное время хочет народ кормить.

В самый тот день, как у Чапуриных брагу заварили, в деревне Ежове, что стоит на речке Шишинке в полутора верстах от Осиповки, собрались мужики у клетей на улице и толковали меж собой про столы Чапуринские. Кто говорил, что, видно, Патапу Максимычу в волостных головах захотелось сидеть, так он перед выборами мир задабривает, кто полагал, не будет ли у него в тот день какой-нибудь «пóмочи» [1]. Но все это нескладно-

---

[1] «Пóмочью», иначе «тóлокой», называется угощенье за работу. Хозяин, желающий какое-нибудь дело справить разом в один день, созывает к себе соседей на работу и ставит за нее сытный обед с пивом и вином. «Помочáне» работают и утром и после обеда и в один день управляются с делом. На «пóмочи» сзывают большей частью крестьяне недостаточные, у которых в семье мало рабочих. Люди богатые, тысячники не делают «пóмочей». У сельских попов полевые работы все больше «тóлокой» справляются.

неладно придуманное тут же ежовским миром и осмеивалось. И в самом деле: захотелось бы Патапу Максимычу в головы, давным бы давно безо всяких угощеньев его целой волостью выбрали, да не того он хочет; не раз откупался, ставя на сходе ведер по пяти зелена̀ вина для угощенья выборщиков. На «то́локу» народ собирать ему тоже не стать: мужик богатый, к тому же тороватый, горд, спесив, любит по́чет: захочет ли миром одолжаться? На что ему «помочь», когда в кармане чистоган не переводится. С добрый час протолковали ежовские мужики, стоя кучкой у клетей, но ничего на дело похожего не придумали. Баба дело решила, да так метко, будто у Чапурина в голове сидела и мысли его читала.

Шла по́ воду тетка Акулина, десятника жена. Поровнявшись с мужиками, поставила ведра наземь. Как не послушать бабе, про что мужики говорят.

— Эх вы, умные головы,— крикнула она, вслушавшись в мирские речи,— толкуют, что воду толкут, а догадаться не могут. Кто что ни скажет, не под тот угол клин забивает... Слушать даже тошно.

На бабу, как водится, накинулись, осмеяли, кто-то выругал, а муж, тут же стоявший, велел ей идти, куда шла, и зря не соваться, куда не спрашивают.

— Да что вы, лешие, без пути зубы-то скалите? — крикнула Акулина.— Стоят, из пустого в порожнее перекладывают, а разгадать ума не хватает. Знаю, к чему Чапурины пиры затевают.

— Ну, сказывай, коли знаешь! — заговорили мужики.

— У Патапа Максимыча дочери-то заневестились,— сказала Акулина,— вот и сзывает он купцов товар показать. Смотрины будут.

— Ай да тетка Акулина! Рассказала, как размазала! — заголосили мужики.

— А баба-то, пожалуй, и правдой обмолвилась,— сказал тот, что постарше был.— Намедни «хозяин» при мне на базаре самарского купца Снежкова звал в гости, а у того Снежкова сын есть, парень молодой, холостой; в Городце частенько бывает. Пожалуй, и в самом деле не свадьба ль у них затевается.

Акулина посмеялась над мужиками и пошла своей дорогой к колодцу. Тут по всем дворам бабам ровно по-

вестку дали; все к колодцу с ведрами сбежались и зачали с Акулиной про Чапуринскую свадьбу растабарывать. Молодица из деревни Шишкина случилась тут. Выслушав, в чем дело, не заходя к тетке, к которой было из-за двух верст приходила покланяться, чтобы та ей разбитую кринку берестой обмотала, побежала домой без оглядки, точно с краденым. Как прибежала, так всех шишкинских баб повестила, что у Чапуриных смотрины будут. Из Шишкина бабы, подымя хвосты, по другим деревням побежали кумушкам новость рассказать. И пошел говор про смотрины по всем деревням. Везде про Настю речь вели, потому что нестаточное, необычное вышло бы дело, если б меньшая сестра вперед старшей пошла под венец.

Пущенные Акулиной вести дошли до Осиповки. В одном из мшенников, что целым рядом стояли против дома Чапурина, точили посуду три токаря, в том числе Алексей. Четвертый колесо вертел.

— Слышал, Петруха, у хозяев-то брагу варят,— говорил коренастый рыжеватый парень, стоя за станком и оттачивая ставешок.

— Как не слыхать! — ответил Петруха, весело вертя колесо, двигавшее три станка.— Столы, слышно, хозяин строить задумал. Пантелея Прохорыча завтра в Захлыстино на базар посылают свежину да вино искупать. Угощенье, слышь, будет богатое. Ста полтора либо два народу будут кормить.

— Где ж столы-то рядить? — спросил токарь Матвей.— Я, парень, что-то не слыхивал, чтобы зимой столы ставили. На снегу да на морозе что за столованье! Закрутит мороз, так на воле-то варево смерзнет.

— Мало разве у хозяина изб да подклеток! — заметил Петруха.

— Все ж полутора стам не усесться,— молвил третий работник, Мокеем звали — прозвищем Чалый.

— Очередь станут держать, по-скитски, как по обителям в келарнях странних угощают,— отвечал Матвей.— Одни покормятся и вон из-за столов, на их место другие.

— Разве что так,— молвил Петруха, соглашаясь с Матвеем.— Городовые купцы, слышь, наедут,— прибавил он.

— Пир готовят зазвонистый,— сказал Мокей.— Рукобитье будет, хозяин-от старшую дочь пропивать станет.

Ровно ножом полоснул Алексею по́-сердцу. Хоть говорила ему Фленушка, что опричь его Настя ни за кого не пойдет, но нежданная новость его ошеломила.

— В дом, что ли, зятя-то берут? — спросил Петруха.

— Куда, чай, в дом! — отозвался Чалый.— Пойдет такой богач к мужику в зятьях жить! Наш хозяин, хоть и тысячник, да все же крестьянин. А жених-от мало того, что из старого купецкого рода, почетный гражданин. У отца у его, слышь, медалей на шее-то что навешано, в городских головах сидел, в Питер ездил; у царя во дворце бывал. Наш-то хоть и спесив, да Снежковым на версту не будет.

— Снежковых разве жених-от? — спросил Матвей.— Не самарский ли?

— Самарские, по всей Волге купцы известные,— отвечал Чалый.

— Куда ж ему в зятья к мужику идти,— сказал Матвей,— у него, братец ты мой, заводы какие в Самаре, дома̀, сам я видел; был ведь я в тех местах в позапрошлом году. Пароходов своих четыре ли, пять ли. Не пойдет такей зять к тестю в дом. Своим хозяйством, поди, заживут. Что за находка ему с молодой женой, да еще с такой раскрасавицей, в наших лесах да в болотах жить!

Сильней и сильней напирал Алексей острым резцом на чашку, которую дотачивал. В глазах у него зелень ходенем заходила, ровно угорел, в ушах шум стоит, сердце так и замирает. Тогда только и опомнился, как резцом сквозь чашку прошел.

— Что это ты, Алексей? — с усмешкой спросил его вертельщик Петруха.— Сквозь прорезал.

— Сорвалось! — сквозь зубы молвил Алексей и бросил испорченную чашку в сторону. Никогда с ним такого греха не бывало, даже и тогда не бывало, как, подростком будучи, токарному делу учился. Стыдно стало ему перед токарями. По всему околотку первым мастером считается, а тут, гляди-ка, дело какое.

Зашабашили к обеду. Алексею не до еды. Пошел было в подклет, где посуду красят, но повернул к лестнице, что ведет в верхнее жилье дома, и на нижних ступенях

остановился Ждал он тут с четверть часа, видел, как пробрела по́ верху через сени матушка Манефа, слышал громкий топот сапогов Патапа Максимыча, заслышал, наконец, голос Фленушки, выходившей из Настиной светлицы. Уходя, она говорила: «Сейчас приду, Настенька!»

— Флена Васильевна,— отозвался с лестницы Алексей.

Она взглянула вниз, опершись грудью о перила и свесив голову.

— Что ты какой? — спросила она вполголоса.— Сам на себя не похож?

— Сойди на минуточку,— сказал Алексей.— Здесь в подклете нет никого — все обедают.

Фленушка сбежала в подклет.

— Бог тебе судья, Флена Васильевна,— сказал Алексей.— За что же ты надо мной насмеялась?.. Ведь этак человека недолго уморить!

— С ума, что ли, спятил? — спросила Фленушка.— Чем я над тобой насмеялась?

— Какие речи ты от Настасьи Патаповны мне переносила?.. Какие слова говорила?.. Зачем же было душу мою мутить? Теперь не знаю, что и делать с собой — хоть камень на шею да в воду.

— Да ты белены объелся али спьяну мелешь сам не знаешь что? — сказала Фленушка.— Да как ты только подумать мог, что я тебя обманываю?.. Ах ты, бесстыжая твоя рожа!.. За него хлопочут, а от него вот благодарность какая!.. Так ты думаешь, что и Настя облыжные речи говорила... А?..

— От Настасьи Патаповны доселева я никаких речей не слыхивал,— молвил Алексей.— С тобой у меня разговоры бывали!.. Вспомни-ка, что́ ты мне говорила, а вот — готовят пиры, жениха из Самары ждут.

— Только-то? — сказала Фленушка и залилась громким хохотом. — Ну, этих пиров не бойся, молодец. Рукобитью на них не бывать! Пусть их теперь праздничают, а лето придет, мы запразднуем: тогда на нашей улице праздник будет... Слушай: брагу для гостей не доварят, а тебя сведу с Настасьей. Как от самой от нее услышишь те же речи, что я переносила, поверишь тогда?.. А?..

— Поверю,— потупясь, отвечал Алексей.

— Меня попрекать да обманщицей обзывать не станешь?

— Не буду,— проговорил он.

— То-то же. Ступай теперь. Выкинь печаль из головы, не томи понапрасну себя, а девицу красну в пущу тоску не вгоняй.

Мало успокоили Фленушкины слова Алексея. Сильно его волновало, и не знал он, что делать: то на улицу выйдет, у ворот посидит, то в избу придет, за работу возьмется, работа из рук вон валится, на полати полезет, опять долой. Так до сумерек пробился, в токарню не пошел, сказал старику Пантелею, что поутру угорел в красильне.

— Долго ли в красильне угореть,— отвечал Пантелей.— Ты бы по морозцу без шапки походил — облегчит.

— И впрямь пойду на мороз,— сказал Алексей и, надев полушубок, пошел за околицу. Выйдя на дорогу, крупными шагами зашагал он, понурив голову. Прошел версту, прошел другую, видит мост через овраг, за мостом дорога на две стороны расходится. Огляделся Алексей, опознал место и, в раздумье постояв на мосту, своротил налево в свою деревню Поромово.

Громко раздавалась по крытому снегом полю Алексеева песня:

Ох ты, горе мое, горе-гореваньице,
Ты печаль моя, тоска лютая.
Загубила ты добра-молодца,
Красна девица, дочь отецкая.

В каждом звуке песни слышались слезы и страшная боль тоскующей души.

* * *

После крупного разговора с отцом, когда Настя объявила ему о желанье надеть черную рясу, она ушла в свою светелку и заперлась нà крюк. Не один раз подходила к двери Аксинья Захаровна и стучалась, и громко окликала дочь, похныкала даже маленько, авось, дескать, материны слезы не образумят ли девку, но

дверь не отмыкалась, и в светлице было тихо, как в гробу.

«Уснула,— подумала Аксинья Захаровна.— Пускай ее отдохнет... Эка беда стряслась, и не чаяла я такой!.. Гляди-ка-сь, в черницы захотела, и что ей это в головоньку втемяшилось?.. На то ли я ее родила да вырастила?.. А все Максимыч!.. Лезет со своим женихом!..»

Пошла Аксинья Захаровна в другую боковушку, к Параше. Там Фленушка сидела за пяльцами, вышивая пелену, а Параша на мотовиле шерсть разматывала. Фленушка пела скитскую песню, Параша ей подтягивала:

Из пустыни старец
В царский дом приходит,
Он принес с собою,
Он принес с собою
Прекрасный камень,
Толь прекрасный, прелюбезный,
Предрагий.
Иосаф царевич,
Сын царя индейского,
Просит купца-старца:
«Покажи мне каменёк,
Покажи мне дорогой,
Я увижу и спознаю
Ему цену».
«Когда ты возможешь
Небеса измерить,
Небеса измерить,
Все моря и земли
В горсть свою схватить,
А все против камня
Ровно ничего».
«А! купец премудрый,—
Говорит царевич,—
Скажи свою тайну,
Как на свет явился,
Как на свет явился,
Где теперь хранится
Камень тот драгой?»
Отвечает старец,
Вид купца приявший,
Преподобный Варлаам:
«Камень не хранится,
Камень не хранится,
С нами пребывает
Он завсегда.
Пречистая дева
Родила сей камень,
В ясли положила,
Грудью воскормила,

Грудью воскормила
Бога-человека,
Спасителя.
Он ныне пребывает
Выше звезд небесных,
Солнце со звездами,
А земля с морями,
А земля с морями
Непрестанно славят
Его завсегда».

— Заперлась,— грустно сказала Аксинья Захаровна, обращаясь к Фленушке.— И окликала ее и стучалась к ней, нишкнет голубушка... А ты что, Параня, как смотришь?.. Аль не жалко сестры-то?.. — прибавила она, заметив, что та усмехается, поглядывая на Фленушку. Но Фленушка была спокойна и даже тоскливо смотрела на Аксинью Захаровну. Она уж и Парашу кое-чему научила: как говорить с отцом, с матерью, но той и супротивничать-то лень была. Спать бы только ей да валяться на мягком пуховике — другой отрады не знавала Параша.

— Не о чем ей убиваться-то, мамынька,— молвила Параша. — Что в самом деле дурь-то на себя накидывает?.. Как бы мне тятя привез жениха, я бы, кажись, за околицу навстречу к нему...

— Ах ты, срамница, бесстыдница! — крикнула Аксинья Захаровна.— Где ты этому научилась, где таких слов набралась, беспутная голова твоя?.. Навстречу!.. За околицу!.. А вот я тебя дубцом!..[1]

— Да что ж, мамынька? Коли Насте тятенькин жених не по мысли, отдай мне его, с радостью пойду.

— Ах ты, бесстыжая!.. Ах ты, безумная! — продолжала началить Парашу Аксинья Захаровна.— А я еще распиналась за вас перед отцом, говорила, что обе вы еще птенчики!.. Ах, непутная, непутная!.. Погоди ты у меня, вот отцу скажу... Он те шкуру-то спустит.

— Не спустит. Не за что,— отвечала Параша.

Насилу уняла Парашу Аксинья Захаровна.

— Фленушка,— сказала она,— отомкнется Настя, перейди ты к ней в светелку, родная. У ней светелка большая, двоим вам не будет тесно. И пяльцы перенеси,

---

[1] *Дубец* — розга.

и ночуй с ней. Одну ее теперь нельзя оставлять, мало ли что может приключиться... Так ты уж, пожалуйста, пригляди за ней... А к тебе, Прасковья, я Анафролью пришлю, чтоб и ты не одна была... Да у меня дурь-то из головы выкинь, не то смотри!.. Перейди же туда, Фленушка.

— Слушаю, Аксинья Захаровна,— молвила в ответ Фленушка. — Как отомкнется, тотчас переберусь. Там же мне и вышивать светлее, окна-то на полдень.

— Поразговори ты ее,— говорила Аксинья Захаровна,— развесели хоть крошечку. Ведь ты бойкая, Фленушка, шустрая и мертвого рассмешишь, как захочешь... Больно боюсь я, родная... Что такое это с ней поделалось — ума не могу приложить.

— Ничего, Аксинья Захаровна,— молвила в ответ Фленушка.— Не беспокойтесь: все минет, все пройдет.

— Дай-ка бог, дай-ка бог,— вздохнула Аксинья Захаровна и пошла из Парашиной боковуши.

Фленушка, подойдя к Настиной светелке, постучалась и, точно в кельях, громко прочитала молитву Исусову. Услышав Фленушкин голос, Настя отомкнулась.

— Я к тебе ровно к старице в келью, с молитвой,— смеясь, сказала Фленушка.— Творить ли метания перед честною инокиней, просить ли прощенья и благословенья?

— Тебе, Фленушка, смехи́ да шутки,— упрекнула ее, обливаясь слезами, Настя.— А у меня сердце на части разрывается. Привезут жениха, разлучат меня...

— Ну, это еще посмотрим, разлучат ли тебя, нет ли с Алешкой,— молвила Фленушка.— Всех проведем, всех одурачим, свадьбу «уходом» сыграем. Надейся на меня да слушайся, все по хотенью нашему сбудется.

— Ах, Фленушка, Фленушка... и хотелось бы верить, да не верится,— отирая слезы, сказала Настя.— Вон тятенька-то как осерчал, как я по твоему наученью свысока поговорила с ним. Не вышло ничего, осерчал только пуще...

— А зачем черной рясой пугала? — возразила Фленушка.— Нашла чем пригрозить!.. Скитом да небесным женихом!.. Эка!.. Так вот он и испугался!.. Как же!.. Властен он над скитами, особенно над нашей обителью. В скиту от него не схоронишься. Изо всякой обители

выймет, ни одна игуменья прекословить не посмеет. Все ему покоряются, потому что — сила.

— И сама не знаю, как на ум мне взошло про черничество молвить,— сказала Настя.

— А ты вот что скажи ему, чтобы дело поправить,— говорила Фленушка.— Только слез у тебя и следов чтобы не было... Коли сам не зачнет говорить, сама зачинай, пригрози ему, да не черной рясой, не иночеством...

— Чем же? — спросила Настя.

— Сначала речь про кельи поведи, не заметил бы, что мысли меняешь. Не то твоим словам веры не будет, — говорила Фленушка. — Скажи: если, мол, ты меня в обитель не пустишь, я, мол, себя не пожалею: либо руки на себя наложу, либо какого ни на есть парня возьму в полюбовники да «уходом» за него и уйду... Увидишь, какой тихонький после таких речей будет... Только ты скрепи себя, что б он ни делал. Неровно и ударит: не сробей, смело говори да строго, свысока.

— Хорошо,— сказала Настя,— хоть и жалко мне его, тятеньку-то. Ведь он добрый, Фленушка.

— А Алешку-то разве не жалко? — прищурив глаза, лукаво спросила Фленушка.

— Ах, Фленушка!.. И его мне жалко... Рада жизнь отдать за него,— сказала Настя.

— То-то и есть,— молвила Фленушка.— Коль отца пуще его жалеешь, выходи за припасенного жениха.

— Нет, нет, ни за̀ что на свете!..— с жаром заговорила Настя.— Удавлюсь, либо камень на шею да в воду, а за тем женихом, что тятя на базаре сыскал, я не буду...

— Так и отцу говори,— молвила Фленушка, ободрительно покачивая головою.— Этими самыми словами и говори, да опричь того «уходом» пугни его. Больно ведь не любят эти тысячники, как им дочери такие слова выговаривают... Спесивы, горды они... Только ты не кипятись, тихим словом говори. Но смело и строго... Как раз проймешь, струсит... Увидишь.

— Сделаю по-твоему, Фленушка,— сказала Настя.— Сегодня же сделаю. А его видела? — прибавила она, понизив голос.

— Алексея-то?

— Да,— полушепотом промолвила Настя.

— Видела. И он тем же женихом беспокоится,— сказала Фленушка.— Как хочешь, Настенька, а вам надо беспременно повидаться, обо всем промеж себя переговорить. Да я сведу вас. Аксинья-то Захаровна велела мне в твою светелку перебраться.

— В самом деле? — радостно вскрикнула Настя.— То-то наговоримся...

— Не в том дело,— отвечала Фленушка.— То хорошо, что, живучи с тобой, легче мне будет свести вас. Вот я маленько подумаю, да все и спроворю.

И, прищелкивая пальцами, весело запела:

Я у батюшки дочка была, я у тысячника,
У тысячника.
Приневоливал меня родной батюшка,
Приговаривала матушка
Замуж девушке идти,
Да идти да и замуж
Девушке идти.
Во все грехи тяжкие,
Грехи тяжки поступить,
Тяжки поступить.
Да дождусь я, девка, темной ночи,
Во полночи уйду в темный лес,
Да и в лес.

За обедом Патап Максимыч был в добром расположении духа, шутки шутил даже с матушкой Манефой. Перед обедом долго говорил с ней, и та успела убедить брата, что никогда не советовала она племяннице принимать иночество. Больше всего Патап Максимыч над Фленушкой подшучивал, но та сама зубаста была и, при всей покорности, в долгу не оставалась. Настя молчала.

Отобедали, по своим местам разошлись. Патап Максимыч прошел в Настину светелку и сказал Фленушке, чтобы она подождала, покуда он станет с дочерью говорить, не входила б в светелку.

— Я нарочно пришел к тебе, Настя, добрым порядком толковать,— начал Патап Максимыч, садясь на дочерину кровать.— Ты не кручинься, не серчай. Давеча я пошумел, ты к сердцу отцовских речей не примай. Хочешь, бусы хороши куплю?

— Не надо мне, тятенька, подарков твоих,— сухо ответила Настя.— И без того много довольна. Не дари меня, только не отнимай воли де́вичьей.

— Какая это воля дéвичья? — спросил, улыбаясь, Патап Максимыч.— Шестой десяток на свете доживаю, про такую волю не слыхивал. И при отцах наших и при дедах про дéвичью волю не было слышно. Что ж это за воля такая ноне проявилась? Скажи-ка!

— А вот какая это воля, тятенька,— отвечала Настя.— Примером сказать, хоть про жениха, что ты мне на базаре где-то сыскал, Снежков, что ли, он там прозывается. Не лежит у меня к нему сердце, и я за него не пойду. В том и есть воля девичья. Кого полюблю, за того и отдавай, а воли моей не ломай.

— Да ведь ты еще не видала Снежкова,— сказал Патап Максимыч.— Может, приглянется. Парень молодой, разумный.

— Что молод, про то спорить не стану, не видала,— молвила Настя.— А разумен ли, не знаю.

— Я тебе сказываю, что разумен,— возразил Патап Максимыч.— Аль не веришь отцу?

— Верю, тятя,— молвила Настя.— Только вот что скажи ты мне: где ж у него был разум, как он сватал меня? Не видавши ни разу,— ведь не знает же он, какова я из себя, пригожа али нет,— не слыхавши речей моих,— не знает, разумна я али дура какая-нибудь. Знает одно, что у богатого отца молодые дочери есть, ну и давай свататься. Сам, тятя, посуди, можно ли мне от такого мужа счастья ждать?

— Да он не сам сватался,— сказал Патап Максимыч.— Мы с его родителем ладили дело.

— А! старики решили, значит! — улыбаясь, сказала Настя.— Пускай, дескать, детки живут, как себе знают... А скажи мне, тятя, как у вас речь про свадьбу зашла? Ты зачал али Снежков?

Промолчал Патап Максимыч.

— Ведь не ты же, тятя, первый зачал,— продолжала Настя.— Не станешь же ты у богатых купцов своим дочерям женихов вымаливать. Не такой ты человек, дочерей не продашь.

Совестно стало Чапурину. Встал он с кровати и зачал крупными шагами сновать взад и вперед по светлице.

— Несодеянное говоришь! — зачал он.— Что за речи у тебя стали!.. Стану я дочерей продавать!.. Слушай, до самого Рождества Христова единого словечка про свадьбу тебе не молвлю... Целый год — одумаешься тем

временем. А там поглядим да посмотрим... Не кручинься же, голубка,— продолжал Патап Максимыч, лаская дочь.— Ведь ты у меня умница.

— Прости меня, тятя, голубчик, что давеча я тебя на гнев навела,— склонив головку на отцовскую грудь, молвила Настя.

— Ну, и меня прости,—сказал Патап Максимыч, поглаживая волосы Насти и целуя ее в глаза.

— Только попомни, тятя, мое слово,— решительно и твердо проговорила Настя.— Коли вздумаешь меня силой замуж отдать, я над собой что-нибудь сделаю.

— Что сделаешь? — вызывающим голосом спросил Патап Максимыч.

— В скит уйду, черну рясу надену,— сказала Настя.— А возьмешь из обители,— потеряю себя.

— Эк что вздумала! — вскрикнул тревожно Чапурин.

— Руки наложу на себя: камень на шею да в воду!— сверкая очами, молвила Настя.— А не то еще хуже наделаю! Замуж «уходом» уйду!.. За первого парня, что на глаза подвернется, будь он хоть барский!.. Погоней отобьешь — гулять зачну.

— Что ты, Настасья? — смутясь от слов дочери и понизив голос, сказал Патап Максимыч.— В уме ли?.. Да как у тебя язык повернулся такое слово сказать?

— К слову только сказала,— сдержанно ответила Настя.

— Не забирай же в голову пустяков,— строго, но тихо промолвил Чапурин, уходя из светелки.— Покуда прощай.

Патап Максимыч ушел в свою заднюю, прилег уснуть, но сон не брал его. Настины слова из ума не выходили. «Девка с норовом,— думал он.— С виду тихоней смотрит, а гляди-ка какая!.. «Уходом!..» Нет, ни окриком, ни плетью такую не проймешь... Хуже начудит... Лаской надо, делать нечего... «Уходом!..» Эко слово сказала!..»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«Свадьба уходом» — в большом обыкновенье у заволжских раскольников. Это — похищение девушки из родительского дома и тайное венчанье с нею у расколь-

ничьего попа, а чаще в православной церкви, чтоб дело покрепче связано было. Венчанье у раскольничьего попа поди еще доказывай, а в церкви хотя не по-старому венчаны, хоть не по́солонь вкруг налоя вожены, да дело выходит не в пример крепче: повенчанного в великороссийской с женой не развенчаешь, хоть что делай. Оттого при «свадьбах уходом» раскольники больше и бегают к церковному попу, особенно если бедняку удастся подхватить дочь тысячника.

Обычай «крутить свадьбу уходом» исстари за Волгой ведется, а держится больше оттого, что в тамошнем крестьянском быту каждая девка, живучи у родителей, несет долю нерадостную. Девкой в семье дорожат как даровой работницей, и замуж «честью» ее отдают неохотно. Надо, говорят, девке родительскую хлеб-соль отработать; заработаешь — иди куда хочешь. А срок дочерниных заработков длинен: до тридцати лет и больше она повинна у отца с матерью в работницах жить.

Девки не бойкие, особенно те, кого бог красотой обделил, засиживаются и стареют в родительском дому за денноношной работой. Минет тридцать лет — куда ей деваться? Редко выищется такой человек, чтобы взял за себя старую; разве иная за вдовца старика на большую семью пойдет. Старой девке середь молодых уж и места нет — все ее чуждаются... Ни на супрядки зимой, ни в хороводы летом... Молодые парни в глаза смеются над перестаркой... Куда деваться, к чему себя пристроить, а умрут отец с матерью, куда приклонить голову?.. И принимается девка за «душеспа̀сенье»: в скит пойдет, либо выпросит у отца кельенку поставить на задворице, и в ней, надев черный сарафан и покрыв черным платком голову, в знак отречения от мира, станет за псалтырь заказные сорокоусты читать да деревенских мальчишек грамоте обучать,— тем и кормится. По времени в келейку ее три-четыре таких же старых девок наберется, заведут они «общежитие»,— смотришь, маленький скиток в деревне завелся: и моленная в нем и служба вседневная, покуда полиция, проведав про богомолок, не разгонит их по своим местам, откуда которая пришла.

Девка побойчей да покрасивей не так делает. Спознается на супрядках либо в хороводе с молодым парнем, непременно из другой деревни, полюбят они друг

дружку и станут раздумывать, отдадут родители девицу «честью», аль придется свадьбу «уходом» играть. Нет надежды на согласие, девушка тихонько сберет приданое и всю одежу, какая есть у ней, передаст возлюбленному, а потом и сама на условное место придет. Жених кидает невесту в сани и с товарищами мчится во весь опор к попу. Родители, узнав про уход дочери, тотчас лошадей запрягать, в погоню скакать, родных, соседей на ноги поднимут, рассыплются по всем сторонам беглецов искать. Случается, что настигают. И тогда зачнут у поезжан «отбивать невесту»... Иной раз тут дело до крови доходит. Но не всегда так бывает; обыкновенно жених с невестой успевают доскакать до попа и обвенчаться. Затем муж везет молодую жену к своим родителям, те уж дожидаются — знают, что сын поехал сноху им выкрасть, новую даровую работницу в дом привезти, с радостью встречают они новобрачных. На другой, либо на третий день новобрачный с женой отправляется к тестю прощенья просить. Там принимают его с бранью, дочь с проклятьями. Вся деревня сбежится смотреть, как молодые, поклонясь в землю, лежат, не шелохнувшись, ниц перед отцом, перед матерью, выпрашивая прощенья, а отец с матерью ругают их ругательски и клянут, и ногами в головы пихают, а после того и колотить примутся: отец плетью, мать сковородником. Наконец, уходится сердце родительское. За побоями да за бранью мировая следует, но уж кроме того что успела невеста жениху перед уходом передать, никакого приданого ей не дается. Не бывает при свадьбе уходом ни «горного стола», ни подарков, все оканчивается двумя обедами родителей одних и других. Случается, и это бывает нередко, что родители жениха и невесты, если не из богатых, тайком от людей, даже от близкой родни, столкуются меж себя про свадьбу детей и решат не играть свадьбы «честью», во избежание расходов на пиры и дары. А велят деткам самим справлять свадьбу, как знают. При этом, однако ж, весь обряд чин чином соблюдается: и погоня во все стороны, и брань с проклятиями при встрече, и топанье ногами, и битье плетью и ухватом на глазах сбежавшейся деревни: все как следует. Но когда родительское сердце утолится и руки колотить новобрачных устанут, мирятся, и тем же ухватом,

что мать дочку свою колотила, принимается она из печки горшки вынимать, чтоб нарочно состряпанным кушаньем любезного зятюшку потчевать.

* * *

Крепко было слово, сказанное Настей. Патап Максимыч не уснул от него после обеда. А этого с ним лет с пять не случалось, с тех самых пор, как, прослышав про сгоревшие на Волге, под Свияжском, барки, долго находился он в неизвестности: не его ли горянщина погорела.

Сказав жене, какое слово молвила ему Настя, Патап Максимыч строго-нàстрого наказал ей глядеть за дочерью в оба, чтоб девка в самом деле, забрав дурь в голову, бед не натворила.

— Особенно по весне, как дома меня не будет,— говорил он,— смотри ты, Аксинья, за ней хорошенько. Летом до греха недолго. По грибы аль по ягоды, чтоб обе они и думать не смели ходить, за околицу одних не пускай, всяко может случиться.

— Стану глядеть, Максимыч,— отвечала Аксинья.— Как не смотреть за молодыми девицами! Только, по моему глупому разуму, напрасно ты про Настю думаешь, чтоб она такое дело сделала... Скор ты больно нá речи-то, Максимыч!.. Давеча девку насмерть напугал. А с испугу мало ль какое слово иной раз сорвется. По глупости, спросту сказала.

— Спросту!.. Как же!..— возразил Патап Максимыч.— Нет, у ней что-нибудь да есть на уме. Ты бы из нее повыпытала, может, промолвится. Только не бранью, смотри, не попреками. Видишь, какая нравная девка стала, тут грозой ничего не поделаешь... Уж не затеяно ли у ней с кем в скиту?

— Не греши попусту, Максимыч,— сказала Аксинья Захаровна.— Немало я сегодня пытала у матушки Манефы: не видала ль Настасья кого из наезжих, не приглянулся ли кто. «Нет, говорит, не видывала никого ни Настя, ни Параня». В строгости ведь она держала их, и Фленушка то же говорит.

— Да что Фленушка! — заметил Патап Максимыч.— Фленушка хоть и знала бы что, так покроет, а

Манефа на старости ничего не видит. Ты бы других расспросила.

— Спрошу, Максимыч. Вот хоть Анафрольюшку.

— Да умненько спрашивай, стороной да обиняками, шутками больше, девку бы не срамить.

* * *

Лишь только вышел Патап Максимыч из Настиной светлицы, вбежала туда Фленушка.

— Ну вот, умница,— сказала она, взявши руками раскрасневшиеся от подавляемого волнения Настины щеки.— Молодец девка! Можно чести приписать!.. Важно отца отделала!.. До последнего словечка все слышала, у двери все время стояла... Говорила я тебе, что струсит... По-моему вышло...

— Жалко мне тятеньку, Фленушка, совестно перед ним,— отвечала Настя.

— Уж ты зачнешь хныкать! — сказала Фленушка.— Ну, ступай прощенья просить, «прости, мол, тятенька, Христа ради, ни впредь, ни после не буду и сейчас с самарским женихом под венец пойду...» Не дури, Настасья Патаповна... Благо отсрочку дал.

— Что ж из того, что отсрочка дана?.. Потом-то что?..— сказала Настя.

— Алешкиной женой будешь,— молвила Фленушка.

— Как же так?

— Уходом. Ты, Настя, молчи, слез не рони, бела лица не томи: все живой рукой обделаем. Смотри только, построже с отцом разговаривай, а слез чтоб в заводе при нем не бывало. Слышишь?

— Слышу,— сказала Настя.

— Бодрей да смелей держи себя. Сама не увидишь, как верх над отцом возьмешь. Про мать нечего говорить, ее дело хныкать. Слезами ее пронимай.

— Добрая она у нас, Фленушка, и смиренная, даром что покричит иной раз,— сказала Настя.— Сил моих не станет супротив мамыньки идти... Так и подмывает меня, Фленушка, всю правду ей рассказать... что я... ну да про него...

— Сохрани тебя господи и помилуй!..— возразила Фленушка.— Говорила тебе и теперь говорю, чтоб про

это дело, кроме меня, никто не знал. Не то быть беде на твоей голове.

Вечером, после ужина, Настя с Фленушкой заперлись в светелке.

— Тошнехонько мне, Фленушка,— говорила Настя. в утомленье ложась на кровать нераздетая.— Болит мое сердечушко, всю душеньку поворотило. Сама не знаю, что со мной делается.

— А я знаю!..— бойко подхватила Фленушка.— Да провалиться мне на сем месте, коли завтра ж тебя я не вылечу,— прибавила.

— Нет, Фленушка, совсем истосковалась я,— сказала Настя.— Что ни день, то хуже да хуже мне. Мысли даже в голове мешаются. Хочу о том, о другом пораздумать; задумаю, ум ровно туманом так и застелет.

— Про долговязого, поди, все думаешь? — сказала Фленушка.

— Да...— едва слышно молвила Настя, кинувшись лицом в подушку.

— Повидаться надо, маленько покалякать,— сказала Фленушка.— Давеча опять я с ним виделась, говорила... Поклон от тебя сказала.

— Что ж он? — с живостью спросила Настя, вскочив на кровати.— Да говори же!

— Не стоит говорить,— молвила Фленушка.

— Да нет, скажи, пожалуйста, милая, голубушка, скажи!— приставала Настя, горячо обнимая и порывисто целуя Фленушку.

— Да отстань же, Настя!.. Полно!.. Ну, будет, будет,— говорила Фленушка, отстраняясь от ее ласк и поцелуев.— Да отстань же, говорят тебе... Ишь привязалась, совсем задушила!

— Да что ж говорил он? — умоляла Фленушку Настя.— Не мучь!.. И без того тошно... Скажи поскорей!

— Говорил, что в таких делах говорится,— отвечала Фленушка.— Что ему без тебя весь свет постыл, что иссушила ты его, что с горя да тоски деваться не знает куда и что очень боится он самарского жениха. Как я ни уверяла, что опричь его ни за кого не пойдешь,— не верит. Тебе бы самой сказать ему.

— Да как же это, Фленушка? — потупясь, спросила Настя.

— А вот как,— немножко подумав, молвила Фленушка.— Завтра я его сюда приведу.

— Обезумела ты!.. А тятенька-то?..

— А как сам тятенька Алешку в светлицу к тебе пошлет?..— с усмешкой молвила Фленушка.

— Чего только ты не вздумаешь!.. Только послушать тебя,— сказала Настя.— Статочно ли дело, чтоб тятенька его сюда прислал?

— Да помереть мне, с места не вставши, коли такого дельца я не состряпаю! — весело вскрикнула Фленушка.— А ты, Настенька, как Алешка придет к тебе,— прибавила она, садясь на кровать возле Насти,— говори с ним умненько да хорошенько, парня не запугивай... Смотри, не обидь его... И без того чуть жив ходит.

— Ты все шутки шутишь, Фленушка, а мне не до них,— тяжело вздыхая, сказала Настя.— Как подумаю, что будет впереди, сердце так и замрет... Научила ты меня, как с тятенькой говорить... Ну, смиловался, год не хочет про свадьбу поминать. А через год-от что будет?

— До́ году долго ждать,— отвечала Фленушка.— Весной повенчаетесь.

— Не мели пустяков,— молвила Настя.— И без того тошно!

— Как отцу сказано, так и сделаем,— уходом,— отвечала Фленушка.— Это уж моих рук дело, слушайся только меня да не мешай. Ты вот что делай: приедет жених, не прячься, не бегай, говори с ним, как водится, да словечко как-нибудь и вверни, что я, мол, в скитах выросла, из детства, мол, желание возымела богу послужить, черну рясу надеть... А потом просись у отца на лето к нам в обитель гостить, не то матушку Манефу упроси, чтоб она оставила у вас меня. Это еще лучше будет.

— Что ж из того будет? — спросила Настя.

— А то и выйдет, что летом, как тятенька твой на Низ уедет, мы свадебку и скрутим. Алексей — не робкого десятка, не побоится.

— Боязно, Фленушка,— молвила Настя.— Сердце так и замрет, только про это я вздумаю. Нет, лучше выберу я времечко, как тятенька ласков до меня будет, повалюсь ему в ноги, покаюсь во всем, стану просить, чтоб

выдал меня за Алешу... Тятя добрый, пожалеет, не стерпит моих слез.

— Чтоб отец твоих слез не видал! — повелительно сказала Фленушка.— Он крут, так и с ним надо быть крутой. Дело на хорошей дороге, не испорть. А про Алексея отцу сказать и думать не моги.

— Отчего же? — спросила Настя.

— Разве ты не слыхала, что теперь по всем деревням вой идет? — спросила Фленушка.

— Сказывал тятенька, что с великого поста рекрутов брать зачнут,— отвечала Настя.

— То-то же. Алексей-от удельный ведь? — спросила Фленушка.

— Да.

— А головой удельным кто?

— Михайло Васильич.

— Отцу-то приятель?

— Приятель.

— Так Патапу Максимычу слово стоит сказать ему — «Убери, мол, подальше Алешку Лохматого»,— как раз забреет,— сказала Фленушка.

— И в самом деле,— молвила Настя.— Навела ты меня на разум... Ну как бы я погубила его!

— То-то же. Говорю тебе, без моего совета слова не молви, шагу не ступи,— продолжала Фленушка.— Станешь слушаться — все хорошо будет; по-своему затеешь — и себя и его сгубишь... А уж жива быть не хочу, коли летом ты не будешь женой Алексеевой,— прибавила она, бойко притопнув ногой.

— А как он не захочет? — понизив голос, спросила Настя.

— Кто не захочет?

— Да он...

— Алексей-от? — сказала Фленушка и захохотала.— Эк, что выдумала!.. От этакой крали откажется!.. Не бойсь — губа-то у него не дура... Ишь какую красоту приворожил!.. А именья-то что!.. На голы-то зубы ему твои сундуки не лишними будут. Да и Патап Максимыч посерчает, посерчает, да и смилуется. Не ты первая, не ты последняя свадьбу уходом справишь. Известно, сначала взбеленится, а месяц, другой пройдут, спесь-то и свалится, возьмет зятя в дом, и заживете вы в добром

ладу и совете. Что расхныкалась? — спросила Фленушка, увидя, что Настя, уткнувшись лицом в подушку, опять принялась всхлипывать.

— Не на счастье, не на радость уродилась я,— причитала Настя,— счастливых дней на роду мне не писано. Изною я, горемычная, загинуть мне в горе-тоске.

— Да полно же ты! — ободряла ее Фленушка.— Чего расплакалась!.. Не покойник на столе!.. Не хнычь, не об чем...

И, став перед Настиной постелей, подперла развеселая Фленушка руки в боки и, притопывая босой ногой, запела:

Ох ты, Настя, девка красна,
Не рони слезы напрасно,
Слезы ронишь — глаза портишь,
Мила дружка отворотишь,
Отворотится — забудет,
Ину девицу полюбит.

— Не робей. Настасья Патаповна, готовь платки да ручники. Да, бишь, я и забыла, что свадьбу-то без даров придется играть. А уж сидеть завтра здесь Алешке Лохматому, целовать долговязому красну девицу...

— Полно, Фленушка.

— И в самом деле: полно,— сказала Фленушка.— Спать пора, кочета [1] полночь пели. Прощай, покойной ночи, приятный сон. Что во сне тебе увидать?..

— Ничего не хочу,— ответила Настя.

— Не обманешь, Настасья Патаповна,— сказала, ложась в постель, Фленушка,— Алешку хочется. Ну, увидишь, увидишь... Прощай.

* * *

На другой день поутру сидел Патап Максимыч в подклете, с полу до потолка заставленном готовою на продажу посудой. Тут были разных сортов чашки, от крошечных, что рукой охватить, до больших, в полведра и даже чуть не в целое ведро; по лавкам стояли ставешки, блюда, расписные жбаны и всякая другая деревянная утварь. У входа в подклет старый Пантелей бережно укладывал разобранную посуду по щепяным ко-

[1] Петухи.

робам, в каких обыкновенно возят ее по дорогам и на судах. Алексей также в подклете был. Он помогал хозяину разбирать по сортам посуду и на завязанных Пантелеем коробах писал помазком счет посуды и какого она сорта. Сортировка деревянной посуды самое важное дело для торговца. Тут нужны и внимание и верный, опытный глаз, а главное — точность; без того торговец как раз может ославиться. Облóжится как-нибудь — и пронесут худое слово по пристаням и базарам: у такого-то-де скупщика в первый сорт всякую дрянь валят.

Прежде Патапу Максимычу в этом деле старик Савельич помогал. Прожил он у него в дому, не мало, не много, двадцать годов и по токарной части во всем заменял хозяина. Верный был человек, хозяйское добро берег пуще глаза, работники у него по струнке ходили, на его руках и токарни были и красильни, иной раз заместо Патапа Максимыча и на торги езжал. Души в нем не чаял Чапурин, и в семье его Савельич был свой человек. Да вот перед самым Рождеством, надо же быть такому греху, бодрый еще и здоровый захирел ни с того ни с сего да, поболев недели три, богу душу и отдал. Много тужил по нем Патап Максимыч, много думал, кем заместить ему Савельича, но придумать не мог. Народ, что у него работал, не сподручен к такому делу: иной и верен был и человек постоянный, да по посуденной части толку не смыслит, а у другого и толк был в голове, да положиться на него было боязно. Заметив, что Алексей Лохматый мало что точит посуду, как никому другому не выточить, но и в сортировке толк знает, Патап Максимыч позвал его к себе на подмогу и очень доволен остался работой его. Так у Алексея дело спорилось, что, пожалуй, не лучше ли, чем при покойнике Савельиче.

Разборка кончалась. Оставалось сотни три-четыре блюд перебрать, остальное было разобрано, Пантелеем уложено и работниками вытащено в сени либо сложено на дровни, чтобы завтра же, до заревых кочетов, в Городец посуду везти.

— Ну, Алексеюшка,— молвил Патап Максимыч,— молодец ты пàря. И в глаза и за глаза скажу, такого, как ты, днем с огнем поискать. Глядь-ка, мы с тобой целу партию в одно утро обладили. Мастер, брат, неча сказать.

— Спасибо на добром слове, Патап Максимыч. Что смогу да сумею сделать — всем готов служить вашему здоровью,— отвечал Алексей.

— А я вот что, Алексеюшка, думаю,— с расстановкой начал Патап Максимыч.— Поговорить бы тебе с отцом, не отпустит ли он тебя ко мне в годы. Парень ты золотой, до всякого нашего дела доточный, про токарное дело нечего говорить, вот хоть насчет сортировки и всякого другого распоряженья... Я бы тебя в приказчики взял. Слыхал, чать, про Савельича покойника? На его бы место тебя.

— Благодарим покорно, Патап Максимыч,— отвечал обрадованный Алексей.— Готов служить вашей милости со всяким моим удовольствием.

— Только сам ты, Алексеюшка, понимать должо́н,— сказал Патап Максимыч,— что к такой должности на одно лето приставить тебя мне не с руки. В годы-то отец отпустит ли тебя?

— Не знаю, Патап Максимыч,— отвечал Алексей,— поговорю с ним в воскресенье, как домой пойду.

— Плату положил бы я хорошую, ничем бы ты от меня обижен не остался,— продолжал Патап Максимыч.— Дома ли у отца стал бы ты токарничать, в людях ли, столько тебе не получить, сколько я положу. Я бы тебе все заведенье сдал; и токарни, и красильни, и запасы все, и товар, а как на Низ случиться самому сплыть аль куда в другое место, я б и дом на тебя с Пантелеем покидал. Как при покойнике Савельиче было, так бы и при тебе. Ты с отцом-то толком поговори.

Вошла Фленушка, смущенная, озабоченная, в слезах. Мастерица была она, какое хочет лицо состроит: веселое — так веселое, печальное — так печальное.

— Что ты, Фленушка? — спросил ее Патап Максимыч.

— До вас, Патап Максимыч,— отвечала она плаксивым голосом.— Беда у меня случилась, не знаю, как и пособить. Матушка Манефа пелену велела мне в пяльцах вышивать. На срок, к масленице поспела бы беспременно.

— Знаю, слышал,— отвечал Патап Максимыч.

— В Москву хочет посылать,— продолжала Фленушка.

— Да что же случилось-то? — спросил Патап Максимыч.

— Пяльцы не порядком положила,— ответила Фленушка.— Упали, рассыпались... Боюсь теперь матушки Манефы, серчать станет.

— Так почини,— молвил Патап Максимыч.

— Рада бы починила, да не умею,—сказала Фленушка.— Надо столяра.

— А где я тебе найду его? У меня столяров нет,— ответил Патап Максимыч.

— Да не может ли кто из токарей починить? — просила Фленушка.— Не оставьте, Патап Максимыч, не введите в ответ. Матушка Манефа и не знаю что со мною поделает.

— Не токарево это дело, голубушка,— сказал Патап Максимыч.— Из наших работников вряд ли такой выищется... Рад бы пособить, да не знаю как. Не знаешь ли ты, Алексей? Не сумеет ли кто из наших пяльцы ей починить?

— Да я маленько столярничаю,—отвечал Алексей.— За чистоту не берусь, а крепко будет.

— Ну вот на твое счастье и столяр выискался,— с веселой улыбкой молвил Патап Максимыч.— Тащи скорей сюда пяльцы-то.

— Никак их нельзя сюда принести, Патап Максимыч,— отвечала Фленушка,— здесь и олифой и красками напачкано, долго ль испортить шитье, цвета́ же на пелене все нежные.

— Да ты порожние пяльцы тащи, шитье-то вынь,— сказал Патап Максимыч.— Эка недогадливая!

— Не знаете вы нашего мастерства, Патап Максимыч, оттого и говорите так,— отвечала Фленушка.— Никак нельзя из пялец вынуть шитья, всю работу испортишь, опять-то вставить нельзя уж будет.

— Ну, неча делать, сходи наверх, Алексеюшка,—сказал Патап Максимыч.— Где пяльцы-то у тебя? — спросил он, обращаясь к Фленушке.

— В светлице, у Настеньки,— ответила она.

— Проведи его туда. Сходи, Алексеюшка, уладь дело,— сказал Патап Максимыч,— а то и впрямь игуменья-то ее на поклоны поставит. Как закатит она тебе, Фленушка, сотни три лестовок земными поклонами пройти, спину-то, чай, после не вдруг разогнешь... Ступай, веди

его... Ты там чини себе, Алексеюшка, остальное я один разберу... А к отцу-то сегодня сходи же. Что до воскресенья откладывать!

Ровно отуманило Алексея, как услышал он хозяйский приказ идти в Настину светлицу. Чего во сне не снилось, о чем если иной раз и приходило на ум, так разве как о деле несбыточном, вдруг как с неба свалилось.

— Ты послушай, моло́дец,— сказала Фленушка, всходя с ним по лестнице в верхнее жилье дома.— Так у добрых людей разве водится?

— Что такое? — с смущенным видом спросил Алексей.

— Совесть-то есть аль на базаре потерял? — продолжала Фленушка.— Там по нем тоскуют, плачут, убиваются, целы ночи глаз не смыкают, а он еще спрашивает... Ну, парень, была бы моя воля, так бы я тебя отделала, что до гроба жизни своей поминать бы стал,— прибавила она, изо всей силы колотя кулаком по Алексееву плечу.

— Да ты про что? Право, невдомек, Флена Васильевна,— говорил Алексей.

— Ишь ты! Еще притворяется,— сказала она.— Приворожить девку бесстыжими своими глазами умел, а понять не умеешь... Совесть-то где?.. Да знаешь ли ты, непутный, что из-за тебя вечор у нее с отцом до того дошло, что еще бы немножко, так и не знаю, что бы сталось... Зачем к отцу-то он тебя посылает?

— В приказчики хочет меня по токарням да по красильням рядить,— отвечал Алексей,— за работниками да за́ домом присматривать.

— Полно ты? — удивилась и обрадовалась Фленушка.

— Право,— отвечал Алексей.

— Значит — наше дело выгорает,— сказала Фленушка.— С места мне не сойти, коль не будешь ты у Патапа Максимыча в зятьях жить. Ступай,— сказала она, отворив дверь в светелку и втолкнув туда Алексея,— я покараулю.

В алом тафтяном сарафане с пышными белоснежными тонкими рукавами и в широком белом переднике, в ярко-зеленом левантиковом платочке, накинутом на́ голову и подвязанном под подбородком, сидела Настя у Фленушкиных пялец, опершись головой на́ руку. Поту-

скнел светлый взор девушки, спал румянец с лица ее, глаза наплаканы, губы пересохли, а все-таки чудно-хороша была она. Это была такая красавица, каких и за Волгой немного родится: кругла да бела, как мытая репка, алый цвет по лицу расстилается, толстые, ровно шелковые косы висят ниже пояса, звездистые очи рассыпчатые, брови тонкие, руки белые, ровно выточены, а грудь, как пух в атласе. Не взвидел света Алексей, остановился у притолоки. Однако оправился и чин чином, как следует, святым иконам три поясных поклона положил, потом Насте низехонько поклонился.

Хотя Фленушка только о том Насте и твердила, что приведет к ней Алексея, но речам ее Настя веры не давала, думала, что шутит она... И вдруг перед ней, как из земли вырос,— стоит Алексей.

Бледное лицо Насти багрецом подернуло. Встала она с места и, опираясь о стол рукою, робко глядела на вошедшего. А он все стоит у притолоки, глядит не наглядится на красавицу.

У обоих языка не стало. Молчат. Наконец, Настя маленько оправилась.

— Что тебе надо? — спросила она, опустив глаза в землю.

— Патап Максимыч послал,— тихо отвечал Алексей.

— Тятенька? — поднимая голову, сказала Настя.— Тебя тятенька ко мне прислал?.. Зачем?..

Сердце у ней так и замерло, сама себя не помнит, наяву она аль во сне ей грезится.

— Зачем он тебя прислал? — повторила Настя, едва переводя дух.

— Пяльцы чинить.

«Так вот зачем Фленушка пяльцы-то ломала»,—подумала Настя.

— Чини, коли прислан,— сказала она, отходя к другому окошку.

Подошел Алексей к пяльцам. Смотрит на поло́м — и ничего не видит: глаза у него так и застилает, а сердце бьется, ровно из тела вон хочет.

Настя, потупившись, перебирала руками конец передника, лицо у нее так и горело, грудь трепетно поднималась. Едва переводила она дыханье, и хоть на душе стало светлее и радостней, а все что-то боязно было ей, слезы к глазам подступали.

Быстро распахнулась дверь, вбежала Фленушка.

— Пути в вас нету,— защебетала она.— На молчанки, что ли, я вас свела?.. Слушай ты, молодец, девка тебя полюбила, а сказать стыдится... И Алексей тебя полюбил, да боится вымолвить.

И, толкнув Настю к Алексею, выбежала за́ дверь.

— Неужели правду сказала она? — чуть слышно спросил Алексей.

У Насти силы на ответ не достало. Зарыдала и закрыла лицо передником.

Медленно и робко ступил Алексей шаг, ступил другой, взял Настю за руку.

Быстро откинула она передник. Сквозь слезы улыбаясь, страстно взглянула в очи милому и кинулась на грудь его...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Все распоряженья насчет угощенья домовых работников и пришлого народа были сделаны. Старик Пантелей с Захлыстинского базара навез и говядины, и свинины, и баранины, пять ведер вина, ренского шесть бутылок, молодиц потчевать, и большие кульки с деревенскими гостинцами. Дома брагу варили, квасы ставили. Аксинья Захаровна в кладовых да в стряпущей с утра до ночи возилась: то припасы принимала, то наливки подваривала да по бутылкам разливала, то посуду стеклянную и фарфоровую из сундуков вынимала и отдавала дочерям перемыть хорошенько.

Патап Максимыч в губернский город собрался. Это было не очень далеко от Осиповки: верст шестьдесят. С дороги своротил он в сторону, в деревню Ключово. Там жила сватья его и крестная мать Насти, Дарья Никитишна, знаменитая по всему краю повариха. Бойкая, проворная, всегда веселая, никогда ничем не возмутимая, доживала она свой век в хорошеньком, чистеньком домике, на самом краю деревушки.

Детство и молодость Никитишна провела в горе, в бедах и страшной нищете. Казались те беды нескончаемыми, а горе безвыходным. Но никто как бог, на него одного полагалась сызмальства Никитишна, и не постыдил господь надежды ее; послал старость покойную: всеми она любима, всем довольна, добро по силе ежечасно мо-

жет творить. Чего еще? Доживала старушка век свой в радости, благодарила бога.

Пяти годов ей не минуло, как родитель ее, не тем будь помянут, в каких-то воровских делах приличился и по мирскому приговору в солдаты был сдан, а мать, вскоре после того как забрили ее сожителя, мудрено как-то померла в овраге за овинами, возвращаясь в нетопленную избу к голодному ребенку

Из царева кабака
Из кружала государева.

Ругался мир ругательски, посылал ко всем чертям Емельяниху, гроб безо дна, без покрышки сулил ей за то, что и жить путем не умела и померла не путем: суд по мертвому телу навела на деревню... Что гусей было перерезано, что кур да баранов приедено, яичниц глазуний настряпано, что девок да молодок к лекарю да к стряпчему было посылано, что исправнику денег было переплачено! Из-за кого ж такая мирская сухота? Из-за паскуды Емельянихи, что не умела с мужем жить, не умела в его делах концы хоронить, не умела и умереть как следует.

Осталась после Емельянихи сиротка, пятилетняя Дарёнка. В отцовском ее дому давным-давно хоть шаром покати, еще заживо родитель растащил по кабакам все добро — и свое и краденое. Мать схоронили Христа ради, по приказу исправника, а сиротка осталась болтаться промеж дворов: бывало, где день, где ночь проведет, где обносочки какие ей Христа ради подадут, где черствым хлебцем впроголодь накормят, где в баньку пустят помыться. Так и росла девочка.

В сиротстве жить — только слезы лить; житье сиротинке, что гороху при дороге: кто пройдет, тот и порвет. Мало ль щипков да рывков, мало ли бою до синяков, рванья кос до плешин приняла Дарёнка; волочась под оконьем в Ключове и по соседним деревням. Не царством небесным было ей жить и при матери; бивала ее и шибко бивала покойница, особенно как под пьяную руку девочка ей подвернется, да все не как чужие люди. Ведь мать хоть и пьяная и безумная, а высоко руку подымет, да не больно опустит, чужой же человек колотит дитя, не рассудя, не велика, дескать, беда, хоть и калекой станет век доживать. Бивали Дарёнку старые, бивали ее ма-

лые, от деревенских ребятишек проходу не было. Только, бывало, сиротку завидят, тотчас и обидят, а пожалуется, не стерпя побоев, Дарёнка, ей же пуще достанется... Правду люди говорят, что пчелки без матки — пропащие детки. Горько бывало безродной сиротке глядеть, как другие ребятишки отцом, матерью пригреты, обуты, одеты, накормлены, приголублены, а ее кто приласкает, ей кто доброе словечко хоть в светло Христово воскресенье вымолвит? Тогда только и праздник был ей, как иная баба, обозлясь на мужа либо на свекра, обносочек какой на сиротку наденет. Да и та радость бывала нена́долго: узнает муж либо свекор, что баба спроворила, Дарёнку оголят середь улицы да отколотят еще на придачу.

Родись Никитишна парнишкой, иная бы доля ей выпала. Слаще бы не в пример сиротское житье ей досталось. «Пущай его растет,— решили бы мужики,— в годы войдет, за́ мир в рекруты пойдет,— плакать по нем будет некому». И крепко-накрепко заказали бы бабам беречь сироту, приглядывать, чтоб коим грехом не окривел аль зубов передних ему не вышибли; не то беда: за́даром пропадут и мирской хлеб и посиротские хлопоты. Девчонке не та судьбина. Беречь ее не для чего, знай колоти, сколько хочется, одного берегись — мертвого тела не сделай, чтоб суд не наехал да убытков и хлопот миру не принес.

Не забили, однако, сиротку Дарёнку. Росла она да росла, выросла, заневестилась. Куда девке деваться? В скиты?.. Чего бы лучше?.. Так и в скиты не всякую принимают, и там без денег к спасенью не допускают, а у Дарёнки железного гроша сроду в руках не бывало. Но войдя в полную силу, стала она работницей всем на удивленье: цепом ли, серпом ли, бывало, за двоих работа́ет. Тогда ключовские мужики друг перед дружкой стали Дарью Никитишну к себе зазывать. «Ко мне поди», да «у меня поживи — мы ведь тебе, Дарьюшка, люди свои, родня кровная». Такие только речи и слышала. Прежде ночь переночевать места не было, а теперь, что называется, не грело, не горело, а вдруг осветило: все в родню лезут, на житье к себе ма́нят. Пожила у какого-то назва́нного дяди года три либо четыре, за хлеб за соль лихвой ему заработала. Житье было ей не плохое, все до нее были ласковы, приветливы, но не забыла Дарья ста-

рых щипков и колотушек, все ей думалось: «Теперь хорошо, а выбьюсь из сил, так под старость из избы середь улицы выкинут». И решила она хоть за нищего замуж пойти, только б самой хозяйкою быть. И вышла Дарья замуж. Брал ее парень хороший, из соседней деревни Быдреевки, но из бедного дома, из большой семьи — шестериками в рекрутском списке стояли. Полтора года Дарья Никитишна пожила с мужем, слова неласкового от него не слыхала, взгляду косого не видала. Рекрутский набор подошел, забрили его. Себя не помнила Дарья, как прощалась со своим «соколиком». Угнали «соколика», воротилась Дарья из города к свекру в дом. Трех недель не минуло, грамотка издалека пришла: не дошел ее «соколик» до полка своего, заболел в каком-то городе, лег в лазарет, а оттуда в сосновый гроб.

Осталась Дарья Никитишна вольной вдовой, детей у ней не было. Баба еще молодая, всего девятнадцать лет, да такая славная, из себя красивая. Немало людей на Дарью заглядывалось, но она хоть и солдатка, как есть мирской человек, но берегла себя строго, умела подлипал от себя подальше спроваживать. Пришла беда, откуда она и не чаяла: толкнул бес свекра в ребро, навел на него искушение; зачал старый молодую сноху на любовь склонять, отходу ей не дает, ровно пришил его кто к сарафану Никитишны. Всем хотел свекор взять, и лаской и таской, да сноха крепка была: супротив греха выстояла. Невтерпеж, однако, стало ей, свекрови пожаловалась, а та ей: «Да мне-то что? Я старуха старая, в эти дела вступаться не могу, ты свекра должна почитать, потому что он всему дому голова и тебя поит, кормит из милости». Пришло Никитишне житье хуже собачьего, свекор колотит, свекровь ругает, деверья смеются, невестки да золовки поедом едят. Терпела Дарья такую долю с полгода, извелась даже вся, на себя стала непохожа. Не хватило терпенья, ушла в чужие люди работой кормиться.

Куда-нибудь подальше хотелось ей, чтоб и вестей до нее не долетало ни про скверного свекра, ни про лютую свекровь, ни про злых невесток и золовок. Пошла в город Никитишна. Там к богатому барину пристроилась, в коровницы нанялась. С год за коровами ходила, потом в судомойки на кухню ее определили, на подмогу привезенному из Москвы повару. Барин того повара у ка-

кого-то московского туза в карты выиграл. Пошел повар в тысяче рублях, но знающие люди говорили, что тузу не грех бы было и подороже Петрушку поставить, потому что дело свое он знал на редкость: в Английском клубе учился, сам Рахманов[1] раза два его одобрял. Прожив при том поваре годов шесть либо семь, Никитишна к делу присмотрелась, всему научилась и стала большою помогой Петрушке. Меж тем воспитанник Английского клуба стал запивать, кушанье готовил хуже да хуже, кончил тем, что накануне барыниных именин сбежал со двора. Так и сгинул. Ходили потом слухи, будто он к матерям в скиты лыжи навострил, там в стару веру перешел, и что матери потом спровадили его в надежное место: к своим, за Дунай. На такие спроваживанья беглых людей за Дунай-реку большие мастерицы бывали матери келейницы. Пошлют беглого с письмом к знакомому человеку, тот к другому, этот к третьему, да так за границу и выпроводят.

Остался барин без повара, гости на именины позваны, обеда готовить некому. Что тут станешь делать? Принимай срам от гостей. Но выручила барина Никитишна, такой обед ему состряпала, что сам Рахманов, отведав того обеда, облизал бы пальчики. С той поры стала Никитишна за хорошее жалованье у того барина жить, потом в другой дом перешла, еще побогаче, там еще больше платы ей положили. И жила она в поварихах без малого тридцать годов. А деньгу копить мастерица была: как стала из сил выходить, было у нее ломбардными билетами больше трех тысяч рублей на ассигнации. «Ну,— подумала тогда Никитишна,— будет в чужих людях жить, надо свой домишко заводить». Хоть родину добром поминать ей было нечего,— кроме бед да горя, Никитишна там ничего не ведала,— а все же тянуло ее на родную сторону: не осталась в городе жить, приехала в свою деревню Ключову. Поставила Никитишна домик о край деревни, обзавелась хозяйством, отыскала где-то троюродную племянницу, взяла ее вместо дочери, вспоила, вскормила, замуж выдала, зятя в дом приняла и живет теперь себе, не налюбуется на маленьких внучат, привязанных к бабушке больше, чем к родной матери.

---

[1] Известный московский любитель покушать, проевший несколько тысяч душ крестьян.

Хоть ни в чем не нуждалась Никитишна, но всегда не только с охотой, но с большой даже радостью езжала к городовым купцам и к деревенским тысячникам столы строить, какие нужны бывали: именинные аль свадебные, похоронные аль поминальные, либо на случай приезда важных гостей. Езжала Никитишна и к матерям обительским обеды готовить, когда, бывало, после Макарья, купцы богатые, скитские «благодетели», наедут к матерям погостить, поба́ловать да кстати и богу помолиться. Привыкнув к стряпне да к столовым хлопотам, скучно, бывало, становилось Никитишне, коли долго ее ставить столы никуда не зовут.

Изо всех знакомых городовых купцов, изо всех заволжских тысячников ни к кому у ней сердце так не лежало, как к Патапу Максимычу. Аксинья Захаровна как-то в сродстве приходилась ей, и когда еще Никитишна по чужим людям проживала, Патапом Максимычем оставлена не была. Каждый год, бывало, он ей после Макарья чаю, сахару на целый год подарит, да платье хорошее, а иной год и шубу справит, либо деньгами не оставит. Добро Никитишна помнила твердо. Пошли за ней Патап Максимыч хоть в по́лночь, хоть за́ полночь, хоть во время вьюги-метелицы, хоть в трескучий мороз, хоть в распутицу, часа не усидит, мигом в дорогу сберется и покатит к куманьку любезному. Хоть старым костям иной раз и неможется, от послуги Патапу Максимычу ни за что не откажется. И все семейство Чапуриных души не чаяло в доброй, всегда веселой, разговорчивой Никитишне. Кроме нужных случаев, когда Никитишне в Осиповке приводилось столы строить, нередко по неделям и даже по месяцам там она гащивала. И, бывало, во время таких гостин уж никак невозможно было уговорить старушку, чтобы она каждый день обед не стряпала. Только что придет, первым долгом в стряпущую. Тогда стряпка уж прочь ступай, к печи никого, бывало, не подпустит Никитишна.

Смерклось и вызвездило, когда по скрипучей от завернувшего по́д вечер морозца дороге к дому Никитишны пара добрых коней подкатила сани с кожаным лучко́м, с суконным, подбитым мурашкинскою дубленкой, фартуком и с широкими отводами. В синей суконной шубе на лисьем меху, подпоясанный гарусным кушаком, в мерлушчатой шапке, вылез из саней Патап Максимыч и,

оставя при лошадях работника, зачал в ворота стучать. На его стук, заливаясь визгливым лаем, отвечали со двора собаки, затем послышались чьи-то шаги по снегу, кто-то окликнул приехавшего, и, когда Чапурин отозвался, ворота́ на оба полотна распахнулись.

— Ах, батюшка Патап Максимыч! — вскликнул Авдей, приемный сын Никитишны.— Милости просим. Пождите маленько, ваше степенство, за свечкой сбегаю, темненько на дворе-то, не зашибиться бы вам ненароком.

— Не надо, Авдеюшка, дорога знакомая,— отвечал Патап Максимыч,— а ты вот, голубчик, коней-то на двор пусти да сенца им брось. Здорова ль Никитишна?

— Неможет, Патап Максимыч, другой день.

— Ой ли? Что ж такое с ней приключилось? — спросил Патап Максимыч.

— Да бог ее знает: то походит, то поваляется. Года уж, видно, такие становятся. Великим постом на седьмой десяток перевалит,— говорил Авдей, провожая гостя.

Дверь из горницы отворилась. Авдеева жена, молодая, шустрая бабенка, с широким лицом, вздернутым носом и узенькими глазками, выбежала в сени со свечкой.

— Патап Максимыч! Подобру ль поздорову? Милости просим,— заговорила она.

— Здравствуй, Татьянушка. Что тетка?

— Хворает.

Войдя в горницу, Патап Максимыч увидал, однако, что кума любезная, повязанная белым платком по голове, сама встречает его. Заслышав голос куманька, не утерпела Никитишна, встала с постели и пошла к нему навстречу.

— Какими судьбами до наших дворов? — спрашивала она у Патапа Максимыча.

— Да вот, ехал неподалече и завернул,— отвечал он.— Нельзя же куму́ не наведать. И то с Рождества не видались. Что, божья старушка, неможется, слышь, тебе?

— Помирать время подходит, куманек. Кости все разболелись. Ломит, тягость такая! — говорила Никитишна.— Таня, ставь-ка, ты самовар да сбери чайку: куманек с холодку-то погреется.

— Рано бы помирать-то тебе, кумушка,— сказал, садясь на лавку, Патап Максимыч.— Пожить надо, внучек вырастить, замуж их повыдать.

— Тебя только послушай, наскажешь,— помаленьку оживляясь, заговорила Никитишна.— Аредовы веки, что ли, прикажешь мне жить? Дело наше бабье: слаб сосуд.

— Поживем еще, кумушка, поживем, пока бог грехам терпит. Выздоравливай. Ну, деток твоих видел, внучки-то что? Здоровеньки ли?

— Слава богу. Аннушку за букварь засадила,— молвила Никитишна,— «аз, ангел, ангельский» — твердит, а Марфуша, как бы ты видел, какая забавная стала, что рассказать нельзя. Спать полегли, да вот завтра увидишь.

— Нет, кумушка, до утра́ у тебя я не останусь,— сказал Патап Максимыч.— Я к тебе всего на часок и коней отпрягать не велел. В город еду. Завтра к утру надо быть там беспременно.

— Чтой-то, батько, какой ноне спесивый стал,— возразила Никитишна.— Заночевал бы, завтра пообедал бы. Чуть брожу, а для гостя дорогого знатный бы обедец состряпала. Наши ключовски ребята лось выследили, сегодня загоняли и привезли. Я бы взяла у них лосиного мясца, да такое б тебе кушанье состряпала, хоть царю самому на стол. Редко ноне лосей-то стали загонять. Переводятся что-то.

— Спасибо, кумушка, да ведь этого зверя, кажись, по закону есть не заповедано,— сказал Патап Максимыч.

— Что ты, окстись! — возразила Никитишна.—Ведь у лося-то, чай, и копыто разделенное, и жвачку он отрыгает. Макария преподобного «житие» читал ли? Дал бы разве божий угодник лося народу ясти, когда бы святыми отцами не было того заповедано... Да что же про своих-то ничего не скажешь? А я, дура, не спрошу. Ну, как кумушка поживает, Аксинья Захаровна?

— Ничего,— отвечал Патап Максимыч.— Клохчет себе. Дочерей взяли из обители, так с ними больше возится.

— Крестница моя что, Настасьюшка? Как поживает?

— Живет себе. Задурила было намедни.

— Как так?..

— Да в кельи захотела,— смеясь, сказал Патап Максимыч.— Иночество, говорит, желаю надеть. Да ничего,

теперь блажь из головы, кажись, вышла. Прежде такая невеселая ходила, а теперь совсем другая стала,— развеселая. Замуж пора ее, кумушка, вот что.

— И то правда, куманек,— согласилась Никитишна.— Ведь ей никак восемнадцать годков минуло?

— Да. Девятнадцатый пошел с осени,— молвил Патап Максимыч.

— Так... Так будет,— сказала Никитишна.— Другой год я в Ключове-то жила, как Аксиньюшка ее родила. А прошлым летом двадцать лет сполнилось, как я домом хозяйствую... Да... Сама я тоже подумывала, куманек, что пора бы ее к месту. Не хлеб-соль родительскую ей отрабатывать, а в девках засиживаться ой-ой нескладное дело. Есть ли женишок-то на примете, а то не поискать ли?

— Маленько заведено дельце, кумушка,— отвечал Патап Максимыч.

— Из каких мест господь посылает? Здешний али дальний какой? — спросила Никитишна.

— Где по здешним местам жениха Настасье сыскать! — спесиво заметил Чапурин.— По моим дочерям женихов здесь нет: токари да кузнецы им не пара. По купечеству хороших людей надо искать... Вот и выискался один молодчик — из Самары, купеческий сын, богатый: у отца заводы, пароходы и торговля большая. Снежковы прозываются, не слыхала ли?

— Нет, Снежковых не слыхала,— отвечала Никитишна.— Да ведь я низовых-то мало знаю. Видел он крестницу-то?

— Покаместь не видал,—сказал Патап Максимыч.— Да вот беда-то, кумушка, что ты расхворалась.

— А что?

— Да ведь я было затем и приехал, чтобы звать тебя стол ради жениха урядить,— сказал Патап Максимыч.— На Аксиньины именины гостить к нам с отцом собирается.

— Беспременно буду,— живо подхватила Никитишна.— Да как же это возможно, чтобы на Настиных смотринах да не я стряпала? Умирать стану, а поеду. Присылай подводу, куманек, часу не промешкаю. А вот что, возьми-ка ты у наших ребят лося; знатно кушанье состряпаю, на редкость.

— Пожалуй,— молвил Патап Максимыч,— только уж ты сама сторгуйся и деньги отдай, после сочтемся.

Теперь в город за покупками еду, послезавтра домой ворочусь и тотчас за тобой подводу пришлю. Сама приезжай и лося вези.

— Ладно, хорошо,— сказала Никитишна.— А я все насчет крестницы-то. Как же это, куманек, что-то невдомек мне: давеча сказал ты, что в монастырь она собираться вздумала, а теперь говоришь про смотрины. Уж не силой ли ты ее выдаешь, не супротив ли воли?

— Заправских смотрин не будет, и настоящего сватовства еще нет,— сказал, уклоняясь от прямого вопроса, Патап Максимыч.— Пущай парень с девкой повидаются, друг на дружку посмотрят. А про сватовство и речи не будет. Раньше той зимы свадьбы нам не играть: и мне времени нет и Снежковым,— в разъездах придется все быть. Настя с молодцом теперь только повидится, а по весне Михайло Данилыч, жених-от, еще раз-другой к нам заедет,— ну помаленьку и ознакомятся... А что про скиты-то Настасья заговорила, так это она так... Нравная девка твоя крестница... Да уж я тебе все расскажу, перед тобой таиться нечего: своя ведь, опять же мать крестная... Сказал я намедни Настасье, что жених у меня для нее припасен. Она в слезы. Ну, подумал я, это еще не велика беда; ка́ка девка без реву замуж выходит?.. «Не пойду, говорит, за твоего жениха». Пошумел я. «У тебя, говорю, воли своей нет, отец с матерью живы; значит, моя воля над детищем, за кого хочу, за того и выдам». Тут она и молвила про обещанье, дала, дескать, обет по́стриг принять в обители. А у меня теперь мать Манефа гостит. Думал, не она ли дурь в голову девке набила. Любят ведь эти игуменьи богатеньких родственниц прилучать... Да как разузнал, вижу, Манефа тут непричинна. Я опять за Настасью, хотелось допытаться, с чего она по́стриг в голову себе забрала... Опять про жениха речь повел. А она, кумушка, как брякнет мне!.. Так и сняла с меня голову.

— Что такое? — спросила Никитишна.

— Коли, говорит, неволить станешь,— «уходом», говорит, с первым встречным уйду... Подумай ты это, кумушка?.. А?.. Уходом?..

— Так и сказала? — спросила Никитишна, встревожась от таких вестей.

— Так и сказала. «Уходом», говорит, уйду,— продолжал Патап Максимыч.— Да посмотрела бы ты на нее

в ту пору, кумушка. Диву дался, сначала не знал, как и говорить с ней. Гордая передо мной такая стоит, голову кверху, слез и в заводе нет, говорит как режет, а глаза как уголья, так и горят.

— Отцова дочка,— усмехнувшись, заметила Никитишна.— В тятеньку уродилась... Так у вас, значит, коса на камень нашла. Дальше-то что же было?

— Уж я лаской с ней: вижу, окриком не возьмешь,— сказал Патап Максимыч.— Молвил, что про свадьбу год целый помину не будет, жениха, мол, покажу, а год сроку даю на раздумье. Смолкла моя девка, только все еще невеселая ходила. А на другой день одумалась, с утра бирюком глядела, к обеду так и сияет, пышная такая стала да радостная.

— А ты девку-то не больно ломай,— молвила Никитишна.— Лаской больше бери да уговорами, на упрямое слово не серчай, на противное не гневайся.

— И то по ней все говорю,— отвечал Патап Максимыч.— Боюсь, в самом деле не наделала бы чего. Голову, кумушка, снимет!.. Проходу тогда мне не будет.

— Страшен сон, да милостив бог,— успокоивала его Никитишна.— Много ль гостей-то звал?

— Да, окроме Снежковых, Ивана Григорьевича с Груней, удельного голову, еще кое-кого,— отвечал Патап Максимыч.— Мне всего больше того хочется, кумушка, чтоб Снежковым показать, как мы в наших захолустьях живем. Хоть, дескать, на болоте сидим, а мохом не обросли. Не загордились бы, коли бог велит в родстве быть. Так уж ты порадей, такой стол уряди, как у самых первых генералов бывает. Снежков-от Данило Тихоныч купец первостатейный, в городских головах сидел, у губернаторов обедывал, у самого царя во дворце, сказывает, в Питере бывал. Порядки, стало быть, знает. Так уж ты лицом в грязь не ударь. Денег не жалей, управь только все на самую хорошую руку. Чего в городе покупать? Сказывай, записывать стану.

Сидя за чаем, а потом за ужином, битый час протолковал Патап Максимыч с Никитишной, какие припасы и напитки искупить надо. И про Настю кой-что еще потолковали. Наконец, когда все было переговорено и записано, Патап Максимыч поехал из Ключова, чтоб с рассветом быть в городе.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Шурин Патапа Максимыча, Никифор, был дрянь человек. Что это был за собинка, того довольно сказать, что «волком» его прозвали,— а хуже, позорней того прозвища в лесах за Волгой нет. Волк — это вконец проворовавшийся мужик, всенародно осрамленный, опозоренный, которого по деревням своего околотка водили в шкуре украденной им скотины, сопровождая бранью, побоями, хохотом и стуком в печные заслоны и сковороды. Много мирских побоев за воровские дела принял Микешка, да мало, видно, бока у него болели: полежит недельку-другую, поохает, помается, да, оправившись, опять за воровской промысел да за пьянство. Просто сказать — отятóй человек.

А ведь, кажется, был из семьи хорошей. Родители были честные люди, хоть не тысячники, а прожили век свой в хорошем достатке. Жили они в удельном селе Скоробогатове. Отец Никифора, Захар Колотухин, пряжу скупал по Ячменской волости, где не только бабы да девки, но и все мужики по зимам за гребнем сидят. Продавая пряжу в Пучеже да в Городце, хорошие барыши он получал и доволен был житьем-бытьем своим. Детей у Колотухина всего только двое было, сын да дочь — красные дети, как в деревнях говорится. Растили родители Никифора, уму-разуму учили, на всякое добро наставляли как следует, да, видно, уж на роду было ему писано быть не справным хозяином, а горьким пьяницей и вором отъявленным. Урожается иной раз у хорошего отца такое чадушко, что от него только горе да бесчестье: роду поношенье, всему племени вечный покор.

Аксинья Захаровна старше брата была. Еще девочкой отдали ее в Комаровский скит к одной родственнице, бывшей в одной из тамошних обителей головщицей правого крылоса; жила она там в холе да неге, думала и нá век келейницей быть, да подвернулся молодой, красивый парень, Патап Максимыч Чапурин... Сошлись, ознакомились, он на нее не наглядится, она на него не надышится, решили, что жить розно им не приходится, и кончилось тем, что Патап Максимыч сманил девку, увез из скита и обвенчался с нею уходом. Прошло года три, мать Аксиньи Захаровны померла в одночасье, остались в дому отец старый вдовец, да сын холостой молодец.

Как жить без бабы? Никоим образом нельзя, без хозяйки весь дом прахом рассыплется... И задумал Захар Колотухин сам жениться и сына женить. Уж невесты были выбраны, и сваты приготовлены, обе свадьбы «честью» хотели справлять, да вдруг Захар занедужился, недельку-другую помаялся и отдал богу душу.

Остался Никифор надо всем отцовским добром сам себе голова. Не больно жалел он родителя, схоронил его, ровно с поля убрался: живи, значит, теперь на своей воле, припеваючи. Про невесту и думать забыл, житье повел пространное, развеселое. В город поехал, все трактиры спознал, обзавелся друзьями-приятелями, помогли они ему вскорости растранжирить родительски денежки. Прогуляв деньги, лошадей да коров спустил, потом из дому помаленьку стал продавать, да года два только и дела делал, что с базара на базар ездил: по субботам в Городец, по воскресеньям в Катунки, по понедельникам в Пучеж,— так целую неделю, бывало, и разъезжает, а неделя прошла, другая пришла, опять за те же разъезды. Сказывал людям Никифор Захарыч, что по торговым делам разъезжает, а на самом деле из кабака в кабак метался, только на разуме и было что гульба да бражничанье. Впрочем, кроме сиденья в кабаках, у Никифора и другие дела водились: где орлянку мечут, он уж тут как тут; где гроши на жеребьевую выпивку кусают да из шапки вынимают, Никифор первый; драка случится, озорство ли какое, безобразие на базаре затеется, первый заводчик непременно Никифор Захарыч. До того скоро дошел, что и пить стало не на́ что, пришлось чем-нибудь на выпивку денег добывать. И пошел наш Никифор на сухом берегу рыбу ловить: день в кабаке, а ночь по клетям,— что плохо лежит, то добыча ему. Вконец проворовался, но сколько раз в краже его ни примечали, все увертывался. Иной раз только боками ответит, отпустят его мужики еле жива. Почешется, почешется да опять за чужим добром. Нельзя же — целовальник в долг не дает.

А душа была у него предобрая. Кто не обижал, тому рад был услужить всячески. Пожар ли случится, Никифор первый на помощь прибежит, бывало, в огонь так и суется, пожитки спасаючи, и тут уж на него положиться было можно: хоть неделю капельки вина во рту не бывало, с пожару железной пуговицы не снесет. Душ

пять на своем веку из огня выхватил да из Волги человек семь. Бывало, только заслышит на реке крики: «Батюшки, тону! Подайте помощь, православные!..» — мигом в воду... А плавал Микешка, как окунь, подплывет, бывало, к утопающему, перелобанит его кулаком что есть мочи, оглушит до беспамятства, чтобы руками не хватался и спасителя вместе с собой не утопил, да, схватив за волосы,— на берег. Раз этак спас бурлака, что с барки упал, на глазах самого губернатора. Губернатор велел Никифора к себе позвать, похвалил его, записал имя и сказал ему:

— За твой человеколюбивый подвиг, за спасенье погибающего, к серебряной медали тебя представлю.

— А велика ль та медаль, ваше превосходительство? — спросил Микешка.

— В полтинник,— отвечал удивленный таким вопросом генерал.

— Так не будет ли такой милости, ваше превосходительство,— сказал Никифор,— чтоб теперь же мне полтинник тот в руки, я бы с «крестником» выпил за ваше здоровье, а то еще жди, пока вышлют медаль. А ведь все едино — пропью же ее.

Раз, под пьяну руку, женился Никифор. Проживала в селе Скоробогатове солдатка, вдова. Маврой звали ее. Разбитная была, на все руки. Известно дело, солдатка— мирской человек, кто к ней в келью зашел, тот и хозяин. Когда у Никифора еще деньги водились и дом еще не пропит был , связалась она с ним и задумала вокруг него покорыстоваться. Чем в тесной кельенке жить на задворище, не в пример лучше казалось ей похозяйничать в хорошем, просторном дому. Загулял раз с ней Микешка, пили без просыпу три дня и три ночи, а тут в Скоробогатово «проезжающий священник» наехал, то есть, попросту сказать, беглый раскольничий поп. Говорит Мавра Микешке:

— Соколик мой ясный, голубчик Микешенька, возьми меня за себя.

— И без того со мной живешь,— отвечал Никифор.— Будет с тебя.

— Лучше будет, ненаглядный ты мой... Кус ты мой сахарный, уста твои сладкие, золотая головушка, не в пример лучше нам по закону жить,— приставала Мавра.— Теперь же вот и отец Онисим наехал, пойдем к

нему, повенчаемся. Зажили б мы с тобой, голубчик, припеваючи: у тебя домик и всякое заведение, да и я не бесприданница,— тоже без ужина спать не ложусь,— койчто и у меня в избенке найдется.

— Какое у тебя приданое? — смеясь, сказал солдатке Никифор.— Ну так и быть, подавай росписи: липовы два котла, да и те сгорели дотла, сережки двойчатки из ушей лесной матки, два полотенца из березова поленца, да одеяло стегоно алого цвету, а ляжешь спать, так его и нету, сундук с бельем да невеста с бельмом. Нет, таких мне не надо — проваливай.

— Да полно, голубчик ты мой сизокрылый, не ломайся, Микешенька,— ублажала его Мавра.— Уж как же мы с тобой бы зажили!..

— Да поди ты к бесу на поветь, окаянная! — крикнул Никифор, плюнув чуть не в самую невесту.— Ишь, прости господи, привязалась. Пошла вон из избы!

— Я бы тебе, Микешенька, во всем угождала, слушалась бы каждого твоего словечка; всем бы тебя успокоила, ты бы у меня как сыр в масле катался,— продолжала уговоры свои Мавра, подносся Никифору Захарычу стаканчик за стаканчиком.

Не устоял Никифор Захарыч супротив водки да солдаткиных уговоров. Сам не помнил, как в избу сватовья-соседи нагрянули и сволокли жениха с невестой к беглому попу Онисиму.

Проснулся поутру Никифор, Мавра возле него волосы ему приглаживает, сама приголубливает:

— Сокровище ты мое бесценное, муженек мой золотой, ясный соколик ты мой!

— Что ты, свинья тупорыла! С похмелья, что ль, угорела? Какой я тебе муж?— закричал Никифор, вскочив с постели.

— Как какой муж? — молвила Мавра.— Известно, какой муж бывает: венчанный! Бог да поп меня вчерась тебе отдали.

— Вон из избы! Чтоб духу твоего не было... Ишь кака жена выискалась! Уйди до греха, не то раскрою,— закричал еще не совсем проспавшийся Никифор, схватив с шестка полено и замахнувшись на новобрачную.

— Матушки мои!.. Голубушки!.. Да что ж это со мной, горькою, делается?..— зачала во всю ивановскую причитать Мавра.— Да и чем же я тебе, Микешень-

ка, досадила?.. Да и чем же я тебя, желанный, прогневала?

Хватил Никифор поленом по спине благоверную. Та повалилась и на всю деревню заверещала. Сбежались соседи,— вчерашние сваты. Стали заверять Никифора, что он вечо́р прямым делом с Маврой повенчался. Не верит Никифор, ругается на чем свет стоит.

— Да сходи к попу,— говорят сватовья.— Спроси у него, поп не соврет, да и мы свидетели.

Сбегал Никифор к попу. И поп те же речи сказывает. Делать нечего. Поп свяжет, никто не развяжет, а жена не гусли, поигравши, ее не повесишь. Послал за вином, цело ведро новобрачные со сватами роспили. Так и повалились, где кто сидел.

Проспались. Никифор опять воевать. Жену избил, и сватьям на калачи досталось, к попу пошел и попа оттрепал: «Зачем, говорит, пьяный пьяного венчал?» Только и стих, как опять напился.

Желтенькое житье Мавре досталось. Не ждала она такой жизни, не думала, чтобы силой да обманом взятый муж таким лютым сделался. Что день — то таска, что ночь — потасовка. Одной печи у Мавры на спине не бывало. Только и отдохнет, как муж по дальним кабакам уедет гулять. А и́з дому Никифор ее не гнал. «Что же делать, говаривал, какая ни на есть жена, а все-таки богом дана, нельзя ж ее из дому гнать». Тогда только ушла от него Мавра, как он и дом и все, что в доме, дотла прогулял, и не стало у него ни кола, ни двора. Сбежала Мавра к целовальнику, прежнему приятелю, села в кабаке жареной печенкой торговать.

Скучно как-то стало Никифору, что давно жены не колотил. Пришел в кабак да, не говоря худого слова, хвать Мавру за̀ косы. Та заголосила, ругаться зачала, сама драться лезет. Целовальник вступился.

— Как ты смеешь,— говорит Никифору,— в казенном месте буянить? Как ты смеешь вольну солдатку бить? Она тоже,— говорит,— человек казенный!

— Как так казенная? — закричал Никифор.— Она жена моя венчанная. Мо́е добро, сколь хочу, столько и колочу.

— Да черт, что ли, меня с тобой вкруг пенька на болоте венчал? — закричала Мавра, поправляя раскосмаченную голову.

— Не черт, а батюшка, отец Онисим,— отвечал озадаченный жениными словами Никифор.

— А в какой это церкви он венчал меня с тобой? В каком приходе? — кричала Мавра на все село.— Где свадьба наша записана?.. В каких книгах?.. Ну-ка, докажи!

— Сама знаешь, что отец Онисим проезжающий был.

— А ну-ка, докажи! — кричала Мавра.— А ну-ка, докажи! Какие такие проезжающие попы?.. Что это за проезжающие?.. Я церковница природная, никаких ваших беглых раскольницких попов знать не знаю, ведать не ведаю... Да знаешь ли ты, что за такие слова в острог тебя упрятать могу?.. Вишь, какой муж выискался!.. Много у меня таких мужьев-то бывало!.. И знать тебя не хочу, и не кажи ты мне никогда пьяной рожи своей!..

Нечего тут взять, коли баба и от попа отчуралась.

— Ну,— крикнул Микешка с горьким чувством целовальнику,— так, видно, делу и быть. Владей, Фаддей, моей Маланьей!.. А чапуруху, свояк, поставь... Расшибем полштофика!.. Выпьем!.. Плачу я... Гуляем, Мавра Исаевна!.. А ну-ка, отрежь печенки... Ишь черт какой, дома, небойсь, такой не стряпала!.. Эх, погинула вконец моя головушка!.. Пой песню, Маврушка, ставь вина побольше, свояк!

Уж как, кажется, ни колотил Никифор жены своей, уж как, кажется, ни постыла она ему была за то, что сама навязалась на шею и обманом повенчалась с ним, а жалко стало ему Мавры, полюбилась тут она ему с чего-то. Проклятого разлучника, скоробогатовского целовальника, так бы и прошиб до́ смерти...

Мавре было все равно. Ей хоть сейчас с татарином ли, с жидом ли повенчаться, а Микешка по старой вере был крепок. Частенько потом случалось, что в надежде на богатого зятя, Патапа Максимыча, к нему в кабаках приставали вольны девицы да мирские вдовицы: обвенчаемся, мол. У Микешки один ответ на таки речи бывал:

— Запросто гулять давай, а венчаться нельзя. Поп венчал, а из жены душа не вынута.

С ломом красть ходить да с отмычками — дело опасливое, разом в острог угодишь. Да и то сказать: забравшись в чужу клеть, вору хозяйско добро не оценивать

стать. А без того умному вору нельзя, коли он знает закон. Хорошо, как на двадцать на девять целковых под руку подвернется, беда не велика. По старому закону за это спиной только, бывало, вор отвечает. А как, по неопытности, зараз на тридцать загребет, да поймают с поличным: по тому же закону — Сибирь, поселенье. И воровать-то надо сноровку знать: занадобится сто рублей, умному вору, чтоб дома остаться, надо их в четыре приема красть. Микешка это разумел и оттого воровал по мелочи. Надоели, однако, мирские побои добру молодцу, принялся он за «волчий промысел». Тут не скоро попадешься.

За Волгой нет особых пастбищ и выгонов. Скот все лето по̀ лесу пасется. Коням нарочно бо̀талы да глухари [1] на шею надевают, чтоб, когда понадобится лошадь хозяину, по звону ее скорее можно было сыскать. Коровы да овцы в лесах уж так приучены, что целый день по̀ лесу бродят, а к вечеру сами домой идут. Пастухов за Волгой в заводе нет. В прежнее время слыхом не было слыхано, чтобы где-нибудь лошадь угнали, хоть она беспастушно паслась. Дальше на север и досель эта добрая старина держится. По Заволжью лошадей тогда только начали красть, как учредили особую должность комиссаров по пресечению конокрадства [2]. Должно быть, ворам стало совестно, что ради их особых чиновников наслали и они даром казенное жалованье берут. Не пропадай же даром казна государева — давай и мы лошадок красть.

А коров да овец иной раз и̇з лесу воры прежде уводили. Таких воров «волками» народ прозвал. Эти волки с руками накроют, бывало, в лесу коровенку, либо овцу, тут же зарежут да на воз и на базар. Шкуру соймут, особо ее продадут, а мясо задешево промышленникам сбудут, тем, что солонину на бурлаков готовят. Промысел этот не в пример безопасней, чем хожденье по чужим

---

[1] *Бо̀тало* — вроде деревянного колокола, а *глухарь*, или бухарь,— металлический полый шар, в котором до заклепки кладут камешек. Это вроде большого бубенчика.

[2] Этих чиновников (теперь должность комиссаров упразднена) обыкновенно звали «конокрадами». Что в Заволжье конокрадство, дотоле неслыханное, началось с учреждения этой должности, вовсе для того края ненужной (в сороковых годах), это положительный факт.

клетям да амбарам. Редко «волка» выслеживали. Но если такого вора на деле застанут, тут же ему мужики расправу чинят самосудом, по старине. Выпорют сначала розгами, сколько лозанов влезет, снимут с зарезанной скотины шкуру, от крови не омытую, надевают на вора и в таком наряде водят его из деревни в деревню со звоном в сковороды и заслоны, с криком, гиканьем, бранью и побоями. Делается это в праздничные дни, и за вором, которому со времени этой прогулки дается прозванье «волка», сбирается толпа человек во сто. После того человек тот навѐк опозорен. Какую хочешь праведную жизнь веди, все его «волком» зовут, и ни один порядочный мужик на двор его не пустит.

Пропившийся Никифор занялся волчьим промыслом, но делà свои и тут неудачно повел. Раз его на баране накрыли, вдругорядь на корове. Последний-то раз случилось неподалеку от Осиповки. Каково же было Патапу Максимычу с Аксиньей Захаровной, как мимо дому их вели братца любезного со звоном да с гиканьем, а молодые парни «волчью песню» во все горло припевали:

Как у нашего волка
Исколочены бока,
Его били, колотили,
Еле жива отпустили.
А вот волка ведут,
Что Микешкой зовут.
    У! у! у!
Микешке вóлку
Будет на холку!
    У!у!у!
Не за то волка бьют,
Что сер родился,
А за то волка бьют,
Что барана съел,
Он коровушку зарезал,
Свинье горло перегрыз.
Ой ты, волк!
Серый волк!
Микешкина рожа
На волка похожа.
Тащи волка живьем,
Колоти его дубьем.

Сколь ни силен, сколь ни могуч был в своем околотке Патап Максимыч, не мог ничего сделать для выручки шурина. Ни грозой, ни просьбой, ни деньгами тут ни-

чего не поделаешь. Обычай хранят, чин справляют — мешаться перечить тут нельзя никому.

Раза три либо четыре Патап Максимыч на свои руки Микешку брал. Чего он ни делал, чтоб направить шурина на добрый путь, как его ни усовещивал, как ни бранил, ничем не мог пронять. Аксинья Захаровна даже ненавидеть стала брата, несмотря на сердечную доброту свою. Совестно было ей за него, и часто грешила она: просила на молитве бога, чтоб послал он поскорей по̀ душу непутного брата.

С крещенского сочельника, когда Микешка вновь принят был зятем в дом, он еще капли в рот не бирал и работал усердно. Только работа его не спорилась: руки с перепоя дрожали. Под конец взяла его тоска — и выпить хочется и погулять охота, а выпить не на̀ что, погулять не в чем. Украл бы что, да по приказу Аксиньи Захаровны зорко смотрят за ним. Наверх Микешке ходу нет. Племянниц еще не видал: Аксинья Захаровна заказала братцу любезному и близко к ним не подходить.

На другой день после отъезда Патапа Максимыча в город за покупками все утро до самого обеда бродил Микешка из места в место. Такая на него тоска напала, что хоть руки на себя наложить. Сосет его за̀ сердце винный червяк. За стакан водки руку на отсеченье бы с радостью отдал. И у того и у другого работника Христа ради просил он гривенничек опохмелиться, но от Патапа Максимыча было строго-настрого заказано: ни под каким видом гроша̀ ему не давать. С тоски да с горя Микешка, сам не зная зачем, забрел в нижнее жилье дома и там в сенях, перед красильным подклетом, завалился в уголок за коро́ба с посудой. Там лежал он, в сотый раз передумывая, как бы раздобыться деньжонками, хоть двугривенным каким-нибудь, чтобы сбегать в Захлыстинский кабак и, отведя там душу, воротиться, пока не приехал еще домой Патап Максимыч.

Обедать работники пошли. В ту пору никто в красильный подклет, кроме хозяина, не заглядывал, а его не было дома. Фленушка то́тчас смекнула, что выпал удобный случай провести Насте с полчасика вдвоем с Алексеем. Шепнула ему, чтоб он, как только работники по избам обедать усядутся, шел бы в красильный подклет.

Алексей долго ждать себя не заставил. Только зашабашили работники, он сказал, что ему, по хозяйскому приказу, надо пересмотреть остальные коробá с посудой и зáсветло отослать их на пристань, и отправился в подклет. Фленушка его караулила и дала знать Насте. Настя спустилась в подклет.

— Настенька моя, красавица! — говорил Алексей, встречая ее крепкими объятиями и страстными поцелуями.— Давно ль мы, кажись, с тобой виделись, а по мнѐ ровно годы с той поры прошли. Яблочко ты мое наливчатое, ягодка ты моя красная!

— И я совсем стосковалась по тебе, Алеша,— прижимаясь к милому, молвила Настя.— Только и думы у меня, что про тебя, дружочек мой.

— Как бы вовсе нам не расставаться, моя ясынька! — молвил Алексей, обнимая Настю.

Длинным, длинным поцелуем поцеловала его Настя. Не до разговоров было... Глядя друг на друга, все забыли они. Вздохи сменялись поцелуями, поцелуи вздохами.

Крепко сжимал Алексей в объятиях девушку. Настя как-то странно смеялась, а у самой слезы выступали на томных глазах. В сладкой сердечной истоме она едва себя помнила. Алексей шептал свои мольбы, склоняясь к ней...

Когда трепетная, побледневшая Настя вышла в сени, ее встретила Фленушка.

— Ну что? — спросила она.

Настенька припала к плечу подруги и заплакала...

— Ну, пойдем, пойдем,— молвила Фленушка.— Здесь еще навернется кто-нибудь...

И увлекла ее в светелку.

Алексей оставался несколько времени в подклете. Его лицо сияло, глаза горели. Не скоро мог он успокоиться от волнения. Оправившись, пошел в сени коробá считать.

Передвигая короб за коробом, увидал притаившегося за ними Микешку.

— Что тут делаешь? — крикнул на него Алексей.— Разве тебе место тут?

Микешка встал и, глупо улыбаясь, сказал Алексею:

— С праздником проздравить честь имеем.

— Какой тут праздник за коробами нашел? — строго сказал ему Алексей.— Убирайся на свое место.

— Мое, брат, место завсегда при мне,— отвечал Микешка.— Аль не знаешь, какой я здесь человек? Хозяйский шурин, Аксинье Захаровне брат родной. Ты не смотри, что я в отрёпье хожу...— свысока заговорил Микешка и вдруг, понизив голос и кланяясь, сказал: — Дай, Алексей Трифоныч, двугривенничек!

— Ступай, ступай, откуда пришел, не то Патапу Максимычу скажу,— говорил Алексей, выгоняя из сеней Микешку.— Да ступай же, говорят тебе!

— Дай двугривенный, так сейчас уйду! — настойчиво сказал Микешка.

— Убирайся. Честью тебе говорят, а то смотри, я ведь и взашей.

— Меня взашей! Помни же ты это слово!

— Ну, ладно, ладно, проваливай!

— Помни, а я не забуду,— ворчал Микешка, уходя на двор.— Вишь, девушник какой! А она-то, спасенница-то! Ну, девка! Ай да Фленушка!..

Микешка видел из-за коробов, как в подклет входил Алексей, видел и Фленушку. Больше ничего не видал. Думал он, что Алексей ходил с келейной белицей в подклет на тайное свиданье.

* * *

В доме Патапа Максимыча накануне именин Аксиньи Захаровны с раннего у́тра все суетились. Самого хозяина не было дома; уехал на соседний базар посмотреть, не будет ли вывезено подходящей ему посуды. У оставшихся дома семейных возни, суетни у каждого было по горло. Аксинья Захаровна с дочерьми и с Фленушкой, под руководством Никитишны, прибирала передние горницы к приему гостей: мебель вощили, зеркала вином обтирали, в окнах чистые занавески вешали. Накануне из города привезли Чапурину две горки красного дерева за стеклами, их поместили по углам. Аксинья Захаровна вынимала из сундуков серебряную и фарфоровую посу́ду, приготовленную дочерям в приданое, Настя и Параша расставляли ее каждая в своей горке. Патап Максимыч каждый раз, как бывал в Москве иль у Макарья, привозил дочерям ценные подарки, и в продолжение нескольких лет накопилось их довольно. Ожидая в гости жениха, он, бывши последний раз в городе, купил в ме-

бельной лавке горки, чтобы все свои подарки выставить напоказ. Знали бы, дескать, Снежковы, что дочери у него не бесприданницы.

Весело уставляла Настя «свою» горку серебром и фарфором, даже песенку запела. Следов не видно было прежней тоски.

Аксинья Захаровна в суетах из сил выбилась.

— Ох, родная ты моя,— говорила она Никитишне, садясь на стул и опуская руки,— моченьки моей не стало, совсем измучилась...

— Да не суетись ты, Аксиньюшка,— отвечала ей Никитишна.—Ведь только так, даром толчешься, сидела бы себе в спокое. И без тебя все украсим как следует.

— Как же это возможно,— отвечала хозяйка.— Сама не приглядишь, все шиворот-навыворот да вон на тараты пойдет... А после за ихнюю дурость принимай от гостей срам да окрик от Патапа Максимыча... Сама знаешь, родная, какие гости у нас будут! Надо, чтобы все было прибрано показистее.

— Не твое это дело, Аксиньюшка. Предоставили мне, одна и управлюсь, тебя не спрошу. Чать, не впервые,— сказала Никитишна.

— Так-то так, уж я на тебя как на каменну стену надеюсь, кумушка,— отвечала Аксинья Захаровна.— Без тебя хоть в гроб ложись. Да нельзя же и мне руки-то сложить. Вот умница-то,— продолжала она, указывая на работницу Матрену,— давеча у меня все полы перепортила бы, коли б не доглядела я вовремя. Крашены-то полы дресвой вздумала мыть... А вот что, кумушка, хотела я у тебя спросить: на нонешний день к ужину-то что думаешь гостям сготовить? Без хлеба, без соли нельзя же их спать положить.

— Да что сготовить? — с расстановкой стала говорить Никитишна.— Буженины косяк да стерлядок разварим, индейку жареную, и будет с их.

— А похлебку-то?

— Никакой похлебки не надо. Не водится,— отвечала Никитишна.

— Как же это за ужин без варева сесть? Ладно ли будет? — с недоумением спросила Аксинья Захаровна.

— Ты уж не беспокойся, не твое дело,— отвечала Никитишна.

— Так-то так, родная, да больно боюсь я, чтоб корить после не стали,— говорила Аксинья Захаровна.— Ну, а назавтра, на обед-от, что ты состряпаешь?

— Уху сварю,— отвечала Никитишна.— Хороших стерлядок добыл Патап Максимыч, живы еще и теперь, у меня в лохани полощутся. После ухи кулебяку подам, потом лося, что из Ключова с собой привезли, осетра разварим, рябков в соусе сготовим, жареных индюшек, а после всего сладкий пирог с вареньем.

— Не маловато ли будет? — сказала Аксинья Захаровна.— Ты бы уж дюжину кушаньев-то состряпала.

— Больше не надо,— отвечала Никитишна.— Выдай-ка мне напитки-то, я покаместь их разберу.

— Пойдем, пойдем, родная, разбери; тут уже я толку совсем не разумею,— сказала Аксинья Захаровна и повела куму в горницу Патапа Максимыча. Там на полу стоял привезенный из города большой короб с винами.

— Ну, ты поди, управляйся с полами,— сказала Никитишна Аксинье Захаровне,— а ко мне крестницу пришли. Мы с ней разберем.

Аксинья Захаровна вышла. Весело вбежала в горницу Настя.

— Развязывай короб-от, Настенька,— сказала Никитишна.— Давай разбирать.

Настя развязала короб и стала подавать бутылку за бутылкой. Внимательно рассматривая каждую, Никитишна расставляла их по сортам.

— Чтой-то с тобой творится, Настя? Ровно ты не в себе? — сказала она

— Ничего, крестнинька, — весело отвечала Настя, но, заметив пристальный взгляд, обращенный на нее крестной матерью, покраснела, смешалась.

— Меня, старуху, красавица, не обманешь,— говорила Никитишна, смотря Насте прямо в глаза.— Вижу я все. На людях ты резвая, так и юлишь, а как давеча одну я тебя подсмотрела, стоишь грустная да печальная. Отчего это?

— Никакой нет у меня грусти, крестнинька,— отвечала смущенная Настя.—Тебе показалось.

— Не обманывай меня, Настя. Обмануть кресну мать — грех незамолимый,— внушительно говорила Ни-

китишна.— Скажи-ка мне правду истинную, какие у вас намедни с отцом перекоры были? То в кельи захотелось, то, глядика-сь, слово какое махнула: «уходом»!

У Насти от сердца отлегло. Сперва думала она, не узнала ль чего крестнинькая. Меж девками за Волгой, особенно в скитах, ходят толки, что иные старушки по каким-то приметам узнают, сохранила себя девушка аль потеряла. Когда Никитишна, пристально глядя в лицо крестнице, настойчиво спрашивала, что с ней поделалось, пришло Насте на ум, не умеет ли и Никитишна девушек отгадывать. Оттого и смутилась. Но, услыхав, что крестная речь завела о другом, тотчас оправилась.

— А! успели уж пожалобиться! — с досадой сказала она.— А коли уж все тебе рассказано, мне-то зачем еще пересказывать?.. Жениха на базаре мне заготовил!.. Да я не таковская, замуж неволей меня не отдашь... Не пойду за Снежкова, хоть голову с плеч. Сказала: уходом уйду... Так и сделаю.

— А как нагонят? — молвила Никитишна,— как поймают? От твоего родителя мудрено уходом уйти. Подначального народу у него сколь?.. Коли такое дело и впрямь бы случилось, сколько деревень в погоню он разошлет!.. Со дна моря вынут...

— Тогда руки на себя наложу,— твердо и решительно сказала Настя.— Нож припасу, на тятиных глазах и зарежусь... Ты еще не знаешь меня, крестнинька: коль я что решила, тому так и быть. Один конец!

— Полно а ты, полно, Настенька,— уговаривала ее Никитишна.— Чтой-то какая ты в самом деле стала?.. А может, этот Снежков и хороший человек?

— Он тяте по торговле хорош,— с усмешкой молвила Настя.— Делá, вишь, у него со стариком какие-то есть; ради этих делов и надо ему породниться... Выдавай Парашу: такая же дочь!.. А ей все одно: хоть за попа, хоть за козла, хоть бы дубовый пень. А я не из таковских.

— Не гневи, Настенька, отца с матерью. Грех,— сказала Никитишна.

— Ничем я их не прогневила,— сказала Настя.— Во всем покорна, а насчет этого — ну, уж нет. Силком за немилого замуж меня не выдадут.

— За немилого!— усмехнулась Никитишна.— А за милого пойдешь?

— Еще бы нейти! — улыбнувшись, ответила Настя.

— Не завелся ли такой? — лукаво поглядывая на крестницу, спросила Никитишна.

— Да ты, крестнинька, от себя это спрашиваешь? — сложив на́крест руки и нахмурив брови, спросила Настя.— Аль, может, тятенька велел тебе мысли мои выведывать?

— Известно, сама от себя,— отвечала Никитишна.— Разве я чужая тебе? Не носила, не кормила, а все же мать. Жалеючи тебя, спрашиваю.

Неправду сказала Никитишна. Еще в Ключове Патап Максимыч просил ее выпытать у Насти, не завелась ли у ней зазнобушка. «В скиту ведь жила,— говорил он,— а там девки вольные, и народу много туда наезжает».

Настя немного подумала и с твердостью сказала, как отрезала:

— Коли ты, крестнинька, от себя спрашиваешь, так я одно тебе слово скажу: «нет». Больше у меня и не спрашивай. А коль велено тебе мои мысли спознать, так скажи им вот что: вздумают силой замуж отдавать, свяжусь с самым лядащим из тятиных работников... Сама навяжусь, забуду стыд девичий... Не он меня выкрадет, я его уходом к попу сведу... Самого лядащего, слышишь? Так и скажи... Кто всех пьяней, кто всех вороватей, того и возьму в полюбовники... Жаль, что с дядей венчаться нельзя, а то бы вышла я за нашего пропойцу.

— Ах, Настенька, Настенька! — качая головой, сказала Никитишна.— В уме ли ты?

— Покуда в уме, — ответила Настя.— А пойдут супротив воли моей, решусь ума и таких делов настряпаю, что только ахнут... Не то что уходом венчаться бегу, к самому паскудному работнику ночевать уйду... Вот что!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В Осиповке еще огней не вздували. По всей деревне мужички, лежа на полатях, сумерничали; бабы, сидя по лавкам, возле гребней дремали; ребятишки смолкли, гурьбой забившись на́ печи. На улицах ни души.

А у Патапа Максимыча в доме все на ногах. В горницах и в сенях огни горят, в передней, где гостям сидеть, на каждом окошке по две семитки лежит, и на каж-

дой курится монашенка[1]. Все домашние разодеты по-праздничному. Особенно нарядно и богато разодета Настасья Патаповна. В шелковом пунцовом сарафане с серебряными золочеными пуговками, в пышных батистовых рукавах, в ожерелье из бурмицких зерен и жемчугу, с голубыми лентами в косах, роскошно падавших чуть не до колен, она была так хороша, что глядеть на нее — не наглядишься... Но что-то недоброе порой пробегало на хмуром лице ее. Не суетилась Настя, как прочие, но и на месте не сидела. То к окну подойдет, то в светлицу сходит, то на кресло сядет; и все так порывисто, как бы со злом каким. Говорят ей что-нибудь, не ответит, либо скажет что невпопад. Глядя на дочь, Аксинья Захаровна только руками по полам хлопает, а Патап Максимыч исподлобья сурово поглядывает; но, помня прошлое, себя сдерживает, словечка не вымолвит, ходит себе взад да вперед по горнице, поскрипывая новыми сапогами.

Первым из гостей прикатил Иван Григорьевич. Частой, дробной рысцой парочка кругленьких соловых вяток подвезла к растворенным настежь воротам Чапурина уютные легкие санки-катунки, казанской работы, промеж расписных вязков обитые немецким железом. В санках, рядом с седоватым кумом, сидела красивая молодая женщина в малиновой шелковой шубке с большим куньим воротником, голова у ней укутана была голубым ковровым платком. То была жена Ивана Григорьича — Аграфена Петровна, не родная, да и не чужая Патапу Максимычу — дочка его богоданная.

Иван Григорьич Заплатин был тоже из заволжских тысячников. Верстах в пятнадцати от Осиповки, на краю «чищи», что полосой тянется вдоль левого волжского берега, под самой «раменью»[2], проживал он в небольшой

---

[1] Курительная свечка.

[2] По левому берегу Волги тянется безлесная полоса верст в 20—25 шириной. Здесь в старину был лес; остатки пней местами сохранились, но он давно или вырублен, или истреблен пожарами и буреломами. Эта полоса зовется *чищею*. *Раменью* называется окраина лесов, прилегающих к чище. *Красная рамень* — окраина леса хвойного: сосны, ели, лиственницы; *черная рамень* — окраина лиственного леса. Есть за Волгой местности, которым свойственны названия Красной рамени и Черной рамени, как собственные имена. Таким образом, например, в Семеновском уезде, Нижегородской губернии, есть большие населенные пространства, носящие названия Красной и Черной Раменей.

деревушке домов в двадцать, Вихорево прозывается. Как Чапурин верховодил в Осиповке, так Иван Григорьич в своем Вихореве. Эта деревня да еще с дюжину окольных круглый год на него работали и звали Заплатина своим «хозяином». А занимаются по тем местам делом валеным.

У Заплатина при доме было свое заведение: в семи катальных банях десятка полтора наемных батраков зиму и лето стояло за работой, катая из поярка шляпы и валеную обувь. В окрестных деревнях на него же мягкий товар валяли. Кто езжал зимней порой по той стороне, тот видал, что там в каждом дому по скатам тесовых кровель, лицом к северу, рядами разложены сотни, тысячи белых валенок, а перед домами стоит множество «суковаток» [1], у каждой десятка по два рогулей, и на каждой рогулине по валенку висит. Это мягкий товар промораживают, чтоб бело да ка́зисто на покупателя смотрел. Из катальных бань то и дело выскакивают босые, с головы до́ пояса обнаженные, распотелые работники. Прокатится парень кубарем по снегу, прохладится и назад в баню за работу. А из распахнутых настежь дверей катален пар, как дым пожарный, валит, оседая по застрехам хлопками густой, белой кружевины. За сотню деревень таким промыслом кормятся.

В прежнее время Иван Григорьич больше по шляпной части занимался. Лет сорок тому назад заволжские катальщики чуть не на всю великорусскую сельщину шляпы работа́ли. Валяли они и тот «шляпо̀к», что исстари в ходу по Тверской и Новгородской сторонам — с низенькой прямой тульей,— и ярославскую «верховку», такую же низенькую, но с тульей раструбом. В Суздальскую сторону, на Ветлугу, на Вятку, в Пермь и на волжское Низовье работа́ли шляпы гречушником «с подхватцем», либо «с переломом»; для Московской стороны «шпилёк московский», на Рязань, на Тулу и дальше к Украине «шпилёк ровный» да «кашники». Большим подспорьем шляпной торговле бурлаки в прежнее время бывали. Для них шляпу на особую стать за Волгой валяли, ни дать ни взять, как те низенькие, мягкие летние шля-

---

[1] *Суковатка* — семи-восьмигодовалая елка, у которой облуплена кора и окорочены сучья, в виде рогулек. Суховатку ставят в сугроб комлем кверху и на рогульки развешивают валенки.

пы, что теперь у горожан в моду вошли. И татарам за Волгой белые шляпы валяли. Хоть иной катальщик и брезговал такой работой: греховное, дескать, дело христианские руки поганить, катая шляпу на бриту башку бусурманина, но таких не много бывало, потому что «татарка» товар сходный, никогда, бывало, не залежится. Много денег за Волгой шляпой добывали, немало досужих работников шляпа в люди вывела, тысячниками поставила. Теперь не то. Все это было, да давно и сплыло, а что не сплыло, то быльем поросло.

Совсем подошла теперь шляпа заволжская. Хоть брось совсем. Спрос малый, сбыту вовсе почти не стало. Годов тридцать тому назад какой-то кантауровец[1] ушел на житье в Тверскую сторону и там, где-то около Торжка, завел родимый свой заволжский промысел. Сразу разбогател. Новые соседи стали у того кантауровца перенимать валеное дело, до того и взяться за него не умели; разбогатели ли они, нет ли, но за Волгой с той поры «шляпка́» да «верховки» больше не валяют, потому что спросу в Тверскую сторону вовсе не стало, а по другим местам шляпу́ тверского либо ярославского образца ни за что на свете на̀ голову не наденут — смешно, дескать, и зазорно. С легкой руки кантауровца и другие заволжане по чужим сторонам пошли счастья искать и развезли дедовский промысел по дальним местам. Спросу на шляпу за Волгой оттого стало еще меньше. А тут пароходы на Волге завелись, убили бурлачество, тогда и бурлацкой шляпе пришел конец. А больше всего бед наделал картуз. Вышел он на Русь из неметчины, да не из заморской, а из своей, из той, что лет сто тому назад мы, сами не зная зачем, развели на лучших местах саратовского Поволжья. Дешевый картуз вытеснил более ценную стародавнюю шляпу, и осталась она лишь праздничным убором молодежи, да еще степенные, седые мужики пока еще не променяли дедовских шляп на нововводный картуз.

Хизнул за Волгой шляпный промысел, но заволжанин рук оттого не распустил, головы не повесил. Сапоги да валенки у него остались, стал калоши горожанам ра-

---

[1] *Кантаурово* — село на реке Линде, за Волгой, верстах в двадцати от Нижнего Новгорода, один из центров валеночного промысла. По имени этого села всех вообще заволжских катальщиков, приготовляющих шляпы и валеную обувь, нередко зовут кантауровцами.

ботать по немецкому образцу, дамские ботинки, полусапожки да котики, охотничьи сапоги до́ пояса,— хорошо в них на медведя по сугробам ходить,— да мало ль чего еще не придумал досужий заволжанин.

Иван Григорьич вот какой промысел тогда произвел. Раз, будучи у Макарья, зашел по какому-то делу к знакомому барину. Погода стояла дождливая. Выходя из дому вместе с Иваном Григорьичем, барин велел подать себе непромокаемое пальто. Иван Григорьич полюбопытствовал, пощупал невиданное им дотоле пальто, видит, дело-то валеное, значит, сподручное, спросил у барина, где он добыл такую вещь и, по его указанью, купил у заезжего на ярмарку чужеземца непромокаемое пальто, дал чуть ли не четвертную. Воротясь в Вихорево, принялся Иван Григорьич по иноземному образцу пальто работать, вышло ничем не хуже, зато вшестеро дешевле. Медаль получил на выставке. Вихоревские пальто спервоначалу шибко пошли в ход, только ненадолго; зазорно стало господам мужицкого дела одежу носить — подавай хоть поплоше, да подороже, да чтоб было не свое, а немецкое дело... Азямы тогда стал работать Иван Григорьич непромокаемые — эти пошли.

Жил Иван Григорьич, на бога не жаловался. Всего у него было вдосталь. Скупая валеный товар по окрестностям и работая в своем заведении, каждый год он его не на одну тысячу сбывал у Макарья и, кроме того, сам на Низ много валеной обуви сплавлял. В Нижнем у него лавка была, приказчик в ней круглый год сидел, да на ярмарке две лавки нанимал. Мельница-крупчатка на Линде у него стояла, о десяти поставах была. На последних годах пароход кабестанный завел: пароход звался «Вихорем», забежка «Заплатой». Тысяч в семьдесят на серебро обошелся.

С Патапом Максимычем Заплатин с малолетства дружил. Оба из одной деревни: старик-от Заплатин тоже был осиповский и в шабрах проживал с Максимом Чапуриным. Пата̀пушка да Ва̀нюшка с ребятишками вместе на улице в козны да в городки игрывали, у келейницы Капитолины вместе грамоте обучились, вместе в люди вышли. Схоронив отца с матерью, Иван Григорьич не пожелал оставаться в Осиповке, а, занявшись по валеному делу, из рамени в чищу перебрался, где было ему не в пример вольготнее, потому что народ там больше

этим промыслом жил. Но, выселившись из Осиповки, в прежней любви с Чапуриным остался. Жили они после того три десятка лет ладно и совестно; никогда промеж их серая кошка не пробегала. Не раз друг друга из беды выручали, не раз помощь в пору вовремя друг другу подавали. Дай господи родным братьям в таком согласье жить, в каком жили осиповский тысячник с вихоревским. И семейные их меж себя тоже как родные были.

Испокон веку народ говорит: жена добрая, домовитая во сто крат ценней золота, не в пример дороже камня самоцветного. Правдиво то русское извечное слово; правду его Иван Григорьич на себе спознал. Хозяйка у него была молодая, всего двадцати двух лет, но такое сокровище, что дай бог всякóму доброму человеку. Свежая, здоровая, из себя пригожая, Аграфена Петровна вот уж пятый год живет за ним замужем, и хоть Иван Григорьич больше чем вдвое старше ее, любит седого мужа всей душой, денно и нощно благодаря создателя за счастливую долю, ей посланную. Ясное, веселое лицо Аграфены Петровны верней всяких речей говорило, что нет у нее ни горя на душе, ни тревоги нà сердце. Тихо и мирно проходила жизнь этой любящей и всеми любимой женщины. Всегда спокойная, никогда ничем не возмутимая, красным солнцем сияла она в мужнином доме, и куда вчуже ни показывалась, везде ей были рады, как светлому гостю небесному. Куда ни войдет, всюду внесет с собой мир, лад, согласье и веселье. При ней и мрачные старики, угрюмо на постылый свет глядевшие, юнели и, будто сбросив десяток годов с плеч долой, становились мягче, добрей и приветливей. Никогда не слыхать было при ней пересудов, ни злых попреков, ни лихих перекоров. Как достигла Аграфена Петровна такого влияния на всех ею знаемых, сама не знала и другие не ведали. Как-то само собой вышло, а когда началось и с чего началось, никто бы не сумел ответа дать. «Такая уж молодица: от бога ей дано»,— говорили соседи, когда спрашивали у них, отчего при жене Заплатина ни злословить, ни браниться и ничего недоброго никто сделать не может. Самый вздорный человек, самый охочий до ссор и брани стихал на глазах кроткой разумницы и потом сам на стороне говорил, что при Аграфене Петровне вздорить никак не приходится.

Росла она круглой сиротой, но святый божий покров всегда был над нею. За молитвы, видно, родительские не довелось Груне изведать горечи и тяги, неразлучных с сиротскою долей. С младенческой колыбели до брачного венца никогда почти не знавала она ни бед, ни печалей, а приняв венец, рай в мужнин дом внесла и царила в нем. *Почти* не знала бед и печалей, но не совсем же они были ей неведомы. Без горя, без печалей, что без греха, человеку века не изжить. И над Груней, еще девочкой, внезапно грозой разразилась беда тяжкая, и пришлась бы она ребенку не под силу, если б не нашлось добрых людей, что любовью своей отвели грозу и наполнили мирным счастьем душу девочки.

Отец ее был хоть не из великих тысячников, но все же достатки имел хорошие и жил душа в душу с молодой женой, утешаясь, не нарадуясь на подраставшую Груню. Дети у них не жили, одну ее сохранил господь, и крепко любили родители белокурую дочку свою. Девять годов Груне на Купальницу исполнилось, через месяц после именин ее поехали отец с матерью к Макарью — там у них в Щепяном ряду на Песках, что у Стрелки, лавка была. Взяли они с собой и маленькую дочку. Так они ее любили, что ни за какие блага не покинули б в деревне с домовницей, чтоб потом, живучи в ярмарке, день и ночь думать да передумывать, не случилось ли чего недоброго с ненаглядной их дочуркой.

Год был тяжелый: смерть по́ людям ходила. Холера на ярмарке валила народ. У Грунина отца в один день двое молодцов заболело, свезли их в Мартыновскую, оттоль к Петру-Павлу [1]. Прошел день-другой, разом у Груни отец с матерью заболели, их тоже в больницу свезли. Одна-одинешенька, середь чужих людей, осталась в лавке девятилетняя Груня. Урвавшись как-то от соседних торговцев, Христа ради приглядывавших маленько за девочкой, она, не пивши, не евши, целый день бродила по незнакомому городу, отыскивая больницу; наконец, выбившись из сил, заночевала в кустах волжского откоса. Поутру, чуть еще брезжило, голодная девочка уже стояла и плакала у ворот Мартыновской боль-

[1] Городская больница в Нижнем называется «Мартыновскою», кладбище городское называется «У Петра и Павла», по церкви, там находящейся.

ницы. Сторожа не пускали ее на двор. Долго лежала она под солнечным припеком, громко рыдая и умоляя пустить ее к отцу с матерью. Сторожа для порядка гнали Груню прочь от больничных ворот и сказали, что ни тятьки, ни мамки у ней больше нет, что дò свету обоих на кладбище стащили. Несмотря на угрозы, бедная Груня все-таки прочь от больницы не шла...

Тогда взглянул господь на сироту милосердным оком и послал к ней доброго человека.

Проведал один ярмарочный торговец из-за Волги, что в Щепяном ряду выморочная лавка явилась и в ней один-одинешенек малый ребенок остался. Спросил у соседей той выморочной лавки, куда девалась сирота — никто не знает. Бросил свое дело добрый человек и пустился на розыски. Отыскал он Груню у ворот больницы и взял сиротинку в дом свой. Вспоил, вскормил ее и воспитал наравне с родными дочерями, ни на волос их от богоданной дочки не отличая. И благословение божие почило на добром человеке и на всем доме его: в семь лет, что прожила Груня под кровом его, седмерицею достаток его увеличился, из зажиточного крестьянина стал он первым богачом по всему Заволжью. То был осиповский тысячник, Патап Максимыч Чапурин.

Двумя-тремя годами Груня была постарше дочерей Патапа Максимыча, как раз в подружки им сгодилась. Вырастая вместе с Настей и Парашей, она сдружилась с ними. Добрым, кротким нравом, любовью к подругам и привязанностью к богоданным родителям так полюбилась она Патапу Максимычу и Аксинье Захаровне, что те считали ее третьей своей дочерью.

— Слушай, Аксинья,— говорил хозяйке своей Патап Максимыч,— с самой той поры, как взяли мы Груню в дочери, господь, видимо, благословляет нас. Сиротка к нам в дом счастье принесла, и я так в мыслях держу: что ни подал нам бог,— за нее, за голубку, все подал. Смотри ж у меня,— не ровен час, все пóд богом ходим,— коли вдруг пошлет мне господь смертный час, и не успею я насчет Груни распоряженья сделать, ты без меня ее не обидь.

— Чего ты только не скажешь, Максимыч! — с досадой ответила Аксинья Захаровна.— Ну, подумай, умная ты голова, возможно разве обидеть мне Грунюшку? Во утробе не носила, своей грудью не кормила, а все ж я ей

мать, и сердце у меня лежит к ней все едино, как и к рожоным дочерям. Все мои три девоньки заодно лежат на̀ сердце.

— Знаю про то, Захаровна, и вижу,— продолжал Патап Максимыч,— я говорю для того, что ты баба. Стары люди не с ветру сказали: «Баба что мешок: что в него положишь, то и несет». И потому, что ты есть баба, значит разумом не дошла, то как меня не станет, могут тебя люди разбить. Мало ль есть в миру завистников? Впутаются не в свое дело и все вверх дном подымут.

— Да что ты в самом деле, Максимыч, дура, что ли, я повитая? Послушаюсь я злых людей, обижу я Грунюшку? Да никак ты с ума спятил? — заговорила, возвышая голос, Аксинья Захаровна и утирая рукавом выступившие слезы.— Обидчик ты этакой, право обидчик!.. Какое слово про меня молвил!.. По́ сердцу ровно ножом полоснул!.. Бога нет в тебе!.. Право, бога нет!..

— А ты горла-то зря не распускай,— в свою очередь возвысив голос, сказал ей Патап Максимыч.— Молчи да слушай... Ну же, не хныкать, покуда не бита; чтоб я не видал бабьих слез!.. Слушай, что приказывать стану... слова не смей проронить; все в точности исполни!.. Бог даст, женихи станут к Груне свататься и к дочерям — приданое всем поровну. Что Настасье, что Прасковье, то и Груне... Слышишь?.. А помрем мы с тобой, весь дом и все добро, что останется, тоже на три доли всем поровну... Помни же завет мой, из ума его не выкладывай. Не то моим костям в гробу покоя не будет. Не будь Настасье с Прасковьей родительского моего благословения, коли поровну они с Груней не поделятся. Не мое и не ихне добро, что мы нажили: его бог ради Груни послал. Так я в разуме держу, так и ты держи, и дочери так же пусть держат. Помни же слово мое. А коли после меня, как я приказываю, не сделаешь, так я тебя...— прибавил Патап Максимыч, поднимая кверху увесистый кулачище...— На том свете-то... перед богом на страшном судище поставлю... И засудит он тебя, засудит,— в ад кромешный пошлет, коли Груню обидишь... Да, да... Ты это помни!.. А теперь вот что,— продолжал он, значительно понизив голос после окрику,— на той неделе, накануне Иванова дня, Груня именинница. Возьми канаус, что из Астрахани привезен, сарафан имениннице справь, пуго-

вицы были бы серебряные. Есть там у тебя... И дочерям такие же сарафаны сшей, канауса на всех должно хватить...

Понимал Патап Максимыч, что за бесценное сокровище в дому у него подрастает. Разумом острая, сердцем добрая, ко всем жалостливая, нрава тихого, кроткого, росла и красой по́лнилась Груня. Не было человека, кто бы, раз-другой увидавши девочку, не полюбил ее. Дочери Патапа Максимыча души в ней не чаяли; хоть и немногим была постарше их Груня, однако они во всем ее слушались. Ни у той, ни у другой никаких тайн от Груни не бывало. Но не судьба им была вместе с Груней вырасти.

Только что Груня заневестилась, стал Патап Максимыч присматривать хорошего степенного человека, на руки которого, без страха за судьбу, без опасенья за долю счастливую, можно было бы отдать богоданную дочку.

* * *

На ту пору овдовел Иван Григорьич. Покинула ему жена троих деток мал мала меньше. Бедовое ему настало время: известно, вдовец деткам не отец, сам круглый сирота. Нет за малыми детьми ни уходу, ни призору, не́ от кого им услышать того доброго благодатного слова любви, что из уст матери струей благотворной падает в самые основы души ребенка и там семенами добра и правды рассыпается. Лежат те семена глубоко́ в тайнике души, дожидаясь поры-времени, когда ребенок, возмужав, вырастит, выхолит их доброй волей и свободным хотеньем... И благо тому, кто сумеет взрастить семена, посеянные в нем любовью матери,— добрый плод от них выйдет. Беда, горе великое малым деткам остаться без матери, пуще беда, чем пчелкам без матки. Понимал это горемычный Иван Григорьич, и тоской разрывалось сердце его, глядя на сироток.

А тут и по хозяйству не по-прежнему все пошло: в дому все по-старому, и затворы и запоры крепки, а добро рекой вон плывет, домовая утварь как на огне горит. Известно дело, без хозяйки дом, как без крыши, без огорожи; чужая рука не на то, чтобы в дом нести, а чтоб из дому вынесть. Скорбно и тяжко Ивану Григорьичу. Как делу помочь?.. Жениться?

Жениться! Легко слово молвишь, а сделать как? Жениться не мудрость, и дурак сумеет, но как вдовцу найти жену добрую, хозяйку хорошую, мать чужим детям? Где? В каком царстве, в каком государстве? Мало что-то таких видится... Как ни разводил Иван Григорьич разумом, как ни вскидывал мыслями на знакомых вдов и девушек, ни одной мало-мальски подходящей не отыскалось. Одно гребтит на уме бедного вдовца: хозяйку к дому сыскать не хитрое дело, было б у чего хозяйствовать; на счастье попадется, пожалуй, и жена добрая, совестная, а где, за какими морями найдешь родну мать чужу детищу?.. Эх, житье вдовца горькое, бесталанное!.. От печалей к немощам, от немощей к печалям!.. Не под стать Ивану Григорьичу слезы точить: голова уж заиндевела, а слезы старого и людям смешны, и себе стыдны. Крепится Иван Григорьич, а иной раз непрошеная слеза бежит да бежит по седым усам.

До гробовой доски, до белого савана думать бы да передумывать бедному горюну, если бы друг не выручил. Тот же старый друг, то же неизменное копье, что и в прежни года из житейских невзгод выручал, тот же Патап Максимыч.

Справив сорочины по покойнице, стал Иван Григорьич из дому по делам уезжать. Еще хуже пошло. Спиридоновна, родственница жены покойницы, старуха хворая, хозяйством в дому у него заправляла и за детьми приглядывала. Но не сможет она с домом справиться — и хотела бы, да не умеет. Детей любила, да по-своему: в неряшестве Спиридоновна беды не видала, а тукманки, думала она, детям нужны: умнее растут... Другой хозяйки Ивану Григорьичу негде взять: родни только и есть, что Спиридоновна, а чужую в дом ко вдовцу зазорно ввести. Не по чину, не по обряду: в добрых людях так не водится.

Заехал раз Иван Григорьич в Осиповку размыкать тоску свою в советной беседе с другом изведанным. Пора была вечерняя. В передней горнице вся семья Патапа Максимыча за чаем сидела. Обе дочери и Груня были на ту пору в Осиповке; из обители, куда в ученье были отданы, они гостить приезжали... Патап Максимыч и Аксинья Захаровна при них завели с гостем беседу, толковали про трудное, горемычное житье-бытье его. Настя — тогда ей только тринадцать лет минуло — о чем-

то посмеивалась с Парашей, а шестнадцатилетняя Груня прислушивалась к речам говоривших. Отпили чай. С громким смехом Настя с Парашей прыснули вон из горницы и побежали играть в огород, клича с собой Груню, но Груня не пошла с ними... Уселись кумовья за пуншиком, Аксинья Захаровна к ним же подсела с шитьем, рядом с ней Груня с вязаньем.

— Вот и живу я, кумушка, ровно божедом в скудельнице,— говорил Иван Григорьич Захаровне.— Один как перст! Слова не с кем перемолвить, умрешь — поплакать некому, помянуть некому.

— Что ты, батька,— возразила Аксинья Захаровна,— детки по родительской душеньке помянники.

— Что детки? Малы они, кумушка, еще неразумны,— отвечал Иван Григорьич.— Пропащие они дети без матери... Нестройно, неукладно в дому у меня. Не глядел бы... Все, кажись, стоит на своем месте, по-прежнему; все, кажется, порядки идут, как шли при покойнице, а не то... Пустым пахнет, кумушка.

— Это так,— пригорюнясь, ответила Аксинья Захаровна,— правду говорят: без хозяйки дом, что мертвец несхороненный.

— Да что дом! Пропадай он совсем!..— молвил Иван Григорьич.— Не дом крушит меня,— сироты мои бедные. Как расти им без матери!.. Ходит за ними Спиридоновна, как умеет, усердствует, да разве мать? Ни приласкать, ни приголубить... У отца в дому, а детям горькая доля!.. Призору нет: приедешь из города али с мельницы: дети не умыты, не чесаны, грязные, оборванные. При покойнице разве водилось так?.. Недавно проведал, без меня иной раз голодными спать ложатся. Спиридоновна старуха старая, хворая; где ей за всем углядеть?.. Рада-радешенька до подушки добраться, а работницы народ вольный. Спиридоновна на боковую, они на супрядки, дети-то одни и остались. Того и гляди, что грешным делом искалечутся... Горько житье мое, кумушка!

И, склонив голову на руку, тяжким вздохом вздохнул Иван Григорьич. Слезы в глазах засверкали.

Пристально глядела на плачущего вдовца Груня. Жаль ей стало сироток. Вспомнила, как сама, голодная, бродила она по чужому городу.

— Жениться надо, кум, вот что,— сказал Патап Максимыч.

— Легко сказать, а сделать-то как? — отвечал Иван Григорьич.

— Надо искать. Известно дело, невеста сама в дом не придет,—сказал Патап Максимыч.

— Где ее сыщешь? — печально молвил Иван Григорьич.— Не жену надо мне, мать детям нужна. Ни богатства, ни красоты мне не надо, деток бы только любила, заместо бы родной матери была до них. А такую и днем с огнем не найдешь. Немало я думал, немало на вдов да на девок умом своим вскидовал. Ни единая не подходит... Ах, сироты вы мои, сиротки горькие!.. Лучше уж вам за матерью следом в сыру землю пойти.

— Что ты?.. Христос с тобой! Опомнись, куманек!..— вступилась Аксинья Захаровна.— Можно ль так отцу про детей говорить?.. Молись богу да пресвятой богородице, не оставят... Сам знаешь: за сиротой сам бог с калитой.

Долго толковали про бедовую участь Ивана Григорьича. Он уехал; Аксинья Захаровна по хозяйству вышла за чем-то. Груня стояла у окна и задумчиво обрывала поблекшие листья розанели. На глазах у ней слезы. Патап Максимыч заметил их, подошел к Груне и спросил ласково:

— Что ты, дочка моя милая?

Взглянула Груня на названного отца, и слезы хлынули из очей ее.

— Что ты, что с тобой, Грунюшка? — спрашивал ее Патап Максимыч.— О чем это ты?

— Сироток жалко мне, тятя,— трепетным голосом ответила девушка, припав к плечу названного родителя.— Сама сирота, разумею... Пошлет ли господь им родную мать, как мне послал? Голубчик тятенька, жалко мне их!..

— Господь возлюбит слезы твои, Груня,— отвечал тронутый Патап Максимыч, обнимая ее,— святые ангелы отнесут их на небеса. Сядем-ка, голубонька.

И сели рядом на диван.

— Помнишь, что у Златоуста про такие слезы сказано? — внушительно продолжал Патап Максимыч.— Слезы те паче поста и молитвы, и сам Спас пречистыми устами своими рек: «Никто же больше тоя любви имать, аще кто душу свою положит за други своя...» Добрая ты у меня, Груня!.. Господь тебя не оставит.

— Тятенька, голубчик, как бы сирот-то устроить?— говорила Груня, ясно глядя в лицо Патапу Максимычу.— Я бы, кажись, душу свою за них отдала...

Молчал Патап Максимыч, глядя с любовью на Груню. Она продолжала:

— Сама сиротой я была. Недолго была по твоей любви да по милости, а все же я помню, каково мне было тогда, какова есть сиротская доля. Бог тебя мне послал да мамыньку, оттого и не спознала я горя сиротского. А помню, каково было бродить по городу... Ничем не заплатить мне за твою любовь, тятя; одно только вот перед богом тебе говорю: люблю тебя и мамыньку, как родных отца с матерью.

— Полно, полно, моя ясынька, полно, приветная, полно,— говорил растроганный Патап Максимыч, лаская девушку.— Что ж нам еще от тебя?.. Любовью своей сторицей нам платишь... Ты нам... счастье в дом принесла... Не мы тебе, ты добро нам делала...

— Тятя, тятя, не говори. Не воздать мне за ваши милости... А если уж вам не воздать, богу-то как воздать?

Припала Груня к груди Патапа Максимыча и зарыдала.

— Добрыми делами, Груня, воздашь,— сказал Патап Максимыч, гладя по головке девушку.— Молись, трудись, всего паче бедных не забывай. Никогда, никогда не забывай бедных да несчастных. Это богу угодней всего...

— Слушай, тятя, что я скажу,— быстро подняв голову, молвила Груня с такой твердостью, что Патап Максимыч, слегка отшатнувшись, зорко поглядел ей в глаза и не узнал богоданной дочки своей. Новый человек перед ним говорил.— Давно я о том думала,— продолжала Груня,— еще махонькою была, и тогда уж думала: как ты меня призрел, так и мне надо сирот призирать. Этим только и могу я богу воздать. Как думаешь ты, тятя?.. А?..

— Ты это хорошо сказала, Груня,— молвил Патап Максимыч,— по-божески.

— Жаль мне сироток Ивана Григорьича,— сказала Груня,— я бы, кажись, была им матерью, какую он ищет.

— Как же так? — едва веря ушам своим, спросил Патап Максимыч.—Нешто пойдешь за старика?

— Пойду, тятя, — твердо сказала Груня. — Он добрый... Да мне не он... Мне бы только сироток призре́ть.

— Да ведь он старый! Тебе не ровня,— молвил Чапурин.

— Стар ли он, молод — по мне все одно,— отвечала Груня.— Не за него, ради бедных сирот...

— Ах ты, Грунюшка моя, Грунюшка! — говорил глубоко растроганный Патап Максимыч, обнимая девушку и нежно целуя ее.— Ангельская твоя душенька!.. Отец твой с матерью на небесах взыграли теперь!.. И аще согрешили в чем перед господом, искупила ты грехи родительские. Стар я человек, много всего на веку я видал, а такой любви к ближнему, такой жалости к малым сиротам не видывал, не слыхивал... Чистая, святая твоя душенька!..

— Тятя, тятя, что ты? — вскрикнула Груня.

Богоданная дочка и нaзва́нный отец крепко обнялись.

* * *

На другой день рано поутру Патап Максимыч собрался наскоро и поехал в Вихорево. Войдя в дом Ивана Григорьича, увидал он друга и кума в таком гневе, что не узнал его. Возвратясь из Осиповки, вдовец узнал, что один его ребенок кипятком обварен, другой избит до крови. От недосмотра Спиридоновны и нянек пятилетняя Марфуша, резвясь, уронила самовар и обварила старшую сестру. Спиридоновна поучила Марфушу уму-разуму: в кровь избила ее.

— Вот, кум, посмотри на мое житье! — говорил Иван Григорьич.— Полюбуйся: одну обварили, другую избили... Из дому уедешь, только у тебя и думы — целы ли дети, про дела и на ум нейдет... Просто беда, Патап Максимыч, друг мой любезный, беда неизбывная... Не придумаю, что и делать...

— Молчи ты,— весело отвечал на его жалобы Патап Максимыч. — Я к тебе с радостью.

— Какие тут радости! — с досадой отозвался Иван Григорьич. — Не до радости мне... Думаю, не приду-

маю, какую бы старуху мне в домовницы взять. Спиридоновна совсем никуда не годится.

— Да ты слушай, что говорить стану,— сказал Патап Максимыч.— Невеста на примете.

— Какая тут невеста!..— с досадой отозвался Иван Григорьич.— Не до шуток мне, Патап Максимыч. Побойся бога: человек в горе, а он с издевками...

— Хорошая невеста,— продолжал свое Чапурин.— Настоящая мать будет твоим сиротам... Добрая, разумная. И жена будет хорошая и хозяйка добрая. Да к тому ж не из бедных — тысяч тридцать приданого теперь получай да после родителей столько же, коли не больше, получишь. Девка молодая, из себя красавица писаная... А уж добра как, как детей твоих любит: не всякая, братец, мать любит так свое детище.

— Полно сказки-то сказывать,— отвечал Иван Григорьич.— Про какую царевну-королевну речь ведешь? За морем, за океаном, что ль, такую сыскал?

— Поближе найдется: здесь же у нас, в лесах коегде...— улыбаясь, говорил Патап Максимыч.

— Не мути мою душу. Грех!..— с грустью и досадой ответил Иван Григорьич. — Не на то с тобой до седых волос в дружбе прожили, чтоб на старости издеваться друг на́д другом. Полно чепуху-то молоть, про домашних лучше́ скажи? Что Аксинья Захаровна? Детки?

— Чего им делается? И сегодня живут по-вчерашнему, как вечор видел, так и есть,— отвечал Патап Максимыч.— Да слушай же, не с баснями я приехал к тебе, с настоящим делом.

— С каким это? — спросил Иван Григорьич.

— Да все насчет того... Про невесту.

— Про какую? Где ты ее за ночь-то выкопал?

— Да хоть про нашу Груню,— молвил Патап Максимыч.

— С ума ты спятил,— отвечал Иван Григорьич.— Хоть бы делом что сказал, а то натка поди.

— Делом и говорю.

— Да подумай ты, голова, у нас с тобой бороды седые, а она ребенок. Сколько годов-то?

— Семнадцатый с Петровок пошел. Как есть заправская невеста.

— То-то и есть,— сказал Иван Григорьич.— Ровня, что ли? Охота ей за старика на детей идти.

— Без ее согласья, известно, нельзя дело сладить,— отвечал Патап Максимыч.— Потому хоша она мне и дочка, а все ж не родная. Будь Настасья постарше да не крестная тебе дочь, я бы разговаривать не стал, сейчас бы с тобой по рукам, потому она детище мое — куда хочу, туда и дену. А с Груней надо поговорить. Поговорить, что ли?

— Да полно тебе чепуху-то нести! — сказал Иван Григорьич.— Статочно ли дело, чтобы Груня за меня пошла? Полно. И без того тошно.

— А как согласна будет — женишься? — спросил Патап Максимыч.

— Пустяшное дело, кум, говоришь,— отвечал Иван Григорьич.— Охотой не пойдет, силом взять не желаю.

— Ну так слушай же, что было у меня с ней говорено вечóр, как ты из Осиповки поехал.

И рассказал Патап Максимыч Ивану Григорьичу разговор свой с Груней. Во время рассказа Иван Григорьич больше и больше склонял голову, и, когда Патап Максимыч кончил, он встал и, смотря плачущими глазами на иконы, перекрестился и сделал земной поклон.

— Голубушка! — сказал он.— Святая душа!.. Ангел господень! Гришутка, Марфуша!.. Бегите скорей!

Вбежал шестилетний мальчик в красной рубашонке и Марфуша с синяками и запекшимся рубцом на щеке.

— Молись богу, дети,— сказал им Иван Григорьич.— Кладите земные поклоны, творите молитву за мной: «Сохрани, господи, и помилуй рабу твою, девицу Агриппину! Воздай ей за добро добром, владыко многомилостивый!»

И сам вместе с детьми клал земной поклон за поклоном.

Патап Максимыч стоял сзади и тоже крестился.

— Вот вам отцовский наказ,— молвил детям Иван Григорьич,— по утрам и на сон грядущий каждый день молитесь за здравье рабы божьей Агриппины. Слышите? И Маша чтобы молилась. Ну, да я сам ей скажу.

— Какая же это Агриппина, тятя? — спросил маленький Гриша.

— Святая душа, что любит вас, добра вам хочет. Вот кто она такая: мать ваша,— сказал детям Иван Григорьич.

На другой день были смотрины, но не такие, как бывают обыкновенно. Никого из посторонних тут не было, и свахи не было, а жених, увидев невесту, поступил не по старому чину, не по дедовскому обряду.

Как увидел он Груню, в землю ей поклонился и, дав волю слезам, говорил, рыдая:

— Матушка!.. Святая твоя душа!.. Аграфена Петровна!.. Будь матерью моим сиротам!..

— Буду,— тихо с улыбкой промолвила Груня.

Через две недели привезли беглого попа из Городца, и в моленной Патапа Максимыча он обвенчал Груню с Иваном Григорьичем.

Засиял в Вихореве осиротелый дом Заплатина. Достатки его удвоились от приданого, принесенного молодой женой. Как сказал, так и сделал Патап Максимыч: дал за Груней тридцать тысяч целковых, опричь одежи и разных вещей. Да, опричь того, выдал ей капитал, что после родителей ее остался: тысяч пять на серебро было.

Растит Груня чужих детей, растит и своих: два уж у ней ребеночка. И никакой меж детьми розни не делает, пасынка с падчерицами любит не меньше родных детей. А хозяйка какая вышла, просто на удивление.

И прошла слава по Заволжью про молодую жену вихоревского тысячника. Добрая слава, хорошая слава!.. Дай бог всякому такой славы, такой доброй по людям молвы!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Весело, радостно встретили дорогих гостей в Осиповке. Сначала, как водится, уставные поклоны гости перед иконами справили, потом здороваться начали с хозяевами. Приветам, обниманьям, целованьям, казалось, не будет конца. Особенно обрадовались Аграфене Петровне дочери Патапа Максимыча.

— Здравствуй, голубушка моя Настасьюшка,— говорила Аграфена Петровна, крепко обнимая подругу детства.— Ох ты, моя приветная! Ох ты, моя любезная!.. Да как же ты выросла, да какая же стала пригожая!.. Здравствуй, сестрица, здравствуй, Парашенька,— продолжала она, обнимая младшую дочь Патапа Максимыча.— Да как же раздобрела ты, моя ясынька,

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Глава I

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Глава VII

чтоб только не сглазить! Ну, да у меня глаз-от легкий, не бойся. Да и люблю я вас, сестрицы, всей душой, так с моего глаза никакого дурна вам не будет. А раздобрела Параня, раздобрела... Ах вы, мои хорошие, ах вы, мои милые!.. Здравствуй, Фленушка! Каково живешь-можешь? Давно не видались. Тетенька здорова ли, матушка Манефа?

А матушка Манефа как раз сама налицо. Вышла из боковуши, приветствует приезжую гостью.

— Здравствуй, Аграфёнушка! Иван Григорьич, здравствуйте! Здорово ли поживаете?

Не отвечая словами на вопрос игуменьи, Иван Григорьич с Аграфеной Петровной прежде обряд исполнили. Сотворили пред Ма́нефой уставные метания [1], набожно вполголоса приговаривая:

— Прости, матушка, благослови, матушка!

— Бог простит, бог благословит,— сказала, кланяясь в пояс, Манефа, потом поликовалась [2] с Аграфеной Петровной и низко поклонилась Ивану Григорьичу.

— Ну как вас, дорогих моих, господь милует? Здоровы ли все у вас? — спрашивала Манефа, садясь на кресло и усаживая рядом с собой Аграфену Петровну.

— Вашими святыми молитвами,— отвечали зараз и муж и жена.— Как ваше спасение, матушка?

— Пока милосердный господь грехам терпит, а впредь уповаю на милость всевышнего,— проговорила уставные слова игуменья, ласково поглядывая на Аграфену Петровну.

Аксинья Захаровна как поздоровалась с гостями, так и за чай. Уткой переваливаясь с боку на́ бок, толстая Матрена втащила в горницу и поставила на стол само-

---

[1] *Метание* — слово греческое, вошедшее в русский церковный обиход, особенно соблюдается старообрядцами. Это малый земной поклон. Для исполнения его становятся на колени, кланяются, но не челом до земли, а только руками касаясь положенного впереди подручника, а за неимением его — полы своего платья, по полу постланной.

[2] У старообрядцев монахи и монахини, иногда даже христосуясь на Пасхе, не целуются ни между собой, ни с посторонними. Монахи с мужчинами, монахини с женщинами только «ликуются», то есть щеками прикладываются к щекам другого. Монахам также строго запрещено ликоваться с мальчиками и с молодыми людьми, у которых еще ус не пробился.

вар; ради торжественного случая был он вычищен кислотой и как жар горел. На другом столе были расставлены заедки, какими по старому обычаю прежде повсюду, во всех домах угощали гостей перед сбитнем и взварцем, замененными теперь чаем. Этот обычай еще сохранился по городам в купеческих домах, куда не совсем еще проникли нововводные обычаи, по скитам, у тысячников и вообще сколько-нибудь у зажиточных простолюдинов. Заедки были разложены на тарелках и расставлены по столу. Тут были разные сласти: конфеты, пастила, разные пряники, орехи грецкие, американские, волошские и миндальные, фисташки, изюм, урюк, винные ягоды, киевское варенье, финики, яблоки свежие и моченые с брусникой, и вместе с тем икра салфеточная прямо из Астрахани, донской балык, провесная шемая, белорыбица, ветчина, грибы в уксусе и, среди серебряных, золоченых чарочек разной величины и рюмок бемского хрусталя, графины с разноцветными водками и непременная бутылка мадеры. Как Никитишна ни спорила, сколько ни говорила, что не следует готовить к чаю этого стола, что у хороших людей так не водится, Патап Максимыч настоял на своем, убеждая куму-повариху тем, что «ведь не губернатор в гости к нему едет, будут люди свои, старозаветные, такие, что перед чайком от настоечки никогда не прочь».

— Ну-ка, куманек, перед чайком-то хватим по рюмочке,— сказал Патап Максимыч, подводя к столу Ивана Григорьича.— Какой хочешь? Вот зверобойная, вот полынная, а вот трифоль, а то не хочешь ли сорокатравчатой, что от сорока недугов целит?

— Ну, пожалуй, сорокатравчатой, коли от сорока недугов она целит,— молвил Иван Григорьич и, налив рюмку, посмотрел на свет, поклонился хозяину, потом хозяйке и выпил, приговаривая:

— С наступающей именинницей!

— Груня, а ты стукнешь по сорокатравчатой али нет? — спросил Патап Максимыч, обращаясь с усмешкой к Аграфене Петровне.

— Не выучилась, тятенька,— весело отвечала Аграфена Петровна.

— Ну, так мадерцы испей; перед чаем нельзя не выпить, беспременно надо живот закрепить,— приставал Патап Максимыч, таща к столу Груню.

— Не мне же первой, постарше меня в горнице есть,— говорила Аграфена Петровна.

К матушке Манефе хозяева с просьбами приступили. Та не соглашалась. Стали просить хоть пригубить. Манефа и пригубить не соглашалась. Наконец, после многих и долгих приставаний и просьб, честна̀я мать игуменья согласилась пригубить. Все это так следовало — чин, обряд соблюдался. После матушки игуменьи выпила Никитишна, все-таки уверяя Патапа Максимыча и всех, кто тут был, что у господ в хороших домах так не водится, никто перед чаем ни настойки, ни мадеры не пьет. Потом выпила и Аграфена Петровна без всякого жеманства, выпила и Фленушка после долгих отказов. Пропустила рюмочку и сама хозяюшка, а за ней и Настя с Парашей пригубили.

Иван Григорьич и Патап Максимыч балыком да икрой закусывали, а женщины сластями. Кумовья, «чтоб не хромать», по другой выпили. Затем уселись чай пить. Аксинья Захаровна заварила свежего, шестирублевого.

Патап Максимыч с кумом уселся на диване и начал толковать про последний Городецкий базар и про взятую им по̀ставку. Аграфена Петровна с Настей да Парашей разговаривала.

— Что это, сестрица: погляжу я на тебя, ровно ты не по себе? — спросила она Настю.

— Я?.. я ничего,— отрывисто отвечала Настя и вспыхнула.

— Меня не проведешь — вдоль и поперек тебя знаю,— возразила Аграфена Петровна.— Либо неможется, да скрыть хочешь; либо на уме что засело.

— Ничего у меня на уме не засело,— сухо ответила Настя.

— Ну, так хвораешь.

— И хвори нет никакой... С чего ты взяла это, сестрица? — молвила Настя и пересела поближе к Фленушке.

Подойдя к Аксинье Захаровне, спросила ее потихоньку Аграфена Петровна:

— Сказали, видно, Насте про жениха-то?

— Молвил отец,— шепотом ответила Аксинья Захаровна.— Эх, как бы знала ты, Грунюшка, что у нас в эти дни деялось! — продолжала она.— Погоди, ужо расскажу, ты ведь не чужая.

Никому не было говорено про сватовство Снежкова, но Заплатины были повещены. Еще стоя за богоявленской вечерней в часовне Скорнякова, Патап Максимыч сказал Ивану Григорьичу, что Настина судьба, кажется, выходит, и велел Груне про то сказать, а больше ни единой душе. Так и сделано.

— Что ж она? — тихонько спрашивала Аграфена Петровна у названной матери.— Не прочь?

— Какое не прочь, Грунюшка! — грустно ответила Аксинья Захаровна.— Слышать не хочет. Такие у нас тут были дела, такие дела, что просто не приведи господь. Ты ведь со мной спать-то ляжешь, у меня в боковуше постель тебе сготовлена. Как улягутся, все расскажу тебе.

Настя хмурая сидела. Как ни старалась притворяться веселой, никак не могла. Только и было у ней на уме: «Вот-вот зазвонят бубенчики, заскрипят у ворот санные полозья, принесет нелегкая этих Снежковых. И все-то на меня глядеть уставятся, все — и свои и чужие. Замечать станут, как на него взглянула я, не проронят ни единого моего словечка. А тут еще после ужина Груня, пожалуй, зачнет приставать, зачнет выпытывать. Она и то уж, кажись, заметила... Рассказать разве ей всю правду-истину? Она ведь добрая, любит меня, что-нибудь хорошее посоветует... А как крестному скажет, а крестный тяте?.. Тогда что?.. Загубит тятя соколика моего ясного; Фленушка правду говорит... Нет, не надо Груне ничего говорить... А ее не обманешь... Ох ты, господи, господи! Мученье какое!.. Хоть бы проходили уже скорей эти пиры да праздники!..» И вдруг вспомнился Насте ее ясный светлоокий соколик. «Вот, думает, сижу я здесь разряженная, разукрашенная напоказ жениху постылому, сижу с отцом, с матерью, с гостями почетными, за богатым угощеньем, вкруг меня гости беседу ведут согласную, идут у них разговоры веселые... А он-то, голубчик, он-то, радость моя!.. Сидит, бедняжка, в своей боковуше, ровно в темнице. Сидит один-одинешенек с своей думой-кручиной. И взойти-то сюда он не смеет, и взглянуть-то на наши гостины не может. Ровно рабу неключимому, нет ему места на веселом пиру. Бедный мой, бедный соколик!.. Скучно тебе, грустно сидеть одинокому... да и мне не легче тебя...»

— Да не хмурься же, Настенька! — шепотом молвила крестнице Никитишна, наклонясь к ней будто для того, чтоб ожерелье на шее поправить.— Чтой-то ты, матка, какая сидишь?.. Ровно к смерти приговоренная... Гляди у меня веселей!.. Ну!..

— Ты знаешь, каково мне, крестнинька. Я тебе сказывала,— шепотом ответила Настя.— Высижу вечер, и завтра все праздники высижу; а веселой быть не смогу... Не до веселья мне, крестнинька!.. Вот еще знай: тятенька обещал целый год не поминать мне про этого. Если слово забудет да при мне со Снежковыми на сватовство речь сведет, таких чудес натворю, что, кроме сраму, ничего не будет.

— Полно ты,— уговаривала крестницу Никитишна.— Услышат, пожалуй... Ну, уж девка! — проворчала она, отходя от Насти и покачивая головой.— Кипяток!.. Бедовая!.. Вся в родителя, как есть вылита: нраву моему перечить не смей.

Затем, сказав Аксинье Захаровне что-то про ужин, отправилась Никитишна к своему месту в стряпущую.

Меж тем у Патапа Максимыча с Иваном Григорьичем шел свой разговор.

— Каково с подрядом справляешься? — спросил у кума Иван Григорьич.

— Помаленьку справляюсь, бог милостив — к сроку поспеем, — отвечал Патап Максимыч. — Работников принанял; теперь сорок восемь человек, опричь того по деревням роздал работу: по своим и по чужим. Авось, управимся.

— Работники-то ноне подшиблись,— заметил Иван Григорьич.— Лежебоки стали. Им бы все как-нибудь деньги за даровщину получить, только у них и на уме... Вот хоть у меня по валеному делу — бьюсь с ними, куманек, бьюсь — в ус себе не дуют. Вольный стал народ, самый вольный! Обленился, прежнего раденья совсем не видать.

— Это так, это точно,— отвечал Патап Максимыч.— Слабость пошла по народу. Что прикажешь делать? Кажись, и хмелем не очень зашибаются и никаким дурным делом не заимствуются, а не то, как в прежнее время бывало. Правду говоришь, что вольный народ стал,— а главное то возьми, что страху божьего ни в ком не стало. Вот что! Все бы им как-нибудь да как ни попало.

Беда с ними, горе одно. У меня еще есть, коли правду сказать, пять-шесть знатных работников — золото, не ребята! А другие-прочие хоть рукой махни — ничего не стоящие люди, как есть никакого звания не стоящие! А вот недавно порядился ко мне паренек из недальних. Ну, этот один за пятерых отслужит.

— Уж за пятерых! — недоверчиво сказал Иван Григорьич.

— Правду говорю,— молвил Патап Максимыч.— Что мне врать-то? Не продаю его тебе. Первый токарь по всему околотку. Обойди все здешние места, по всему Заволжью другого такого не сыскать. Вот перед истинным богом — право слово.

— Отколь же такого доспел? — спросил Иван Григорьич.

— По соседству, из деревни Поромовой,— ответил Патап Максимыч.— Трифона Лохматого слыхал?

— Лохматого? Знаю,— ответил Иван Григорьич,— добрый мужик; хороший.

— Сын его большой,— сказал Патап Максимыч.— Знатный парень, умница, книгочей и рассудливый. А из себя видный да здоровый такой, загляденье. Одно слово: парень первый сорт.

Настя в то время говорила с Аграфеной Петровной, отвечая ей невпопад. Словечко боялась проронить из отцовых речей.

— Как же ты залучил его? — спросил Иван Григорьич.— Старик Лохматый не то чтоб из бедных. Своя токарня, как же он пустил его? Такой парень, как ты об нем сказываешь, и дома живучи копейку доспеет.

— Сожгли их по осени,— молвил Патап Максимыч.— Недобрые люди токарню спалили. Водятся такие по нашим местам. Сами век по гулянкам, а доброму человеку зло. Мало, что сожгли старика Лохматого, обокрали на придачу. Что ни было залежных — все снесли, и коней со двора свели и коровенок. Оттого Алексей Лохматый и пошел ко мне, по бедности, значит, чтоб отцу поскорее оправиться. А не то — шут бы ему велел в чужие люди идти. Золото — ввек другого такого не нажить: дело у него в руках так и горит... Разборку посуды по сортам тоже знает! Лучше Савельича, дай бог ему царство небесное, даром, что молод... Намедни посуду с ним разбирали, ему только взглянуть — тотчас видит, куда что сле-

дует, в какой значит сорт, и каждый изъянец сразу заметит. Чаял дня в два разобрать, с ним в одно утро управился. Золото парень, говорю, просто золото.

— А на́долго нанял? — спросил Иван Григорьич.

— Рядились до зимнего Николы. А теперь другой уговор. Порешили с его стариком.

— Что порешили? — спросил Иван Григорьич, прихлебывая пунш из большой золо́ченой чашки.

— В годы взял. В приказчики. На место Савельича к заведенью и к дому приставил,— отвечал Патап Максимыч.— Без такого человека мне невозможно: перво дело за работой глаз нужен, мне одному не углядеть; опять же по делам дом покидаю на месяц и на два, и больше: надо на кого заведенье оставить. Для того и взял молодого Лохматого.

— Вот как! — молвил Иван Григорьич.— Дай бог тебе, куманек.

— Я решил, чтобы как покойник Савельич был у нас, таким был бы и Алексей,— продолжал Патап Максимыч.— Будет в семье как свой человек, и обедать с нами и все... Без того по нашим делам невозможно... Слушаться не станут работники, бояться не будут, коль приказчика к себе не приблизишь. Это они чувствуют... Матренушка! — крикнул он, маленько подумав, работницу, что возилась около посуды в большой горенке.

Матрена вошла и стала у притолки.

— Кликни Алексея Трифоныча,— сказал ей Патап Максимыч.— Хозяин, мол, велел скорее наверх взойти.

Ни жива ни мертва сидела Настя. Аграфена Петровна заводила с ней речь о том, о другом, ничего та не слыхала, ничего не понимала и на каждое слово отвечала невпопад.

— Да что с тобой, Настенька? — сказала наконец Аграфена Петровна.— Ровно ты не в себе.

Ни слова не ответила Настя. Аграфена Петровна, пристально поглядев на нее, подумала: «Это не́спроста, что-нибудь да есть на уме. Это не оттого, что ждет жениха, другое что-нибудь тут кроется. Что ж бы это такое?»

Вошел Алексей. Настя поалела. Груня взглянула на нее: «Теперь понимаю»,— подумала.

Алексей был в будничном кафтане. Справив уставные поклоны перед иконами и низко поклонясь хозяевам и гостям, стал он перед Патапом Максимычем.

— Кликнуть велели меня,— молвил.

Оглянул его с ног до головы Чапурин, слегка подбоченился и, склонив немного голову на сторону, с важностью спросил Алексея:

— В хорошей компании быть умеешь?

— Как в хорошей компании? — спросил Алексей, смутясь неожиданным вопросом и не понимая, к чему хозяин речь свою клонит.

— Ну, вот, примером сказать, хоть с нами теперь,— сказал Патап Максимыч.

— Не приводилось с такими людьми,— наклонив покорно голову, молвил Алексей.

Любо то слово показалось Патапу Максимычу, а вдвое больше пó сердцу пришлись покорный вид Алексея и речь его почтительная.

— Гм! — молвил Патап Максимыч.— Одежа хорошая есть?

— Есть.

— Вырядись, приходи.

Алексей вышел. Аксинья Захаровна с удивленьем посмотрела на мужа. Не ждала она, чтоб Патап Максимыч на такую короткую ногу и так скоро приблизил Лохматого. «Правда, поступил он на место Савельича: значит, его место, его и честь,— думала Аксинья Захаровна.— Но Савельич был человек старый, опять же сколько годов в дому выжил, а этого парня всего полторы недели как знать-то зачали. Хороший паренек, услужливый, почтительный, богомольный, а все бы не след так приближать его. Ведь это, значит, с нынешнего дня он, как Савельич, и обедать с нами будет и чай пить, а куда отъедет Патап Максимыч, он один мужчина в семье останется. Да такой молодой, да красавец такой и разумный. Злые люди не знай чего наплетут на девонек... Ах, батюшки светы, неладно!.. А что станешь делать?.. Сам решил... не переломишь!..»

Видела Настя, как пришел Алексей, видела, как вышел, и ни слова из отцовских речей не проронила... И думалось ей, что во сне это ей видится, а меж тем от нечаянной радости сердце в груди так и бьется.

Лукаво взглянула Фленушка на приятельницу, дернула ее тихонько за сарафан и, найдя какое-то дело, вышла из горницы.

— Молодец из себя! — заметил Иван Григорьич по уходе Алексея.

— А ты не гляди снаружи, гляди снутри,— сказал Патап Максимыч.— Умница-то какой!.. Все может сделать, а уж на работу — беда!.. Так я его, куманек, возлюбил, что, кажись, точно родной он мне стал. Вот и Захаровна то же скажет.

— Добрый парень, неча сказать,— молвила Аксинья Захаровна, обращаясь к Ивану Григорьичу,— на всяку послугу по̀ дому ретивый и скромный такой, ровно красная девка! Истинно, как Максимыч молвил, как есть родной. Да что, куманек, — с глубоким вздохом прибавила она,— в нонешне время иной родной во сто раз хуже чужого. Вон меня наградил господь каким чадушком. Братец-от родимый... Напасть только одна!

— А где он? — спросил Иван Григорьич.

— У нас обретается, — сухо промолвил Патап Максимыч. — Намедни приволокся как есть в одной рубахе да в дырявом полушубке, растерзанный весь... Хочу его на Узени́ по весне справить, авось уймется там; на́ сорок верст во все стороны нет кабака.

— Эка человек-от пропадает,— заметил Иван Григорьич. — А ведь добрый, и парень бы хоть куда... Винище это проклятое.

— Не пьет теперь,— сказал Патап Максимыч.— Не дают, а пропивать-то нечего... Знаешь, что, Аксинья, он тебе все же брат, не одеть ли его как следует да не позвать ли сюда? Пусть его с нами попразднует. Моя одежа ему как раз по плечу. Синяки-то на роже прошли, человеком смотрит. Как думаешь?

— Как знаешь, Максимыч,— сдержанно ответила Аксинья Захаровна.— Не начудил бы при чужих людях чего, не осрамил бы нас... Сам знаешь, каков во хмелю.

— Не в кабаке, чай, будет, не перед стойкой,— отвечал Патап Максимыч.— Напиться не дам. А то, право, не ладно, как Снежковы после проведают, что в самое то время, как они у нас пировали, родной дядя на запоре в подклете, ровно какой арестант, сидел. Так ли, кум, говорю? — прибавил Чапурин, обращаясь к Ивану Григорьичу.

— Точно что не совсем оно ладно,— заметил, в свою очередь, Иван Григорьич.

— И что ж, в самом деле, это будет, мамынька! — молвила Аграфена Петровна.— Пойдет тут у вас пированье, работникам да страннему народу столы завтра будут, а он, сердечный, один, как оглашенный какой, взаперти. Коль ему места здесь нет, так уж в самом деле его запереть надо. Нельзя же ему с работным народом за столами сидеть, слава пойдет нехорошая. Сами-то, скажут, в хоромах пируют, а брата родного со странним народом сажают. Неладно, мамынька, право, неладно.

— Пойду, обряжу его,— сказал Патап Максимыч и ушел в свою горницу, сказав мимоходом Матрене: — Позови Никифора.

«Родной дядя! Так он сказал,— думала Настя.— Дядя, не брат, он сказал. Значит, у тяти и тут про меня дума была... Ох, чтоб беде не случиться!..»

* * *

Выйдя в сени, Фленушка остановилась, оглянулась на все стороны и кошкой бросилась вниз по лестнице. Внизу пробежала в подклет и распахнула дверь в Алексееву боковушу.

Алексей вынимал из укладки праздничное платье: синюю, хорошего сукна сибирку, плисовые штаны, рубашку из александрийки.

— Что, беспутный, каково дело-то выгорело?.. а?..— спросила Фленушка.

— Не знаю, что и думать, Флена Васильевна,— отвечал от радости себя не помнивший Алексей.— Не разберу, во сне это аль наяву.

Как щипнет его Фленушка изо всей силы за руку. Алексей чуть не вскрикнул.

— Что?.. Не во сне?.. Ха-ха-ха!.. Обезумел?.. Постой, впереди не то еще будет,— хохотала изо всей мочи Фленушка.

— А что будет?

— А то, что с этого вечера каждый божий день станешь ты обедать и чаи распивать со своей сударушкой,— сказала Фленушка.—Что, бесстыжий, сладко, небось?.. Ну, да теперь не о том говорить. Вот что: виду не подавай, особенно Аграфене Петровне; с Настей слова сказать не моги, сиди больше около хозяина, на нее и глядеть не смей. Она и то ровно на каленых угольях си-

дит, а тут еще ты придешь да эти Снежковы... Боюсь, при чужих чего не начудила бы... А отужинают, минуты в горницах не оставайся, сейчас сюда... Слышишь?.. Да вот еще что: коли когда услышишь, что над тобой три раза ногой топнули, в окно гляди: птичка прилетит, ты и лови... Да чтоб чужих глаз при том не было.

— Какая птичка? Что ты городишь?—спросил Алексей, не понимая, про что говорит ему Фленушка.

— Нечего тут,— сказала она,— облокайся скорей да рожу-то свою бесстыжую помой, космы-то причеши... Ох, бить-то тебя некому!..

Мигом Фленушка вбежала наверх и со скромной, умильной улыбкой вошла в горницу.

Вскоре пришел Алексей. В праздничном наряде таким молодцом он смотрел, что хоть сейчас картину писать с него. Усевшись на стуле у окна, близ хозяина, глаз не сводил он с него и с Ивана Григорьича. Помня приказ Фленушки, только разок взглянул он на Настю, а после того не смотрел и в ту сторону, где сидела она.

Следом за Алексеем в горницу Волк вошел, в платье Патапа Максимыча. Помолясь по уставу перед иконами, поклонившись всем на обе стороны, пошел он к Аксинье Захаровне.

— Здравствуй, разлюбезная сестрица,— желчно сказал.— Две недели, по милости Патапа Максимыча, у вас живу, а с тобой еще не успел повидеться за великими твоими недосугами...

— Отойди,— сурово ответила брату Аксинья Захаровна.— Как бы воля моя, в жизнь бы тебя не пустила сюда. Вот залетела ворона в высоки хоромы. На, пей, что ли! — прибавила она, подавая ему чашку чаю.

— А вот мы прежде первоначал заложим, а после того можно тебе, сестрица моя любезная, и чайком братца попотчевать.

Никифор Захарыч подошел к столу с графинами и закусками. Две недели капельки у него во рту не бывало; и теперь, остановясь перед разноцветными графинами, он созерцал их как бы в священном восторге и, радостно потирая ладони, думал: «С которого бы начать?»

Вскочила с места Аксинья Захаровна и, подойдя к брату, схватила его за рукав.

— И думать не моги! — крикнула она.— Его как путного обрядили, до хороших людей допустили, а он натка поди!.. Не в кабак, батька, затесался!.. Прочь, прочь!.. И подходить к водке не смей!..

Распустив руки, Никифор Захарыч стоял в недоумении, что теперь ему делать. Не будь тут Патапа Максимыча, сумел бы он по-свойски ответить сестрице, сиди тут хоть сотня гостей. Но Патапа Максимыча бесшабашный Волк не на шутку боялся. Даже, когда море бывало ему по колено, всегда он держал себя перед зятем робко и приниженно. А тут еще эта Аграфена Петровна сидит да таково зорко глядит на него... Стыдно как-то перед ней... А пуще всего стыдно, совестно перед Настей — любил он ее беззаветно, хоть никогда почти с ней не видался... А выпить так и тянет.

С минуту продолжалась пытка Никифора. Даже пот его прошиб, слеза в глазу блеснула. Патап Максимыч дело решил.

— Выпей, Никифор,— сказал он ему.

— Охмелеет он, Максимыч, осрамит при гостях наши головы. Не знаешь, каков во хмелю живет? — возражала Аксинья Захаровна.

— С одной не охмелеет, другой не дам,— решил Патап Максимыч и, обратясь к Ивану Григорьичу, продолжал рассказывать ему про подряды.

Дрожащей рукой налил Никифор рюмку и выпил ее залпом. Затем, откромсав добрый кусок салфеточной икры, намазал на ломоть хлеба и, подойдя к сестре, сказал:

— Ну, теперь, сестрица, чаем потчуй. Давно не пивал этой дряни.

— Непутный! — молвила Аксинья Захаровна, подавая брату чашку лянсина.— Тоже чаю!.. Не в коня корм!.. Алексеюшка,— продолжала она, обращаясь к Лохматому,— пригляди хоть ты за ним, голубчик, как гости-то приедут... Не допускай ты его к тому столу, не то ведь разом насвищется.

— И вправду, Алексей, присмотри за Никифором,— подтвердил Патап Максимыч.— Не отходи от него и пить без моего приказа не давай. За ужином сядь с ним рядом.

Тут только заметил Никифор Алексея. Злобно сверкнули глаза у него. «А! девушник! — подумал он.—

И ты тут! Да тебя еще смотреть за мной приставили! Постой же ты у меня!.. Будет и на моей улице праздник». И с лукавой усмешкой посмотрел на Фленушку.

* * *

Послышался ямской колокольчик. Ближе и ближе. Кто-то к дому подъехал.

— Не исправник ли, чтоб ему пусто было, аль не становой ли? — с досадой сказал Патап Максимыч, вставая с места и направляясь к двери.— Вот уж, поистине, незваный гость хуже татарина.

И всем стало неловко при мысли об исправнике. Исправник и становой в самом деле никогда не объезжали Осиповки, зная, что у Чапурина всегда готово хорошее угощенье. Матушка Манефа, хоть и в приязни жила с полицейскими чинами, однако поспешно вышла из горницы. Была она во всем иночестве, даже в наметке[1], а в таком наряде на глаза исправнику показываться нехорошо. Скитницы были обязаны подпиской иноческим именем не зваться, иноческой одежи не носить. Фленушка осталась в горнице, на ней ничего запретного не было.

Минуты через две Патап Максимыч ввел в горницу новых гостей. То был удельный голова Песоченского приказа Михайло Васильич Скорняков с хозяюшкой, приятель Патапа Максимыча.

После обычных входных поклонов перед иконами, после установленных дедовскими преданьями приветствий и взаимных пожеланий уселись.

— Напугал же ты нас своим колокольцем, Михайло Васильич,— сказал Патап Максимыч, подводя удельного голову к столу с водками и закусками.— Мы думали, не исправника ль принесла нелегкая.

— Ха-ха-ха! — громко захохотал Скорняков.— А разве ноне стал бояться властей предержащих?

— Бояться, опричь господа бога, никого не боюсь,— спесиво отвечал Чапурин,— а не люблю, как чужой человек портит беседу. С чего же это ты по-исправничьему с колокольчиком ездишь?

---

[1] Черный креп, что накидывается поверх шапочки (иночество), спускается вроспуск по плечам и спине, закрывая лоб черницы.

— На стоешных, из приказу приехал,— с важностью погладив бороду, отвечал Михайло Васильич.

Не успели Скорняковы по первой чашке чаю выпить, как новые гости приехали: купец из города, Самсон Михайлыч Дюков, да пожилой человек в черном кафтане с мелкими пуговками и узеньким стоячим воротником,— кафтан, какой обыкновенно носят рогожские, отправляясь к службе в часовню.

— Узнал старого приятеля? — поздоровавшись со всеми бывшими в горнице, спросил Дюков у Патапа Максимыча.

Чапурин не узнавал.

— И я не признал бы тебя, Патап Максимыч, коли б не в дому у тебя встретился,— сказал незнакомый гость.— Постарели мы, брат, оба с тобой, ишь и тебя сединой, что инеем, подернуло... Здравствуйте, матушка Аксинья Захаровна!.. Не узнали?.. Да и я бы не узнал... Как последний раз виделись цвела ты, как маков цвет, а теперь, гляди-ка, какая стала!.. Да... Время идет да идет, а годы человека не красят... Не узнаете?..

— Никак не признать,— сказал Патап Максимыч.— Голос будто знакомый, а вспомнить не могу.

— Стуколова Якима помнишь?..— молвил гость.

— Яким Прохорыч!.. Дружище!.. Да неужели это ты?..— вскрикнул Патап Максимыч, обнимаясь и целуясь со Стуколовым.— А мы думали, что тебя и в живых-то давным-давно нет... Откудова?.. Какими судьбами?..

— Яким Прохорыч! — подходя к нему, сказала Аксинья Захаровна.— Сколько лет, сколько зим! И я не чаяла тебя на сем свете. Ах, сватушка, сватушка! Чать не забыл: сродни маленько бывали.

— Бывало так в старые годы, Аксинья Захаровна,— отвечал Стуколов.— Считались в сватовстве.

И Заплатин и Скорняков оказались тоже старыми приятелями Стуколова; знал он и Никифора Захарыча, когда тот еще только в годы входил. Дочерей Патапа Максимыча не знал Стуколов. Они родились после того, как покинул он родину. С тех пор больше двадцати пяти годов прошло, и о нем по Заволжью ни слуху, ни духу не было.

Стуколову было лет под шестьдесят. Был высок ростом, сухощав, и с первого взгляда было заметно, что,

обладая большой телесной силой, был одарен он неистомною силой воли и необычайною твердостью духа. Худощавое, смуглое лицо его было обрамлено густою черною бородой, с сильной проседью. Раскаленными углями светились черные глаза его, и не всякий мог долго выдерживать пристально устремленный на него взгляд Стуколова. По всему было видно, что человек этот много видал на своем веку, а еще больше испытал треволнений всякого рода.

Начал расспросы Стуколов, спрашивал про людей былого времени, с которыми, живучи за Волгой, бывал в близких сношениях. И про всех почти, про кого ни спрашивал, давали ему один ответ: «помер... помер... померла».

Сидел Стуколов, склонив голову, и глядя в землю, глубоко вздыхал при таких ответах. Сознавал, что, воротясь после долгих странствий на родину, стал он в ней чужанином. Не то что людей, домов-то прежних не было; город, откуда родом был, два ра́за дотла выгорал и два́ раза вновь обстраивался. Ни родных, ни друзей не нашел на старом пепелище — всех прибрал господь. И тут-то спознал Яким Прохорыч всю правду старого русского присловья: «Не временем годы долги́ — до́лги годы отлучкой с родной стороны».

— Где ж пропадал ты все это время, Яким Прохорыч? — спросил у странника Патап Максимыч.

Маленько помолчав и окинув беглым взором сидевших в горнице, Стуколов стал говорить тихо, истово, отчеканивая каждое слово:

— Не мало государств мною исхожено, не мало морей переехано, много всяких народов очами моими видано. Привел господь во святой реке Иордане погружаться, Спасов живоносный гроб целовать, всем святым местам поклониться... Много было странствий моих...

— Неужели все двадцать пять лет ты в странстве пребывал? — спросил его Иван Григорьич.— Чай, поди, где и на месте живал?

— Как не живать! Жил и на месте,— сказал Стуколов.— За Дунаем не малое время у некрасовцев, в Молдавии у наших християн, в Сибири, у казаков на Урале... Опять же довольно годов выжил я в Беловодье, там, далеко, в Опоньском государстве...

— Какое же это государство? Про такое я что-то не слыхивал,— спросил у паломника Патап Максимыч.

— Не мудрено, что про Опоньское царство ты не слыхивал,— сдержанно ответил Яким Прохорыч.— То государство не простое, не у всех на виду. Государство сокровенное...

— Сокровенное? — в недоуменье спросил Чапурин у Стуколова, а сидевшие в горнице с изумленьем глядели на паломника.

Замолк Яким Прохорыч. Не дал ответа. Через малое время спросил его Патап Максимыч:

— Помнится, ты в Москву уехал тогда, потом пали к нам слухи, что в монастыре каком-то проживаешь, а после того и слухо́в про тебя не стало.

— Постой, погоди... Все странства по ряду вам расскажу,— молвил Стуколов, выходя из раздумья и подняв голову.— Люди свои, земляки, старые други-приятели. Вам можно сказать.

— Расскажи, расскажи, старый дружище,— молвил Патап Максимыч, кладя руку на плечо паломника.— Да чайку-то еще. С ромком не хочешь ли?

— Не стану, а чайком поба́ловаться можно,— отвечал Стуколов, собираясь начать рассказ про свои похожденья.

— Постой, постой маленько, Яким Прохорыч,— молвила Аксинья Захаровна, подавая Стуколову чашку чая.— Вижу, о чем твоя беседа будет... Про святыню станешь рассказывать... Фленушка! Подь кликни сюда матушку Манефу. Из самого, мол, Иерусалима приехал гость, про святые места рассказывать хочет... Пусть и Евпраксеюшка придет послушать.

— Какая это Манефа? — спросил Стуколов, когда Фленушка вышла в сени.

— Да Матрену-то Максимовну, сестру Патапа Максимыча, помнишь, чай? — сказала Аксинья Захаровна.

— Матрена Максимовна?..—оживляясь, спросил сумрачный дотоле странник.— Так она во иночестве?

— Давно. Больше двадцати годов, как она пострижена. Теперь игуменствует в Комарове,— отвечала Аксинья Захаровна.

— Так... Так...— медленно проговорил Стуколов и задумался.

Вошла мать Манефа с Фленушкой и Евпраксией. После обычных «метаний» и поклонов Яким Прохорыч пристально поглядел на старушку и дрогнувшим несколько голосом спросил у нее:

— Узнала ль меня, матушка Манефа?.. Аль забыла Якима Стуколова?

— Яким Прохорыч?..— быстро вскинув на паломника заблиставшими глазами, вскрикнула игуменья и вдруг поправила «наметку», опустя креп на глаза...— Не чаяла с тобой видеться,— прибавила она более спокойно.

Пристальным, глубоким взором глядела она на паломника. В потускневших глазах старицы загорелось что-то молодое... Перебирая лестовку, игуменья чинно уселась, еще раз поправила на голове наметку и поникла головою. Губы шептали молитву.

— Ну, рассказывай свои похождения,— молвил Патап Максимыч Якиму Прохорычу.

Стуколов стал рассказывать, часто и зорко взглядывая на смущенную игуменью.

— Горько мне стало на родной стороне. Ни на что бы того не глядел я и не знай куда бы готов деваться! Вот уже двадцать пять лет и побольше прошло с той поры, а как вспомнишь, так и теперь сердце на клочья рваться зачнет... Молодость, молодость!.. Горячая кровь тогда ходила во мне... Не стерпел обиды, а заплатить обидчику было нельзя... И решил я покинуть родну сторону, чтоб в нее до гробовой доски не заглядывать...

Ниже и ниже склоняла Манефа голову. Бледные губы спешно шептали молитву. Если б кто из бывших тут пристальнее поглядел на нее, тот заметил бы, что рука ее, перебирая лестовку, трепетно вздрагивала.

— Какая ж это обида, Яким Прохорыч? — спросил Иван Григорьич.— Что-то не припомню я, чтобы перед уходом из-за Волги с тобой горе какое приключилось.

— Про то знают бог, я да еще одна душа... Больше никто не знает и никто не узнает... Послушайте-ка, матушка Манефа, про мои странства по дальним палестинам... Как решил я родное Заволжье покинуть, сам с собой тогда рассуждал: «Куда ж мне теперь, безродному, приклонить бедную голову, где сыскать душевного ми-

ра и тишины, где найти успокоение помыслов и забвение всего, что было со мной?..» Решил в монастырь идти, да подальше, как можно подальше от здешних мест. Слыхал прежде про монастырь Лаврентьев, что стоит неподалеку от славной слободы Ветки. Житие там строгое. Не каменными стенами, не богатыми церквами красовалась обитель та,— красовалась она старческими слезами, денно-нощными трудами, постом да молитвой... Много там было крепких подвижников, много иноков учительных, в деле душевного спасения искусных. Было немало и молодого, как я, народу: тогда в Лаврентьеву обитель юноши из разных сторон приходили, да управят души свои по словеси господню. Все молодые трудники чтению божественных книг прилежали и в преданиях церковных были крепки и подвижны... Без малого пять лет выжил я с ними, под начальством блаженного старца, и открыл мне господь разум писания, разверз умные силы и сподобил забыть все, все прошлое... сподобил... простить обидчику... В пучине божественного писания и святоотеческих книг чрез немалое время потопил я былое горе и прежние печали... И как скоро со мною такая перемена совершилась, восстала в душе другая буря, по иным новым волнам душевный корабль мой стал влаятися... Не сиделось на месте, стало тянуть меня куда-то далеко, далеко, а куда, сам не знаю... Прискучили леса и пустыни, прискучили благочестивые старцы; не иноческой тишины мне хотелось, хотелось повидать дальние страны, посмотреть на чужие государства, поплавать по синему морю, походить по горам высоким. Как птица из клетки, рвался я на волю, чтоб идти, куда глаза глядят,— идти, пока где-нибудь смерть меня не настигнет... Хотел бежать из обители, думал в мир назад воротиться, но бог не попустил... Приезжали в то время к нашему отцу игумну Аркадию зарубежные старцы из молдавских монастырей, в Питере по сборам были и возвращались восвояси. Два дня и две ночи игумен Аркадий тайные речи вел с ними, на третий всех молодых трудников призвал в келью к себе. Пришло нас пятнадцать человек. И стал нам сказывать отец Аркадий про оскудение благочестивого священства, про душевный глад, христиан постигший. «А есть, говорит, в дальних странах места сокровенные, где старая вера соблюдена в целости и чистоте. Там она, непорочная невеста Христо-

ва, среди бусурман яко светило сияет. Первое такое место на райской реке на Евфрате, промеж рубежей турского с персидским, другая страна за Египтом — зовется Емака́нь, в земле Фиваидской, третье место за Сибирью, в сокровенном Опоньском государстве. Вот бы, говорит отец игумен, порадеть вам, трудничке молодые, положить ваши труды на спасение всего христианства. Поискать бы вам благодать таковую, там ведь много древлеблагодатных епископов и митрополитов. Вывезти бы вам хоть одного в наши российские пределы, утвердили бы мы в России корень священства, утолили бы душевный глад многого народа. Свои бы тогда у нас попы были, не нуждались бы мы в беглецах никоньянских... И аще исполните мое сло́во — в сем мире будет вам от людей похвала и слава, а в будущем веце от господа неизглаголанное блаженство...» Как услышал я такие глаголы, тотчас игумну земно́ поклонился, стал просить его благословенья на подвиг дальнего странства. За мной другие трудники поклонились: повеление пославшего все готовы исполнить. Снабдил нас игумен деньгами на дорогу, дал для памяти тетрадки, как и где искать благочестных архиереев... И пошли мы пятнадцать человек к реке Дунаю, пришли во град Измаил, а там уж наши христиане нас ожидают, игумен Аркадий к ним отписал до нашего приходу. Без паспо́ртов пропуск за Дунай был заказан, стояла на берегу великая стража, никого без па́спорта за реку не пускала. В камыши спровадили нас христолюбцы, а оттоле ночью в рыбацких челноках, крадучись, яко тати, на турецкую сторону мы перебра́лись. Тут пошли мы в славное Кубанское войско,— то наши христиане казаки, что живут за Дунаем, некрасовцами зовутся. Соблюли они старую веру и все преданья церковные сохранили. Хорошо было нам жить у них и привольно. Богатейшие у них там рыбные ловли и земли вдоволь; хлебом, виноградом, кукурузой и всяким овощем там преизобильно. А живут те некрасовцы во ослабе: старую веру соблюдают, ни от кого в том нет им запрету; делами своими на «кругах» заправляют, турскому султану дани не платят, только, как война у турки зачнется, полки свои на службу выставляют... Прожили мы у некрасовцев без мала полгода, в ихнем монастыре, а зовется он Славой, и жили мы там в изобилье и довольстве. Еще больше тут к нам из России путников на

дальнее странство набралось — стало всего нас человек с сорок. И поплыли мы к Царьграду по Черному морю и, поживши мало время в Царьграде, переплыли в каюка́х Мраморное море и тамо опять пришли к нашим старообрядцам, тоже к каза́кам славного Кубанского войска, а зовется их станица Майносом. Оттоль пошли к райской реке Евфрату...

Смолк Яким Прохорыч. Жадно все его слушали, не исключая и Волка. Правда, раза два задумывал он под шумок к графинам пробраться, но, заметив следившего за ним Алексея, как ни в чем не бывало повертывал назад и возвращался на покинутое место.

— Что ж? Дошли до Евфрата? — спросила Аксинья Захаровна.

— Из сорока человек дошло только двадцать,— продолжал паломник.— Только двадцать!.. Зарыли остальных в песках да в горных ущельях... Десять недель шли: на каждую неделю по два покойника!.. Голод, болезни, дикие звери, разбойники да бусурманские народы — везде беды, везде напасти... Но не смущалося сердце наше, и мы шли, шли да товарищей хоронили... Безвестны могилки бедных, никому их не сыскать и некому над ними поплакать!.. Прошли мы вдоль реки Евфрата, были меж турской и персидской границей и не нашли старообрядцев... А смерть путников косила да косила... Назад к Царьграду поворотили. Шли, шли и помирали... И никому-то не хотелось лечь на чужой стороне, всякой-то про свою родину думал и, умирая, слезно молил товарищей, как умрет, снять у него с креста ладанку да, разрезавши, посыпать лицо его зашитою там русской землею... У меня одного ладанки с родной земли не бывало... И встосковалось же тогда сердце мое по матушке по России... В Царьград я один воротился, молодые трудники все до единого пошли в мать сыру землю... Добрел до Лаврентьева и про все рассказал отцу игумну подробно. Справил он по них соборную панихиду, имена их записал в синодик, постенный и литейный, а дела не покинул. Нудит опять меня: «Ступай, говорит, в Емакань, в страну Фиваидскую, за Египет. Там беспременно найдешь епископов; недавно, говорит, некие христолюбцы тамо бывали, про тамошнее житие нам писали». Новые трудники на подвиг странства сыскались, опять все люди молодые, всего двадцать пять человек...

Как бывалого человека, меня с ними послали... Тем же путем в Царьград мы пошли, там на корабли сели и поехали по Белому морю [1], держа путь ко святому граду Иерусалиму. Были у Спасова гроба, зрели, как все веры на едином месте служат. Отслужат свою обедню армяне, пойдут за ними латины, на месте святе в бездушные органи играют, а за ними пойдут сирийцы да копты, молятся нелепо, козлогласуют, потом пойдут по-своему служить арабы, а сами все в шапках и чуть не голы, пляшут, беснуются вокруг Христова гроба. Тут и греческие служат... Не обрели мы древлего благочестия ни в Иерусалиме, ни в Вифлееме, ни на святой реке Иордане — всюду пестро́ и развращено!.. Поплакали, видя сие, и пошли во град Иоппию; сели на корабль, и привезли нас корабельщики во Египет. Пошли мы вверх по реке Нилу, шли с караванами пеши, дошли до земли Фиваидской, только никто нам не мог указать земли Емаканьской, про такую, дескать, там никогда не слыхали... И напала на нас во Египте чума: из двадцати пяти человек осталось нас двое... Поплыли назад в Россию, добрели до отца игумна, обо всем ему доложили: «Нет, мол, за Египтом никакой Емакани, нет, мол, в Фиваиде древлей веры...» И опять велел игумен служить соборную панихиду, совершить поминовенье по усопшим, ради божия дела в чуждых странах живот свой скончавших... А потом опять меня призывает, опять на новый подвиг странствия посылает. «Есть, говорит, в крайних восточных пределах за Сибирью христоподражательная древняя церковь асирского языка. Тамо в Опоньском царстве, на Беловодье, стоит сто восемьдесят церквей без одной церкви, да, кроме того, российских древлего благочестия церквей сорок. Имеют те российские люди митрополита и епископов асирского поставленья. А удалились они в Опоньское государство, когда в Москве изменение благочестия стало. Тогда из честные обители Соловецкой да изо многих иных мест много народу туда удалилось. И светского суда в том Опоньском государстве они не имеют, всеми людьми управляют духовные власти. Идти тебе за сибирские пределы искать за ними того Беловодья, доставить к нам епископа древней веры благочестивой. А товарищи тебе готовы». Так повелел мне игумен.

---

[1] Архипелаг.

Шесть недель мы в Лаврентьевой обители пожили, ровно погостили, и потом всемером пошли к Беловодью. Дошли в Сибири до реки Катуни и нашли там христолюбивых странноприимцев, что русских людей за Камень в Китайское царство переводят. Тамо множество пещер тайных, в них странники привитают, а немного подале стоят снеговые горы, верст за триста, коли не больше, их видно. Перешли мы те снеговые горы и нашли там келью да часовню, в ней двое старцев пребывало, только не нашего были согласу, священства они не приемлют. Однако ж путь к Беловодью нам указали и проводника по малом времени сыскали... шли мы через великую степь Китайским государством сорок и четыре дня сряду. Чего мы там не натерпелись, каких бед-напастей не испытали; сторона незнакомая, чужая и совсем как есть пустая — нигде человечья лица не увидишь, одни звери бродят по той пустыне. Двое наших путников теми зверями при нашем виденье заедены были. Воды в той степи мало, иной раз дня два идешь, хотя б калужинку какую встретить; а как увидишь издали светлую водицу, бежишь к ней бегом, забывая усталость. Так однажды, увидавши издали речку, побежали мы к ней водицы напиться; бежим, а из камышей как прыгнет на нас зверь дикий, сам полосатый и ровно кошка, а величиной с медведя; двух странников растерзал во едино мгновенье ока... Много было бед, много напастей!.. Но дошли-таки мы до Беловодья. Стоит там глубокое озеро да большое, ровно как море какое, а зовут то озеро Лопонским[1] и течет в него от запада река Беловодье[2]. На том озере большие острова есть, и на тех островах живут русские люди старой веры. Только и они священства не приемлют, нет у них архиереев, и никогда их там не бывало... прожил я в том Беловодье без малого четыре года. Выпуску оттудова пришлым людям нету, боятся те опонцы, чтоб на Руси про них не спознали и назад в русское царство их не воротили... И, живучи в тех местах, очень я по России стосковался. Думаю себе: «Пускай мне хоть голову снимут, а уйду же я от тех опонцев в Российское царство». А там в первые три года свежаков[3] с остро-

[1] Лоп-Нор, на островах которого и по берегам, говорят, живет несколько забеглых раскольников.

[2] Ак-су — что значит по-русски *белая вода*.

[3] Новый, недавний пришлец.

вов на берег великого озера не пускают, пока не уверятся, что не сбежит тот человек во матушку во Россию. На четвертом году хозяин, у которого я проживал в батраках, стал меня с собой брать на рыбную ловлю. И уж скажу ж я вам, что только там за рыбная ловля! Много рек видал я на своем веку: живал при Дунае и на тихом Дону, а матушку Волгу с верху до́ низу знаю, на вольном Яике на багреньях бывал, за бабушку Гугниху пивал[1], все сибирские реки мне вдосталь известны, а нигде такого рыбного улова я не видал, как на том Беловодье!.. Кажется, как к нашим местам бы да такие воды, каждый бы нищий тысячником в один год сделался. Такое во всем приволье, что нигде по другим местам такого не видно. Всякие земные плоды там в обилье родятся: и виноград и пшено сорочинское; одно только плохо: матушки ржицы нет и в заводе... Но как ни привольно было жить в том Беловодье, все-то меня в Россию тянуло. Взял меня однажды Сидор — хозяин мой — на рыбную ловлю, переехали озеро, в камышах пристали. Грешный человек, хотел его сонного побывшить[2], да зазрела совесть. Пьян он был на ту пору: чуть не полкувшина кумышки из сорочинского пшена с вечера выпил; перевязал его веревками, завернул в сети, сам бежал в степи... Три месяца бродил я, питаясь кореньями да диким луком... Не зная дороги, все на север держал по звездам да по солнцу. На реку, бывало, наткнешься, попробуешь броду, нет его, и пойдешь обходить ту реку; иной раз идешь верст полсотни и больше. На сибирском рубеже стоят снежные горы; без проводника, не зная тамошних мест, их ввек не перелезть, да послал господь мне доброго человека из варнаков — беглый каторжный, значит,— вывел на Русскую землю!.. Спаси его, господи, и помилуй!

Замолчал Яким Прохорыч и грустно склонил голову. Все молчали под впечатлением рассказа.

— Что ж, опять ты пошел в монастырь, к своему игумну? — через несколько минут спросил у паломника Патап Максимыч.

---

[1] Бабушка Гугниха уральскими (прежде яицкими) казаками считается их родоначальницей. После багренья рыбы и на всяких иных пирах первую чару там пьют за бабушку Гугниху.

[2] Убить.

— Не дошел до него,— отвечал тот.— Доро́гой узнал, что монастырь наш закрыли, а игумен Аркадий за Дунай к некрасовцам перебрался... Еще сведал я, что тем временем, как проживал я в Беловодье, наши сыскали митрополита и водворили его в Австрийских пределах. Побрел я туда. С немалым трудом и с большою опаской перевели меня христолюбцы за рубеж австрийский, и сподобил меня господь узреть недостойными очами святую митрополию Белой Криницы во всей ее славе.

— Расскажи нам про это место,— спрашивал Стуколова Патап Максимыч.— Все расскажи, поподробну.

— Поистине,— с торжественностью продолжал паломник,— явися благодать спасительная всем человеком, живущим по древлеблагочестивой вере. Нашел я в Белой Кринице радость духовную, ликованье неумолкаемое о господине владыке митрополите и епископах и о всем чину священном. Двести лет не видано и не слыхано было у наших христиан своей священной иерархии, ныне она воо́чию зрится. Притек я в Белую Криницу, встретил там кое-кого из лаврентьевских мнихов. Меня узнали, властям монастырским обо мне доложили. Рассказал я им по ряду про свое сибирское хожденье и про жизнь в Беловодье. Они меня, странного, всем успокоили, келью мне дали и одежду монастырскую справили. Был у самого владыки Амвросия под благословеньем, и он через толмача много меня расспрашивать изволил обо всех моих по дальним странам хожденьях. Прожил я в той Белой Кринице два с половиною года, ездил оттоль и за Дунай в некрасовский монастырь Славу, и тамо привел меня бог свидеться с лаврентьевским игуменом Аркадьем. Не мало вечеров в тайных беседах у нас протекло с сим учительным старцем. Многое рассказывал я ему про три хождения наши: про евфратское, египетское и в Беловодье. И скорбел я перед ним, заливаясь слезами: «Не благословил бог наш подвиг, больше семидесяти учеников твоих, отче, три раза в дальние страны ходили и ничего не сыскали, и все-то семьдесят учеников полегли во чужих странах, один аз, грешный, в живых остался». Отвечал на такие речи старец, меня утешая, а сам от о́чию слезу испуская: «Не скорби, брате,— говорил он,— не скорби и душевного уныния бегай: аще троечастный твой путный подвиг и тщетен остался, но

паче возвеселиться должен ты ныне с нашими радостными лики: обрели мы святителей, и теперь у нас полный чин священства. За труды твои церковь тебя похваляет и всегда за тебя молить бога будет, а трудникам, что́ нужною смертью в пути живот свой скончали,— буди им вечная память в роды и роды!..» Тут упал я к честным стопам старца, открыл перед ним свою душу, поведал ему мои сомнения: «Прости,— сказал ему,— святой отче, разреши недоуменный мой помысл. Корень иерархии нашей от греков изыде, а много я видал греческих властей в Царьграде, и в Иерусалиме, и во Египте: пестра их вера благочестия обнажена совершенно. Как же новая иерархия от столь мутного источника изыде, како в светлую реку претворися?» И довольно поучил меня старец Аркадий, и беседою душеполезной растопил окаменелое мое сердце, отгнал от меня лукавого духа. Потом и сам я исследовал все дело подробно и со многими искусными в божественном писании старцами много беседовал и вконец удостоверился, что наша священная иерархия истинна и правильна!.. Ей! Перед господом богом свидетельствую вам и всех вас совершенно заверяю,— прибавил, вставая с места и подходя к иконам, паломник,— истинна древлеправославная австрийская иерархия, нет в ней ни едина порока!

Медленною поступью подошла Манефа к паломнику и твердым голосом сказала:

— Не чаяла тебя видеть, Яким Прохорыч!.. Как из гроба стал передо мною... благодарю господа и поклоняюся ему за все чудодеяния, какие оказал он над тобою.

Поклонилась мать Манефа паломнику и скорей, едва слышной поступью, пошла из горницы, а поровнявшись с Фленушкой, сказала ей шепотом:

— Пойдем... Евпраксию позови... Укладываться... Чем свет поедем.

— Зачем же ты, Яким Прохорыч, ушел из митрополии? — спросила Аксинья Захаровна у Стуколова.

— Творя волю епископа, преосвященного господина Софрония,— внушительно отвечал он и, немного помолчав, сказал:— Через два с половиною года после того, как водворился я в Белой Кринице, прибыл некий благочестивый муж Степан Трифоныч Жиров, начетчик великий, всей Москве знаем. До учреждения митрополии утолял он в России душевный глад христиан, привлекая

к древлему благочестию никонианских иереев. Письма привез он из Москвы, и скоро его митрополит по всем духовным степеням произвел: из простецов в пять дней стал он епископ Софроний и воротился в Россию. Белокриницкие власти повелели мне находиться при нем. С ним и приехал я до Москвы.

— И за Волгу он же прислал тебя? — спросил Патап Максимыч.

— Он же, только совсем по другому делу. Не по церковному,— отвечал Яким Прохорыч.

— Что за дело? — продолжал расспросы Патап Максимыч.

Стуколов замолчал.

— Коли клятвы не положено, чтобы тайны не поведать, что не говоришь?..— сказал Патап Максимыч.

— Клятвы не положено, и приказу молчать не сказано,— вполголоса проговорил Стуколов.

— Зачем же нас в неведенье держишь? — сказал Патап Максимыч.— Здесь свои люди, стары твои друзья, кондо́вые приятели, а кого не знаешь — то чада и домочадцы их.

Молчал Яким Прохорыч.

— Видно, долга разлука холодит старую дружбу,— вполго́лоса промолвил Чапурин Ивану Григорьевичу.

— Скажу,— молвил Стуколов.— Только не при женах говорить бы...

— Ах, батька! Уйти можем,— вскликнула Аксинья Захаровна.— Настя, вели-ка Матрене заедки-то в заднюю нести. Пойдемте, Арина Васильевна, Грунюшка, Параша. Никифору-то не уйти ли с нами, Максимыч?

— Ступай-ка с ними в самом деле,— сказал ему Патап Максимыч.

Никифор пошел, с горестью глядя, что Матрена в заднюю несет одни сладкие заедки. Разноцветные графины и солененькое остались, по приказу хозяина, в передней горнице.

Обведя собеседников глазами, Стуколов начал:

— Вот вы тысячники, богатеи: пересчитать только деньги ваши, так не один раз устанешь... А я что́ перед вами?.. Убогий странник, нищий, калика перехожий... А стоит мне захотеть, всех миллионщиков богаче буду... Не хочу. Отрекся от мира и от богатства отказался...

— Научи нас, как сделаться миллионщиками,— слегка усмехнувшись, сказал удельный голова.

— Научу... И будете миллионщиками,— отвечал Стуколов.— Беспременно будете... Мне не надо богатства... Перед богом говорю... Только маленько работы от вас потребуется.

— Какой же работы? — спросил голова.

— Не больно тяжелой; управиться сможете. Да не о том теперь речь... Покаместь...— с запинками говорил Стуколов.— Земляного масла хотите? — примолвил он шепотом.

Все переглянулись.

— Что за масло такое?— Чапурин спросил.

— Не слыхал?..— с лукавой усмешкой ответил паломник.— А из чего это у тебя сделано? — спросил он Патапа Максимыча, взявши его за руку, на которой для праздника надеты были два дорогие перстня.

— Из золота.

— По-нашему, по-сибирски — это земляное масло. Видал ли кто из вас, как в земле-то сидит оно?

— Кому видеть? Никто не видал,— отозвался Чапурин.

— А я видал,— сказал паломник.— Бывало, как жил в сибирских тайгах, сам доставал это маслецо, все это дело знаю вдоль и поперек. Не в пронос будь слово сказано, знаю, каким способом и в Россию можно его вывозить... Смекаете?

— Да ведь это далеко,— заметил Патап Максимыч.— В Сибири. Нам не рука.

— Ближе найдем,— отвечал паломник.— По́ золоту ходите, по серебру бродите... Понимаете вы это?

— Разве есть за Волгой золото? Быть того не может! Шутки ты шутишь над нами,— сказал удельный голова.

— Известно, здесь в Осиповке опричь илу да песку нет ничего. А поблизости найдется,— сказал Стуколов.—Слушайте: доро́гой, как мы из австрийских пределов с епископом в Москву ехали, рассказал я ему про свои хожденья, говорил и про то, как в сибирских тайгах земляным маслом заимствовался. Епископ тут и открылся мне: допреж в Москве постоялый двор он держал, и некие от христиан земляное масло из Сибири ему важивали в осетрах да в белугах, еще в меду. Епископа

брат путь-дорогу привезенному маслу показывал, куда, значит, следует идти ему. Хоть дело запретное, да находились люди, что с радостью масло то покупали. Однако ж начальство сведало. Тогда и пришло на мысль епископу, чем тайно сбытом земляного масла заимствоваться, лучше настоящим делом, как есть по закону, искать золота. В Сибирь не раз Жировы ездили прииска открывать. Найти золотой прииск там немудреное дело, только нашему брату не дадут им пользоваться. Ты сыщешь, а богатый золотопромышленник из-под носу его у тебя выхватит, к своим рукам приберет, а тебя из тайги-то взашей, чтоб и духа твоего там не было. Это так, это я сам видел, как в Сибири проживал. И узнал преосвященный наш владыка, что недалече от родины его, в Калужской, значит, губернии, тоже есть золото. Поглядели, в самом деле нашли песок золотой. Не оглашая дела, купили они золотоносное место у тамошнего барина, пятьдесят десятин. В Петербург пробы возили; там пробу делали и сказали, что точно, тут золото есть [1]. Рассказавши про такое дело, епископ и говорит: «Этим делом мне теперь заниматься нельзя, сан не дозволяет, но есть, говорит, у меня братья родные и други-приятели, они при том деле будут... А перед самым, говорит, отъездом моим в Белу Криницу, мне отписывали, что за Волгой по тамошним лесам водится золото. Я, говорит, тебя туда заместо послушания пошлю спроведать, правду ль мне отписывали, а если найдешь, предложи там кому из христиан, не пожелает ли кто со мной его добывать...» Вот я и пришел сюда, творить волю пославшего.

— Что ж, нашел? — с нетерпением спросил Патап Максимыч.

— Видимо-невидимо! — ответил Стуколов.— Всю Сибирь вдоль и поперек изойти, такого богатства не сыщешь. Золото само из земли лезет... Глядите!

---

[1] Истинное происшествие. Кочуев, которому принадлежит первая мысль об устроении Белокриницкой иерархии, вместе с братьями Жировыми, купцом Заказновым и племянником своим Александром Кочуевым искали золото в Калужской губернии. Для этого в 1849 году купили у г. Поливанова 50 десятин земли и, чтобы не огласить цели покупки, говорили, что думают устроить химический завод. Заказнов привез в Петербург непромытый песок, говоря, что он взят на купленной у Поливанова земле. По свидетельству пробирера Гронмейера, в пуде непромытого песка с глиной найдено было 6¼ долей золота и 25 долей серебра.

И, вынув из кармана замшевый мешок, в каких крестьяне носят деньги, Стуколов развязал его, и густая струя золотого песку посыпалась на чайное блюдечко.

Все столпились вкруг стола и жадно смотрели на золотую струю. Ни слова, ни звука... Даже дыханье у всех сперлось. Один маятник стенных часов мерно чикал за перегородкой.

Вдруг скрип полозьев. Остановились у ворот сани. Внизу забегали, в сенях засуетились.

Патап Максимыч очнулся и побежал гостей встречать. Паломник, не торопясь, высыпал золотой песок с блюдечка в мешок и крепко завязал его.

— Где нашел?.. В каком месте? — спрашивал его Алексей, едва переводя дух и схватив паломника за руку.

— Неподалеку отсюда, в лесу...— равнодушно молвил Стуколов, кладя мешок в карман.

Загорелись у Алексея глаза. «Вот счастье-то бог посылает,— подумал он.— Накопаю я этого масла, тогда...»

Патап Максимыч вошел в горницу, ведя под руку старика Снежкова. За ним шел молодой Снежков.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Струя золотого песку, пущенная паломником, ошеломила гостей Патапа Максимыча. При Снежковых разговор не клеился. Даниле Тихонычу показалось странным, что ему отвечают не́хотя и невпопад и что сам хозяин был как бы не по себе.

«Что за притча такая? — думают Снежковы.— Звали именинный пир пировать, невесту хотели показывать, родниться затевали, а приехали — так хоть бы пустым словом встретили на́с. Будто и не рады, будто мы лишние, нежданые». Коробило отца Снежкова — самолюбив был старик.

Меж тем Патап Максимыч, улуча минуту, подошел к Стуколову. Стоя у божницы, паломник внимательно разглядывал старинные иконы. Патап Максимыч вызвал его на пару слов в боковушку.

— Это Снежковы приехали,— сказал он,— богатые купцы самарские, старик-от мне бо́льшой приятель. Де-

нег куча, никаких капиталов он не пожалеет на разведки. Сказать ему, что ли?

— Оборони, господи!—отвечал Стуколов.— Строго-настрого наказано, чтоб, опричь здешних жителей, никому словечка не молвить... Там после что бог даст, а теперь нельзя.

Не по нраву пришлись Чапурину слова паломника. Однако сделал по его: и куму Ивану Григорьичу, и удельному голове, и Алексею шепнул, чтоб до поры до времени они про золотые прииски никому не сказывали. Дюкова учить было нечего, тот был со Стуколовым заодно. К тому же парень был не говорливого десятка, в молчанку больше любил играть.

Кой-как завязалась беседа, но беседовали невесело. Не стала веселей беседа и тогда, как вошли в горницу Аксинья Захаровна с дочерьми и гостями. Манефа не вышла взглянуть на суженого племянницы.

Когда Настя входила в горницу, молодой Снежков стоял возле Алексея. Он был одет «по-модному»: в щегольской короткополый сюртук и черный открытый жилет, на нем блестела золотая часовая цепочка со множеством разных привесок. Белье на Снежкове было чистоты белоснежной, на левой руке белая перчатка была натянута. Михайло Данилыч принадлежал к числу «образованных старообрядцев», что давно появились в столицах, а лет двадцать тому назад стали показываться и в губерниях. Строгие рогожские уставы не смущали их. Не верили они, чтоб в иноземной одежде, в клубах, театрах, маскарадах много было греха, и Михайло Данилыч, не раз, сидя в особой комнате Новотроицкого, с сигарой в зубах, за стаканом шампанского, от души хохотал с подобными себе над увещаньями и проклятьями рогожского попа Ивана Матвеича, в новых обычаях видевшего конечную погибель старообрядства.

Михайло Данилыч был из себя красив, легкие рябины не безобразили его лица; взгляд был веселый, открытый, умный. Но как невзрачен показался он Насте, когда она перевела взор свой на Алексея!

Патап Максимыч познакомил с женой и дочерьми. Уселись: старик Снежков рядом с хозяйкой, принявшейся снова чай разливать, сын возле Патапа Максимыча.

— Просим полюбить нас, лаской своей не оставить, Аксинья Захаровна,— говорил хозяйке Данило Тихоныч.— И парнишку моего лаской не оставьте... Вы не смотрите, что на нем такая одежа... Что станешь делать с молодежью? В городе живем, в столицах бываем; нельзя... А по душе, сударыня, парень он у меня хороший, как есть нашего старого завета.

— Что про то говорить, Данило Тихоныч,— отвечала Аксинья Захаровна, с любопытством разглядывая Михайла Данилыча и переводя украдкой глаза на Настю.— Известно, люди молодые, незрелые. Не на ветер стары люди говаривали: «Незрел виноград невкусен, млад человек неискусен; а молоденький умок, что весенний ледок...» Пройдут, батюшка Данило Тихоныч, красные-то годы, пройдет молодость: возлюбят тогда и одежу степенную, святыми отцами благословенную и нам, грешным, заповеданную; возлюбят и старинку нашу боголюбезную, свычаи да обычаи, что дедами, прадедами нерушимо уложены.

— Это вы правильно, Аксинья Захаровна,— отвечал старый Снежков.— Это, значит, вы как есть в настоящую точку попали.

— Куда я попала, батюшка? — с недоумением спросила Аксинья Захаровна.

— В настоящую точку, значит, в линию, как есть,— ответил Данило Тихоныч.— Потому, значит, в ваших словах, окромя настоящей справедливости, нет ничего-с.

— Невдомек мне, глупой, ваши умные речи,— сказала Аксинья Захаровна. — Мы люди простые, темные, захолустные, простите нас, Христа ради!

— А ты слушай да речей не перебивай,— вступился Патап Максимыч, и безмолвная Аксинья Захаровна покорно устремила взор свой к Снежкову: «Говорите, мол, батюшка Данило Тихоныч, слушать велит».

Прочие, кто были в горнице, молчали, глядя в упор на Снежковых... Пользуясь тем, Никифор Захарыч тихонько вздумал пробраться за стульями к заветному столику, но Патап Максимыч это заметил. Не ворочая головы, а только скосив глаза, сказал он:

— Алексей!

Алексей проснулся из забытья. Все время сидел он, опустя глаза в землю, не слыша, что вокруг его гово-

рится... Золото, только золото на уме у него... Услышав хозяйское слово и увидя Никифора, встал. Волк повернул назад и, как ни в чем не бывало, с тяжелым вздохом уселся у печки, возле выхода в боковушу. И как же ругался он сам про себя.

— По нынешним временам, сударыня Аксинья Захаровна,— продолжал свои речи Данило Тихоныч,— нашему брату купцу, особенно из молодых, никак невозможно старых обычаев во всем соблюсти. Что станешь делать? Такие времена пришли!.. Изойдите вы теперь все хорошие дома по московскому аль по петербургскому купечеству, из нашего то есть сословия, везде это найдете... Да и что за грех, коли правду сказать, Аксинья Захаровна? Была бы душа чиста да свята. Так ли? Все эти грехи не смертные, все эти грехи замолимые. Покаемся, бог даст, успеем умолить создателя... а некогда да недосуг, праведников да молитвенников попросим. Они свое дело знают — разом замолят грех.

— Велика молитва праведников перед господом,— с набожным вздохом молвила Аксинья Захаровна.

Стуколов нахмурился. Как ночь смотрит, глаз не сводя со старого краснобая.

— Я вам, сударыня Аксинья Захаровна, про одного моего приятеля расскажу,— продолжал старик Снежков.— Стужин есть, Семен Елизарыч в Москве. Страшный богач: двадцать пять тысяч народу у него на фабриках кормится. Слыхали, поди, Патап Максимыч, про Семена Елизарыча? А может статься, и встречались у Макарья — он туда каждый год ездит.

— Как про Стужина не слыхать,— ответил Патап Максимыч,— люди известные. Миллионах, слышь, в десяти.

— Посчитать, и больше наберется,— отвечал Данило Тихоныч.— Поистине не облыжно доложу вам, Аксинья Захаровна, таких людей промеж наших христиан, древлего то есть благочестия, не много найдется!.. Столп благочествия!.. Адамант!.. Да-с. Так его рогожский священник наш, батюшка Иван Матвеич, и в глаза и за глаза зовет, а матушка Пульхерия, рогожская то есть игуменья, всем говорит, что вот без малого сто годов она на свете живет, а такого благочестия, как в Семене Елизарыче, ни в ком не видывала... Через него, сударыня Аксинья Захаровна, можно сказать, все

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Глава XI

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Глава XIII

Рогожское держится, им только и дышит. Потому, знаете, от начальства ноне строгости, а Семен Елизарыч с высокими людьми водит знакомство... И оберегает.

— Дай ему, бог, доброго здоровья и души спасения,— набожно, вполголоса, проговорила Аксинья Захаровна.— Слыхали и мы про великие добродетели Семена Елизарыча. Сирым и вдовым заступник, нищей братии щедрый податель, странным покой, болящим призрение... Дай ему, господи, телесного здравия и душевного спасения...

— Так-с,— ответил Данило Тихоныч.— Истину изволите говорить, сударыня Аксинья Захаровна... Ну, а уж насчет хоша бы, примером будучи сказать, этого табачного зелья, и деткам не возбраняет, и сам в чужих людях не брезгует... На этом уж извините...

— Сквернится? — грустно, чуть не со слезами на глазах спросила Аксинья Захаровна.

— Одно слово — извините!— с улыбкой отвечал Данило Тихоныч.

Стуколов плюнул, встал со стула, быстро прошелся раза два в сторонке и, нахмуренный пуще прежнего, уселся на прежнее место.

— Что делать, сударыня? — продолжал Снежков.— Слабость, соблазн; на всякий час не устоишь. Немало Семена Елизарыча матушка Пульхерия началит. Журит она его, журит, вычитает ему все, что следует, а напоследок смилуется и сотворит прощенье. «Делать нечего, скажет, грехи твои на себя вземлем, только веру крепко храни... Будешь веру хранить, о грехах не тужи: замолим».

— Много может молитва праведника,— с набожным вздохом промолвила Аксинья Захаровна.— Един праведник за тысячу грешников умоляет... Не прогневался еще до конца на нас, грешных, царь небесный, посылает в мир праведных... Вот и у нас своя молитвенница есть... Сестра Патапу-то Максимычу, матушка Манефа комаровская. Может слыхали?

— Много наслышаны,— отвечал Снежков.— По нашим местам сказывают, что у ней в обители отменно хорошо и по чину содержится все... Да, сударыня Аксинья Захаровна, это точно-с, дана вам благодать божия... Со своей молитвенницей не в пример спокойнее жить. Иной,

чувствуя прегрешения, и захотел бы сам грехи свои замаливать, да сами посудите, есть ли ему время?.. Недосуги, хлопоты... Хоть нашего брата возьмите, как при нашей то есть коммерции станешь грехи замаливать? Суета все: кричишь, бранишься, ссоришься, времени-то и не хватит на божие дело... Да и то сказать: примешься сам-от замаливать, да, не зная сноровки, еще пуще, пожалуй, на душу-то нагадишь. Ведь во всяком деле надо сноровку знать... А праведнику это дело завсегда подходящее, потому что он на том уж стоит Он уж маху не даст, потому что сноровку в своем деле знает за дело взяться умеет. А нам куда! Не пори, коли шить не умеешь... Ваше дело женское, еще туда-сюда, потому что домоседничаете и молитвам больше нашего навыкли, а как наш-от брат примется, курам на смех — хоть дело все брось... Ха-ха-ха!..

И раскатился старый Снежков громким хохотом. Но, кроме сына, никто не улыбнулся ни на речи, ни на хохот его. Все молча сидели, Аграфена Петровна особенно строго поглядела на рассказчика, но он не смотрел в ее сторону. Стуколова так и подергивало; едва мог себя сдерживать. Аксинья Захаровна про себя какую-то молитву читала.

Чтобы поворотить разговор на другое, Патап Максимыч напомнил Снежкову:

— Так что же про Стужина-то зачали вы, Данило Тихоныч?

— Насчет нонешней молодежи хотел сказать,— отвечал Данило Тихоныч. — У Семена Елизарыча, — продолжал он, обращаясь к Аксинье Захаровне,— сынки-то во фраках, сударыня, щеголяют,— знаете в этакой куртке с хвостиками?.. Всему обучены... А ежели теперь прийти на бал али в театре на них посмотреть, от графов да от князей ничем отличить невозможно, купецкого звания и духу нет... коммерция из рук не валится, большая помога отцу. В коммерческой академии обучались, произошли всякую науку, медали за ученье получили, не на вывеску только, а карманные, без ушков значит и ленты нет,— прибавил он, поправляя висевшую у него на шее, на Аннинской ленте, золотую медаль.— Ну, да хоть и без ушков, а все же медаль, пóчесть, значит... На дочерей бы Семена Елизарыча посмотрели вы, Аксинья Захаровна, ахнули бы, просто бы ахнули... По-

французскому так и режут, как есть самые настоящие барышни. И если где бал, танцуют вплоть до утра, и в театры ездят, в грех того, по нонешним временам, не поставляют. А уж одеваются как, по триста да по четыреста целковых платье... И всякую мелочь даже на них, до последней, с позволения сказать, исподницы, шьют француженки на Кузнецком мосту... Поглядели бы вы, как на бал они разоденутся,— любо-дорого посмотреть... В позапрошлом году, зимой, сижу я раз вечером у Семена Елизарыча, было еще из наших человека два; сидим, про дела толкуем, а чай разливает матушка Семена Елизарыча, старушка древняя, редко когда и в люди кажется, больше все на молитве в своем мезонине пребывает. Хозяюшка-то Семена Елизарыча в ту пору на бал с дочерьми собирались в купеческое собрание. В первый раз дочерей-то везла туда... Бабушке, понятно дело, хочется тоже поглядеть, как внучки-то вырядятся. Напоила нас чаем, а сама сидит в гостиной, нейдет в свою горенку, дожидается... И вышли внучки, в дорогие кружева разодеты, все в цветах, ну а руки-то по локоть, как теперь водится, голы, и шея до плеч голая, и груди на половину... Как взвидела их божия старушка, так и всплеснула руками. «Матушки, кричит, совсем нагие!» Да и ну нас турить вон из гостиной. «Уйдите, говорит, отцы родные, Христа ради, уйдите: не глядите на девок, не срамите их». Так мы со смеху и померли.

С изумлением глядели все на Снежкова. Аксинья Захаровна руки опустила, ровно столбняк нашел на нее, только шепчет вполголоса:

— Мать пресвятая богородица! И шея и груди!.. Господи помилуй, господи помилуй!

Фленушка глаза опустила, Параша слегка покраснела, а Настя с злорадной улыбкой взглянула на Данилу Тихоныча, потом на отца. Глаза ее заблистали.

Стуколов не выдержал. Раскаленными угольями блеснули черные глаза его, и легкие судороги заструились на испитом лице паломника. Порывисто вскочил он со стула, поднял руку, хотел что-то сказать, но... схватив шапку и никому не поклонясь, быстро пошел вон из горницы. За ним Дюков.

— Куда вы?.. Куда ты, Яким Прохорыч?..— говорил Патап Максимыч, выбежав следом за ними в сени...

Не старый друг, не чудный паломник,— золото, золото уходило.

— Душе претит! — отвечал Стуколов.— Не стерпеть мне хульных речей суеслова... Лучше уйти... Прощай, Патап Максимыч!.. Прощай...

— Да что ты... Полно!.. Господь с тобой, Яким Прохорыч,— твердил Патап Максимыч, удерживая паломника за руку.— Ведь он богатый мельник,— шутливо продолжал Чапурин,— две мельницы у него есть на море, на окиане. Помол знатный: одна мелет вздор, другая чепуху... Ну и пусть его мелют... Тебе-то что?

— Не могу. Душа не терпит хульных словес! — ответил Стуколов.— Прощай, пусти меня, Патап Максимыч.

— Да куда ж ты, на ночь-то глядя? — уговаривал его Патап Максимыч.— Того и гляди метель еще подымется, слышь, ветер какой!

— Метели, вьюги, степные бураны давно мне привычны. Слаще в поле мерзнуть, чем уши сквернить мерзостью суесловия. Прощай!

Умаливал, упрашивал Патап Максимыч старинного друга-приятеля переночевать у него, насилу уговорил. Согласился Стуколов с условием, что не увидит больше Снежковых, ни старого, ни молодого. Возненавидел он их.

Патап Максимыч кликнул в сени Алексея.

— Яким Прохорыч устал, отдохнуть ему хочется,— сказал он.— У тебя пускай заночует. Успокой его. А к ужину в горницу приходи,— примолвил Патап Максимыч вполголоса.

Алексей с паломником вниз пошли. Патап Максимыч с молчаливым купцом Дюковым к гостям воротились. Там старый Снежков продолжал рассказы про житье-бытье Стужина,— знайте, дескать, с какими людьми мы водимся!

«Что ж это такое? — думал Патап Максимыч, садясь возле почетного гостя.— Коли шутки шутит, так эти шутки при девках шутить не годится... Неужели вправду он говорит? Чудное дело!»

Рассказывал Данило Тихоныч про балы да про музыкальные вечера в московском купеческом собрании, помянул и про голые шеи.

— Да зачем же у вас девок-то так срамят? — спросил, наконец, Патап Максимыч.— Какой ради причины голых дочерей людям-то кажут?

— Так водится, Патап Максимыч,— с важностью ответил Снежков.— В Петербурге аль в Москве завсегда так на балы ездят: и девицы и замужние. Такое уж заведенье.

— И замужние? — проговорил Патап Максимыч, пристально поглядев на Снежкова.

— И замужние,— спокойно ответил Данило Тихоныч.— Без этого нельзя. Везде так.

Ни слова Патап Максимыч. «Что ж это за срам такой? — рассуждает он сам с собою.— Как же это жену-то свою голую напоказ чужим людям возить?.. Неладно, неладно!..»

Как нарочно, и молодой Снежков в такие же рассказы пустился. У него, что у отца, то же на уме было: похвалиться перед будущим тестем: вот, дескать, с какими людьми мы знаемся, а вы, дескать, сиволапые, живучи в захолустье, понятия не имеете, как хорошие люди в столицах живут. И рассказывал молодой Снежков про балы и маскарады, про танцы, как их танцуют, про музыкальные вечера и театральные представленья. Слушай, мол, Настасья Патаповна, какое тебе житье будет развеселое; выйдешь замуж за меня, как сыр в масле станешь кататься. А она с первого взгляда понравилась Михайле Данилычу, и уж думал он, как в Москву с ней переедет жить, танцевать ее и по-французски выучит, да, разодевши в шелки-бархаты, повезет на Большую Дмитровку в купеческое собрание. Так и ахнут все: «Откуда, мол, взялась такая раскрасавица?»

— А летом,— продолжал он,— Стужины и другие богатые купцы из наших в Сокольниках да в Парке на дачах живут. Собираются чуть не каждый божий день вместе все, кавалеры, и девицы, и молодые замужние женщины. Музыку ездят слушать, верхом на лошадях катаются.

— Как же это верхом, Михайло Данилыч? — спросила Аксинья Захаровна.— Это мне, старухе, что-то уж и не понять! Неужели и девицы и молодицы на конях верхом?

— Верхом, Аксинья Захаровна,— отвечал Снежков.

— Ай, срам какой! — вскрикнула Аксинья Захаровна, всплеснув руками.— В штанах?

— Зачем в штанах, Аксинья Захаровна?— отвечал Михайло Данилыч, удивленный словами будущей тещи.

— Платье для того особое шьют, длинное, с хвостом аршина на два. А на коней боком садятся.

Девушки зарделись. Аграфена Петровна строгим взглядом окинула рассказчика. Настя посмотрела на Патапа Максимыча, и на душе ее стало веселее: чуяла сердцем отцовские думы.

Схватив украдкой Фленушку за руку, шепнула ей:

— Не бывать сватовству.

Фленушка головой кивнула.

В это время Настя взглянула на входившего Алексея и улыбнулась ему светлой, ясной улыбкой. Не заметил он того,— вошел мрачный, сел задумчивый. Видно, крепкая дума сидит в голове.

— Молодость! — молвил старый Снежков, улыбаясь и положив руку на плечо сыну.— Молодость, Патап Максимыч, веселье одно на уме... Что ж?.. Молодой квас — и тот играет, а коли млад человек недобесится, так на старости с ума сойдет... Веселись, пока молоды. Состарится, по крайности будет чем молодые годы свои помянуть. Так ли, Патап Максимыч?

— Так-то оно так, Данило Тихоныч,— отвечал Патап Максимыч.— Только я, признаться сказать, не пойму что-то ваших речей... Не могу я вдомек себе взять, что такое вы похваляете... Неужели везде наши христиане по городам стали так жить?.. В Казани, к примеру сказать, аль у вас в Самаре?

— Ну, не как в Москве, а тоже живут,— отвечал Данило Тихоныч.— Вот по осени в Казани гостил я у дочери, к зятю на именины попал, важнецкий бал задал, почитай весь город был. До заутрень танцевали.

— И дочки? — спросил Патап Максимыч.

— Как же! Они у меня на все горазды. В пансионе учились. И по-французски говорят, и все.

— И одеваются, как Стужины? — слегка прищурив глаза и усмехнувшись, спросил Патап Максимыч.

— Известно дело,— отвечал Данило Тихоныч.— Как люди, так и они. Варвара у меня, меньшая, что за Бур-

кова выдана за Сергея Абрамыча, такая охотница до этих балов, что чудо... И спит и видит.

— Чудны дела твоя, господи, чудны дела твоя! — проговорил Патап Максимыч. Больно не по себе ему стало.

Ужин готов. Патап Максимыч стал гостей за стол усаживать. Явились и стерляди, и индейки, и другие кушанья, на славу Никитишной изготовленные. Отличилась старушка: так настряпала, что не жуй, не глотай, только с диву брови подымай. Молодой Снежков, набравшийся в столицах толку по части изысканных обедов и тонких вин, не мог скрыть своего удивленья и сказал Аксинье Захаровне:

— Отменно приготовлено! Из городу, видно, повара-то брали?

— Какой у нас повар! — скромно и даже приниженно отвечала столичному щеголю простая душа, Аксинья Захаровна.— Дома, сударь, стряпали — сродственница у нас есть, Дарья Никитишна — ее стряпня.

Надивиться не могли Снежковы на убранство стола, на вина, на кушанья, на камчатное белье, хрусталь и серебряные приборы. Хоть бы в Самаре, хоть бы у Варвары Даниловны Бурковой, задававшей ужины на славу всей Казани... И где ж это?.. В лесах, в заволжском захолустье!..

Смекнул Патап Максимыч, чему гости дивуются. Повеселел. Ходит, потирая руки, вокруг стола, потчует гостей, сам приговаривает:

— Не побрезгуйте, Данило Тихоныч, деревенской хлебом-солью... Чем богаты, тем и рады... Просим не прогневаться, не взыскать на убогом нашем угощенье... Чем бог послал! Ведь мы, мужики серые, необтесанные, городским порядкам не обыкли... Наше дело лесное, живем с волками да с медведями... Да потчуй, жена, чего молчишь, дорогих гостей не потчуешь?

— Покушайте, гости дорогие,— заговорила в свою очередь Аксинья Захаровна.— Что мало кушаете, Данило Тихоныч? Аль вам хозяйской хлеба-соли жаль?

— Много довольны, сударыня Аксинья Захаровна,— поиглаживая бороду, сказал старый Снежков,— довольны-предовольны. Власть ваша, больше никак не могу.

— Да вы нашу-то речь послушайте — приневольтесь да покушайте! — отвечала Аксинья Захаровна.— Ведь по-нашему, по-деревенскому, что порушено, да не скушано, то хозяйке покор. Пожалейте хоть маленько меня, не срамите моей головы, покушайте хоть маленечко.

— Винца-то, винца, гости дорогие,— потчевал Патап Максимыч, наливая рюмки.— Хвалиться не стану: добро не свое, покупное, каково — не знаю, а люди пили, так хвалили. Не знаю, как вам по вкусу придется. Кушайте на здоровье, Данило Тихоныч.

— Знатное винцо,— сказал Данило Тихоныч, прихлебывая лафит.— Какие у вас кушанья, какие вина, Патап Максимыч! Да я у Стужина не раз на именинах обедывал, у нашего губернатора в царские дни завсегда обедаю — не облыжно доложу вам, что вашими кушаньями да вашими винами хоть царя потчевать... Право, отменные-с.

— Наше дело лесное,— самодовольно отвечал Патап Максимыч.— У генералов обедать нам не доводится, театров да балов сроду не видывали; а угостить хорошего человека, чем бог послал, завсегда рады. Пожалуйте-с,— прибавил он, наливая Снежкову шампанское.

— Не многонько ли будет, Патап Максимыч? — сказал Снежков, слегка отстраняя стакан.

— Наше дело лесное, по-нашему, это вовсе немного. Пожалуйте-с.

Две бутылки роспили за наступающую именинницу.

Не обнес Патап Максимыч и шурина, сидевшего рядом с приставленным к нему Алексеем... Было время, когда и Микешка, спуская с забубенными друзьями по трактирам родительские денежки, знал толк в этом вине... Взял он рюмку дрожащей рукою, вспомнил прежние годы, и что-то ясное проблеснуло в тусклых глазах его... Хлебнул и сплюнул.

— Свекольник!— молвил вполголоса.— Мне бы водочки, Патап Максимыч.

Молча отошел от него Патап Максимыч.

Чуть не до́ полночи пировали гости за ужином. Наконец, разошлись. Не все скоро заснули; у всякого своя дума была. Ни сон, ни дрема что-то не ходят по сеням Патапа Максимыча.

Патап Максимыч поместил Снежковых в задней боковушке. Там отец с сыном долго толковали про житье-бытье тысячника, удивлялись убранству дома его, изысканному угощенью и тому чинному, стройному во всем порядку, что, казалось, был издавна заведен у него. И про Настю толковали. Хоть не удалось с ней слова перемолвить Михайле Данилычу, хоть Настя целый вечер глядела на него неласково, но величавая, гордая красота ее сильно ударила по́ сердцу щеголеватого купчика. Только и мечтал он, как разоденет ее в шелки, в бархаты на диво не Самаре, а самой Москве, и как станут люди дивоваться на его жену-раскрасавицу... Старику Снежкову Настя тоже по нраву пришла.

Дал маху Снежков, рассказав про стужинских дочерей. Еще больше остудил он сватовство, обмолвившись, что и его дочери одеваются так же, как Стужины.

Не первый год знался Снежков с Патапом Максимычем; давно подметил он в нем охоту стать на купецкую ногу и во всем обиходе подражать тузам торгового мира. И то знал Данило Тихоныч, что не строго относится Чапурин к нарушеньям старых обычаев. В самом деле, Патап Максимыч никогда не бывал изувером, сам частенько трунил над теми ревнителями старого обряда, что покрой кафтана и число на нем пуговиц возводят на степень догмата веры. Не гнушался и табашниками, и хоть сроду сам не куривал, а всегда говаривал, что табак зелье не проклятое, а такая же божья трава, как и другие; в иноземной одежде, даже в бритье бороды ереси не видал, говоря, что бог не на одежду смотрит, а на душу. Потому Снежков и был уверен, что рассказ про житье богатых московских старообрядцев будущему свату по мысли придется,— но такая судьба ему выпала, — оборва́лся... Сильно возмутила Патапа Максимыча мысль, что Михайло Данилыч оголит Настю и выставит с обнаженными грудями чужим людям напоказ.

Все улеглись. Никого не берет дрема, сон никому не смыкает глаз.

Долго в своей боковушке рассказывала Аксинья Захаровна Аграфене Петровне про все чудное, что творилось с Настасьей с того дня, как отец сказал ей про суженого. Толковали потом про молодого Снежкова. И той и другой не пришелся он по нраву. Смолкла Аксинья

Захаровна, и вместо плаксивого ее голоса послышался легкий старушечий храп: започила сном именинница. Смолкли в светлице долго и весело щебетавшие Настя с Фленушкой. Во всем дому стало тихо, лишь в передней горнице мерно стучит часовой маятник.

Сам хозяин не спит, думу думает. Разделся, лег — ни сон нейдет, ни дрема не берет... Стужинские дочери ему вспоминаются, да чудный рассказ Стуколова, да это золото, что недалёко где-то в земле сокрыто лежит. Заведет глаза Патап Максимыч — и видит золотую струю, текущую из кошеля паломника. И думает он, передумывает, как примется земляное масло копать, как выйдет в миллионщики. Полно тогда за Волгой жить... Хоть и жаль расставаться с родиной, да нечего делать, придется... И вот уж строит он в Питере каменный дом, да такой, что пеший ли, конный ли только что с ним поверстаются, так ахают с дива: «Эк, мол, какие палаты сгромоздил себе Патап Максимыч, Чапурин сын!..» «Нечего делать, в гильдию записаться надо, потому что тогда заграничный торг заведем, свои конторы будем иметь!.. В славу войду, в силу... Медали, кресты, мундиры, коммерции советник!.. С министрами в компании обеды задаю, не то что Никитишнины. И сам у министров в почетных гостях!.. Кланяются мне, ублажают, угодить стараются: чуют тугой карман!.. Чего ни захотел, как по щучьему веленью все перед тобой... Больниц на десять тысяч кроватей настрою, богаделен... всех бедных, всех сирых, беспомощных призрю, успокою... Волгу надо расчистить: мели да перекаты больно народ одолевают... Расчищу, пускай люди добром поминают... Дорог железных везде настрою, везде... И сведает про меня сам батюшка, пожелает видеть самолично... Министры скачут, генералы, полковники, все: «Патап Максимыч, во дворец пожалуйте...» И выходит наше красно солнышко...»

Но тут вдруг ему вспомнились рассказы Снежковых про дочерей Стужина. И мерещится Патапу Максимычу, что Михайло Данилыч оголил Настю чуть не до пояса, посадил боком на́ лошадь и возит по московским улицам... Народ бежит, дивуется... Срам-от, срам-от какой... А Настасья плачет, убивается, не охота позор принимать... А делать ей нечего: муж того хочет, а муж голова.

Вскочил с постели Патап Максимыч и, раздетый, босой, заложа руки за спину, прошел в большую горницу и зачал ходить по ней взад и вперед.

«Руки пó локоть!.. Шея, плечи голые и грудей половина!.. Тьфу ты, мерзость какая! — думает он, расхаживая по горнице...— И дочери у него в Казани так же щеголяют... До заутрени пляшут!.. Люди богу молятся, а они голые пляшут!.. Иродиады, прости господи!.. Срамота!.. И всяк на них смотрит, а они хоть бы платочком прикрылись, бесстыжие,— нет... Верхом, с хвостом, боком на лошади по Сокольникам рыщут, ровно шуты какие, скоморохи!.. Ни стыда в глазах, ни совести!.. Нет, сударь Михайло Данилыч, ищи себе невесту в ином месте, а у нас про тебя готовых нет... Не рука нам таковский зять... Отдам я детище свое на поруганье?.. Выведу на позор родную дочь?.. Да скорее в землю живую ее закопаю, чем такое бесчестье на род-племя приму... Ну, друг любезный, Данило Тихоныч, сходились мы с тобой, не бранились, дай бог разойтись не бранясь, а сыну твоему Настасьи моей не видать... Просим не прогневаться, ищите лучше нас... Чуяло сердеченько у голубки!.. А я-то на нее, мою ластовку, злобился, я-то, старый дурак, бранил ее, до слез доводил... Хорош отец!.. Нечего сказать!.. ишь какого жениха дочери высватал!.. Еще слава богу, что вовремя себя выявили... Нет, дружище, Данило Тихоныч, приезду твоему рад, ешь, пей у меня, веселися, а насчет свадьбы выкинь из головы... А я-то еще первый в Городце ему намеки намекал... С того и разговоры пошли... О господи, господи!.. Что наделал я, что натворил...»

Долго ходил взад и вперед Патап Максимыч. Мерный топот босых ног его раздавался по горнице и в соседней боковушке. Аксинья Захаровна проснулась, осторожно отворила дверь и, при свете горевшей у икон лампады, увидела ходившего мужа. В красной рубахе, с расстегнутым косым воротом, с засученными рукавами, весь багровый, с распаленными глазами и всклокоченными волосами, страшен он ей показался. Хотела спрятаться, но Патап Максимыч заметил жену.

— Тебе чтó? — спросил шепотом, но гроза и в шепоте слышна была.

— Не спится что-то, Максимыч... Про Настеньку все думается...— едва слышно отвечала Аксинья Захаровна.

— Чего еще?.. Ну?..— сказал Патап Максимыч, остановясь перед женой.

— Да я ничего... Известно, твоя воля... Как хочешь...— И залилась бедная слезами.

— О чем заревела?.. Гостей, что ли, перебудить?.. А?..— грозно спросил именинницу Патап Максимыч.

— Настасья с ума нейдет, кормилец ты мой. Разрывается мое сердечушко, заснула было, так и во сне-то вижу ее, голубушку... Оголили... срамить ведут...

— Ну, ступай спать,— мягким голосом сказал жене Патап Максимыч.— Утро вечера мудренее... Ступай же, спи... Свадьбе не бывать.

Бросилась в передний угол именинница и начала класть земные поклоны. Помолившись, кинулась мужу в ноги.

— Бог тебя спасет, Максимыч,— сказала она, всхлипывая. — Отнял ты печаль от сердца моего.

— Полно же, полно, ступай... Спи, говорят тебе,— молвил Патап Максимыч.— Да ну же... Тебе говорят...

Ушла в свою боковушу Аксинья Захаровна. А Патап Максимыч все еще ходил взад и вперед по горнице. Нейдет сон, не берет дрема.

Вдруг слышит он возню в сенях. Прислушивается — что-то тащат по полу... Не воры ль забрались?.. Отворил дверь: мать Манефа в дорожной шубе со свечой в руках на пороге моленной стоит, а дюжая Анафролия с Евпраксией-канонницей тащит вниз по лестнице чемодан с пожитками игуменьи.

Как взвидела брата матушка Манефа, так и присела на пороге. Анафролия стала на лестнице и, разиня рот, глядела на Патапа Максимыча. Канонница, как пойманный в шалостях школьник, не знала, куда руки девать.

— Это что?..— спросил Патап Максимыч.

— Я братец... домой хочу... в обитель собралась...— шептала Манефа.

— Домой?.. А коль тебе домой захотелось, зачем же ты, спасённая твоя душа, воровским образом, не простясь с хозяевами, тихомолком вздумала?... А?..

Молчала игуменья.

— Что ж это ты, на срам, что ли, хочешь поднять меня перед гостями?.. А?.. На смех ты это делаешь, что ли?.. Да говори же, спасенница... Целый, почитай, вечер с гостьми сидела, все ее видели, и вдруг ни с того ни с сего, ночью, в самые невесткины именины, домой собраться изволила!.. Сказывай, что на уме?.. Ну!.. Да что ты проглотила язык-от?

— Неможется...— едва смогла проговорить Манефа.

— Неможется, так лежи. Умри, коли хочется, а сраму делать не смей... Вишь, что вздумала! Да я тебя в моленной на три замка запру, шаг из дому не дам шагнуть... Неможется!.. Я тебе такую немоготу задам, что ввек не забудешь... Шиш на место!.. А вы, мокрохвостницы, что стали?.. Тащите назад, да если опять вздумаете, так у меня смотрите: таковских засыплю, что до новых веников не забудете.

Нечего делать. Осталась Манефа под одной кровлей с Якимом Прохорычем... Осталась среди искушений... Не под силу ей против брата идти: таков уродился — чего ни захочет, на своем поставит.

Запереть Манефу он не запер, но, разбудив старого Пантелея, дал ему наказ строго-настрого глядеть в оба за скитским работником, что приехал с Манефой из Комарова.

— Чтоб к обительским лошадям и подходить он не смел,— приказывал Патап Максимыч,— а коль Манефа тайком со двора пойдет — за́ ворот ее да и в избу... Так и тащи... А чужим не болтай, что у нас тут было,— прибавил он, уходя, Пантелею.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Смущенная внезапным появлением Якима Прохорыча, Манефа не могла выдержать его присутствия и ушла с Фленушкой к себе в заднюю.

Игуменья всем телом дрожала, едва на ногах держалась. Еле-еле дошла до горенки, опираясь на Фленушку.

— Что с тобой, матушка? — говорила ей оторопевшая девушка.— Аль неможется? Шалфейцем не напоить ли?.. Аль бузиной с липовым цветом?

— Не надо... Ничего не надо...— отрывисто отвечала мать Манефа.

Когда вошли в боковушу, там никого не было. И здоровенная Анафролия и богомольная Евпраксеюшка суетились в стряпущей, помогали Никитишне ужин наряжать.

Тяжело опустилась на стул Манефа. Фленушка взяла ее за руки. Как лед холодные.

— Что это, матушка? — сказала Фленушка.— Дай я раздену тебя, уложу, тепленьким напою, укутаю...

— Ах, Фленушка, моя Фленушка! — страстным, почти незнакомым дотоле Фленушке голосом воскликнула Манефа и крепко обвила руками шею девушки...— Родная ты моя!.. Голубушка!.. Как бы знала ты да ведала!..

И горячо, страстно целовала Манефа глаза, щеки и уста Фленушки.

— Матушка, матушка! Что с тобой? — встревоженная необычными ласками всегда строгой, хоть до безумия любившей ее игуменьи, говорила Фленушка.— Матушка, успокойся, приляг...

— Постой, постой, мое дитятко, милая моя, сердечная ты моя девочка!.. Как бы знала ты!.. О господи, господи, не вмени во грех рабе твоей!.. Сердце чисто созижди во мне, боже, и дух прав обнови во утробе моей, отжени от мене омрачение помыслов... Уйди, Фленушка, уйди... Кликни Евпраксеюшку с Анафролией... Ступай, ступай!..

Фленушка стала перед Манефой на колена и горячо целовала ее руки.

— Не пойду я от тебя, матушка,— сказала она со слезами.— Как мне оставить больную тебя? Не сказать ли Аксинье Захаровне?

— Оборони, господи! — воскликнула Манефа, вставая со стула и выпрямляясь во весь рост. — Прощай, Фленушка... Христос с тобой...— продолжала она уже тем строгим, начальственным голосом, который так знаком был в ее обители. — Ступай к гостям... Ты здесь останешься... а я уеду, сейчас же уеду... Не смей про это никому говорить... Слышишь? Чтоб Патап Максимыч как не узнал... Перед светом уеду... Дела есть, спешные — письма получила... Ступай же, ступай... кликни Анафролию да Евпраксеюшку.

Вышла Фленушка, а Манефа закрыла лицо руками и тихо зарыдала.

Пришли Анафролия с Евпраксией. Воспрянула подвижница. Слез как не бывало. Коротко и внушительно отдав приказ собрать ее тайком в дорогу, пошла она в моленную. Там упала ниц перед темными ликами угодников, едва освещенными догоравшими лампадами, и громко зарыдала...

Встреча с паломником, которого она в живых видеть не чаяла, возмутила духовный мир матери Манефы. Много недреманных молитвенных ночей провела она в продолжение двадцати пяти лет ради забвения бурь и тревог, что мутили ее душу во дни давно отжитой молодости. Заключась в тесной келье, строгая подвижница успела умирить треволнения души. Удаление от мира и его греховной суеты, строгий пост, удручение плоти, чтение *Добротолюбия* и других книг аскетического содержания мало-помалу покрывали благодатным покровом забвения все былое... Годы шли. Реже и реже восставали в ее памяти образы когда-то дорогих ей людей, и в сердце много и горячо любившей женщины воцарился, наконец, тихий мир и вожделенный покой. Отжившую для мира черницу перестали тревожить воспоминанья о прежних днях, и если порой возникал перед ее душевными очами милый когда-то образ, строгая инокиня принимала его уже за наважденье лукавого, раскрывала *Добротолюбие* и, читая наставление об умной молитве, погружалась в созерцательное богомыслие, и, господу помогающу, прогоняла находившее на нее искушение.

И вдруг не сонное видение, не образ, зримый только духом, а как есть человек во плоти, полный жизни, явился перед нею... Смутилась старица... Насмеялся враг рода человеческого над ее подвигами и богомыслием!.. Для чего ж были долгие годы душевной борьбы, к чему послужили всякого рода лишения, суровый пост, измождение плоти, слезная, умная молитва?.. Неужли все напрасно?.. Минута одна, и как вихрем свеяны двадцатипятилетние труды, молитвы, воздыхания, все — все...

Стоит мать Манефа в моленной перед иконами, плачет горькими, жгучими слезами. Хочет читать, ничего не видит, хочет молиться, молитва на ум нейдет... Мир суетный, греховный мир опять заговорил свое в душевные уши Манефы...

* * *

За Волгой, в лесах, в Черной рамени, жил-был крестьянин, богатый мужик. У того крестьянина дочка росла. Дочка росла, красой полнилася. Сама белая, что кипень, волосы белокурые, а брови черный соболь, глаза — угольки в огне...

Матреной звали дочку Максима Чапурина.

Высокая, стройная, из себя красивая, девушка цветет молодостью. Много молодцов на ее красоту зарится, но гордая, спесивая, ласково взглянуть ни на кого не хочет Матренушка. Немало сухоты навела на сердца молодецкие. Роем, бывало, вкруг нее парни увиваются, но степенная, неприступная, глядеть ни на кого не хочет она. И такая была у ней повадка важная, взгляд да речи такие величавые, что ни один парень к ней подступиться не смел. Иной бахвал, набравшись смелости, подвернется порой к спесивой красавице с речами затейными, но Матренушка так его, бывало, отделает, что тот со стыда да со сраму не знает, убраться куда.

Хоть бы раз какому ни на есть молодцу ласковое словечко промолвила, хоть бы раз на кого взглянула приветливо.

Подружки ей говаривали:

— Чтой-то ты, Матренушка, гордая такая, спесивая? На всех парней серым волком глядишь. Аль тебе, подруженька, никого по мысли нет?

— Что мне до них,— ответит, бывало, красавица.— Все они нескладные, все несуразные. И без них проживу!

— Не проживешь, Матрена Максимовна. Славишься только, величаешься,— смеясь, говорили ей девушки.— Как без солнышка денечку пробыть нельзя, так без милого веку прожить нельзя.

— Полноте, девушки! — ответит, бывало, белокурая красавица.— Это только одно баловство. Не хочу баловаться, не стану любить никого.

— Полно, полно! От любви, что от смерти, не зачураешься,— говорили ей подруженьки.

— Ну ее совсем,— молвит, бывало, Матренушка.— И знать ее не хочу! Спокойней, девушки, спится, как ни по ком не гребтится.

Девушки правду сказали: не отчуралась от любви Матрена Максимовна. До той поры она подругам не верила, пока не спознадась с Якимом Прохорычем.

Свиделись они впервые на супрядках. Как взглянула Матренушка в его очи речистые, как услышала слова его покорные да любовные, загорелось у ней на сердце, отдалась в полон молодцу... Все-то цветнó да краснò до той поры было в очах ее, глядел на нее божий мир светло-радостно, а теперь мутятся глазыньки, как не видят друга милого. Без Якимушки и цветы не цветнò цветут, без него и деревья не краснò растут во дубравушке, не светло светит солнце яркое, мглою-мòроком кроется небо ясное.

Не сказала Матрена Максимовна про любовь свою отцу с матерью, не ронила словечка ни родной сестре, ни подруженькам: все затаила в самой себе и по-прежнему выступала гордой, спесивою.

А немало ночей, до последних кочетов, с милым другом бывало сижено, немало в те ноченьки тайных любовных речей бывало с ним перемолвлено, по полям, по лугам с добрым молодцем было похожено; по рощам, по лесочкам было погулено... Раздавались, расступались кустики ракитовые, укрывали от людских очей стыд девичий, счастье молодецкое... Лес не видит, поле не слышит; людям нé по что знать...

Засылал стороной Яким Прохорыч к Чапурину, узнавал через людей, какие мысли насчет дочери держит он, даст ли ей благословенье за него замуж пойти.

— Не по себе Яким дерево клонит,— отвечал сватам Чапурин.— Бог даст, сыщем зятя почище его. Наш товар вам не к руке, в ином месте поищите.

А как сваты уехали из Осиповки, кликнул к себе Чапурин Матренушку. Спрашивает: как узнал ее Яким Стуколов, где видались они, про какие дела разговоры вели?

Зарделась Матренушка — кумач-кумачом. Слова не может вымолвить. Слезы так и брызнули из очей ее.

— Сказывай!.. все пò ряду сказывай!..— говорил отец, сурово глядя на Матренушку. Дрожал и обрывался от гнева голос его.

Стоит Матрена Максимовна, как к земле приросла. Молчит, как неживая.

— Говори же, бесстыжая! — закричал Чапурин, схватив дочку за руку.— Говори, не то разражу...

И поднял увесистый кулак над белокурой головкой дочери...

— Батюшка! — крикнула Матренушка и без чувств упала к отцовским ногам.

Поглядел на помертвевшую дочь Максим Чапурин, плюнул и велел работнику лошадей запрягать.

Через час времени он уж вез ее в Комаровский скит.

Там у него двоюродная сестра проживала, мать Платонида. Ей сдал Максим Чапурин дочь свою с рук на руки.

— Береги ты ее, мать Платонида,— говорил он сестре на прощанье.— Глаз не спускай с нее. Чтоб из кельи, опричь часовни, никуда она ноги не накладывала и чтоб к ней никто не ходил. В оба гляди, чтобы грамоток к ней не переносили, чтоб сама не писала. Ни пера, ни бумаги чтоб в заводе у ней не бывало... Сбережешь девку, попомню добро твое,— останешься довольна... Сундук с поклажей, перину с подушками вели взять из саней, да вот тебе, покаместь, четвертная девке на харчи... А в келарню не пускай ее, пусть в келье обедает и ужинает... А это тебе, матушка...

Разложил на столе подарки: сукна на шубу, черный платок драдедамовый, китайки на сарафан, икры бурак, сахару голову, чаю фунт, своих пчел сот меду.

Мать Платонида не знает, как благодарить тороватого братца, а у самой на уме: «Полно теперь, мать Евсталия, платком своим чваниться. Лучше моего нет теперь по всей обители. А как справлю суконную шубу на беличьем меху, лопнешь со злости, завидущие глаза твои».

— Смотри же, мать Платонида, сбереги Матрену,— продолжал Максим Чапурин.— Коим грехом не улизнула бы... Слышишь?

— Слушаю, братец, слушаю, кормилец ты мой,— отвечала Платонида.— Все будет по приказу исполнено. Птице к окошку не дам подлететь, на единую пядь не отпущу от себя Матренушку, келарничать пойду — на замок замкну.

— И хорошее дело,— ответил Чапурин.— В самом деле, запирай-ка ее на замок. Надежнее.

— Да что ж это, братец? — спросила, наконец, мать Платонида.— Аль провинилась у тебя чем Матренушка?

— Большой провинности не было,— хмурясь и нехотя отвечал Чапурин,— а покрепче держать ее не мешает... Берегись беды, пока нет ее, придет, ни замками, ни запорами тогда не поможешь... Видишь ли что̀? — продолжал он, понизив голос.— Да смотри, чтоб слова мои не в пронос были.

— Чтой-то ты, братец! — затараторила мать Платонида.— Возможно ли дело такие дела в люди пускать?.. Матрена мне не чужая, своя тоже кровь. Вот тебе спас милостивый, пресвятая богородица троеручица — ни едина душа словечка от меня не услышит.

— То-то, смотри,— молвил Чапурин.— Девка молодая, из себя красовита, хахалишка один пришатился к ней... Так, дрянь, голытьба решетная... У самого за душой отродясь железного гроша не бывало, и туда же свататься лезет... Я его сватам оглобли-то поворотил... Вдругорядь не заглянут... Да это что̀, пустяки, а вот что гребтится мне, матушка: Мотря-то сама, кажись, не прочь бы за того ха̀халя замуж идти: боюсь, чтоб он не умчал ее, не повенчался б уходом... Кажись, легче живому в гроб лечь: больно уж он противен душе моей!.. Встретил бы его, кажется, так бы на месте и положил... А в деревне, сама рассуди, можно разве девку ухоронить?.. Вороват стал народ: умчит ее, пес, как пить даст... Так я и рассудил: до поры до времени пусть ее погостит у тебя, дурь-то пока из головы у ней выйдет... Сможешь ли такое дело сделать?

— Как такого дела не сделать? — отозвалась Платонида.— Чужим делывала, не то что своим. У нас в обители на этот счет крепко!.. В позапрошлом году у меня тоже двух девок от уходу хоронили: Авдонинских Лукерью да Матюшину Татьяну Сергевну... Ублюла, слава те господи... Уж каких подвохов они не подводили, а, слава богу, ухоронила... Матюшина-то, бывало,— беда!.. И давиться-то хотела, и подушками-то душила себя, и мышьяком травиться было вздумала, а никакого дурна над ней не случилось... Ублюла, братец, ублюла... На этот счет будьте спокойны... А ты вели-ка ей, сударь, преподобному Моисею Мурину молиться; зело избавляет от блудные страсти.

— Молитесь кому знаете,— отвечал Чапурин.— Мне бы только Мотря цела была, до другого прочего дела мне нет... Пуще всего гляди, чтоб с тем дьяволом пересылок у ней не заводилось.

— Одно слово: будьте спокойны, братец,— сказала мать Платонида.— Сохраню Матренушку в самом лучшем виде... А кто же таков злодей-то?.. Мне надо знать, чтобы крепче опаску держать... Кто таков полюбовник-от у ней?

— Уж и полюбовник! — гневно крикнул Чапурин, грозно вскинув глазами на старицу.— Говори, да не заговаривайся... Никакого полюбовника нет. Так себе, шальная голова, и все... Стуколовых слыхала?

— Как не знать Стуколовых,— отвечала мать Платонида.— Семен Ермолаич благодетель нашей обители.

— Племянник ихний, Якимко,— молвил Чапурин.— Чтоб близко к скиту не подходил он... Слышишь?

— Слышу, батюшка, братец, как не слыхать? — сказала Платонида.— Знаю я Якимку. Экой вор какой!.. А еще все о божественном — книгочей... Поди-ка вот с ним, какими делами вздумал заниматься!

Неласково расстался Чапурин с дочерью. Сулил плети ременные, вожжи варовенные... Как смертный саван бледная, с опущенными в землю глазами, стояла перед ним Матренушка, ни единого слова она не промолвила.

Заперли рабу божию в тесную келийку. Окроме матери Платониды да кривой старой ее послушницы Фотиньи, никого не видит, никого не слышит заточенница... Горе горемычное, сиденье темничное!.. Где-то вы, дубравушки зеленые, где-то вы, ракитовые кустики, где ты, рожь матушка зрелая — высокая, овсы, ячмени усатые, что крыли добра молодца с красной девицей?.. Келья высокая, окна-то узкие с железными перекладами: ни выпрыгнуть, ни вылезти... Нельзя подать весточки другу милому...

Мать из деревни приехала к Матренушке да сестра замужняя. Погоревали, поплакали, пособить горю не могли. Су́против отцовской воли как идти?..

Хоть и заверял Платониду Чапурин, что за Матренушкой большой провинности нет, а на деле вышло не то... Платониде такие дела бывали за обычай: не

одна купецкая дочка в ее келье девичий грех укрывала.

Не спознали про Матренушкин грех ни отец, ни сестра с братьями, и никто из обительских, кроме матушки игуменьи да послушницы Фотиньи. Мастерица была концы хоронить мать Платонида.

Во время родов мать Платонида не отходила от Матренушки. Зажгла перед иконами свечу богоявленскую и громко, истово, без перерывов, принялась читать акафист богородице, стараясь покрывать своим голосом стоны и вопли страдалицы. Прочитав акафист, обратилась она к племяннице, но не с словом утешения, не с словом участия. Небесной карой принялась грозить Матренушке за проступок ее.

— Что, тяжело? — язвила ее Платонида, стоя у изголовья.— На том свете не то еще будет!.. Весело теперь?.. Сладко?.. Погоди, не избежать тебе муки вечныя, тьмы кромешныя, скрежета зубного, червя бесконечного, огня негасимого!.. Огонь, жупел, смола кипучая, геенские томления... А это что́ за муки!

— Матушка!.. Родная ты моя!..— упавшим голосом, едва слышно говорила девушка.— Помолись богу за меня, за грешницу...

— Не доходна до́ бога молитва за такую! — сурово ответила ей Платонида.— Теперь в аду бесы пляшут, радуются... Видала на иконе страшного суда, какое мученье за твой грех уготовано?.. Видала?.. Слушай: «Не еже зде мучитися люто, но о́на вечна мука страшна есть и самим бесом трепетна...» Готовят тебе крюки каленые!..

— Матушка! матушка... прости ты меня, Христа ради... Мне бы исправиться [1]... Смертный час приходит... Не переживу я...

— Исправой греха твоего не загладить... Многие годы слез покаянья, многие ночи без сна на молитве, строгий пост, умерщвление плоти, отреченье от мира, от всех его со́блазнов, безысходное житье во иноческой келье, черная ряса, тяжелы вериги... Вот чем целить грех твой великий...

— Матушка!.. Если господь помилует меня... я готова... отрекусь от мира... ото всего... манатью надену... черную рясу...

---

[1] Исповедаться.

— Обещаешися ли? — спросила Платонида.
— Обещаюсь,— проговорила девушка.
— Обещаешися ли Христу?
— Обещаюсь...
— Принять ангельский образ иночества?
— Обещаюсь...
— Жить безысходно в обители?
— Обещ...

Громко, пронзительно, нечеловеческим голосом вскрикнула Матренушка... Стихла... Иной, тихий, слабенький человечий голосок в Платонидиной келье раздался...

— Боже сильный, милостию вся строяй,— молилась вслух Платонида, обратясь к иконам,— посети рабу свою сию Матрону, исцели ю от всякого недуга плотского и душевного, отпусти грех ее, и греховные соблазны, и всяку напасть, и всяко нашествие неприязненно...

Дочку бог дал. Завернула ее Платонида в шубейку, отдала кривой Фотинье, а та мигом в соседнюю деревню Елфимову спроворила.

Там жил один мужичок, Григорий Ильич. Пряниками торговал и по скитам ребячьим делом заправлял: промысел тут не в пример был доходней пряничной торговли. У Ильича в избе ребенка обмыли, в пеленки уложили. Заложил Григорий лошадку — и в Городец. Дорожка давным-давно проторенная. В Городце редку неделю двух-трех подкидышей не бывало. И из скитов в Городец же, бывало, младенцев возил Григорий Ильич. Свезет, сдаст кому следует, а на деньги, что получил от честны́х матерей, городецких пряников накупит, жемков, орехов и продает их скитским белицам да молодым богомольцам. Выручку получал хорошую.

Елфимовский пряничник девочку сдал на часовенном дворе старице Салоникее. Большая была начетчица та черница — строгая постница, великая ревнительница по древлему благочестию: двенадцать попов на своем веку от церкви в раскол сманила. И тем также по бозе ревновала, чтоб городецких подкидышей непременно по́солонь в старую веру крестить.

Делом не волоча, мать Салоникея снесла девочку к жившему при часовне беглому попу. Тот окрестил и на-

рек ей имя Фаина. Мать Салоникея была восприемницей, часовенный уставщик Василий Баранов был восприемником.

Таково было рождение Фленушки...

В тот же день Салоникея, идучи от вечерни, увидала на часовенном дворе знакомую молодицу. Зазвала ее к себе, чайком попотчевала, водочкой, пряничками, а потом и стала ей говорить:

— Вот, Авдотьюшка, пятый год ты, родная моя, замужем, а деток бог тебе не дает... Не взять ли дочку приемную, богоданную? Господь не оставит тебя за добро и в сей жизни и в будущей... Знаю, что достатки ваши не широкие, да ведь не объест же вас девочка... А может статься, выкупят ее у тебя родители,— люди они хорошие, богатые, деньги большие дадут, тогда вы и справитесь... Право, Авдотьюшка, сотвори-ка доброе дело, возьми в дочки младенца Фленушку.

Авдотьюшка поговорила с мужем и согласилась принять богоданную дочку. И росла у нее Фленушка. Разлихая девчонка росла.

Из семейных о провинности Матрены Максимовны никто не узнал, кроме матери. Отцу Платонида побоялась сказать — крутой человек, насмерть забил бы родную дочь, а сам бы пошел шагать за бугры уральские, за великие реки сибирские... Да и самой матери Платониде досталось бы, пожалуй, на калачи.

Много и горько плакала мать над дочерью, не коря ее, не браня, не попрекая. Молча лила она тихие, но жгучие слезы, прижав к груди своей победную голову Матренушки... Что делать?.. Дело непоправимое!..

В ногах валялась она перед Платонидой и даже перед Фотиньей, Христом-богом молила их сохранить тайну дочери. Злы были на спесивую Матренушку осиповские ребята, не забыли ее гордой повадки, насмешек ее над их исканьями... Узнали б про беду, что стряслась над ней, как раз дегтем ворота Чапурина вымазали б... И не снес бы старый позора; все бы выместил на Матренушке плетью да кулаками.

И Платонида и Фотинья перед иконой Казанской богородицы поклялись свято хранить тайну. Нача́л положили, икону с божницы сняли и во свидетельство

клятвы целовали ее перед Матренушкой и перед ее матерью.

Дня через три, по отъезде из скита старухи Чапуриной, к матушке Платониде из Осиповки целый воз подарков привезли. Послан был воз тайком от хозяина... И не раз в году являлись такие воза в Комарове возле кельи Платонидиной. Тайна крепко хранилась.

Хорошо обительской матушке-келейнице держать при себе богатенькую молоденькую родственницу. Как сыр в масле катайся! Всего вдоволь от благостыни родительской, а в обители почет большой. Матушки-келейницы пользуются всяким случаем, чтобы уговорить молоденькую девушку на безысходное житье в скиту.

Стала мать Платонида не по-прежнему за больной ухаживать. Сколько ласки, сколько любви, сколько заботы обо всякой малости! Не надивится Матренушка перемене в строгой, всегда суровой, всегда нахмуренной дотоле тетке...

Тетенька своего достигла—птичка в сетях. Хорошо, привольно, почетно было после того жить Платониде. После матери игуменьи первым человеком в обители стала.

Оправясь от болезни, Матренушка твердо решилась исполнить данный обет. Верила, что этим только обетом избавилась она от страшных мук, от грозившей смерти, от адских мучений, которые так щедро сулила ей мать Платонида. Чтение *Книги о старчестве*, *патериков* и *Лимонаря* окончательно утвердили ее в решимости посвятить себя богу и суровыми подвигами иночества умилосердить прогневанного ее грехопадением господа... Ад и муки его не выходили из ее памяти...

Немало просьб, немало слез понадобилось, чтобы вымолить у отца согласие на житье скитское. И слышать не хотел, чтобы дочь его надела иночество.

— Лучше за Якимку замуж иди,—сказал он Матрене после долгих, напрасных уговоров.—Хоть завтра пущай сватов засылает: хочешь, честью отдам, хочешь, уходом ступай.

Зарделась Матренушка. Радостью блеснули глаза... Но вспомнила обет, данный в страшную минуту, вспомнила мучения ада...

— Что ж, Мотря? — спрашивал отец.— Посылать, что ли, к жениху тайную весточку?

— Жених мой—царь небесный. Иного не знаю и не желаю,—твердо отвечала Матрена Максимовна.

Отец нахмурился и склонил голову. Немного подумав, сказал он:

— Ну, делай как знаешь... Прощай!

Целую ночь простояла на молитве девушка... Стоит, погружаясь глубже и глубже в богомыслие, но помысл мятежного мира все мутит душу ее... Встают перед душевными очами ее обольстительные образы тихой, сладкой любви. Видится ей, что держит она на одной руке белокурую кудрявую девочку, другою обнимает отца ее, и сколько счастья, сколько радости в его ясных очах... Она чувствует жаркие объятья его, ее губы чувствуют горячий поцелуй мужа... Мужа?.. «Грядет мира помышление греховно, борют мя окаянную страсти»,— шепчет она, дрожа всем телом. «Помилуй мя, господи, помилуй мя! Очисти мя скверную, безумную, неистовую, злопытливую...»

И, взяв бутылку из-под деревянного масла, стоявшую под божницей, разбила ее вдребезги об угол печи, собрала осколки и, став на них голыми коленами, ради умерщвления плоти, стала продолжать молитву.

Матрену Максимовну взяла под свое крылышко сама мать игуменья и, вместе с двумя-тремя старухами, в недолгое время успела всю душу перевернуть в поблекшей красавице...

Вольный ход, куда хочешь, и полная свобода настали для недавней заточенницы. Но, кроме часовни и келий игуменьи, никуда не ходит она. Мерзок и скверен стал ей прекрасный божий мир. Только в тесной келье, пропитанной удушливым запахом воска, ладана и деревянного масла, стало привольно дышать ей... Где-то вы, кустики ракитовые, где ты, рожь высокая, зыбучая?.. Греховно, все греховно в глазах молодой белицы...

Однажды, тихим летним вечером, вышла она за скитскую околицу. Без дела шла и сама не знала, как забрела к перелеску, что рос недалеко от обителей... Раздвинулись кустики, перед ней — Яким Прохорыч.

— Ясынька ты моя, ненаглядная... Радость ты моя!.. Голубушка!..— рыдая и страстно дрожа всем те-

лом, вскрикнул Стуколов. Стремительно бросился он к подруге.

Она остановилась... Глаза вспыхнули... Еще одно мгновение — и она была бы в объятиях друга... Но обет!.. Страшный суд, вечные муки!..

— Бес!.. Проклятый!..— крикнула она, высо́ко подняв правую руку.— Прочь!.. Не скверни святого места!.. Прочь!..

— Матренушка!.. Милая!.. Разлапушка!.. Ведь это я... я... Аль не узнала?.. Вглядись хорошенько!

— Прочь, говорят тебе,— отвечала она.— Не знаю тебя... Змей, искуситель!.. Оставь!..

И спокойною поступью пошла к своей келье.

С того дня за Волгой не стало ни слуху ни духу про Стуколова.

Через три дня после этой встречи, бледную, исхудалую девушку вели в часовню; там дали ей в руки зажженную свечу... Начался обряд... Из часовни вышла новопостриженная мать Манефа...

С первого шага Манефа стала в первом ряду келейниц. Отец отдал ей все, что назначал в приданое, сверх того щедро оделял дочку-старицу деньгами к каждому празднику. Это доставило Манефе почетное положенье в скиту. Сначала Платонида верховодила ею, прошел год другой, Манефа старше тетки стала.

Сделалась она начетчицей, изощрилась в словопрениях — и пошла про нее слава по всем скитам керженским, чернораменским. Заговорили о великой ревнительнице древлего благочестия, о крепком адаманте старой веры. Узнали про Манефу в Москве, в Казани, на Иргизе и по всему старообрядчеству. Сам поп Иван Матвеич с Рогожского стал присылать ей грамотки, сама мать Пульхерия, московская игуменья, поклоны да подарочки с богомольцами ей посылала.

Умерла Платонида, келья ее Манефе досталась. Стала она в ней полной хозяйкой, завися от одной только игуменьи матери Екатерины.

— Сиротку в Городце нашла я, матушка,— сказала она однажды игуменье.— Думаю девочку в дочки взять, воспитать желаю во славу божию. Благословите, матушка.

Екатерина сидела за *Кирилловой книгой*. Медленно подняла она голову и, глядя через очки на Манефу, спросила:

— Велика ль девочка-то?

— Пять лет, шестой пошел,— отвечала мать Манефа.

— Пять лет... шестой...— медленно проговорила игуменья и улыбнулась.— Это выходит — она в тот год родилась, как ты в обитель вступила. Ну, что ж! Бог благословит на доброе дело.

Смущенная словами Екатерины, Манефа побледнела как полотно и до земли поклонилась игуменье.

Григорий Ильич через несколько дней привез из Городца хорошенькую бойкую девочку Флену Васильевну.

Выросла Фленушка в обители под крылышком родной матушки. Росла баловницей всей обители, сама Манефа души в ней не слышала. Но никто, кроме игуменьи, не ведал, что строгая, благочестивая инокиня родной матерью доводится резвой девочке. Не ведала о том и сама девочка.

Прошло еще сколько-то лет, скончалась в обители игуменья мать Екатерина. После трехдневного поста собирались в часовню старицы, клали жеребьи за икону пречистой богородицы, пели молебный канон спасу милостивому, вынимали жребий, кому сидеть в игуменьях.

Манефе жребий вынулся. В ноги ей вся обитель разом поклонилась, настоятельский жезл ей поднесли и с пением духовных песен повели ее в игуменские кельи...

Разумно и правдиво правила Манефа своей обителью. Все уважали ее, любили, боялись. Недругов не было. «Давно стоят скиты керженские, чернораменские, будут стоять скиты и после нас, а не бывало в них такой игуменьи, как матушка Манефа, да и впредь вряд ли будет». Так говорили про Манефу в Комарове, в Ула́нгере, в Оленеве и в Ша́рпане и по всем кельям и сиротским домам скитов маленьких.

Обительские заботы, чтение душеполезных книг, непрестанные молитвы, тяжелые труды и богомыслие давно водворили в душе Манефы тихий, мирный покой. Не тревожили ее воспоминания молодости, все былое покрылось забвением. Сама Фленушка не будила более

в уме ее памяти о прошлом. Считая Якима Прохорыча в мертвых, Манефа внесла его имя в синодики постенный и литейный на вечное поминовение.

И вдруг нечаянно, негаданно явился он... Как огнем охватило Манефу, когда, взглянув на паломника, она признала в нем дорогого когда-то ей человека... Она, закаленная в долгой борьбе со страстями, она, победившая в себе ветхого человека со всеми влеченьями к миру, чувственности, суете, она, умертвившая в себе сердце и сладкие его обольщения, едва могла сдержать себя при виде Стуколова, едва не выдала людям давнюю, никому не ведомую тайну.

Слушая длинный рассказ паломника, Манефа духовно утешалась и радовалась. «Благодарю тебя, господи,— мысленно говорила она,— о твоих благодеяниях, милостиво на нас бывших. Не погнушался еси нашею скверною и грешника сего суща воздвигнул еси потрудитися и послужити во славу имени твоего!»

Нелицемерен был поклон ее перед бывшим полюбовником. Поклонилась она не любовнику, а подвижнику, благодарила она трудника, положившего душу свою на исканье старообрядского святительства... Ни дубравушки зеленые, ни кусты ракитовые не мелькнули в ее памяти...

Но едва отошла от паломника, все ей вспомнилось... Бежать, бежать скорей!..

Бежать не удалось... Патап Максимыч помешал... Надо жить под одной кровлею с ним... И Фленушка тут же... Бедная, бедная!.. Чует ли твое сердечушко, что возле тебя отец родной?

Стоит Манефа перед темными ликами угодников, хочет читать — не видит, хочет молиться — молитва на ум нейдет...

— Просвети ум мой, господи,— шепчет она,— очисти сердце мое!..

А в ушах звучат то веселые звуки деревенского хоровода, то затейный хохот на су́прядках, то тихий, ласкающий шепот во ржах...

Затряслась всем телом Манефа...

— О господи, господи! — шептала она, взирая на икону Спаса.

И холодная, как лед, без памяти, без сознания, тихо опустилась на помост моленной.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На другой день столы работникам и народу справлялись. В горнице весело шел именинный пир. Надивиться не могли Снежковы на житье-бытье Патапа Максимыча... В лесах живет, в захолустье, а пиры задает, хоть в Москве такие.

Провожая Снежковых, Патап Максимыч не только не повел речи про сватовство, но даже намека не сделал, а когда на прощанье Данило Тихоныч завел было речь о том, Патап Максимыч сказал ему:

— Не раненько ль толковать об этом, Данило Тихоныч? Дело-то, кажись бы, не к спеху. Время впереди, подождем, что бог пошлет. Есть на то воля божья, дело сделается; нет — су́против бога как пойдешь?

— Оно, конечно, воля божия первей всего,— сказал старый Снежков,— однако ж все-таки нам теперь бы желательно ваше слово услышать, по тому самому, Патап Максимыч, что ваша Настасья Патаповна оченно мне по нраву пришлась — одно слово, распрекрасная девица, каких на свете мало живет, и паренек мой тоже говорит, что ему невесты лучше не надо.

— На добром слове покорно благодарим, Данило Тихоныч,— отвечал Патап Максимыч,— только я так думаю, что если Михайло Данилыч станет по другим местам искать, так много девиц не в пример лучше моей Настасьи найдет. Наше дело, сударь, деревенское, лесное. Настасья у меня, окроме деревни да скита, ничего не видывала, и мне сдается, что такому жениху, как Михайло Данилыч, вряд ли она под стать подойдет, потому что не обыкла к вашим городским порядкам.

— Это не беда. Долго ль приобыкнуть! — возразил Снежков.— Нет уж, вы напрямик скажите, Патап Максимыч, можно нам надеяться аль не можно?

— Да чего же тут надеяться-то? — говорил Патап Максимыч.— От меня ни отказу, ни приказу нет. Ведь хоша у нас с вами, Данило Тихоныч, и были разговоры, так ведь это так... Мало ль что за столиком с рюмочками промеж приятелей говорится?.. Вы не всяко лыко в строку пускайте!.. Опять же было у нас с вами говорено так: если делу тому сделаться, так разве на ту зиму. Стало, и будем ждать той зимы. Там что господь укажет... А все ж моя Настасья не порогом поперек вам ста-

ла, ищите где лучше и на мне не взыщите, коли до той поры Настасье другой жених по мысли найдется. А воли с нее не снимаю, у девки свой разум в голове,— сама должна о судьбе своей рассудить.

— Как же это понимать надобно, Патап Максимыч? — немного помолчав, спросил Снежков.— Ведь это значит отказ, как длинный шест.

— Где же тут отказ, Данило Тихоныч? — сказал Патап Максимыч.— Никакого отказу вам нет от меня... Отказ бывает, когда сватовство идет, а разве у нас сватовство в настоящем виде, как следует, было? Разговоры только были. По-приятельски поболтали от нечего делать... Да и тут было сказано — до зимы ожидать... Там, опять-таки говорю я вам, увидим, что бог даст... И отказывать не отказываю, и обещать не обещаю... Опять же надо прежде Настасью спросить, ведь не мне жить с Михайлом Данилычем, а ей: с дочерей я воли не снимаю, хочет — иди с богом, а не хочет — неволить не стану.

— Помнится мне, в Городце не такие речи я слышал от вас, Патап Максимыч? — с усмешкой промолвил Снежков.— Тогда было, кажись, говорено: «Как захочу, так и сделаю».

Передернуло Патапа Максимыча. Попрек Снежкова задел его за живое. Сверкнули глаза, повернулось было на языке сказать: «Не отдам на срам детище, не потерплю, чтобы голили ее перед чужими людьми...» Но сдержался и молвил с досадой:

— В голове шумело, оттого и соврал. Татарин, что ль, я, девку замуж отдавать, ее не спросясь? Хоть и грешные люди, а тоже христиане.

Распрощались, по-видимому, дружелюбно, но Патап Максимыч понимал, что дружба его со Снежковым ухнула. Не простит ему Данило Тихоныч во веки веков...

* * *

Проводив Снежковых, пошел Патап Максимыч в подклет и там в боковушке Алексея уселся с паломником и молчаливым купцом Дюковым. Был тут и Алексей. Шли разговоры про земляное масло.

— Так и в самом деле в наших местах такая благодать водится? — спрашивал Патап Максимыч паломника.

— Есть,— отвечал Яким Прохорыч.— В большом даже изобилии. И чудное дело,— прибавил он,— сколько стран, сколько земель исходил я на своем веку, а такой слепоты в людях, как здесь, нигде я не видывал! Люди живут — хоть бы Ветлугу взять — беднота одна, лес рубят, луб дерут, мочало мочат, смолу гонят —бьются, сердечные, век свой за тяжелой работой: днем не доедят, ночью не доспят... О, как бы не ихняя слепота!.. Стоит только землю лопатой копнуть, и такое тут богатство, что целый свет можно бы обогатить. Пó золоту ходят, а его не примечают... Бабы у них дресвой полы моют. Не дресвой они моют, червонным золотом... Вот ведь что значит, как человек-от в понятии не состоит!.. Известно: живут в лесах, людей, которы бы до всего доходили, не видывали... Где им знать?

— Где ж эти самые места? — спросил Патап Максимыч.

— Сказано — на Ветлуге,— отвечал Стуколов.

— Ветлуга-то велика. Ты скажи, которо место,— приставал к паломнику Патап Максимыч.

— Где именно те места, покаместь не скажу,— отвечал Стуколов.— Возьмешься за дело как следует, вместе поедем, либо верного человека пошли со мной.

— Я хоть сейчас готов,— сказал Патап Максимыч.

— Сейчас нельзя,— заметил Стуколов.— Чего теперь под снегом увидишь? Надо ведь землю копать, на дне малых речонок смотреть. Как можно теперь? Коли условие со мной подпишешь, поедем по весне и примемся за работу, а еще лучше ехать около Петрова дня, земля к тому времени просохнет... болотúсто уж больно по тамошним местам.

— Летом нельзя мне,— заметил Патап Максимыч.— Да кума могу попросить Ивана Григорьевича. А коли ему недосужно, вот его спосылаю,— прибавил он, показывая на Алексея.— Теперь-то что же надо делать?

— Капиталом войти, потому расходы,— сказал Яким Прохорыч.— Условие надо писать, потом в сроки деньги вносить.

— На что же деньги-то? — спросил Патап Максимыч.

— Мало ль на что,— отвечал Стуколов.— Шурфы бить, то есть пробы в земле делать, землю купить, коли

помещичья, а если казенная, в Питере хлопотать, чтобы прииск за нами записали... Да и потом, мало ль на что денег потребуется. Золото даром не дается... Зарой в землю деньги, она и станет тебе отплачивать.

— Да ты расскажи по порядку, как этим делом надо орудовать, как его в ход-от пустить? — допрашивал паломника Патап Максимыч.— Хоть наше дело не то, чтобы луб драть, однако ж по этому делу, что про лыкодеров ты молвил, то и к нашему брату пристало: в понятии не состоим, взяться не умеем.

— То-то и есть! — сказал Стуколов.— Без умелых людей как за такое дело приниматься? Сказано: «Божьей волей свет стоит, человек живет уменьем». Досужество да уменье всего дороже... Вот ты и охоч золото добывать, да не горазд — ну и купи досужество умелых людей.

— Да как его купить-то? — усмехнувшись, молвил Патап Максимыч.— На базаре не продают.

— Вот что,— сказал Стуколов,— складчи́ну надо сделать, компанию этакую. Слыхал про компании, что складочными деньгами дела ведут?

— Как не слыхать? — молвил Патап Максимыч.— Только в этом деле, сказывают, много греха живет — обижают.

— На то глаза во лбу да ум в мозгу, чтоб не обидели,— отвечал Стуколов.— Видишь ли: чтоб начать дело, нужен капитал, примером тысяч в пятьдесят серебром.

— В пятьдесят? — воскликнул Патап Максимыч.— Эк тебя!.. Ровно про полтину сказал. Пятьдесят тысяч деньги, брат, не малые, зря не валяются... Эко слово молвил! Пятьдесят тысяч!.. Да у меня, брат, и половины таких денег в ларце-то не найдется, да если и кума и Михайлу Васильича взять, так и всем нам пятидесяти тысяч наличными не собрать. У нас ведь обороты, торговля... У торгового человека наличными деньги не лежат. А заведенных дел ради твоего золота я не нарушу... Что-то еще там на Ветлуге будет, а заведенное дело изведано — с ним идешь наверняка. Хоть и сулишь ты горы золота, однако же я скажу тебе, Яким Прохорыч, что домашний теленок не в пример дороже заморской коровы.

— Так как же, Патап Максимыч, будет наше дело? — после минутного молчания спросил Стуколов.

— Да уж верно так и будет, что твои блины отложить до другого дня. Не подходящая сумма,— отвечал Патап Максимыч.

— Меньше нельзя,— равнодушно отвечал Стуколов.— Пятидесяти тысяч не пожалеешь — миллионами будешь ворочать... Слыхал, как в Сибири золотом разживаются?

— Слыхать-то слыхал,— отвечал Патап Максимыч.— Да ведь то Сибирь, место по этой части насиженное, а здесь внове, еще бог знает, как пойдет.

— Ветлужские прииски богаче сибирских — верь моему слову,— сказал Стуколов.— Гляди...

И вынул паломник из замшевого мешка полгорсти золотого песку и стал пересыпать его. Глаза так и загорелись у Патапа Максимыча. Закусил он губу.

— Этой благодати на Ветлуге больше, чем в Сибири,— говорил Стуколов,— а главное, здешняя сторона нетронутая, не то, что Сибирь... Мы первые, мы сметанку снимем, а после нас другие хлебай простоквашу...

— Да впрямь ли ты это на Ветлуге нашел? — спросил Патап Максимыч, не спуская глаз с золотой струи, падавшей из рук паломника.

— Божиться, что ль, тебе?.. Образ со стены тащить? — вспыхнул Стуколов.— И этим тебя не уверишь... Коли хочешь увериться, едем сейчас на Ветлугу. Там я тебя к одному мужичку свезу, у него такое же маслице увидишь, и к другому свезу, и к третьему.

— Что ж, это можно,— сказал Патап Максимыч.— Сколько ж денег потребуется?

— Да покаместь гроша́ не потребуется.— отвечал Стуколов.— Пятьдесят тысяч надо не сразу, не вдруг. Коли дело плохо пойдет, кто нам велит деньги сорить по-пустому? Вот как тебе скажу — издержим мы две аль три тысячи на ассигнации, да если увидим, что выгоды нет,— вдаль не поедем, чтоб не зарваться...

— Две либо три тысячи! — раздумывал Патап Максимыч.— Ну это еще туда-сюда... На этом можно помириться. А насчет пятидесяти серебра — нет, брат, шалишь, мамонишь.

— Как вперед загадывать? — отвечал Яким Прохорыч,— может статься, и много меньше пятидесяти тысяч положишь, а года в два миллион наживешь.

— Уж и миллион? Не широко ль загинаешь? — перебил Патап Максимыч.

— Не один миллион, три, пять, десять наживешь,— с жаром стал уверять Патапа Максимыча Стуколов.— Лиха беда начать, а там загребай деньги. Золота на Ветлуге, говорю тебе, видимо-невидимо. Чего уж я — человек бывалый, много видал золотых приисков — и в Сибири и на Урале, а как посмотрел я на ветлужские палестины, так и у меня с дива руки опустились... Да что тут толковать, слушай. Мы так положим, что на все на это дело нужно сто тысяч серебром.

— Значит, это дело надо оставить,— махнув рукой, сказал Патап Максимыч.— Сто тысяч!.. Эк у него тысячи-то — ровно парена репа...

— А ты слушай, речи не перебивай,— прервал его Стуколов.— Наличными на первый раз — сказал я тебе — две либо три тысячи ассигнациями потребуется.

— Хоть убей — в толк не возьму,— возразил Патап Максимыч.— Про какие же сто тысяч поминаешь?

— Да ты не перебивай моей речи, а то ввек с тобой не столкуешься,— с досадой молвил Стуколов.— Сто тысяч!.. Эти сто тысяч надо делить на сто паев, по тысяче рублей пай. Понимаешь?

— Дальше что? — молвил Патап Максимыч.

— Пятьдесят паев ты себе возьми, вложивши за них пятьдесят тысяч,— продолжал Яким Прохорыч.— Не теперь, а после, по времени, ежели дело на лад пойдет. Не сможешь один, товарищей найди: хоть Ивана Григорьича, что ли, аль Михайлу Васильича. Это уж твое дело. Все барыши тоже на сто паев — сколько кому достанется.

— Ладно, хорошо, а другие-то пятьдесят паев куда? — спросил Патап Максимыч.

— Епископу Софронию,— отвечал паломник.

— Даром?

— Даром.

— И половина барышей ему? — спросил Патап Максимыч.

— Конечно.

— Жирно, брат, съест! — возразил Патап Максимыч.— Нет, Яким Прохорыч, нечего нам про это дело и толковать. Не подходящее, совсем пустое дело!.. Как же

это? Будь он хоть патриарх, твой Софрон, а деньги в складчину давай, коли барышей хочешь... А то — сам денег ни гроша, а в половине... На что это похоже?.. За что?

— А за то, что он первый опознал про такое богатство,— отвечал Стуколов.— Вот, положим, у тебя теперь сто тысяч в руках, да разве получишь ты на них миллионы, коль я не укажу тебе места, не научу, как надо поступать? Положим, другой тебя и научит всем порядкам: как заявлять прииски, как закрепить их за собой... А где копать-то станешь?.. В каком месте прииск заявишь?.. За то, чтобы знать, где золото лежит, давай деньги епископу... Да и денег не надо — барыши только пополам.

Задумался Патап Максимыч.

— Было бы с него и десяти паев,— сказал он.— Право, больше не стоит — сам посуди, Якимушко.

— Меньше половины нельзя,— решительно ответил Стуколов.— У него в Калужской губернии такое же дело заводится, тоже на пятидесяти паях. Землю с золотом покупают теперь у помещика тамошнего, у господина Поливанова, может, слыхал. Деньги дали тому господину немалые, а епископ своих копейки не истратил.

— Ну пускай бы уж его пятнадцать паев взял. Больше, право, обидно будет,— сказал Патап Максимыч.

— Как сказано, так и будет, а не хочешь, других охотников до золота найдем,— спокойно ответил Стуколов.

И, вынув опять замшевый мешок, посыпал из него золотой песок себе на руку перед Патапом Максимычем.

Не раз и не два такие разговоры велись у Патапа Максимыча с паломником, и все в подклете, все в Алексеевой боковушке. Были при тех переговорах и кум Иван Григорьич и удельный голова Михайло Васильич. Четыре дня велись у них эти переговоры, наконец, решился Патап Максимыч взяться за дело.

Решили до поры до времени про затеваемое дело никому не сказывать. Стуколов говорил, что если пойдет оно в огласку — пиши пропало. В сибирских тайгах, по его словам, зачастую бывает, что один отыщет прииск, да ненароком проболтается, другой тотчас подхватит его на свое имя. После масленицы Патап Максимыч обещался съездить на Ветлугу вместе с паломником пови-

дать мужиков, про которых тот говорил, и, ежели дело окажется верным, написать со Стуколовым условие, отсчитать ему три тысячи ассигнациями, а затем, если дело в ход пойдет и окажутся барыши, давать ему постепенно до пятидесяти тысяч серебром.

Патап Максимыч только и думает о будущих миллионах. День-деньской бродит взад и вперед по передней горнице и думает о каменных домах в Петербурге, о больницах и богадельнях, что построит он миру на удивленье, думает, как он мели да перекаты на Волге расчистит, железные дороги как строить зачнет... А миллионы все прибавляются, да прибавляются... «Что ж,— думает Патап Максимыч,— Демидов тоже кузнецом был, а теперь посмотри-ка, чем стали Демидовы! Отчего ж и мне таким не быть... Не обсевок же я в поле какой!..»

* * *

На первой неделе великого поста Патап Максимыч выехал из Осиповки со Стуколовым и с Дюковым. Прощаясь с женой и дочерьми, он сказал, что едет в Красную рамень на крупчатные свои мельницы, а оттуда проедет в Нижний да в Лысково и воротится домой к середокрестной неделе, а может, и позже. Дом покинул на Алексея, хотя притом и Пантелею наказал глядеть за всем строже и пристальней.

Накануне отъезда, вечером, после ужина, когда Стуколов, Дюков и Алексей разошлись по своим углам, Аксинья Захаровна, оставшись с глазу нà глаз с мужем, стала ему говорить:

— Максимыч, не серчай ты на меня, кормилец, коли я что не по тебе молвлю, выслушай ты меня, ради Христа.

— Чего еще надо? — взглянув на жену исподлобья, спросил Патап Максимыч.

— Завтра уедешь ты?..

— Ну?

— На кого же дом-от покидаешь? Прежде Савельич, царство ему небесное, был, за всем, бывало, приглядит, теперь-то кто?

— Кто на его месте... Не могла догадаться? — сказал Патап Максимыч.

— Алексей Трифоныч, значит? — тихо проговорила Аксинья Захаровна.

— Что ж, по-твоему, на Никифора, что ли, дом-от покинуть? — рявкнул Патап Максимыч.— Так он в неделю весь его пропьет да и тебя самое в кабаке заложит.

— Про этого врага у меня и помышленья нет, Максимыч,— плаксиво отвечала Аксинья Захаровна.— Себя сгубил, непутный, да и с меня головоньку снимает, из-за него только попреки одни... Век бы не видала его!.. Твоя же воля была оставить Микешку. Хоть он и брат ро́дный мне, да я бы рада была радешенька на сосне его видеть... не он навязался на шею мне, ты, батько, сам его навязал... Пущай околел бы его где-нибудь над кабаком, ох бы не молвила... А еще попрекаешь!

— Замолола!.. Пошла без передышки в пересыпку! — хмурясь и зевая, перебил жену Патап Максимыч.— Будет ли конец вранью-то? Аль и в самом деле бабьего вранья на свинье не объедешь?.. Коли путное что хотела сказать — говори скорей,— спать хочется.

— Да я все насчет Алексея Трифоныча,— робко молвила Аксинья Захаровна.

— Что еще такое?

— Да как прикажешь: сюда ли ему без тебя обедать ходить, аль в подклет ему относить? — спрашивала Аксинья Захаровна.

— Здесь места не просидит, пущай его с вами обедает,— сказал Патап Максимыч.

— Ладно ль это будет, кормилец? Сам посуди, что люди зачнут говорить: хозяин в отлучке, дочери невесты, молодой парень с ними ест да пьет... И не знай чего наскажут! — говорила Аксинья Захаровна.

— Не смеют!..— решительно сказал Патап Максимыч.— Да и парень не такой, чтобы вздумал нехорошее дело... Не из таких, что, где пьют да едят, тут и пакостят... Бояться нечего.

— Да так-то оно так, Максимыч,— отвечала Аксинья Захаровна.— А все бы лучше, кабы он в подклете обедал и без тебя бы наверх не ходил... Что ему здесь делать?. Не поверишь ты, кормилец, все сердечушко изныло у меня...

— Да отвяжись ты совсем,— с нетерпеньем крикнул Патап Максимыч,— ну, пущай его в подклете обедает... Ты этого парня понять не можешь. Другого такого не

сыщешь... Можешь ли ты знать, какие я насчет его мысли имею?..

— Как я могу знать, Максимыч? — отвечала Аксинья Захаровна.— Где же мне?

— Так, значит, и молчи,— ответил Патап Максимыч.

— Да что ж такое?.. Какие у тебя мысли про Алексея Трифоныча? — заискивающим голосом спросила Аксинья Захаровна.

— О чем не сказывают, про то не допытывайся,— отвечал Патап Максимыч.— Придет время, скажу... а теперь спать пора.

У Патапа Максимыча в самом деле новые мысли в голове забродили. Когда он ходил взад и вперед по горницам, гадая про будущие миллионы, приходило ему и то в голову, как дочерей устроить. «Не Снежковым чета женихи найдутся,— тогда думал он,— а все ж не выдам Настасью за такого шута, как Михайло Данилыч... Надо мне людей богобоязненных, благочестивых, не скоморохов, что теперь по купечеству пошли. Тогда можно и небогатого в зятья принять, богатства на всех хватит».

И попал ему Алексей на ум.

Если бы Настя знала да ведала, что промелькнуло в голове родителя, не плакала бы по ночам, не тосковала бы, вспоминая про свою провинность, не приходила бы в отчаянье, думая про то, чему быть впереди...

Собрались в путь-дорогу. Пробыв день-другой на мельницах в Красной рамени, Патап Максимыч со спутниками поехал на Ветлугу прямою дорогой через Лыковщину. Надобно было верст восемьдесят ехать лесами, где проезжих дорог не бывало, только одни узкие тропы меж высоких сугробов проложены. По тем тропам лесники в зимницы ездят и вывозят к Ке́рженцу для сплава нарубленный лес. Сторона та совсем не жилая, летом нет по ней ни езду конного, ни ходу пешего, только на зиму переселяются туда лесники и живут в дремучих дебрях до лесного сплава в половодье.

Поехали путники в двоих санях, каждые тройкой гусем запряжены. Иначе и ездить нельзя по лесным тропам. Сначала путь шел торный,— по этому пути обозы

из Красной рамени в Лысково ходят,— но когда переехали Кѐрженец и попали в лесную глушь, что тянется до самой Ветлуги и дальше за нее, езда стала затруднительна. Седоки то и дело задевали головами за ветки деревьев и их засыпа̀ло снегом, которым точно в саваны окутаны стояли сосны и ели, склонясь над тропою. Чуть не через каждые полторы-две версты приходилось останавливаться и отгребаться от снега. Тропа была неровная, сани то и дело наклонялись то на одну, то на другую сторону, и седокам частенько приходилось вываливаться и потом, с трудом выбравшись из су́гроба, общими силами поднимать свалившиеся набок сани. Тропа все одна, нет своротов ни направо ни налево, и нет никаких признаков близости человека: ни о̀сека [1], ни просеки, ни даже деревянного двухсаженного креста, каких много наставлено по заволжским лесам, по обычаю благочестивой старины [2]. И никакого звука. Разве только затрещит рябчик, перелетая с дерева на дерево, либо забурчит вдали глухарь да заскрипит надломленное дерево, качаемое ветром. Заячьи и волчьи следы частенько пересекают тропы, иногда попадается след раздвоенных копыт дикой коровы [3], либо широкой лапы лесного боярина Топтыгина, согнанного с берлоги охотниками.

Перебравшись за Кѐрженец, путникам надо́ было выбраться на Ялокшинский зимняк, кото́рым ездят из Лысково в Бакѝ, выгадывая тем верст пятьдесят против объездной проезжей дороги на Дорогу́чу. Но вот едут они два часа, три часа, давно бы надо быть на Ялокшинском зимняке, а его нет как нет. Едут, едут, на счастье тепло стало, а то бы плохо пришлось. Не дается зимняк, да и полно. А лошади притомились.

— Да туда ль мы едем? — спросил Патап Максимыч сидевшего на козлах работника.— Коим грехом не заблудились ли?

— Где заблудиться, Патап Максимыч! — отвечал работник.— Дорога одна, своротов нет, сами видели.

---

[1] Изгородь или прясла, отделяющие лес от поля, ее городят в лесных местах, чтобы пасущийся скот не забрел на хлеб.

[2] За Волгой, на дорогах, в полях и лѐсах, особенно на перекрестках, стоят высокие, сажени в полторы или две, осьмиконечные кресты, иногда по нескольку рядом. Есть обычай тайно от всех срубить крест и ночью поставить его на перекрестке. Кто перед тем крестом помолится, того молитва пойдет за срубившего крест.

[3] Так за Волгой называют лосей.

— Да в Белкине-то хорошо ли ты расспросил у мужиков про дорогу?

— Как же не расспросить, все расспросил, как следует. Сказали: как проедешь осек, держи направо до крестов, а с крестов бери налево, тут будет сосна, раскидистая такая, а верхушка у ней сухая, от сосны бери направо... Так мы и ехали.

— А что говорили ребята? — спросил Патап Максимыч.

— Как же не сворачивать; направо своротил, как было сказано.

— И у сосны сворачивал?

— И у сосны своротил,— отвечал работник.— На ней еще ясак нарублен, должно быть, бортевое дерево было. Тут только вот одного не вышло против того, что сказывали ребята в Белкине.

— А что говорили ребята? — спросил Патап Максимыч.

— Да сказывали: будет маленький долок, и как-де переедешь долок, сосна будет с обеих сторон отесанная, а тут и Керженец.

— Ну?

— Долок-от был, еще мы вывалились тут, а тесаной сосны не видать, я смотрел, смотрел ее, нет сосны, гляжу, ан на Керженец выехали.

— Стало быть, тут мы и спутались,— закричал, разгорячась Патап Максимыч.— Чтоб тебе высохнуть, дурьи твои глаза! Зачем тесану сосну прозевал?

— Да не было ее, Патап Максимыч,— отвечал оторопевший работник.— Не родить же ее мне, коли нет.

— Да ведь тебе белкински ребята говорили: держи на сосну. Для че не держал? — кричал Патап Максимыч.

— Да где ж мне ее взять, сосну-то? Ведь не спрятал я ее. Что ж мне делать, коли нет ее,— жалобно голосил работник.— Разве я тому делу причинен. Дорога одна была, ни единого сворота.

— Да сосна-то где? Сосна-то? — закричал Патап Максимыч, хватив увесистым кулаком работника по загорбку.

— Может статься, срубили, — пропищал, нагнувшись на передок, работник.

— Срубили! Коему лешему порчену сосну рубить, коль здорового леса видимо-невидимо! — орал Патап Максимыч.— Стой, чертова образина!

Работник остановил лошадей. Понурив головы, они тяжело дышали, пар так и валил с них. Патап Максимыч вылез из своих саней и подошел к задним, где сидел Стуколов. Молчаливый Дюков, уткнув голову в широкий лисий малахай, спал мертвым сном.

— Так и есть, заблудились,— сказал Патап Максимыч паломнику.— Что тут станешь делать?

— Да сам-то ты езжал ли прежде по этим дорогам? — спросил его Стуколов.

— Сроду впервые,— отвечал Патап Максимыч.

— И работники не езжали? — спросил Стуколов.

— Како езжать? — отозвался Патап Максимыч.— Кого сюда леший понесет? Ведь это, сам ты видишь, что такое: выехали — еще не брезжилось, а гляди-ка, уж смеркаться зачинает. Где мы, куда заехали, сам леший не разберет... Беда, просто беда... Ах, чтобы всех вас прорвало! — ругался Патап Максимыч.— И понесло же меня с тобой: тут прежде смерти живот положишь!

— В сибирских тайгах то ли бывает,— отозвался паломник.— По неделям плутают, случается, что и голодной смертью помирают...

— Голодом помереть не помрем, пирогов да всякой всячины у нас, пожалуй, на неделю хватит,— спокойно отвечал Патап Максимыч.— И лошадям корму взято довольно. А заночевать в лесу придется... Хоть бы зимница какая попалась... Ночью-то волки набегут: теперь им голодно. Пора же такая, что волки стаями рыщут. Завтра ихний день; звериный царь именинник [1].

— Бог милостив,— промолвил паломник.— И не из таких напастей господь людей выносит... Не суетись, Патап Максимыч,— надо дело ладом делать. Сам я глядел на дорогу: тропа одна, поворотов, как мы от паленой с верхушки сосны отъехали, в самом деле ни единого не было. Может, нà эту зиму лесники ину тропу пробили, не прошлогоднюю. Это и в сибирских тайгах зачастую

---

[1] День 18 февраля (память святого Льва, папы римского) в заволжском простонародье зовется львиным днем. Это, по тамошнему поверью, праздник звериного царя, его именины. На свои именины лев все разрешает своим подданным. К тому дню волки свадьбы свои пригоняют.

бывает... Не бойся — со мной матка есть, она на путь выведет. Не бойся, говорю я тебе.

— Какая тут матка? Бредишь ты, что ли? — с досадой молвил Патап Максимыч.— Тут дело надо делать, а он про свою матку толкует.

— Вот она,— сказал Стуколов, вынимая из дорожного кошеля круглую деревянную коробку с компасом.— Не видывал? То-то... Эта матка корабли водит, без нее, что в море, что в пустыне аль в дремучем лесу, никак невозможно, потому она все стороны показывает и сбиться с пути не дает. В Сибири в тайгу без матки не ходят, без нее беда, пропадешь.

Стуколов показал Патапу Максимычу стороны света и объяснил употребление компаса.

— Ишь ты, премудрость какая!.. До чего только люди не доходят,— удивлялся Патап Максимыч.— Ну, как же нам дорогу твоя матка покажет?

— Да нам как надо ехать-то, в котору сторону? — спросил Стуколов.

— На полуночник [1],— отвечал Патап Максимыч.

— А мы на сивер чешем, маленько даже к осеннику подаемся. Сбились, значит.

— Сбились!.. Я и без матки твоей знаю, что сбились,— насмешливо и с досадой отвечал Патап Максимыч.— Теперь ты настоящую дорогу укажи.

— Этого нельзя, надо все дороги знать, тогда с маткой иди куда хочешь...

— Так прячь ее в кошель. Пустое дело, значит. Как же тут быть? — говорил Патап Максимыч.

— Да поедем куда дорога ведет, тропа видная, торная, куда-нибудь да выведет,— говорил Стуколов.

— Вестимо, выведет,— отозвался Патап Максимыч.— Да куда выведет-то? Ночь на дворе, а лошади, гляди, как приустали. Придется в лесу ночевать... А волки-то?

— Бог милостив,— отвечал Стуколов.— Топор есть с нами?

— Как топору не быть? Есть,— сказал Патап Максимыч.

---

[1] То есть северо-восток. В Заволжье так зовут страны света и ветры: сивер — N, полуночник — NO, восток — O, обедник — SO, полдень — S, верховник или летник — SW, закат — W, осенник — NW.

— Сучьев нарубим, костры зажжем, волки не подойдут: всякий зверь боится огня.

Так и решили заночевать. Лошадей выпрягли, задали им овса. Утоптали вокруг снег и сделали привал. Топоров оказалось два, работники зачали сучья да валежник рубить, костры складывать вокруг привала и, когда стемнело, зажгли их. Патап Максимыч вытащил из саней большую кожаную кису, вынул из нее хлеба, пирогов, квашеной капусты и медный кувшин с квасом. Устроили постную трапезу: тюри с луком накрошили, капусты с квасом, грибов соленых. Хоть невкусно, да здорово поужинали. И бутылочка нашлась у запасливого Патапа Максимыча. Ро́спили...

Ночь надвигалась. Красное зарево костров, освещая низины леса, усиливало мрак в его вершинах и по сторонам. С треском горевших ветвей ельника и фырканьем лошадей смешались лесные голоса... Ровно плачет ребенок, запищал где-то сыч, потом вдали послышался тоскливый крик, будто человек в отчаянном боренье со смертью зовет к себе на помощь: то были крики пугача...[1] Поближе завозилась в вершине сосны векша, проснувшаяся от необычного света, едва слышно перепрыгнула она на другое дерево, потом на третье и все дальше и дальше от людей и пылавших костров... Чуть стихло, и вот уж доносится издали легкий хруст сухого валежника: то кровожадная куница осторожно пробирается из своего дупла к дереву, где задремал глупый красноглазый тетерев. Еще минута тишины, и в вершине раздался отрывистый, жалобный крик птицы, хлопанье крыльев, и затем все смолкло: куница поймала добычу и пьет горячую кровь из перекушенного горла тетерева... Опять тишь, опять глубокое безмолвие, и вдруг слышится точно кошачье прысканье: это рысь, привлеченная из чащи чутьем, заслышавшая присутствие лакомого мяса в виде лошадей Патапа Максимыча. Но огонь не допускает близко зверя, и вот рысь сердится, мурлычет, прыскает, с досадой сверкая круглыми зелеными глазами, и прядает кисточками на концах высоких, прямых ушей... Опять тишь, и вдруг либо заверещит бедный зайчишка, попавший в зубы хищной лисе, либо завозится что-то в ветвях: это сова поймала спавшего рябчика... Лесные обитатели живут не по-нашему — обедают по ночам...

---

[1] Филин.

Но вот вдали, за версту или больше, заслышался вой, ему откликнулся другой, третий вой — все ближе и ближе. Смолк, и послышалось пряданье зверей по насту, ворчанье, стук зубов... Ни один звук не пропадет в лесной тиши.

— Волки! — боязно прошептал Патап Максимыч, толкая в бок задремавшего Стуколова.

Дюков и работники давно уж спали крепким сном.

— А?.. Что?..— промычал, приходя в себя, Стуколов.— Что ты говоришь?

— Слышишь? Воют,— говорил смутившийся Патап Максимыч.

— Да, воют...— равнодушно отвечал Стуколов.— Эк их что тут! Чуют мясо, стервецы!

— Беда! — шепотом промолвил Патап Максимыч.

— Какая ж беда? Никакой беды нет... А вот побольше огня надо... Эй вы, ребята! — крикнул он работникам.— Проснись!.. Эка заспались!.. Вали на костры больше!

Работники встали неохотно и вместе со Стуколовым и с самим Патапом Максимычем навалили громадные костры. Огонь стал было слабее, но вот заиграли пламенные языки по хвое, и зарево разлилось по лесу пуще прежнего.

— Видимо-невидимо!..— говорил оторопевший Патап Максимыч, слыша со всех сторон волчьи голоса.

Зверей уж можно было видеть. Освещенные заревом, они сидели кругом, пощелкивая зубами. Видно, в самом деле они справляли именины звериного царя.

— Ничего,— успокоивал Стуколов,— огонь бы только не переводился. То ли еще бывает в сибирских тайгах!..

В самом деле, волки никак не смели близко подойти к огню, хоть их, голодных, и сильно тянуло к лошадям, а пожалуй, и к людям.

— Эх, ружья-то нет: пугнуть бы серых,— молвил Стуколов.

— Молчи ты, какое тут еще ружье! Того и гляди сожрут...— тревожно говорил Патап Максимыч.— Глянь-ка, глянь-ка, со всех сторон навалило!.. Ах ты, господи, господи!.. Знать бы да ведать, ни за что бы не поехал... Пропадай ты и с Ветлугой своей!..

А волки все близятся, было их до пятидесяти, коли не больше. Смелость зверей росла с каждой минутой: не дальше, как в трех саженях сидели они вокруг костров, щелкали зубами и завывали. Лошади давно покинули торбы с лакомым овсом, жались в кучу и, прядая ушами, тревожно озирались. У Патапа Максимыча зуб на̀ зуб не попадал; везде и всегда бесстрашный, он дрожал, как в лихорадке. Растолкали Дюкова, тот потянулся в своей лисьей шубе, зевнул во всю сласть и, оглянувшись, промолвил с невозмутимым спокойствием:

— Волки, никак!

Без малого час времени прошел, а путники все еще сидели в осаде. До́ свету оставаться в таком положении было нельзя: тогда, пожалуй, и костры не помогут, да не хватит и заготовленного валежника и хвороста на поддержание огня. Но паломник человек бывалый, недаром много ходил по белу свету. Когда волки были уже настолько близко, что до любого из них палкой можно было добросить, он расставил спутников своих по местам и велел, по его приказу, разом бросать в волков изо всей силы горящие лапы [1].

— Раз... два... три!..— крикнул Стуколов, и горящие лапы полетели к зверям.

Те отскочили и сели подальше, щелкая зубами и огрызаясь.

— Раз... два... три!..— крикнул паломник, и, выступив за костры, путники еще пустили в стаю по горящей лапе.

Завыли звери, но когда Стуколов, схватив чуть не саженную пылающую лапу, бросился с нею вперед, волки порскнули вдаль, и через несколько минут их не было слышно.

— Теперь не прибегут,— молвил паломник, надевая шубу и укладываясь в сани.

— Дошлый же ты человек, Яким Прохорыч,— молвил Патап Максимыч, когда опасность миновалась.— Не будь тебя, сожрали бы они нас.

Паломник не отвечал. Завернувшись с головой в шубу, он заснул богатырским сном.

---

[1] Горящие ветви хвойного леса; во время лесных пожаров они переносятся ветром на огромные расстояния.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В лесах работают только по зимам. Летней порой в дикую глушь редко кто заглядывает. Не то что дорог, даже мало-мальски торных тропинок там вовсе почти нет; зато много мест непроходимых... Гниющего валежника пропасть, да, кроме того, то и дело попадаются обширные глубокие болота, а местами трясины с окнами, вадьями и чарусами... Это страшные, погибельные места для небывалого человека. Кто от роду впервой попал в неведомые лесные дебри — берегись — гляди в оба!..

Вот на несколько верст протянулся мохом поросший кочкарник. Саженными пластами покрывает он глубокую, чуть не бездонную топь. Это «мшава», иначе моховое болото. Поросло оно мелким, чахлым лесом, нога грузнет в мягком зыбуне, усеянном багуном, звездоплавкой, мозгушей, лютиком и белоусом [1]. От тяжести идущего человека зыбун ходенем ходит, и вдруг иногда в двух, трех шагах фонтаном брызнет вода через едва заметную для глаза продушину. Тут ходить опасно, разом попадешь в болотную пучину и пропадешь не за денежку... Бежать от страшного места, бежать скорей, без оглядки, если не хочешь верной погибели... Чуть только путник не поберегся, чуть только по незнанию аль из удальства шагнул вперед пять, десять шагов, ноги его начнет затягивать в жидкую трясину, и если не удастся ему поспешно и осторожно выбраться назад, он погиб... Бежать по трясине — тоже беда...

Вот светится маленькая полынья на грязно-зеленой трясине. Что-то вроде колодца. Вода с берегами вровень. Это «окно». Беда оступиться в это окно — там бездонная пропасть. Не в пример опасней окон «вадья» — тоже открытая круглая полынья, но не в один десяток сажен ширины. Ее берега из топкого торфяного слоя, едва прикрывающего воду. Кто ступит на эту обманчивую почву, нет тому спасенья. Вадья как раз засосет его в бездну.

Но страшней всего «чаруса». Окно, вадью издали можно заметить и обойти — чаруса неприметна. Выбрав-

---

[1] Болотные растения: *багун* — andromeda; *звездоплавка* — callitorice; *мозгуша* — geranium sylvaticum; *лютик* — aconitum; *белоус* — nardis stricta.

шись из глухого леса, где сухой валежник и гниющий буреломник высокими кострами навалены на сырой, болотистой почве, путник, вдруг, как бы по волшебному мановенью, встречает перед собой цветущую поляну. Она так весело глядит на него, широко, раздольно расстилаясь середи красноствольных сосен и темнохвойных елей. Ровная, гладкая, она густо заросла сочной, свежей зеленью и усеяна крупными бирюзовыми незабудками, благоуханными белыми кувшинчиками, полевыми одалёнями и ярко-желтыми купавками[1]. Луговина так и манит к себе путника: сладко на ней отдохнуть усталому, притомленному, понежиться на душистой, ослепительно сверкающей изумрудной зелени!.. Но пропасть ему без покаяния, схоронить себя без гроба, без савана, если ступит он на эту заколдованную поляну. Изумрудная чаруса, с ее красивыми благоухающими цветами, с ее сочной, свежей зеленью — тонкий травяной ковер, раскинутый по поверхности бездонного озера. По этому ковру даже легконогий заяц не сигает, тоненький, быстрый на бегу горностай не пробежит. Из живой твари только и прыгают по ней длинноносые голенастые кулики, ловя мошек и других толкунов, что о всякую пору и днем и ночью роями вьются над лесными болотами... Несметное множество этих куликов — от горбоносого кроншнепа до желтобрового песчаника — бродит, бегает и шмыгает по чарусе, но никакому охотнику никогда не удавалось достать их.

У лесников чаруса слывет местом нечистым, заколдованным. Они рассказывают, что на тех чарусах по ночам бесовы огни горят, ровно свечи теплятся[2]. А ину пору видают середи чарусы болотницу, коль не родную сестру, так близкую сродницу всей этой окаянной нечисти: русалкам, водяницам и берегиням... В светлую летнюю ночь сидит болотница одна-одинешенька и нежится на свете ясного месяца... и чуть завидит человека, зачнет прельщать его, манить в свои бесовские объятья... Ее черные волосы небрежно раскинуты по спине и по плёчам, убраны осокой и незабудками, а тело все голое, но бледное, прозрачное, полувоздушное. И блестит оно и сквозит перед лучами месяца... Из себя болотница такая

---

[1] Болотные растения из породы ненюфаров (nymphea).
[2] Болотные огни.

красавица, какой не найдешь в крещеном миру, ни в сказке сказать, ни пером описать. Глаза — ровно те незабудки, что рассеяны по чарусе, длинные, пушистые ресницы, тонкие, как уголь, черные брови... только губы бледноваты, и ни в лице, ни в полной, наливной груди, ни во всем стройном стане ее нет ни кровинки. А сидит она в белоснежном цветке кувшинчика с котел величиною... Хитрит, окаянная, обмануть, обвести хочется ей человека — села в тот чудный цветок спрятать гусиные свои ноги с черными перепонками. Только завидит болотница человека — старого или малого — это все равно,— тотчас зачнет сладким тихим голосом, да таково жалобно, ровно сквозь слезы молить-просить вынуть ее из болота, вывести на белый свет, показать ей красно солнышко, которого сроду она не видывала. А сама разводит руками, закидывает назад голову, манит к себе на пышные перси того человека, обещает ему и тысячи неслыханных наслаждений, и груды золота, и горы жемчуга перекатного... Но горе тому, кто соблазнится на нечистую красоту, кто поверит льстивым словам болотницы: один шаг ступит по чарусе, и она уже возле него: обвив беднягу белоснежными прозрачными руками, тихо опустится с ним в бездонную пропасть болотной пучины... Ни крика, ни стона, ни вздоха, ни всплеска воды. В безмолвной тиши не станет того человека, и его могила на веки веков останется никому не известною.

А тех, кто постарей, иным способом залучает в чарусу нечистая сила... Старец-пустынник подойдет к пожилому человеку, сгорбленный, изможденный, постный, железные вериги у него на плечах, только креста не видно. И зачнет он вести умильную беседу о пустынном житии, о посте и молитве, но спасова имени не поминает — тем только и можно опознать окаянного... И зачарует он человека и станет звать его отдохнуть на малое время в пустынной келье... Глядь, ан середи чарусы и в самом деле келейка стоит, да такая хорошенькая, новенькая, уютная, так вот и манит путника зайти в нее хоть на часочек... Пойдет человек с пустынником по чарусе, глядь, а уж это не пустынник, а седой старик с широким бледно-желтым лицом, и уж не тихо, не чинно ведет добрую речь, а хохочет во всю глотку сиплым хохотом... То владыко чарусы — сам болотняник. Это он хохочет, скачет, пляшет, веселится, что успел заманить не умевшего отчураться от

его обаяний человека; это он радуется, что завлек крещеную душу в холодную пучину своего синего подводного царства... Много, много чудес рассказывают лесники про эти чарусы... Что там не бывает! Недаром исстари люди толкуют, что в тихом омуте черти водятся, а в лесном болоте плодятся...

Не одни вадьи и чарусы, не одна окаянная сила пугает лесников в летнюю пору. Не дают им работать в лесах другие враги... Мириады разнообразных комаров, от крошечной мошки, что целыми кучами забивается в глаза, в нос и уши, до тощей длинноногой караморы, день и ночь несметными роями толкутся в воздухе, столбами носятся над болотами и преследуют человека нестерпимыми мученьями... Нет ему покоя от комариной силы ни в знойный полдень, ни прохладным вечером, ни темной ночью, только и отрада в дождливую погоду. Даже на дымных смоляных казанах и на скипидарных заводах иначе не спят, как на подкурах, не то комары заедят до полусмерти. Врывают для того в землю толстые жерди вышиной сажени по три и мостят на них для спанья полати; под теми полатями раскладывают на земле огонь— курево отгоняет комариную силу. Так и спят в дыму прокопченные насквозь бедняги, да и тут не всегда удается им отделаться от мелких несносных мучителей... А кроме того, овод, слепни, пауты и страшный бич домашних животных строка [1]. Одной строке достаточно залететь в рой слепней, вьющихся над конями, чтобы целая тройка, хоть и вовсе притомленная, закусив удила, лягаясь задними ногами и отчаянно размахивая по воздуху хвостами, помчалась зря, как бешеная, сломя голову... Залетит строка в стадо — весь скот взбесится, поднимет неистовый рев и, задрав хвосты, зачнет метаться во все стороны... Бедные лоси и олени пуще всех терпят мученье от этой строки. Она садится на ноги, на спину или на бока животного и прокусывает кожу. Раны загноятся, и строка кладет в них свои яйца. На следующую весну из яиц выходят личинки и насквозь проедают кожу бедного животного. В то время лось переносит нестерпимые муки, а строка снова режет свежие места

[1] *Строка* — oestris. Иные смешивают строку со слепнями и паутами (tabanus), с которыми имеет она наружное сходство. Но строка совсем другое насекомое, она водится в лесах и залетает в соседние поля только в таком случае, если там пасется скот. Одни строки не летают, но всегда в рое слепней.

его кожи и снова кладет туда яйца. Шкура, снятая со зверя, убитого летом или осенью, никуда не годится, она усеяна круглыми дырами в пятиалтынный и больше. Единственное спасенье бедных зверей от строки, если они, понурив головы и дрожа всем телом, добредут до озера либо речки... Свежего воздуха, идущего от студеной воды, строка боится... Да что толковать про беззащитных оленей и лосей, сам косолапый боярин лесов пуще огня боится строки. За недостатком ли лосей, по другой ли причине, строка иногда накидывается на медведя. Забившись к Мишке в загривок в ту пору, как он линяет, начинает она прокусывать толстую его шкуру. Благим матом заревет лесной боярин. Напрасно отмахивается он передними лапами — не отстанет от него строка, пока, огрызаясь и рыча на весь лес, кувыркаясь промеж деревьев, не добежит Мишенька до воды и не погрузнет в ней с головою. Тем только косматый царь северных зверей и спасается от крохотного палача... Человека, слава богу, строка никогда не трогает.

Нелюдно бывает в лесах летней порою. Промеж Керженца и Ветлуги еще лесует[1] по нескольку топоров с деревни, но дальше за Ветлугу к Вятской стороне и на север за Лàпшангу лесники ни ногой, кроме тех только мест, где липа растет. Липу драть, мочало мочить можно только в соковую пору[2].

Зато зимой в лесах и по раменям работа кипит да взваривает. Рóнят деревья, волочат их к сплаву, вяжут плоты, тешут сосные брусья, еловые чегени́ и кóпани[3], рубят осину да березу на баклуши[4], колют лес на кадки, на бочки, на пересеки и на всякое другое щепное поделье. Стук топоров, треск падающих лесин, крики лесников, ржанье лошадей далеко разносятся тогда по лесным пустыням.

Зимой крещеному человеку в лесу и окаянного нечего бояться. С Никитина дня вся лесная нечисть мертвым

[1] Ходить в лес на работу, деревья ронить.

[2] Когда деревья в соку, то есть весна и лето.

[3] *Чегень* — еловое бревно от шести до двенадцати сажен длины, идет на забойку в учугах на каспийских и нижневолжских рыбных промыслах; *копань*, или кокора,— лесина с частью корня, образующая угольник, идет на стройку судов, на застрехи кровель крестьянских домов и на санные полозья. На санные полозья идут и не корневые копани, а гнутые лежины.

[4] Чурка, приготовленная для токарной выделки деревянной посуды и ложек.

сном засыпает: и водяник, и болотняник, и бесовские красавицы чарус и омутов — все до единого сгинут, и становится тогда в лесах место чисто и свято... На покой христианским душам спит окаянная сила до самого вешнего Никиты[1], а с ней заодно засыпают и гады земные: змеи, жабы и слепая медяница[2], та, что как прыгнет, так насквозь человека проскочит... Леший бурлит до Ерофеева дня[3], тут ему на глаза не попадайся: бесится косматый, неохота ему спать ложиться, рыщет по лесу, ломит деревья, гоняет зверей, но как только Ерофей-Офеня по башке лесиной его хватит, пойдет окаянный сквозь землю и спит до Василия парийского, как весна землю парить начнет[4].

После Ерофеева дня, когда в лесах от нечисти и бесовской погани станет свободно, ждет не дождется лесник, чтоб мороз поскорей выжал сок из деревьев и сковал бы вадьи и чарусы, а матушка-зима белым пологом покрыла лесную пустыню. Знает он, что месяца четыре придется ему без устали работать, принять за топором труды немалые: лесок сечь — не жалеть своих плеч... Да об этом не тужит лесник, каждый день молится богу, поскорей бы господь белую зиму на черную землю сослал... Но вот, ровно белые мухи, запорхали в воздухе пушистые снежинки, тихо ложатся они на сухую, промерзлую землю: гуще и гуще становятся потоки льющегося с неба снежного пуха; все белеет, и улица, и кровли домов, и поля, и ветви деревьев. Целую ночь благодать господня на землю валит. К утру красно-огненным шаром выкатилось на проясневшее небо солнышко и ярко осветило белую снежную пелену. У лесников в глазах рябит от ослепительного блеска, но рады они радешеньки и весело хлопочут, собираясь в леса лесовать. Суетятся и навзрыд голосят бабы, справляя проводы, ревут, глядя на них, малы ребята, а лесники ровно на праздник спешат. Ладят сани, грузят их запасами печеного хлеба и сухарей, крупой да горохом, гуленой[5] да сушеными

---

[1] *Осенний Никита* — 5 сентября, весенний — 3 апреля.

[2] *Слепая медяница* — из породы ящериц (anguis fragilis) медянистого цвета, почти без ног и совершенно безвредна. Но есть змея медянка, та ядовита. Лесной народ смешивает эти две породы.

[3] Октября 4-го, св. Иерофея, епископа афинского, известного в народе под именем Ерофея-Офени.

[4] Апреля 12-го.

[5] Картофель.

грибами с репчатым луком. И вот, на скорую руку простившись с домашними, грянули они разудалую песню и с гиканьем поскакали к своим зимницам на трудовую жизнь вплоть до Плющихи [1].

Артелями в лесах больше работа́ют: человек по десяти, по двенадцати и больше. На сплав рубить рядят лесников высковские промышленники, разделяют им на Покров задатки, а расчет дают перед Пасхой либо по сплаве плотов. Тут не без обману бывает: во всяком деле толстосум сумеет прижать бедного мужика, но промеж себя в артели у лесников вся́кое дело ведется начистоту... Зато уж чужой человек к артели в лапы не попадайся: не помилует, оберет как липочку и в грех того не поставит.

За неделю либо за две до лесованья артель выбирает старшо́го: смотреть за работой, ровнять в деле работников и заправлять немудрым хозяйством в зимнице. Старшо́й, иначе «хозяин», распоряжается всеми работами, и воля его непрекословна. Он ведет счет срубленным деревьям, натесанным брусьям, он же наблюдает, чтобы кто не отстал от других в работе, не вздумал бы жить чужим топором, тянуть даровщину... У хозяина в прямом подначалье «подсыпка», паренек-подросток, лет пятнадцати либо шестнадцати. Ему не под силу еще столь наработать, как взрослому леснику, и зато подсыпка свой пай стряпней на всю артель наверстывает, а также заготовкой дров, смолья и лучины в зимницу для светла и сугре́ва... Он же носит воду и должен все прибрать и убрать в зимнице, а когда запасы подойдут к концу, ехать за новыми в деревню.

Зимница, где после целодневной работы проводят ночи лесники,— большая четырехугольная яма, аршина в полтора либо в два глубины. В нее запущен бревенчатый сруб, а над ней, поверх земли, выведено венцов шесть-семь сруба. Пола нет, одна убитая земля, а потолок накатно́й, немножко сводом. Окон в зимнице не бывает, да их и незачем: люди там бывают только ночью, дневного света им не надо, а чуть утро забрезжит, они уж в лес лесовать и лесуют, пока не наступят глубокие сумерки. И окно, и дверь, и дымволок [2] заменяются од-

---

[1] Марта 1-го — Евдокии-плющихи.

[2] *Дымволок*, или дымник,— отверстие в потолке или в стене черной избы для выхода дыма.

ним отверстием в зимнице, оно прорублено вровень с землей, в аршин вышины, со створками, над которыми остается оконцо для дымовой тяги. К этому отверстию приставлена лестница, по ней спускаются внутрь. Середи зимницы обыкновенно стоит сбитый из глины кожур[1] либо вырыта тепленка, такая же, как в овинах. Она служит и для сугрева и для просушки одежи. Дым из тепленки, поднимаясь кверху струями, стелется по потолку и выходит в единственное отверстие зимницы. Против этого отверстия внизу приделаны к стене широкие нары. В переднем углу, возле нар, стол для обеда, возле него переметная скамья[2] и несколько стульев, то есть деревянных обрубков. В другом углу очаг с подвешенными над ним котелками для варева. Вот и вся обстановка зимницы, черной, закоптелой, но теплой, всегда сухой и никогда не знающей, что за угар такой на свете бывает... Непривычный человек недолго пробудет в зимнице, а лесники ею не нахвалятся: привычка великое дело. И живут они в своей мурье месяца по три, по четыре, работая на воле от зари до зари, обедая, когда утро еще не забрезжало, а ужиная поздно вечером, когда, воротясь с работы, уберут лошадей в загоне, построенном из жердей и еловых лап возле зимницы. У людей по деревням и красная никольщина, и веселые святки, и широкая масленица,— в лесах нет праздников, нет разбора дням... Одинаково работают лесники и в будни и в праздник, и, кроме подсыпки, никому из них во всю зиму домой хода нет. И к ним из деревень никто не наезжает.

В одной из таких зимниц, рано поутру, человек десять лесников, развалясь на нарах и завернувшись в полушубки, спали богатырским сном. Под утро намаявшегося за работой человека сон крепко разнимает — тут его хоть в гроб клади да хорони. Так и теперь было в зимнице лыковских[3] лесников артели дяди Онуфрия.

Огонь в тепленке почти совсем потух. Угольки, перегорая, то светились алым жаром, то мутились серой пленкой. В зимнице было темно и тихо — только и звуков, что иной лесник всхрапывает, как добрая лошадь, а у другого вдруг ни с того ни с сего душа носом засвистит.

---

[1] *Кожур* — печь без трубы, какая обыкновенно бывает в черной, курной избе.

[2] *Переметная скамья*, не прикрепленная к стене, так, что сбоку приставляется к столу во время обеда.

[3] Волость на реке Керженце.

Один дядя Онуфрий, хозяин артели, седой, коренастый, краснощекий старик, спит будким соловьиным сном... Его дело рано встать, артель на ноги поднять, на работу ее урядить, пока утро еще не настало... Это ему давно уж за привычку, оттого он и проснулся пораньше других. Потянулся дядя Онуфрий, протер глаза и, увидев, что в тепленке огонь почти совсем догорел, торопливо вскочил, на скорую руку перекрестился раза три-четыре и, подбросив в тепленку поленьев и смолья, стал наматывать на ноги просохшие за ночь онучи и обувать лапти. Обувшись и вздев на одну руку полушубок, взлез он по лесенке, растворил створцы и поглядел на небо... Стожары [1] сильно наклонились к краю небосклона, значит ночь в исходе, утро близится.

— Эй вы, крещеные!.. Будет вам дрыхнуть-то!.. Долго спать — долгу наспать... Вставать пора! — кричал дядя Онуфрий на всю зимницу артельным товарищам.

Никто не шевельнулся. Дядя Онуфрий пошел вдоль нар и зачал толкать кулаком под бока лесников, крича во все горло:

— Эх! Грому на вас нет!.. Спят ровно убитые!.. Вставай, вставай, ребятушки!.. Много спать — добра не видать!.. Топоры по вас давно встосковались... Ну же, ну, поднимайся, молодцы!

Кто потянулся, кто поежился, кто, глянув заспанными глазами на старшòго, опять зажмурился и повернулся на другой бок. Дядя Онуфрий меж тем оделся как следует, умылся, то есть размазал водой по лицу копоть, торопливо помолился перед медным образком, поставленным в переднем углу, и подбросил в тепленку еще немного сухого корневища [2]. Ало-багровым пламенем вспыхнуло смолистое дерево, черный дым клубками поднялся к потолку и заходил там струями. В зимнице посветлело.

— Вставайте же, вставайте, а вы!.. Чего разоспались, ровно маковой воды опились?.. День на дворе! — покрикивал дядя Онуфрий, ходя вдоль нар, расталкивая лесников и сдергивая с них армяки и полушубки.

— Петряйко, а Петряйко! поднимайся проворней, пострел!.. Чего заспался?.. Уж волк умылся, а кочеток у

---

[1] Созвездие Большой Медведицы.

[2] Часть дерева между корнем и стволом, или комлем. Она отрубается или отпиливается от бревна.

нас на деревне давно пропел. Пора за дело приниматься, стряпай живо обедать!..— кричал он в самое ухо артельному подсыпке, подростку лет шестнадцати, своему племяннику.

Но Петряйке неохота вставать. Жмется парнишко под шубенкой, думая про себя: «Дай хоть чуточку еще посплю, авось дядя не резнет хворостиной».

— Да вставай же, постреленок... Не то возьму слегу, огрею! — крикнул дядя на племянника, сдернув с него шубенку.— Дожидаться, что ль, тебя артели-то?.. Вставай, примайся за дело.

Петряйка вскочил, обулся и, подойдя к глиняному рукомойнику, сплеснул лицо. Нельзя сказать, чтоб он умылся, он размазал только копоть, обильно насевшую на лицах, шеях и руках обитателей зимницы... Лесники люди неприведливые: из грязи да из копоти зиму-зименскую не выходят...

— Проворь, а ты проворь обедать-то,— торопил племянника дядя Онуфрий,— чтоб у меня все живой рукой было состряпано... А я покаместь к ко̀ням схожу.

И, зажегши лучину, дядя Онуфрий полез на лесенку вон из зимницы.

Лесники один за другим вставали, обувались в просохшую за́ ночь у тепленки обувь, по очереди подходили к рукомойнику и, подобно дяде Онуфрию и Петряю, размазывали по лицу грязь и копоть... Потом кто пошел в загон к лошадям, кто топоры стал на точиле вострить, кто ладить разодранную накануне одежу.

Хоть заработки у лесников не бог знает какие, далеко не те, что у недальних их соседей, в Черной рамени да на Узоле, которы деревянну посуду и другую горянщину работа̀ют, однако ж и они не прочь сладко поесть после трудов праведных. На Ветлуге и отчасти на Керженце в редком доме брага и сыченое сусло переводятся, даром что хлеб чуть не с Рождества покупной едят. И убоина [1] у тамошнего мужика не за диво, и солонины на́ зиму запас бывает, немалое подспорье по лесным деревушкам от лосей приходится... У иного крестьянина не один пересек соленой лосины в погребу стоит... И до пшенничков, и до лапшенничков, и до дынничков [2] охоч

---

[1] Говядина.

[2] *Дынничек* — каша из тебеки (тыквы) с просом, сваренная на молоке и сильно подрумяненная на сковородке.

лесник, но в зимнице этого лакомства стряпать некогда да и негде. Разве бабы когда из деревни на поклон мужьям с подсыпкой пришлют. Охоч лесник и до «продажной дури» — так зовет он зелено̀ вино,— но во время лесованья продажная дурь не дозволяется. Заведись у кого хоть косушка вина, сейчас его артель разложит, вспорет и затем вон без расчета. Только трижды в зиму и пьют: на Николу, на рождество да на масленицу, и то по самой малости. Брагу да сусло пьют и в зимницах, но понемногу и то на праздниках да после них...

Но теперь великий пост, к тому ж и лесованье к концу: меньше двух недель остается до Плющихи, оттого и запасов в зимнице немного. Петряйкина стряпня на этот раз была не очень завидна. Развел он в очаге огонь, в один котел засыпал гороху, а в другом стал приготовлять похлебку: покрошил гулены, сухих грибков, луку, засыпал гречневой крупой да гороховой мукой, сдобрил маслом и поставил на огонь. Обед разом поспел. Приставили к нарам стол, к столу переметную скамью и уселись. Петряйка нарезал черствого хлеба, разложил ломти да ложки и поставил перед усевшеюся артелью чашки с похлебкой. Молча работала артель зубами, чашки скоро опростались. Петряйка выложил остальную похлебку, а когда лесники и это очистили, поставил им чашки с горохом, накрошил туда репчатого луку и полил вдоволь льняным маслом. Это кушанье показалось особенно лакомо лесникам, ели да похваливали.

— Ай да Петряй! Клевашный [1] парень! — говорил молодой лесник, Захаром звали, потряхивая кудрями.— Вот, брат, уважил, так уважил... За этот горох я у тебя, Петряйко, на свадьбе так нарежусь, что целый день песни играть да плясать не устану.

— Мне еще рано, сам-от прежде женись,— отшутился Петряйко.

— Невесты, парень, еще не выросли... Покаместь и так побродим,— отвечал Захар.

— А в самом деле, Захарушка, пора бы тебе закон свершить,— вступился в разговор дядя Онуфрий.— Что так без пути-то болтаешься?.. Для че не женишься?.. За тебя, за такого молодца, всяку бы девку с радостью выдали.

---

[1] Проворный, сметливый, разумный.

— Ну их, бабья-то! — отвечал Захар.— Терпеть не могу. Девки не в пример лучше. С ними забавней — смехи да песни, а бабы что! Только клохчут да хнычут... Само последнее дело!

— Экой девушник! — молвил на то, лукаво усмехнувшись, лесник Артемий.— А не знаешь разве, что за девок-то вашему брату ноги колом ломают?

— А ты прежде излови да потом и ломай. Эк чем стращать вздумал,— нахально ответил Захар.

— То-то, то-то, Захар Игнатьич, гляди в оба... Знаем мы кой-что... Слыхали! — сказал Артемий.

— Чего слыхал-то?.. Чего мне глядеть-то? — разгорячившись, крикнул Захар.

— Да хоть бы насчет лещовской Параньки...

— Чего насчет Параньки? — приставал Захар.— Чего... Говори, что знаешь!.. Ну, ну, говори...

— То и говорю, что высоко камешки кидаешь,— ответил Артемий.— Тут вашему брату не то что руки-ноги переломают, а, пожалуй, в город на ставку свезут. Забыл аль нет, что Паранькин дядя в головах сидит? — сказал Артемий.

Закричал Захар пуще прежнего, даже с места вскочил, ругаясь и сжимая кулаки, но дядя Онуфрий одним словом угомонил расходившихся ребят. Брань и ссоры во все лесованье не дозволяются. Иной парень хоть на руготню и голова — огонь не вздует, замка не отопрет, не выругавшись, а в лесу не смеет много растабарывать, а рукам волю давать и не подумает... Велит старшо́й замолчать, пали сердце сколько хочешь, а вздориться не смей. После, когда из лесу уедут, так хоть ребра друг дружке переломай, но во время лесованья — ни-ни. Такой обычай ведется у лесников исстари. С чего завелся такой обычай? — раз спросили у старого лесника, лет тридцать сряду ходившего лесовать хозяином. «По нашим промысла̀м без уйму нельзя,— отвечал он,— также вот и продажной дури в лесу держать никак невозможно, потому, не ровен час, топор из рук у нашего брата не выходит... Долго ль окаянному человека во хмелю аль в руготне по́д руку толконуть... Бывали дела, оттого сто̀рожко и держимся».

Смолкли ребята, враждебно поглядывая друг на̀ друга, но ослушаться старшо̀го и подумать не смели... Стоит ему слово сказать, артель встанет как один человек и та-

кую вспорку задаст ослушнику, что в другой раз не захочет дурить...

Петряйка ставил меж тем третье кушанье: наклал он в чашки сухарей, развел квасом, положил в эту тюрю соленых груздей, рыжиков да вареной свеклы, лучку туда покрошил и маслица подлил.

— Важно кушанье! — похвалил дядя Онуфрий, уписывая крошево за обе щеки.— Ну, проворней, проворней, ребята,— в лес пора! Заря занимается, а на заре не работать, значит рубль из мошны потерять.

Лесники зачали есть торопливее. Петряйка вытащил из зàкути курган[1] браги и поставил его на стол.

— Экой у нас провор подсыпка-то! — похваливал дядя Онуфрий, поглаживая жилистой рукой по белым, но сильно закопченным волосам Петряя, когда тот разливал брагу по кòрчикам[2].— Всякий день у него последышки да последышки. Две недели масленица минула, а у него бражка еще ведется. Стóрожь, стóрожь, Петрунюшка, стóрожь всякое добро, припасай на черный день, вырастешь, большой богатей будешь. Прок выйдет из тебя, парнюга!.. Чтой-то? — вдруг спросил, прерывая свои ласки и вставая с нар, дядя Онуфрий.— Никак приехал кто-то? Выглянь-ка, Петряй, на волю, глянь, кто такой?

В самом деле слышались скрип полозьев, фырканье лошадей и людской говор.

Одним махом Петряйка вскочил на верх лесенки и, растворив створцы, высунул на волю белокурую свою голову. Потом, прыгнув нà пол и разводя врозь руками, удивленным голосом сказал:

— Неведомо каки люди приехали... На двух тройках... гусем.

— Что за диковина! — повязывая кушак, молвил дядя Онуфрий.— Что зà люди?.. Кого это на тройках принесло?

— Нешто лесной аль исправник,— отозвался Артемий.

— Коего шута на конце лесованья они не видали здесь? — сказал дядя Онуфрий.— Опять же колоколь-

[1] *Курган*, кунган (правильнее, кумган) — заимствованный у татар медный или жестяной кувшин с носком, ручкой и крышкой.
[2] *Корчик*, или корец,— особого вида ковш для черпанья воды, кваса, для питья сусла и браги. Корцы бывают металлические (железные), деревянные, а больше корец делается из древесного луба, в виде стакана.

цов не слыхать, а начальство разве без колокольца поедет? Гляди, лысковцы[1] не нагрянули ль... Пусто б им было!.. Больше некому. Пойти посмотреть самому,— прибавил он, направляясь к лесенке.

— Есть ли крещеные? — раздался в то время вверху громкий голос Патапа Максимыча.

— Лезь полезай, милости просим,— громко отозвался дядя Онуфрий.

Показалась из створки нога Патапа Максимыча, за ней другая, потом широкая спина его, обтянутая в мурашкинскую дубленку. Слез, наконец, Чапурин.

За ним таким же способом слез паломник Стуколов, потом молчаливый купец Дюков, за ними два работника. Не вдруг прокашлялись наезжие гости, глотнувши дыма. Присев на полу, едва переводили они дух и протирали поневоле плакавшие глаза.

— Кого господь даровал? — спросил дядя Онуфрий.— Зиму зименскую от чужих людей духу не было, на конец лесованья гости пожаловали.

— Заблудились мы, почтенный, в ваших лесах,— отвечал Патап Максимыч, снимая промерзшую дубленку и подсаживаясь к огню.

— Откуда бог занес в наши палестины? — спросил дядя Онуфрий.

— Из Красной рамени,— молвил Патап Максимыч.

— А путь куда держите? — продолжал спрашивать старшо́й артели.

— На Ветлугу пробираемся,— отвечал Патап Максимыч.— Думали на Ялокшинский зимняк свернуть, да оплошали. Теперь не знаем, куда и заехали.

— Ялокшинский зимняк отсель рукой подать,— молвил дядя Онуфрий,— каких-нибудь верст десяток, и того не будет, пожалуй. Только дорога не приведи господи. Вы, поди, на санях?

— В пошевнях,— ответил Патап Максимыч.

— А пошевни-то небойсь большие да широкие... Еще, поди, с волочками[2]? — продолжал свои расспросы дядя Онуфрий.

---

[1] Оптовые лесопромышленники из Лыскова. Их не любят лесники за обманы и обиды.

[2] *Волочок*, или волчок,— верх повозки или кибитки, обитый циновкой. Иначе: лучок.

— Да, с волчками,— сказал Патап Максимыч.— А что?

— А то, что с волчками отсель на Ялокшу вам не проехать. Леса густые, лапы на просеки рублены невысоко, волочки-то, пожалуй, не пролезут,— говорил дядя Онуфрий.

— Как же быть? — в раздумье спрашивал Патап Максимыч.

— Да в кое место вам на Ветлугу-то? — молвил дядя Онуфрий, оглядывая лёзу топора.

— Езда нам не близкая,— ответил Патап Максимыч.— За Усту́ надо к Уреню, коли слыхал.

— Как не слыхать,— молвил дядя Онуфрий.— Сами в Урени не раз бывали... За хлебом ездим... Так ведь вам наперед надо в Нижне Воскресенье, а там уж вплоть до Уреня пойдет большая дорога...

— Ровная, гладкая, хоть кубарем катись,— в один голос заговорили лесники.

— За Воскресеньем слепой с пути не собьется...

— По Ветлуге до самого Варнавина степь пойдет, а за Варнавином, как реку переедете, опять леса,— там уж и скончанья лесам не будет...

— Это мы, почтенный, и без тебя знаем, а вот вы научите нас, как до Воскресенья-то нам добраться? — сказал Патап Максимыч.

— Разве к нашим дворам, на Лыковщину, отсель свернете,— отвечал дядя Онуфрий.— От нас до Воскресенья путь торный, просека широкая, только крюку дадите: верст сорок, коли не все пятьдесят.

— Эко горе какое! — молвил Патап Максимыч.— Вечор целый день плутали, целу ночь, не знай куда ехали, а тут еще пятьдесят верст крюку!.. Ведь это лишних полтора суток наберется.

— А вам нешто к спеху? — спросил дядя Онуфрий.

— К спеху не к спеху, а неохота по вашим лесам без пути блудить,— отвечал Патап Максимыч.

— Да вы коли из Красной-то рамени поехали? — спросил дядя Онуфрий.

— На рассвете. Теперь вот целы сутки маемся,— отвечал Патап Максимыч.

— Гляди-ка, дело какое! — говорил, качая головой, дядя Онуфрий.— Видно, впервой в лесах-то.

— То-то и есть, что допрежь николи не бывали. Ну,

уж и леса ваши — нечего сказать! Провалиться б им, проклятым, совсем! — с досадой примолвил Патап Максимыч.

— Леса наши хорошие,— перебил его дядя Онуфрий.

Обидно стало ему, что неведомо какой человек так об лесах отзывается. Как моряк любит море, так коренной лесник любит родные леса, не в пример горячей, чем пахарь пашню свою.

— Леса наши хорошие,— хмурясь и понурив голову, продолжал дядя Онуфрий.— Наши поильцы-кормильцы... Сам господь вырастил леса на пользу человека, сам владыко свой сад рассадил... Здесь каждо дерево божье, зачем же лесам проваливаться?.. И кем они кляты?.. Это ты нехорошее, черное слово молвил, господин купец... Не погневайся, имени отчества твоего не знаю, а леса бранить не годится — потому они божьи.

— Дерево-то пускай его божье, а волки-то чьи? — возразил Патап Максимыч.— Как мы заночевали в лесу, набежало проклятого зверя видимо-невидимо — чуть не сожрали; каленый нож им в бок. Только огнем и оборонились.

— Да, волки теперь гуляют — ихня пора,— молвил дядя Онуфрий,— господь им эту пору указал... Не одним людям, а всякой твари сказал он: «Раститеся и множитесь». Да... ихня пора...— И потом, немного помолчав, прибавил: — Значит, вы не в коренном лесу заночевали, а где-нибудь на рамени. Серый в теперешнюю пору в лесах не держится, больше в поле норовит, теперь ему в лесу голодно. Беспременно на рамени ночевали, недалече от селенья. К нам-то с какой стороны подъехали?

— Да мы все на сивер держали,— сказал Патап Максимыч.

— Кажись бы, так не надо,— молвил дядя Онуфрий.— Как же так на сивер? К зимнице-то, говорю, с коей стороны подъехали?

— С правой.

— Так какой же тут сивер? Ехали вы, стало быть, на осенник,— сказал дядя Онуфрий.

— Как же ты вечор говорил, что мы едем на сивер? — обратился Патап Максимыч к Стуколову.

— Так по матке выходило,— насупив брови и глядя исподлобья, отозвался паломник.

— Вот тебе и матка! — крикнул Патап Максимыч.— Пятьдесят верст крюку, да на придачу волки чуть не распластали!.. Эх ты, голова, Яким Прохорыч, право, голова!..

— Чем же матка-то тут виновата? — оправдывался Стуколов.— Разве по ней ехали; ведь я глядел в нее, когда уж с пути сбились.

— Не сговоришь с тобой,— горячился Патап Максимыч,— хоть кол ему теши на лысине: упрям, как черт карамышевский, прости господи!..

— Ой, ваше степенство, больно ты охоч его поминать! — вступился дядя Онуфрий.— Здесь ведь лес, зимница... У нас его не поминают! Нехорошо!.. Черного слова не говори... Не ровен час — пожалуй, недоброе что случится... А про каку эту матку вы поминаете? — прибавил он.

— Да вон у товарища моего матка какая-то есть... Шут ее знает!..— досадливо отозвался Патап Максимыч, указывая на Стуколова.— Всякие дороги, слышь, знает. Коробочка, а в ней, как в часах, стрелка ходит,— пояснил он дяде Онуфрию...— Так, пустое дело одно.

— Знаем и мы эту матку,— ответил дядя Онуфрий, снимая с полки крашеный ставешок и вынимая оттуда компас.— Как нам, лесникам, матки не знать? Без нее ину пору можно пропасть... Такая, что ль? — спросил он, показывая свой компас Патапу Максимычу.

Диву дался Патап Максимыч. Столько лет на свете живет, книги тоже читает, с хорошими людьми водится, а досель не слыхал, не ведал про такую штуку... Думалось ему, что паломник из-за́ моря вывез свою матку, а тут закоптелый лесник, последний, может быть, человек, у себя в зимнице такую же вещь держит.

— В лесах матка вещь самая пользительная,— продолжал дядя Онуфрий.— Без нее как раз заблудишься, коли пойдешь по незнакомым местам. Дорога́я по нашим промысла́м эта штука... Зайдешь ину пору далёко, лесот густой, частый да рослый — в небо дыра. Ни солнышка, ни звезд не видать, опознаться на месте нечем. А с маткой не пропадешь; отколь хошь на волю выведет.

— Значит, твоя матка попортилась, Яким Прохорыч,— сказал Патап Максимыч Стуколову.

— Отчего ей попортиться? Коли стрелка ходит, значит не попортилась,— отвечал тот.

— Да слышишь ты аль нет, что вечор ей надо было на осенник казать, а она на сивер тянула,— сказал Патап Максимыч.

— Покажь-ка, ваше степенство, твою матку,— молвил дядя Онуфрий, обращаясь к Стуколову.

Паломник вынул компас. Дядя Онуфрий положил его на стол рядом со своим.

— Ничем не попорчена,— сказал он, рассматривая их.— Да и портиться тут нечему, потому что в стрелке не пружина какая, а одна только божия сила... Видишь, в одну сторону обе стрелки тянут... Вот сивер, тут будет полдень, тут закат, а тут восток,— говорил дядя Онуфрий, показывая рукой страны света по направлению магнитной стрелки.

— Отчего ж она давеча не на осенник, а на сивер тянула? — спросил у паломника Патап Максимыч, разглядывая компасы.

— Не знаю,— отвечал Стуколов.

— А я так знаю,— молвил дядя Онуфрий, обращаясь к паломнику.— Знаю, отчего вечóр твоя матка нá сторону воротила... Коли хочешь, скажу, чтобы мог ты понимать тайную силу божию... Когда смотрел в матку-то, в котором часу?

— С вечера,— отвечал Стуколов.

— Так и есть,— молвил дядя Онуфрий.— А нá небо в ту пору глядел?

— Нà небо? Как нà небо?..— спросил удивленный паломник.— Не помню... Кажись, не глядел.

— И никто из вас не видал, что на небе в ту пору деялось? — спросил дядя Онуфрий.

— Чему нà небе деяться? — молвил Патап Максимыч.— Ничего не деялось — небо как небо.

— То-то и есть, что деялось,— сказал дядя Онуфрий.— Мы видели, чтó нá небе перед полночью было. Тут-то вот и премудрая, тайная сила творца небесного... И про ту силу великую не то что мы, люди старые, подростки у нас знают... Петряйко! Что вечор на небе деялось? — спросил он племянника.

— Пàзори[1] играли,— бойко тряхнув белокурыми ку-

[1] *Пазори* — северное сияние. Слова «северное сияние» народ не знает. Это слово деланное, искусственное, придуманное в кабинете, едва ли не Ломоносовым, а ему, как холмогорцу, не могло быть чуждым настоящее русское слово «пазори». Северное сия-

дрями, ответил Петряй.— Вечо́р, как нам с лесованья ехать, о́тбель по небу пошла, а там и зо́ри заиграли, лучи засветили, столбы задышали, багрецами налились и заходили по́ небу. Споло́хи даже били, как мы ужинать сели: ровно гром по лесу-то, так и загудели... Оттого матка и дурила, что пазори в небе играли.

— Значит, не в ту сторону показывала,— пояснил дядя Онуфрий.— Это завсегда так бывает: еще о́тбелей не видать, а уж стрелка вздрагивать зачнет, а потом и пойдет то туда, то сюда воротить... Видишь ли, какая тайная божия сила тут совершается? Слыхал, поди, как за всенощной-то поют: «Вся премудростию сотворил еси!..» Вот она премудрость-то!.. Это завсегда надо крещеному человеку в понятии содержать... Да, ваше степенство, «вся премудростию сотворил еси!..» Кажись, вот хоть бы эта самая матка — что́ такое? Ребячья игрушка, слепой человек подумает! Ан нет, тут премудрость господня, тайная божия сила... Да.

«Экой дошлый народец в эти леса забился,— сам про себя думал Патап Максимыч.— Мальчишка, материно молоко на губах не обсохло, и тот премудрость по-

---

ние — буквальный перевод немецкого Nordlicht. У нас каждый переход столь обычного на Руси небесного явления означается особым метким словом. Так, начало пазорей, когда на северной стороне неба начинает как бы разливаться бледный белый свет, подобный Млечному Пути, зовется *отбелью* или *белью*. Следующий затем переход, когда отбель, сначала принимая розовый оттенок, потом постепенно багровеет, называется зорями (*зо́ри, зо́рники*). После зорей начинают обыкновенно раскидываться по небу млечные полосы. Это называют *лучами*. Если явление продолжается, *лучи* багровеют и постепенно превращаются в яркие, красные и других цветов радуги, *столбы*. Эти столбы краснеют более и более, что называется *багрецы наливаются*. Столбы сходятся и расходятся — об этом говорится: *столбы играют*. Когда сильно играющие столбы сопровождаются перекатным треском и как бы громом — это называется *споло́хами*. Если во время северного сияния зори или столбы мерцают, то есть делаются то светлей, то бледней, тогда говорится: «Зори или столбы *дышат*». Наши лесники, равно как и поморы, обращающиеся с компасом, давным-давно знают, что «на пазорях матка дурит», то есть магнитная стрелка делает уклонения. Случается, что небо заволочено тучами, стоит непогодь, либо метель метет, и вдруг «матка задурит». Лесники тогда знают, что на небе пазори заиграли, но за тучами их не видать. Замечательно, что как у поморов, так и у лесников нет поверья, будто северное сияние предвещает войну либо мор. Свойство магнитной стрелки и влияние на нее северного сияния они называют «тайной божьей силой».

нимает, а старый от писанья такой гораздый, что, пожалуй, Манефе — так впору».

— От кого это ты, малец, научился? — спросил он Петряя.

— Дядя учил, дядя Онуфрий,— бойко ответил подсыпка, указывая на дядю.

— А тебя кто научил? — обратился Патап Максимыч к Онуфрию.

— От отцов, от дедов научены; они тоже век свой лесовали,— ответил дядя Онуфрий.

— Мудрости господни! — молвил в раздумье Патап Максимыч.

Проговорив это, вдруг увидел он, что лесник Артемий, присев на корточки перед тепленкой и вынув уголек, положил его в носогрейку[1] и закурил свой тютюн. За ним Захар, потом другие, и вот все лесники, кроме Онуфрия да Петряя, усевшись вкруг огонька, задымили трубки.

Стуколова инда передернуло. За Волгой-то, в сем искони древлеблагочестивом крае, в сем Афоне старообрядства, да еще в самой-то глуши, в лесах, курильщики треклятого зелья объявились... Отсторонился паломник от тепленки и, сев в углу зимницы, повернул лицо в сторону.

— Поганитесь? — с легкой усмешкой спросил Патап Максимыч, кивая дяде Онуфрию на курильщиков.

— А какое ж тут поганство? — отвечал дядя Онуфрий.— Никакого поганства нет. Сказано: «Всяк злак на службу человеком». Чего ж тебе еще?.. И табак божья трава, и ее господь создал на пользу, как все иные древа, цветы, и травы...

— Так не́што про табашное зелье это слово сказано в писании? — досадливо вмешался насупившийся Стуколов.— Аль не слыхал, что такое есть «корень горести в выспрь прозябай?» Не слыхивал, откуда табак-от вырос?

— Это что келейницы-то толкуют? — со смехом отозвался Захар.— Врут они, смо́тницы[2], пустое плетут... Мы ведь не староверы, в бабье не веруем.

— Нешто церковники? — спросил Патап Максимыч дядю Онуфрия.

---

[1] Трубка, большею частью корневая, выложенная внутри жестью, на коротеньком деревянном чубучке.

[2] *Смотник*, смотница — то же, что сплетник, а также человек, всякий вздор говорящий.

— Все по церкви,— отвечал дядя Онуфрий.— У нас по всей Лыковщине староверов спокон веку не важивалось. И деды и прадеды, все при церкви были. Потому люди мы бедные, работные, достатков у нас нет таких, чтобы староверничать. Вон по раменям, и в Черной рамени, и в Красной, и по Волге, там, почитай, все старой веры держатся... Потому — богачество... А мы что?.. Люди маленькие, худые, бедные... Мы по церкви!

— А молитесь как? — спросил Патап Максимыч.

— Кто в два перста, кто щепотью, кто как сызмала обык, так и молится... У нас этого в важность не ставят,— сказал дядя Онуфрий.

— И табашничаете все? — продолжал спрашивать Патап Максимыч.

— Все, почитай, веселой травки держимся,— отвечал, улыбаясь, дядя Онуфрий, и сам стал набивать трубку.— Нам, ваше степенство, без табаку нельзя. Потому летом пойдешь в лес — столько там этого гаду: оводу, слепней, мошек и всякой комариной силы — только табачным дымом себя и полегчишь, не то съедят, пусто б им было. По нашим промыслам без курева обойтись никак невозможно — всю кровь высосут, окаянные. Оно, конечно, и лесники не сплошь табашничают, есть тоже староверы по иным лесным деревням, зато уж и маются же сердечные. Посмотрел бы ты на них, как они после соку [1] домой приволокутся. Узнать человека нельзя, ровно стень ходит. Боронятся и они от комариной силы: смолой, дегтем мажутся, да не больно это мазанье помогает. Нет, по нашим промыслам без табашного курева никак нельзя. А побывали бы вы, господа купцы, в ветлужских верхотинах у Верхнего Воскресенья [2]. Там и в городу и вкруг города по деревням такие ли еще табашники, как у нас: спят даже с трубкой. Маленький парнишка, от земли его не видать, а уж дымит из тятькиной трубчонки... В гостях, на свадьбе аль на крестинах, в праздники тоже храмовые, у людей первым делом брага да сусло... а там горшки с табаком гостям на стол — горшок молотого, да горшок крошеного... Надымят в из-

[1] После дранья мочала, луба и бересты.

[2] В Ветлужском крае город Ветлугу до сих пор зовут Верхним Воскресеньем, как назывался он до 1778 года, когда был обращен в уездный город. Нижнее Воскресенье — большое село на Ветлуге в Макарьевском уезде, Нижегородской губернии. Иначе — Воскресенское. Это два главных торговых пункта по Ветлуге.

бе, инда у самих глаза выест... Вот это настоящие табашники, заправские, а мы что — помаленьку балуемся.

— Оттого Ветлугу-то и зовут «поганой стороной»,— скривив лицо язвительной усмешкой, молвил Стуколов.

— Да ведь это келейницы же дурным словом обзывают ветлужскую сторону, а глядя на них и староверы,— отвечал дядя Онуфрий.— Только ведь это одни пустые речи... Какую они там погань нашли? Таки же крещены, как и везде...

— В церковь-то часто ли ходите? — спросил Патап Максимыч.

— Как же в церковь не ходить?.. Чать, мы крещеные. Без церкви прожить нельзя,— отвечал дядя Онуфрий.— Кое время дома живем, храм божий не забываем, оно, пожалуй, хоть не каждо воскресенье ходим, потому приход далеко, а все ж церкви не чуждаемся. Вот здесь, в лесах, праздников уж нет. С топором не до моленья, особливо в такой год, как нонешний... Зима-то ноне стала поздняя, только за два дня до Николы лесовать выехали... Много ль тут времени на работу-то останется, много ль наработаешь?.. Тут и праздники забудешь, какие они у бога есть, и день и ночь только и думы, как бы побольше дерев сронить. Да ведь и то надо сказать, ваше степенство,— примолвил, лукаво улыбаясь, дядя Онуфрий,— часто в церковь-то ходить нашему брату накладно. Это вон келейницам хорошо на всем на готовом богу молиться, а по нашим достаткам того не приходится. Ведь повадишься к вечерне, все едино что в харчевню: ноне свеча, завтра свеча — глядишь, ан шуба с плеча. С нашего брата господь не взыщет — потому недостатки... Мы ведь люди простые, а простых и бог простит... Одначе закалякался я с вами, господа купцы... Ребятушки, ладь дровни, проворь лошадей... Лесовать пора!..— громко крикнул дядя Онуфрий.

Лесники один за другим полезли вон.

Дядя Онуфрий, оставшись с гостями в зимнице, помогал Петряю прибирать посуду, заливать очаг и приводить ночной притон в некоторый порядок.

— Сами-то отколь будете? — спросил он Патапа Максимыча.

Патап Максимыч назвал себя и немало подивился, что старый лесник доселе не слыхал его имени, столь громкого за Волгой, а, кажись. чуть не шабры.

— Нешто про нас не слыхал? — спросил он дядю Онуфрия.

— Не доводилось, ваше степенство,— отвечал лесник.— Ведь мы раменских-то[1] мало знаем — больше все с лысковскими да с ветлужескими купцами хороводимся, с понизовыми тоже.

— Экая, однако, глушь по вашим местам,— сказал Патап Максимыч.

— Глухая сторона, ваше степенство, это твоя правда, как есть глушь,— отвечал дядя Онуфрий.— Мы и в своем-то городу только раза по два на году бываем: подушны казначею свезти да билет у лесного выправить. Особняком живем, ровно отрезанные, а все ж не променяем своей глуши на чужу сторону. Хоть и бедны наши деревни, не то, что на Волге, аль, может, и по вашим раменя́м, однако ж свою сторону ни на каку не сменяем... У вас хоть веселье, хоть житье и привольное, да чужое, а у нас по лесам хоть и горе, да свое... Пускай у нас глушь, да не пошто нам далеко, и здесь хорошо.

— Да,— ответил Патап Максимыч,— всякому своя сторона мила... Только как же у нас будет, почтенный?.. Уж вы как-нибудь выведите нас на свет божий, покажьте дорогу, как на Ялокшу выехать.

— По̀што не указать — укажем,— сказал дядя Онуфрий,— только не знаю, как с волочками-то вы сладите, не пролезть с ними сквозь лесину... Опять же, поди, дорогу-то теперь перемело, на масленице все ветра̀ дули, деревья-то, чай, обтрясло, снегу навалило... Да постойте, господа честные, вот я молодца одного кликну — он ту дорогу лучше всех нас знает... Артемушка! — крикнул дядя Онуфрий из зимницы. — Артем!.. погляди-ка на сани-то: проедут на Ялокшу аль нет — да слезь, родной, ко мне не на долгое время...

Артемий слез и объявил, что саням надо бы пройти, потому отводы невеликие, а волочки непременно надо долой.

— Ну долой, так долой,— решил Патап Максимыч,— положим их в сани, а не то и здесь покинем. У Воскресенья новы можно купить.

---

[1] Раменскими лесники зовут жителей Черной и Красной рамени.

— У Воскресенья этого добра вволю,— сказал дядя Онуфрий,— завтра же вы туда как раз к базару попадете. Вы не по хлебной ли части едете?

— Нет, едем по своему делу, к приятелям в гости,— молвил Патап Максимыч.

— Так,— проговорил дядя Онуфрий.— Ин велите своим парням волочки снимать — вместе и поедем, нам в ту же сторону версты две либо три ехать.

— Ну вот и ладно. Оттоль, значит, верст с восемь до зимняка-то останется,— молвил Патап Максимыч и послал работников отвязывать волочки.

— Верст восемь, может, и десять, а пожалуй, и больше наберется,— отвечал дядя Онуфрий.— Какие здесь версты! Дороги не меряны: где мужик по первопутке проехал — тут на всю зиму и дорога.

— А как нам расставанье придет, вы уж, братцы, кто-нибудь проводите нас до зимняка-то,— сказал Патап Максимыч.

— На этом не погневись, господин купец. По нашим порядкам этого нельзя — потому артель,— сказал дядя Онуфрий.

— Что ж артель?.. Отчего нельзя? — с недоумением спросил Патап Максимыч.

— Да как же?.. Поедет который с тобой, кто за него рабо́тать станет?.. Тем артель и крепка, что у всех работа вровень держится, один перед другим ни на макову росинку не должон переделать аль недоделать... А как ты говоришь, чтоб из артели кого в вожатые дать, того никоим образом нельзя... Тот же прогул выйдет, а у нас прогулов нет, так и сговариваемся на суйме [1], чтоб прогулов во всю зиму не было.

— Да мы заплатим что следует,— сказал Патап Максимыч.

— А кому заплатишь-то?.. Платить-то некому!..— отвечал дядя Онуфрий.— Разве возможно артельному леснику с чужанина хоть малость какую принять?.. Разве артель спустит ему хошь одну копейку взять со стороны?.. Да вот я старшой у них, «хозяин» называюсь, а возьми-ка я с вашего степенства хоть медну полушку, ребята не поглядят, что я у них голова, что борода у ме-

---

[1] *Суйм*, или суем (однородно со словами сонм и сейм),— мирской сход, совещанье о делах.

ня седа, разложат да таку вспарку зададут, что и-и... У нас на это строго.

— Мы всей артели заплатим,— сказал Патап Максимыч.

— Это уж не мое дело, с артелью толкуй. Как она захочет, так и прикажет, я тут ни при чем,— ответил дядя Онуфрий.

— Коли так, сбирай артель, потолкуем,— молвил Патап Максимыч.

— Скликнуть артель не мудрое дело, только не знаю, как это сделать, потому что такого дела у нас николи не бывало. Боле тридцати годов с топором хожу, а никогда того не бывало, чтоб из артели кого на сторону брали,— рассуждал дядя Онуфрий.

— Да ты только позови, может, сойдемся как-нибудь,— сказал Патап Максимыч.

— Позвать отчего не позвать! Позову — это можно,— говорил дядя Онуфрий,— только у нас николи так не водилось...— И, обратясь к Петряю, все еще перемывавшему в грязной воде чашки и ложки, сказал:— Кликни ребят, Петряюшка, все, мол, идите до единого.

Артель собралась. Спросила дядю Онуфрия, зачем звал; тот не отвечал, а молча показал на Патапа Максимыча.

— Что требуется, господин купец?..— спросили лесники, оглядывая его с недоумением.

— Да видите ли, братцы, хочу я просить вашу артель дать нам проводника до Ялокшинского зимняка,— начал Патап Максимыч.

Артель загалдела, а Захар даже захохотал, глядя прямо в глаза Патапу Максимычу.

— В уме ль ты, ваше степенство?.. Как же возможно из артели работника брать?.. Где это слыхано?.. Да кто пойдет провожать тебя?.. Никто не пойдет... Эк что вздумал!.. Чудак же ты, право, господин купец!..— кричали лесники, перебивая друг дружку.

Насилу втолковал им Патап Максимыч, что артели ущерба не будет, что он заплатит цену работы за весь день.

— Да как ты учтешь, чего сто́ит работа в день?.. Этого учесть нельзя,—говорили лесники.

— Как не учесть, учтем,— сказал Патап Максимыч.— Сколько вас в артели-то?

— Одиннадцать человек, Петряй двенадцатый.

— А много ль ден в зиму работать?

— Смекай: выехали за два дня до Николы, уйдем на Плющиху,— сказал Захар.

Подсчитал Патап Максимыч — восемьдесят семь дней выходило.

— Ты, ваше степенство, неделями считай; мы ведь люди неграмотные — считать по дням не горазды,— говорила артель.

— Двенадцать недель с половиной,— сказал Патап Максимыч.

— Ну, это так,— загалдели лесники...— Намедни мы считали, то же выходило.

— Ну ладно, хорошо... Теперь сказывайте, много ль за зиму на каждого человека заработка причтется? — спросил Патап Максимыч.

— А кто его знает! — отвечали лесники.— Вот к святой сочтемся, так будем знать.

Беспорядицы и бестолочи в переговорах было вдоволь. Считали барыши прошлой зимы, выходило без гривны полтора рубля на ассигнации в день человеку. Но этот счет в толк не пошел, потому, говорил Захар, что зимушняя зима была сиротская, хвилеватая [1], а нонешняя морозная да ветреная. Сулил артели Патап Максимыч целковый за проводника,— и слушать не хотели. Как, дескать, наобум можно ладиться. Надо, говорят, всякое дело по чести делать, потому — артель. А дядя Онуфрий турит да турит кончать скорей переговоры, на всю зимницу кричит, что заря совсем занялась — нечего пустяки городить — лесовать пора...

Потерял терпенье Патап Максимыч. Так и подмывает его обойтись с лесниками по-свойски, как в Осиповке середь своих токарей навык... Да вовремя вспомнил, что в лесах этим ничего не возьмешь, пожалуй, еще хуже выйдет. Не такой народ, окриком его не проймешь... Однако ж не вытерпел — крикнул:

— Да берите, дьяволы, сколько хотите... Сказывай, сколько надо?.. За деньгами не стоим... Хотите три целковых получить?

— Сказано тебе, в зимнице *его* не поминать,— строго, притопнув даже ногой, крикнул на Патапа Максимыча дядя Онуфрий...— Так в лесах не водится!.. А ты

---

[1] *Хвилеватая* — мокрая, дождливая и вьюжная...

еще *его* черным именем крещеный народ обзываешь... Есть на тебе крест-от аль нет?.. Хочешь ругаться да вражье имя поминать, убирайся, покаместь цел, подобру-поздорову.

— Народец! — с досадой молвил Патап Максимыч, обращаясь к Стуколову.— Что тут станешь делать?

Не отвечал паломник.

— Говорите же, сколько надо вам за проводника? Три целковых хотите? — сказал Патап Максимыч, обращаясь к лесникам.

Зачала артель галанить пуще прежнего. Спорам, крикам, бестолочи ни конца, ни середки... Видя, что толку не добиться, Патап Максимыч хотел уже бросить дело и ехать на авось, но Захар, что-то считавший все время по пальцам, спросил его:

— Без двугривенного пять целковых дашь?

— За что ж это пять целковых? — возразил Патап Максимыч.—Сами говорите, что в прошлу зиму без гривны полтора рубли на монету каждому топору пришлось.

— Так и считано,— молвил Захар.— В артели двенадцать человек, по рублю — двенадцать рублей, по четыре гривны — четыре рубля восемь гривен — всего, значит, шестнадцать рублей восемь гривен по старому счету. Оно и выходит без двугривенного пять целковых.

— Да ведь ты на всю артель считаешь, а поедет с нами один,—возразил Патап Максимыч.

— Один ли, вся ли артель, это для нас все единственно,— ответил Захар.— Ты ведь с артелью рядишься, потому артельну плату и давай... а не хочешь, вот те бог, а вот и порог. Толковать нам недосужно — лесовать пора.

— Да ведь не вся же артель провожать поедет? — сказал Патап Максимыч.

— Это уж твое дело... Хочешь, всю артель бери — слова не молвим — все до единого поедем,— заголосили лесники.— Да зачем тебе су́столько народу?.. И один дорогу знает... Не мудрость какая!

— А вы скорей, скорей, ребятушки,— день на дворе, лесовать пора,— торопил дядя Онуфрий.

— Кто дорогу укажет, тому и заплатим,— молвил Патап Максимыч.

— Этого нельзя,— заголосили лесники.— Деньги при всех подавай, вот дяде Онуфрию на руки.

Делать было нечего, пришлось согласиться. Патап Максимыч отсчитал деньги, подал их дяде Онуфрию.

— Стой, погоди, еще не совсем в расчете,— сказал дядя Онуфрий, не принимая денег.— Волочки-то здесь покинете аль с собой захватите?

— Куда с собой брать!.. Покинуть надо,— отвечал Патап Максимыч.

— Так их надо долой скосить... Лишнего нам не надо,— молвил дядя Онуфрий.— Ребята, видели волочки-то?

— Глядели,— заговорили лесники.— Волочки — ничего, гожие, циновкой крыты, кошмой подбиты — рубля три на монету каждый сто́ит... пожалуй, и больше... Клади по три рубля с тремя пятаками.

— Что́ вы, ребята? Да я за них по пяти целковых платил,— сказал Патап Максимыч.

— На базаре? — спросил Захар.

— Известно, на базаре.

— На базаре дешевле не купишь, а в лесу какая им цена? — подхватили лесники.— Здесь этого добра у нас вдоволь... Хочешь, господин купец, скинем за волочки для твоей милости шесть рублев три гривны... Как раз три целковых выйдет.

Патап Максимыч согласился и отдал зеленую бумажку дяде Онуфрию. Тот поглядел бумажку на свет, показал ее каждому леснику, даже Петряйке. Каждый пощупал ее, потер руками и посмотрел на свет.

— Чего разглядываешь? Не бойсь, справская,— сказал Патап Максимыч.

— Видим, что справская, настоящая государева,— отвечал дядя Онуфрий.— А оглядеть все-таки надо — без того нельзя, потому — артель, надо чтоб все видели... Ноне же этих проклятых краснoярок [1] больно много развелось... Не поскорби, ваше степенство, не погневайся... Без того, чтоб бумажку не оглядеть, в артели нельзя.

— О чем же спорили вы да суты́рили [2] столько времени? — сказал Патап Максимыч, обращаясь к артели.— Сулил я вам три целковых, об волочка́х и помина не было, у вас же бы остались. Теперь те же самые день-

---

[1] В Поволжском крае так зовут фальшивые ассигнации.

[2] *Сутырить*, сутырничать — спорить, вздорить, придираться, а также кляузничать. Сутырь — бестолковый спор.

ги берете. Из-за чего ж мы время-то с вами попусту теряли?

— А чтоб никому обиды не было,— решил дядя Онуфрий.— Теперича, как до истинного конца дотолковались, оно и свято дело, и думы нет ни себе, ни нам, и сомненья промеж нас никакого не будет. А не разберись мы до последней нитки, свара, пожалуй, в артели пошла бы, и это уж последнее дело... У нас все на согласе, все на порядках... потому — артель.

Патапу Максимычу ничего больше не доводилось, как замолчать перед доводами дяди Онуфрия.

— Тайную силу в матке да в пáзорях знают, а бестолочи середь их не оберешься,— сказал он полушепотом, наклоняясь к Стуколову.

— Табашники... еретики!..— сквозь зубы процедил паломник.

Патап Максимыч, выйдя на середку зимницы, спросил, обращаясь к артели:

— Кто ж из вас лучше других дорогу на Ялокшу знает?

— Все хорошо дорогу знают,— отвечал дядя Онуфрий.— А вот Артемий, я тебе, ваше степенство, и даве сказывал, лучше других знает, потому что недавно тут проезжал.

— Так пущай Артемий с нами и поедет,— решил Патап Максимыч.

— Этого нельзя, ваше степенство,— отвечал, тряхнув головой, дядя Онуфрий.

— Отчего же нельзя? — спросил удивленный Патап Максимыч.

— Потому нельзя, что артель,— молвил дядя Онуфрий.

— Как так?..— возразил Патап Максимыч.— Да сами же вы сказали, что, заплативши деньги на всех, могу я хоть всю артель тащить...

— Можешь всю артель тащить... Слово скажи — все до единого поедем,— отвечал дядя Онуфрий.

— Так ведь и Артемий тут же будет? — с досадой спросил Патап Максимыч.

— Известно, тут же будет,— отвечал дядя Онуфрий.— Из артели парня не выкинешь?

— Артемья одного и беру, а других мне и не надо,— горячился Патáп Максимыч.

— Этого нельзя,— спокойно отвечал дядя Онуфрий.

— Почему же нельзя?.. Что за бестолочь у вас такая!.. Господи царь небесный!.. Вот народец-то!..— восклицал, хлопая о полы руками, Патап Максимыч.

— А оттого и нельзя, что артель,— отвечал дядя Онуфрий.— Кому жребий выпадет, тот и поедет. Кусай гроши, ребята.

Вынул каждый лесник из зепи[1] по грошу. На одном Захар накусил метку. Дядя Онуфрий взял шапку, и каждый парень кинул туда свой грош. Потряс старшой шапкой, и лесники один за другим стали вынимать по грошу.

Кусаный грош достался Артемью.

— Экой ты удатной какой, господин купец,— молвил дядя Онуфрий.— Кого облюбовал, тот тебе и достался... Ну, ваше степенство, с твоим бы счастьем да по грибы ходить... Что ж, одного Артемья берешь аль еще коняться[2] велишь? — прибавил он, обращаясь к Патапу Максимычу.

— Лишний человек не мешает,— ответил Патап Максимыч.— В пути всяко случиться может: сани в снегу загрузнут аль что другое.

— Дело говоришь,— заметил дядя Онуфрий,— лишний человек в пути не помеха. Кидай, ребята! — промолвил он, обращаясь к лесникам, снова принимаясь за шапку.

Жребий выпал Петряю.

— Ишь ты дело-то какое! — с досадой молвил дядя Онуфрий, почесывая затылок.—Петряйке досталось! Эко дело-то какое!.. Смотри же, парень, поспевай к вечеру беспременно, чтоб нам без тебя не лечь спать голодными.

Патап Максимыч, посмотрев на Петряя, подумал, что от подростка в пути большого проку не будет. Заметив, что не только дядя Онуфрий, но вся артель недовольна, что подсыпке ехать досталось, сказал, обращаясь к лесникам:

— Коли Петряй вам нужен, пожалуй, иного выбирайте, мне все едино...

— Нельзя, ваше степенство,— возразил дядя Онуфрий.— Никак невозможно, потому — артель. Вынулся кусаный грош Петряйке, значит, ему и ехать.

---

[1] *Зепь* — кожаная, иногда холщовая, мошна привесная, а если носится за пазухой, то прикрепленная к зипуну тесемкой или ремешком. В зепи держат деньги и паспорт.

[2] *Коняться* — жребий метать.

— Да не все ль равно, что один, что другой? — сказал Патап Максимыч.

— Оно, конечно, все едино, да уж такие у нас порядки,— говорил дядя Онуфрий.— Супротив наших порядков идти нельзя, потому что артель ими держится. Я бы сам с великой радостью заместо мальца поехал, да и всякий бы за него поехал, таково он нужен нам; только этому быть не можно, потому что жребий ему достался.

— Коли на то пошло, конайте третьего,— сказал Патап Максимыч.— От мальчугана пособи немного будет, коли в дороге что приключится.

— Третьего бери, четвертого бери, хочешь, всю артель за собой волочи — твое дело,— отвечал дядя Онуфрий.— А чтоб Петряйке не ехать — нельзя.

— Чудаки вы, право, чудаки,— молвил Патап Максимыч.— Эки порядки уставили!.. Ну, конайте живей.

Третьим ехать вышло самому дяде Онуфрию.

Но тем дело не кончилось: надо было теперь старшо́го выбирать на место уезжавшего Онуфрия. Тут уж такой шум да гам поднялись, что хоть вон беги, хоть святых выноси.

— Да ты заместо себя кого бы нибудь сам выбрал, тут бы и делу конец, а то галдят, галдят, а толку нет как нет,— молвил Патап Максимыч дяде Онуфрию, не принимавшему участия в разговоре лесников. Артемья и Петряя тоже тут не было, они ушли ладить дровешки себе и дяде Онуфрию.

— Нельзя мне вступаться теперь,— отвечал дядя Онуфрий.

— Отчего ж?

— Оттого, что на сегодняшний день я не в артели. Как знают, так и решат, а мое дело — сторона,— отвечал дядя Онуфрий, одеваясь в путь.

Не скоро сговорились лесники. Снова пришлось гроши в шапку кидать. Достался жребий краснощекому, коренастому парню, Архипом звали. Только ему кусаный грош достался, он, дотоле стоявший, как немой, живо зачал командовать.

— Проворь, ребята, проворь лошадей!— закричал он на всю зимницу.— И то гляди-ка, сколько времени проваландались. Чтоб у меня все живой рукой!.. Ну!..

Лесники засуетились. Пяти минут не прошло, как все уж ехали друг за дружкой по узкой лесной тропе.

— Ну ж артель, будь они прокляты,— с досадой молвил Стуколову Патап Максимыч, садясь в сани.— Такой сутолочи, такой бестолочи сродясь не видывал.

— Известно, табашники, церковники! Чего путного ждать?.. Бес мутит, доступны они дьяволу,—отозвался паломник.

— Ваше степенство! — крикнул со своих дровешек дядя Онуфрий.— Уж ты сделай милость — язык-то укороти да и другим закажи... В лесах не след *его* поминать.

— Слышишь: не велят поминать,— тихонько сказал Патап Максимыч сидевшему рядом с ним паломнику.

— Это так по ихней жидовской вере,— шептал Стуколов.— Когда я по турецким землям странствовал, а там жидов, что твоя Польша, видимо-невидимо, так от достоверных людей там я слыхал, что жиды своего бога по имени никогда не зовут, а все *он* да *он*... Вот и табашники по ихнему подобию... Едина вера!.. Нехристь!.. Вынеси только, господи, поскорей отселе!.. Не в пример лучше по-вчерашнему с волками ночевать, чем быть на совете нечестивых... Паче змия губительно, паче льва стрегущего и гласов велиим рыкающа, страшны седалища злочестивых,— сказал в заключение паломник и с головой завернулся в шубу.

«Так вот она какова артель-то у них,— рассуждал Патап Максимыч, лежа в санях рядом с паломником.— Меж себя дело честно ведут, а попадись посторонний, обдерут, как липку... Ай да лесники!.. А бестолочи-то что, галденья-то!.. С час места по́пусту проваландали, а кончили тем же, чем я зачал... Правда, что артели думой не владати... На работе артель золото, на сходке хуже казацкой сумятицы!..»

Дорога шла узенькая, легкие дровешки лесников бойко катились впереди, но запряженные гусем пошевни то и дело завязали меж раскидистых еловых лап, как белым руном покрытых пушистым снегом. В иных местах приходилось их прорубать,чтоб сделать просеку для проезда. Не покинь Патап Максимыч высокие волочки, пошевням не проехать бы по густо разросшемуся краснолесью. Сначала дорога шла одна; не успели полверсты проехать, как пошли от нее и вправо и влево частые поверты и узенькие тропы. По ним лесники бревна из чащи выводят. Без вожака небывалый как раз заплутался бы

меж ними и лыжными ма́ликами[1], которых сразу от санного следа и не различишь. А попробуй-ка пустить по ма́лику, так наткнешься либо на медвежью берлогу, либо на пу́тик, оставленный для лосиного лова[2].

Доехав до своей повертки, передние лесники стали. За ними остановился и весь поезд. Собралась артель в кучу, опять галдовня началась... Судили-рядили, не лучше ль вожакам одну только подводу с собой брать, а две отдать артели на перевозку бревен. Поспорили, покричали, наконец решили — быть делу так.

Своротили лесники. Долго они аукались и перекликались с Артемьем и Петряем. Впереди Патапа Максимыча ехал на дровешках дядя Онуфрий, Петряй присоединился к храпевшему во всю ивановскую Дюкову, Артемий примостился на облучке пошевней, в которых лежал Патап Максимыч и спал, по-видимому, богатырским сном паломник Стуколов.

— Эка, парень, бестолочь-то какая у вас,— заговорил Патап Максимыч с Артемьем.— Неужель у вас завсегда такое галденье бывает?

— Артель! — молвил Артемий.— Без того нельзя, чтоб не погалдеть... Сколько голов, столько умов... Да еще каждый норовит по-своему. Как же не галдеть-то?

— Да вы бы одному дали волю всяко дело решать, хоть бы старшо́му.

— Нельзя того, господин купец,— отвечал Артемий.— Другим станет обидно. Ведь это, пожалуй, на ту же стать пойдет, как по другим местам, где на хозяев из-за ряженой платы работа́ют...

— Ну да,— ответил Патап Максимыч.— Толку тут большего бы было.

— Обидно этак-то, господин купец,— отвечал Артемий.— Пожалуй, вот хоть нашего дядю Онуфрия взять... Такого артельного хозяина днем с огнем не сыскать... Обо всем старанье держит, обо всякой малости печется, душа-человек: прямой, правдивый и по всему надежный. А дай-ка ты ему волю, тотчас величаться зачнет, потому человек, не ангел. Да хоша и по правде станет поступать,

---

[1] След на снегу от лыж.

[2] *Путик* — прямая длинная городьба из прясел. По обоим концам путика вырывают ямы и прикрывают их хворостом либо еловыми лапами. Лось или олень, подойдя к путику, никогда не перескочит через него, но непременно пойдет вдоль, ища прохода. Таким образом зверь и попадает в яму.

все уж ему такой веры не будет и слушаться его, как теперь, не станут. Нельзя, потому что артель суймом держится.

— А в деревне как у вас? — спросил Патап Максимыч.

— В деревне свои порядки, артель только в лесах,— отвечал Артемий.

— Как же она у вас собирается? — спросил Патап Максимыч.

— Известно как. Придет осень, зачнем сговариваться, как лесовать зимой, как артель собирать. Соберется десять либо двадцать топоров,— больше не бывает. Наберутся скоро, потому что всякому лесовать надо, без этого деньгу не добудешь... Ну, соберутся, зачнут друг у друга спрашивать, кому в хозяевах сидеть. Один на того мекает, другой на другого... Так и толкуем день, два, ину пору и в неделю не сговоримся... Тут-то вот галденья-то послушал бы ты... Тогда ведь вино да хмельное пиво пьют, народ-от в задоре, редко без драки обходится... Положат, наконец, идти кланяться такому-то — вот хоть бы дяде Онуфрию. Ну, и пойдем, придем в избу, а он сидит, ровно ничего не знает: «Что, говорит, скажете, ребятушки? Какая вам до меня треба?» А ему в ответ: так мол, и так, столько-то нас человек в артель собралось, будь у нас за хозяина. Тот, известно дело, зачнет ломаться, без этого уж нельзя. «И ума-то, говорит, у меня на такое дело не хватит, и стар-от я стал, и топор-от у меня из рук валится», ну и все такое. А мы стоим да кланяемся, покаместь не уломаем его. Как согласился, тотчас складчину по рублю аль по два — значит, у лесничего билеты править да попенные платить. А которы на купцов работают, те старшо́го в Лысково посылают рядиться. Это уж его дело. Оттого и выбирают человека ловкого, бывалого, чтоб в городе не запропал и чтоб в Лыскове купцы его не больно обошли, потому что эти лысковцы народ дошлый, всячески норовят нашего брата огреть... Ну, выправит старшо́й билеты, отводное место нам укажут. Тут, собравшись, и ждем первопутки. Только снег выпадет, мы в лес... Тут и зачинается артель... Как выехали из деревни за околицу, старшо́й и стал всему делу голова: что велит, то и делай. А коли какое стороннее дело подойдет, вот хоть бы ваше, тут он ни при чем, тут уж артель, что хочет, то и делает.

— А расчеты когда? — спросил Патап Максимыч.

— После Евдокии-плющихи, как домой воротимся,— отвечал Артемий.— У хозяина кажда малость на счету... Оттого и выбираем грамотного, чтоб умел счет записать... Да вот беда,— грамотных-то маловато у нас; зачастую такого выбираем, чтоб хоть бирки-то умел хорошо резать. По этим биркам аль по записям и живет у нас расчет. Сколько кто харчей из дома зá зиму привез, сколько кто овса на лошадей, другого прочего — все ставим в цену. Получим зáработки, поровну делим. На страшной и деньги по рукам.

— А без артели в лесах работают? — спросил Патап Максимыч.

— Мало,— отвечал Артемий.— Там уж не такая работа. Почитай, и выгоды нет никакой... Как можно с артелью сравнять! В артели всем лучше: и сытней, и теплей, и прибыльней. Опять же завсегда нá людях... Артелью лесовать не в пример веселей, чем бродить одиночкой аль в двойниках.

— А летней порой ходите в лес? — спросил Патап Максимыч.

— Как не ходить? И летом ходим,— отвечал Артемий.— Вдаль, однако, не пускаемся, все больше по раменям... Бересту дерем, луб. Да уж это иная работа; тут жизнь бедовая, комары больно одолевают.

— Сам-то ты ходишь ли по летам? — спросил Патап Максимыч.

— Я-то?.. Как же?.. Иной год в леса хожу, а иной на плотах до Астрахани и на самое Каспийское море сплываю. Чегéнь туда да дрючки гоняем... А в леса больше на рябка да на тетерю хожу... Ружьишко есть у меня немудрящее, грешным делом похлопываю. Только по нынешним годам эту охоту бросать приходится: порох вздорожал, а дичины стало меньше. Вот в осилье да в пленку [1] птицу ловить еще туда-сюда... Так и тут от зверья большая обида бывает: придешь, силки спущены, а от рябков только перышки остались; подлая лиса либо куница прежде тебя успела убрать... Нет, кака ноне охота!.. Са-

[1] *Осилье* — затяжной узел, куда птица попадает ногой. *Пленка* — то же, но узел делается из свитого вдвое или втрое конского волоса. Осилья или пленки ставятся по одной на колышках либо на лубочке, на который посыпается приманка.

мо последнее дело!.. А то ходят еще летней порой в леса золото копать,— прибавил Артемий.

— Как золото?..— быстро привскочив в санях, спросил Патап Максимыч.

— Так же... золота да серебра по нашим лесам много лежит,— отвечал Артемий.— Записи такие есть, где надо искать... Хаживал и я.

— Что же? — с нетерпением спросил Патап Максимыч.

— Не дается,— отвечал Артемий.

— Как не дается?

— Так же и не дается. Слова такого не знаю... Вещбы [1] не знаю,— отвечал Артемий.

— Да ты про что сказываешь? Говори толковей,— молвил Патап Максимыч.

— Про клады говорю,— отвечал Артемий.— По нашим лесам кладов много зарыто. Издалека люди приходят клады копать...

— Клады!..— проговорил Патап Максимыч и спокойно развалился на перине, разостланной в санях.

— Ну, рассказывай, какие у вас тут клады,— через несколько времени сказал он, обращаясь к Артемью.

— Всякие клады тут лежат,— отвечал Артемий.

— Как же так? — спросил Патап Максимыч.— Разве клады разные бывают?

— А как же,— отвечал Артемий.— Есть клады, самим господом положонные,— те даются человеку, кого бог благословит... А где, в котором месте те божьи клады положены, никому не ведомо. Кому господь захочет богатство даровать, тому тайну свою и откроет. А иные клады людьми положены, и к ним приставлена темная сила. Об этих кладах записи есть: там прописано, где клад зарыт, каким видом является и с каким зароком положен... Эти клады страшные...

— Отчего? — спросил Патап Максимыч.

— Кровь на них,— отвечал Артемий.— С бою богатство было брато, кровью омыто, много душ христианских за ту казну в стары годы загублено.

— Когда ж это было? — спросил Патап Максимыч.

— Давно...— сказал Артемий.— Еще в те поры, как купцами да боярами посконна рубаха владала.

[1] *Вещба* — тайное слово и тайный обряд, употребляемые при заговорах, рытье кладов, ворожбе и т. п.

— Когда ж это было? При царе Горохе, как грузди с опенками воевали?..— смеялся Патап Максимыч.

— В казачьи времена,— степенно ответил Артемий.

— Что за казачьи времена такие? — спросил Патап Максимыч.

— Разве не слыхивал? — сказал Артемий.— Ведь в стары-то годы по всей Волге народ казачил... Было время, господин купец, золотое было времечко, да по грехам нашим миновало оно... Серые люди жили на всей вольной волюшке, ели сладко, пили пьяно, цветно платье носили — житье было разудалое, развеселое... Вон теперь по Волге пароходы взад и вперед снуют, ладьи да барки ходят, плоты плывут... Чьи пароходы, чьи плоты да барки? Купецкие все. Завладала ваша братья купцы Волгой-матушкой... А в стары годы не купецкие люди волжским раздольем владали, а наша братья, голытьба.

— Что ты за чепуху несешь? — молвил Патап Максимыч.— Никогда не бывало, чтоб Волга у голытьбы в руках была.

— Была, господин купец. Не спорь — правду сказываю,— отвечал Артемий.

— Стара баба с похмелья на печке валялась да во сне твою правду видела, а ты зря те бабьи сказки и мелешь,— сказал Патап Максимыч.

— Вранью да небылицам короткий век, а эта правда от старинных людей до нас дошла. Отцы, деды про нее нам сказывали, и песни такие про нее поются у нас... Значит, правда истинная.

— Мало ли что в песнях поют? Разве можно деревенской песне веру дать? — молвил Патап Максимыч.

— Можно, господин купец, потому что: «сказка — складка, а песня — быль»,— ответил Артемий.— А ты слушай, что я про здешню старину тебе рассказывать стану: занятное дело, коли не знаешь.

— Ну, говори, рассказывай,— молвил Патап Максимыч.— Смолоду охотник я до сказок бывал... Отчего на досуге да на старости лет и не послушать ваших россказней.

— Голытьба в стары годы по лесам жила, жила голытьба и промеж полей,— начал Артемий.— Кормиться стало нечем: хлеба недороды, подати большие, от бояр, от приказных людей утесненье... Хоть в землю зарывайся, хоть заживо в гроб ложись... И побежала голытьба врозь и стала она вольными казаками... Тут и зачина-

лись казачьи времена... Котора голытьба на Украйну пошла — та ляхов да бусурманов побивала, свою казацкую кровь за Христову веру проливала... Котора голытьба в Сибирь махнула — та сибирские места полонила и великому государю Сибирским царством поклонилась... А на Волгу на матушку посыпала что ни на есть сама последняя голытьба. На своей-то стороне у ней не было ни кола, ни двора, ни угла, ни притýла[1]; одно только и оставалось за душой богачество: наготы да босоты изувешаны шесты, холоду да голоду анбары полны... Вот, ладно, хорошо — высыпала та голытьба на Волгу, казаками назвалась... Атаманы да есаулы снаряжали легки лодочки косные и на тех на лодочках пошли по матушке по Волге разгуливать... Не попадай навстречу суда купецкие, не попадайся бояре да приказные: людей в воду, казну на себя!.. Веслом махнут — корабли возьмут, кистенем махнут — караван разобьют... Вот каковы бывали удальцы казаки поволожские...

— Это ты про разбойников? — молвил Патап Максимыч.

— По-вашему, разбойники, по-нашему, есаулы-молодцы да вольные казаки,— бойко ответил Артемий, с удальством тряхнув головой и сверкнув черными глазами.— Спеть, что ли, господин купец? — спросил Артемий.— Словами не расскажешь.

— Пой, пожалуй,— сказал Патап Максимыч.

Запел Артемий одну из разинских песен, их так много сохраняется в Поволжье:

Как повыше было села Лыскова,
Как пониже было села Юркина,
Супротив села Богомолова:
В луговой было во сторонушке,
Протекала тут речка быстрая,
Речка быстрая, омутистая,
Омутистая Лева Керженка[2].

— Наша реченька, голубушка!..— с любовью молвил Артемий, прервав песню.— В стары годы и наша Лева Керженка славной рекой слыла, суда ходили по ней, косные плавали... В казачьи времена атаманы да есаулы

---

[1] *Притýл*, или притулье,— приют, убежище, кров; происходит от глагола «притулять», имеющего три значения: прислонить или приставить, прикрыть или приютить.

[2] Юркино, Богомолово, Лысково — села на правом, возвышенном берегу Волги. Против них впадает в Волгу с левой стороны Керженец. Эту реку местные жители зовут иногда Левой Кержен-

в нашу родну реченьку зимовать заходили, тут они и дуван дуванили, нажитое на Волге добро, значит, делили... А теперь и званья нашей реки не стало: завалило ее, голубушку, каршáми, занесло замоинами[1], пошли по ней мели да перекаты... Так и пропала прежняя слава Керженца.

Громче прежнего свистнул Артемий и, тряхнув головою, запел:

Выплывала легка лодочка,
Легка лодочка атаманская,
Атамана Стеньки Разина.
Еще всем лодка изукрашена,
Казаками изусажена.
На ней парусы шелкóвые,
А веселки позолочены.
На корме сидит атаман с ружьем,
На носу стоит есаул с багром,
Посередь лодки парчевóй шатер.
Как во том парчевóм шатре
Лежат бочки золотой казны.
На казне сидит красна девица —
Атаманова полюбовница,
Есаулова сестра рóдная,
Казакам-гребцам — тетушка.
Сидит девка, призадумалась,
Посидевши, стала сказывать:
«Вы послушайте, добры молодцы,
Вы послушайте, милы племяннички,
Уж как мне, младой, мало спáлося,
Мало спалося, много виделось,
Не корыстен же мне сон привиделся:
Атаману-то быть расстрелену,
Есаулу-то быть повешену,
Казакам-гребцам по тюрьмам сидеть,
А мне, вашей родной тетушке,
Потонуть в Волге-матушке».

— Вишь, и девки в те поры пророчили! — сказал Артемий, оборотясь к Патапу Максимычу.— Атаманова полюбовница вещий сон провидела... Вещая девка была... Сказывают, Соломонидой звали ее, а родом была от Старого Макарья, купецкая дочь... И все сбылось по слову ее, как видела во сне, так все и сталось... С ней самой атаман тут же порешил,— матушке Волге ее

кой, то есть впадающей в Волгу с левой стороны. В песнях тоже придается ей название левой. Замечательно, что по-мордовски керже, кержень значит левый. В глубокую старину по всему Поволжью от Оки до Суры жила мордва. От нее и пошло название Керженца.

[1] *Замоина* — лежащее в русле под песком затонувшее дерево; *карша*, или карча,— то же самое, но поверх песка.

пожертвовал. «Тридцать лет, говорит, с годиком гулял я по Волге-матушке, тридцать лет с годиком тешил душу свою молодецкую, и ничем еще поилицу нашу, кормилицу я не жаловал. Не пожалую, говорит, Волгу-матушку ни казной золотой, ни дорогим перекатным жемчугом, пожалую тем, чего на свете краше нет, что нам, есаулы-молодцы, дороже всего». Да с этим словом хвать Соломониду поперек живота, да со всего размаху как метнет ее в Волгу-матушку... Вот каков был удалой атаман Стенька Разин, по прозванью Тимофеевич!..

— Разбойник, так разбойник и есть,— сухо промолвил Патап Максимыч.— Задаром погубил христианскую душу... Из озорства да из непутной похвальбы... Как есть разбойник — недаром его на семи соборах проклинали...

Тут пошевни заехали в такую чащу, что ни вбок, ни вперед. Мигом выскочили лесники и работники и в пять топоров стали тяпать еловые сучья и лапы. С полчаса провозились, покаместь не прорубили свободной просеки. Артемий опять присел на облучке саней Патапа Максимыча.

— А что ж ты про клады-то хотел рассказать? — молвил ему Патап Максимыч.— Заговорил про Стеньку Разина, да и забыл.

— Про клады-то! — отозвался Артемий.— А вот слушай... Когда голытьба Волгой владала, атаманы с есаулами каждо лето на косных разъезжали, боярски да купечески суда очищали. И не только суда они грабили, доставалось городам и большим селам, деревень только да приселков не трогали, потому что там голытьба свой век коротала. Церквам божьим да монастырям тоже спуску не было: не любили есаулы монахов, особенно «посельских старцев», что монастырскими крестьянами правили... Вот наш Макарьев монастырь, сказывают, от них отборонился; брали его огненным боем, да крепок — устоял... Ну, вот есаулы-молодцы лето по Волге гуляют, а осенью на Керженец в леса зимовать. И теперь по здешним местам ихние землянки знать... Такие же были, как наши. В тех самых зимницах, а не то в лесу на приметном месте нажитое добро в землю они и закапывали. Оттого и клады.

— Где же эти землянки? — спросил Патап Максимыч.

— По разным местам,— отвечал Артемий.— Много их тут по лесам-то. Вон хоть между Доро́гучей да Пе́ршей[1] два диких камня из земли торчат, один поболе, другой помене, оба с виду на коне́й похожи. Так и зовут их Конь да Жеребенок. Промеж тех камней казацки зимницы бывали, тут и клады зарыты... А то еще озера тут по лесу есть, Нестиа̀р, да Култай, да Пекшеяр прозываются, вкруг них тоже казацки зимницы, и тоже клады в них зарыты... И по Ялокше тоже и по нашей лысковской речонке, Вишней прозывается... Между Конем и Жеребенком большая зимница была, срубы до сей поры знать... Грешным делом, и я тут копал.

— Что ж, дорылся до чего? — спросил Патап Максимыч.

— Где дорыться!.. Есаулы-то ведь с зароком казну хоронили,— отвечал Артемий.— Надо слово знать, вещбу́ такую... Кто вещбу знает, молви только ее, клад-от сам выйдет наружу... А в том месте важный клад положо́н. Если б достался, внукам бы, правнукам не прожить... Двенадцать бочек золотой казны на серебряных цепях да пушка золотая.

— Как пушка золотая? — с удивленьем спросил Патап Максимыч.

— Так же золотая, из чистого золота лита̀... И ядра при ней золотые лежат и жеребьи золотые, которыми Стенька Разин по бусурманам стрелял... Ведь он Персиянское царство заполонил. Ты это слыхал ли?

— Нестаточное дело вору царство полонить, хоша бы и бусурманское,— молвил Патап Максимыч.

— Верно тебе говорю,— решительно сказал Артемий.— Кого хочешь спрошай, всяк тебе скажет. Видишь ли, как дело-то было. Волга-матушка в Каспийское море пала, сам я на то море не раз с чегенником да с дрючками хаживал. По сю сторону того моря сторона русская, крещеная, по ту бусурманская, персиянская. Услыхал Стенька Разин, что за́ морем у бусурманов много тысячей крещеного народу в полону́ живет. Собирает он казачий круг, говорит казакам такую речь: «Так и так, атаманы-молодцы, так и так, братцы-товарищи: пали до меня слухи, что за морем у персиянов много тысячей кре-

[1] Лесные реки, впадающие в Ветлугу.

щеного народу живет в полону в тяжкой работе, в великой нужде и горькой неволе; надо бы нам, братцы, не полениться, за море съездить, потрудиться, их, сердечных, из той неволи выручить!» Есаулы-молодцы и все казаки в один голос гаркнули: «Веди нас, батька, в бусурманское царство русский полон выручать!..» Стенька Разин рад тому радешенек, а сам первым делом к колдуну. Спрашивает, как ему русский полон из бусурманской неволи выручить. Колдун говорит ему: «За великое ты дело, Стенька, принимаешься; бусурманское царство осилить — не мутовку облизать. Одной силой-храбростью тут не возьмешь, надо вещбу знать...» — «А какая же на то вещба есть?» — спросил у колдуна Стенька Разин. Тот ему тайное слово сказал да примолвил: «И с вещбой далеко не уедешь, а вылей ты золоту пушку, к ней золоты ядра да золоты жеребья, да чтоб золото было все церковное, а и лучше того монастырское. И как станешь палить, вещбу говори, тут и заберешь в свои руки царство бусурманское». Стенька Разин так все и сделал, как ему колдуном было наказано.

— Что ж потом? — спросил Патап Максимыч.

— Известно что,— отвечал Артемий.— Зачал из золотой пушки палить да вещбу говорить — бусурманское царство ему и покорилось. Молодцы-есаулы крещеный полон на Русь вывезли, а всякого добра бусурманского столько набрали, что в лодках и положить было некуда: много в воду его пометали. Самого царя бусурманского Стенька Разин нà кол посадил, а дочь его, царевну, в полюбовницы взял. Дошлый казак был, до девок охоч...

— Эту самую пушку ты и копал? — спросил Патап Максимыч.

— Эту самую,— сказал Артемий.— Когда атаман воротился на Русскую землю, привез он ту пушку с жеребьями да с ядрами в наши леса и зарыл ее в большой зимнице меж Коня и Жеребенка. Записи такие есть.

— Как же это до сих пор никто той пушки не вынул? Ведь все знают, в каком месте она закопана,— сказал Патап Максимыч.

— Экой ты, господин купец! — отвечал Артемий.— Мало знать, где клад положон, надо знать, как взять его... Да как и владать-то им тоже надо знать...

— А как же кладом владать? — спросил Патап Максимыч.

— Это дело мудренее, чем клад достать,— отвечал Артемий.— Сколько ни было счастливых, которым клады доставались, всем, почитай, богатство не в пользу пошло: тот сгорел, другой всех детей схоронил, третий сам прогорел да с кругу спился, а иной до палачовых рук дошел... Прахом больше такие деньги идут... Счастливого человека, что вынул клад, враг день и ночь караулит и на всякое худое дело наталкивает... Знамо, хочется окаянному душой его завладать, чтоб душой своей расплатился он за богатство. Потому, как только ты вырыл клад, попов позови, молебен отпой, на церкву божию вклады не пожалей, бедным половину денег раздай, и какого человека в нужде ни встретишь, всякому помоги. Коли так поступишь — недобрая сила тебя не коснется, и богатство твое, как вешня вода на поёмах, каждый день, кажду ночь зачнет у тебя прибывать. Сколько денег нищим ты ни раздашь, а их опять, как снегу в степи, к тебе в дом нанесет. Так и в старинных записях писано: «А вынутый клад впрок бы пошел, ино церковь божью не забыть, нищей братье расточить, вдову, сироту призреть, странного удоволить, алчного напитать, хладного обогреть». Так и про золоту пушку писано [1]. Хоша бы тот клад и лихим человеком был положо́н на чью голову — заклятье его не подействует, а вынутый клад вменится тебе за клад, самим богом на счастье твое положенный.

— Разве бог-от кладет клады? — с усмешкой молвил Патап Максимыч.— Эка что городишь!

— Как же не кладет? — возразил Артемий.— Зарывает!.. Господь в землю и золото, серебро, и всяки дорогие камни тайной силой своей зарывает. То и есть божий клад... Золото ведь из земли же роют, а кто его туда положил?.. Вестимо — бог.

Патап Максимыч насторожил уши, не перебивая Артемьева рассказа. Привстал с перины и, склонив к Артемью голову, ухватился руками за облучок.

— Когда господь повелит мать сыру землю наградить,— продолжал Артемий,— пошлет он ангела небесного на солнце и велит ему иверень [2] от солнца отщер-

---

[1] Взято буквально из записей кладов.

[2] *Иверень* — осколок, черепок, небольшая отбитая часть от какой-нибудь вещи.

бить[1] и вложить его в громовую тучу... И господнею силой тот солнечный иверень разольется в туче чистым золотом. И по божьему веленью пойдет та туча над землею и в молоньях золото на землю посыплет. Как только та молонья ударит, так золото и польется на землю и в ней песком рассыплется... Это и есть божий клад... А серебро ангел господень с ясного месяца берет, а камни самоцветные со звезд небесных... Вот каково чудна сила божия...

— Да ведь грозы-то везде бывают,— отчего ж не везде роют золото? — спросил Патап Максимыч.

— Не во всяку тучу богом золото кладется,— ответил Артемий,— а только в ту, в котору его святой воле угодно. В обиходной молонье не золото, не серебро, а стрелка громовая кладется... Видал, что ли? Еще в песке находят, воду с той стрелки пьют от рези в животе... А в солнечной туче стрелки нет, одно золото рассыпчатое. Молонья молонье рознь. Солнечная молонья рассыпается по небу ровно огненными волосами, бьет по земле не шибко, а ровно манна небесная сходит, и гром от нее совсем другой... Тут не гром гремит, а господни ангелы воспевают славу божью...

— А можно ль узнать такое место, где золотая молонья пала? — сказал Патап Максимыч.

При этом вопросе спавший Стуколов потянулся и, раскрыв воротник шубы, захрапел пуще прежнего.

— Господь да небесные ангелы знают, где она выпала. И люди, которым бог благословит, находят такие места. По тем местам и роют золото,— отвечал Артемий.— В Сибири, сказывают, много таких местов...

— А ты бывал нешто в Сибири-то?— спросил Патап Максимыч.

— Самому быть не доводилось,— отвечал Артемий,— а слыхать слыхал: у одного из наших деревенских сродники в Горах живут[2], наши шабры[3] девку оттоль брали. Каждый год ходят в Сибирь на золоты прииски, так они сказывали, что золото только в лесах там находят... На всем белом свете золото только в лесах.

— В лесах? — переспросил Патап Максимыч.

---

[1] *Отщербить* — отбить, отломить, говоря о посуде и вообще о хрупкой вещи.

[2] То есть на правой стороне Волги.

[3] Соседи.

— В лесах,— подтвердил Артемий.— Никогда господь солнечную молонью близко от жи́ла не пустит... Людей ему жалко, чтоб их не загубить.

— Чем же загубить? — спросил Патап Максимыч.

— А как же? — молвил Артемий.— Ведь солночна-то молонья не простой чета. Хлыщет не шибко, а на которо место падет, от того места верст на десяток кругом живой души не останется...

— Отчего ж так? — спросил Патап Максимыч.

— У бога спроси!.. Его тайна,— нам, грешным, разуметь ее не́ дано...— отвечал Артемий.— Грозна ведь тайна-то сила божия.

— А по здешним лесам такая молонья выпадала? — после некоторого молчанья спросил Патап Максимыч.

Паломник опять шевельнулся во сне.

— По нашим местам не слыхать,— отозвался Артемий.— А там на сивер, в Ветлужских верхотинах, сказывают, бывало божие проявленье... Хвастать не стану, сам не видал, а слыхать слыхал, что по тамошним лесам божьих кладов довольно.

— И золотой песок? — торопливо спросил Патап Максимыч.

— Есть и пески золотые,— отвечал Артемий.

— Которо место? — с нетерпением спросил Патап Максимыч.

Спавший Стуколов вздрогнул и перестал всхрапывать.

— Доподлинно сказать тебе не могу, потому что тамошних лесов хорошо не знаю,— сказал Артемий.— Всего раза два в ту сторону ездил, и то дальше Уреня́ не бывал. Доедешь, бог даст, поспрошай там у мужиков— скажут.

— Донес бог!.. Вот и зимняк!.. Ялокша!..— крикнул дядя Онуфрий, сворачивая в сторону, чтобы дать дорогу пошевня́м.

На расставанье Патап Максимыч за сказки, за песни, а больше за добрые вести, хотел подарить Артемью целковый. Тот не взял.

— Спасибо на ласке, господин купец,— молвил он,— а денег твоих не возьму.

— Экой, парень, чудно̀й ты какой,— говорил ему Патап Максимыч.— Бери, коли дают. На дороге не поднимешь, пригодится.

— Как не пригодиться? — сказал Артемий.— Только брать твои деньги мне не приходится, потому артель...

— Нельзя Артемию с тебя малу росинку взять,— подтвердил дядя Онуфрий.— Он в артели.

— Ну, на артель примите,— сказал Патап Максимыч.

— Артель лишку не берет,— сказал дядя Онуфрий, отстраняя руку Патапа Максимыча.— Что следовало — взято, лишнего не надо... Счастливо оставаться, ваше степенство!.. Путь вам чистый, дорога скатертью!.. Да вот еще что я скажу тебе, господин купец; послушай ты меня, старика: пока лесами едешь, не говори ты черного слова. В степи как хочешь, а в лесу не поминай его. До беды недалече... Даром, что зима теперь, даром, что темная сила спит теперь под землей... На это не надейся!.. Хитер ведь *он!..*

Распрощались. Пошевни взяли вправо по Ялокшинскому зимняку, и путники засветло добрались до Нижнего Воскресенья.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

На постоялом дворе, на одной из широких улиц большого торгового села Воскресенского, в задней, чисто прибранной горенке, за огромным самоваром сидел Патап Максимыч с паломником и молчаливым купцом Дюковым. Решили они заночевать у Воскресенья, чтоб дать роздых лошадям, вдосталь измученным от непривычной езды по зимнякам и лесным тропам.

— Горазды ж вы оба спать-то,— молвил Патап Максимыч, допивая пятый либо шестой стакан чаю.— Ведь ты от зимницы до Ялокши глаз не раскрыл, Яким Прохорыч, да и после того спал вплоть до Воскресенья.

— Сон что богатство,— ответил паломник,— больше спишь, больше хочется.

— А со мной все время лесник калякал,— продолжал Патап Максимыч.— И песни пел и сказки сказывал; затейный парень, молодец на все руки.

— Слава те, господи, что сон меня одолел,— отозвался Стуколов.— Не сквернились по крайней мере уши мои, не слыхали бесовских песен и нечестивых речей треклятого табашника.

— Пошел расписывать! — молвил Патап Максимыч.— Везде-то у него грехи да ереси, шагу ты не ступишь, не осудивши кого... Что за беда, что они церковники? И между церковниками зачастую попадают хорошие люди, зато и меж староверами такие есть, что снаружи-то «блажен муж», а внутри «вскуе шаташася».

— Правая вера все покрывает,— сказал паломник,— а общение с еретиком в погибель вечную ведет... Не смотрели бы глаза мои на лица врагов божиих.

— Нашему брату этого нельзя,— молвил Патап Максимыч.— Живем в миру, со всяким народом дела бывают у нас; не токмá с церковниками — с татарами иной раз хороводимся... И то мне думается, что хороший человек завсегда хорош, в какую бы веру он ни веровал... Ведь господь повелел каждого человека возлюбить.

— Да не еретика,— подхватил Стуколов.— Не слыхал разве, что в писании про них сказано: «И тати, и разбойницы, и волхвы, и человекоубийцы, и всякие другие грешники внидут в царство небесное, только еретикам, врагам божиим, несть места в горних обителях...»

— Надоел ты мне, Яким Прохорыч, пуще горькой редьки такими разговорами,— с недовольством промолвил Патап Максимыч.

— Обмирщился ты весь, обмирщился с головы до ног, обошли тебя еретики, совсем обошли,— горячо отвечал на то Стуколов.— Подумай о души спасении. Годы твои не молодые, пора о боге помышлять.

— Береги свои речи про других, мне они не пригожи,— с сердцем ответил Патап Максимыч.— Хочешь, на обратном пути в Комаров завернем? Толкуй там с матерью Манефой... Ты с ней как раз споешься: что ты, что она — одного сукна епанча, одного лесу кочерга.

Стуколов несколько смутился.

— А знаешь ли, что песенник-то сказывал? — спросил после недолгого молчания Патап Максимыч.

— Почем я знаю? У сонного нет ушей,— отвечал Стуколов.

— Про Стеньку Разина сказки рассказывал, про клады́, по лесам зарытые, а потом на земляное масло свел,— сказал Патап Максимыч.

Сонный Дюков спрянул, уставив удивленные глаза на Патапа Максимыча. А Стуколов преспокойно студил вылитый на блюдечко чай.

— Слышишь? — обратился к нему Патап Максимыч.— Про золотой песок парень-от сказывал. На Ветлуге, дескать, подлинно есть такие места.

— И без него знаем,— безучастно промолвил Стуколов.

— В лесах, говорит, золото лежит, ото всякого жила далече, а которо место оно в земле лежит, того не знает,— продолжал Патап Максимыч.

— Хошь и знал бы, так не сказал,— заметил Стуколов.— Про такие дела со всяким встречным не болтают.

— Сказал же про клады́, где зарыты, и в каком месте золотая пушка лежит. Вот бы вырыть-то, Яким Прохорыч, пожалуй бы лучше приисков дело-то выгорело.

— Пустое городишь, Патап Максимыч,— сказал паломник.— Мало ль чего народ ни врет? За ветром в поле не угоняешься, так и людских речей не переслушаешь. Да хоть бы то и правда была, разве нам след за клады́ приниматься. Тут враг рода человеческого действует, сам треклятый сатана... Душу свою, что ли, губить!.. Клады́ — приманка диавольская, золотая россыпь — божий дар.

— В одно слово с лесником! — воскликнул Патап Максимыч.— То же самое и он говорил.

— Правдой, значит, обмолвился злочестивый язык еретика, врага божия,— сказал Стуколов.— Ину пору и это бывает. Сам бес, когда захочет человека в сети уловить, праведное слово иной раз молвит. И корчится сам, и в три погибели от правды-то его гнет, а все-таки ее вымолвит. И трепещет, а сказывает. Таков уже проклятый их род!..

— Да полно ль тебе, Яким Прохорыч! — вставая с лавки, с досадой промолвил Патап Максимыч.— О чем с тобой ни заговори, все-то ты на дьявола своротишь... Ишь как бесу-то полюбилось на твоем языке сидеть, сойти долой окаянному не хочется.

Паломник плюнул и, сердито взглянув на Патапа Максимыча, пробормотал какую-то молитву, глядя на иконы.

— Весть господь пути праведных, путь же нечестивых погибнет!..— сказал он потом громким голосом.

— Нет, Яким Прохорыч, с тобой толковать надо поевши,— молвил Патап Максимыч.— Да кстати и об ужине не мешает подумать... Здесь, у Воскресенья, стерляди первый сорт, не хуже васильсурских. Спосылать, что ли, к ловцам на Лёвиху [1].

— В великий-от пост? — испуганно воскликнул Стуколов.

— В пути сущим пост разрешается,— сказал Патап Максимыч.

— Поганься, коли бога забыл, а мы и хлебца пожуем,— молвил паломник сдержанным голосом, не глядя на Патапа Максимыча.

— Эх вы, постники безгрешные... Знавал я на своем веку таких,— шутил Патап Максимыч.— Есть такие спасенные души, что не только в середу, в понедельник даже молока не хлебнет, а молочнице и в велику пятницу спуску не даст.

Плюнул с досады Стуколов.

— Как же будет у нас? — продолжал Патап Максимыч.— Благословляй, что ли, свят муж, к ловцам посылать?.. Рыбешка здесь редкостная, янтарь янтарем... Ну, Яким Прохорыч, так уж и быть, опоганимся, да вплоть до святой и закаемся... Право же говорю, дорожным людям пост разрешается... Хоть Манефу спроси... На что мастерица посты разбирать, и та в пути разрешает.

— Отстань от меня, ради господа,— молвил Стуколов.— Делай, как знаешь, а других во грех не вводи.

Патап Максимыч махнул рукой и вышел к хозяевам в переднюю горницу, чтоб спосылать их к ловцам за рыбой.

Только что вышел он, Дюков торопливо сказал паломнику:

— Про места расспрашивал!

— Не спознал и не спознает,— решительно ответил Стуколов.— Я все слышал, что лесник рассказывал...

— То-то, чтоб нам в дураках не остаться,— сказал Дюков.

— Будь покоен: попал карась в неретó [2], не выскочит.

---

[1] Деревня в версте от Воскресенья на Ветлуге, где ловят лучших стерлядей.

[2] *Нерето* — рыболовный снаряд, сплетенный из сети на обручах в виде воронки.

* * *

Патап Максимыч запоздал на Ветлуге. Проехали путники в Урень, под видом закупки дешевого яранского хлеба. И в самом деле Патап Максимыч сделал там небольшую закупку. Потом отправились в лесную деревушку, к знакомому Якима Прохорыча, оттуда в другую, Лукерьиной прозывается, к зажиточному баклушнику [1] Силантью. Оба знакомца Стуколова заверяли Патапа Максимыча, что по ихним лесам вправду золотой песок водится. Силантий показал даже стеклянный пузырек с таким добром. На вид песок, ни дать ни взять, такой же, как стуколовский.

— Пробовали плавить его,— сказывал Силантий,— топили в горну на кузнице, однако толку не вышло, гарь одна остается.

К великой досаде паломника, разболтавшийся Силантий показал Патапу Максимычу и гарь, вовсе не похожую на золото.

Как ни старался Стуколов замять Силантьевы речи, на Патапа Максимыча напало сомненье в добротности ветлужского песка... Он купил у Силантья пузырек, а на придачу и гарь взял.

Когда совершалась эта покупка, Стуколов с досадой встал с места и, походив по избе спешными шагами, вышел в сени. Дюков осовел, сидя на месте.

На другой день, рано поутру, Патап Максимыч случайно подслушал, как паломник с Дюковым ругательски ругали Силантья за «лишние слова»... Это навело на него еще больше сомненья и, сидя со спутниками и хозяином дома за утренним самоваром, он сказал, что ветлужский песок ему что-то сумнителен.

— У меня в городу́ дружок есть, барин, по всякой науке человек дошлый,— сказал он.— Сем-ка я съезжу к нему с этим песком да покучусь ему испробовать, можно ль из него золото сделать... Если выйдет из него заправское золото — ничего не пожалею, что есть добра, все в оборот пущу. А до той поры, гневись, не гневись, Яким Прохорыч, к вашему делу не приступлю, потому что оно покаместь для меня потемки... Да!

— Съезди, пожалуй, к своему барину...— молвил па-

---

[1] Тот, что баклуши делает. Баклуши — чурки для токарной выделки ложек и деревянной посуды.

ломник.— Только не проболтайся, ради бога, где эта благодать родится. А то разнесутся вести, узнает начальство, тогда нам за наши хлопоты шиш и покажут... Сам знаешь, земля ведь не наша.

— Купим ее, — сказал Патап Максимыч.— Земли здесь недороги.

— Легко сказать — купим, — прервал Стуколов. — Ежели бы земли-то здешние были барские, нечего бы и толковать, купил и шабаш, а тут ведь казна. Годы пройдут, пока разрешат продажу. По здешним местам казенных земель спокон веку никто не покупывал, так...

— Не казенна здесь земля, удельная,— перебил Силантий.

Стуколов искоса взглянул на него: «Не суйся, дескать, куда не спрашивают», и продолжал, обращаясь к Патапу Максимычу:

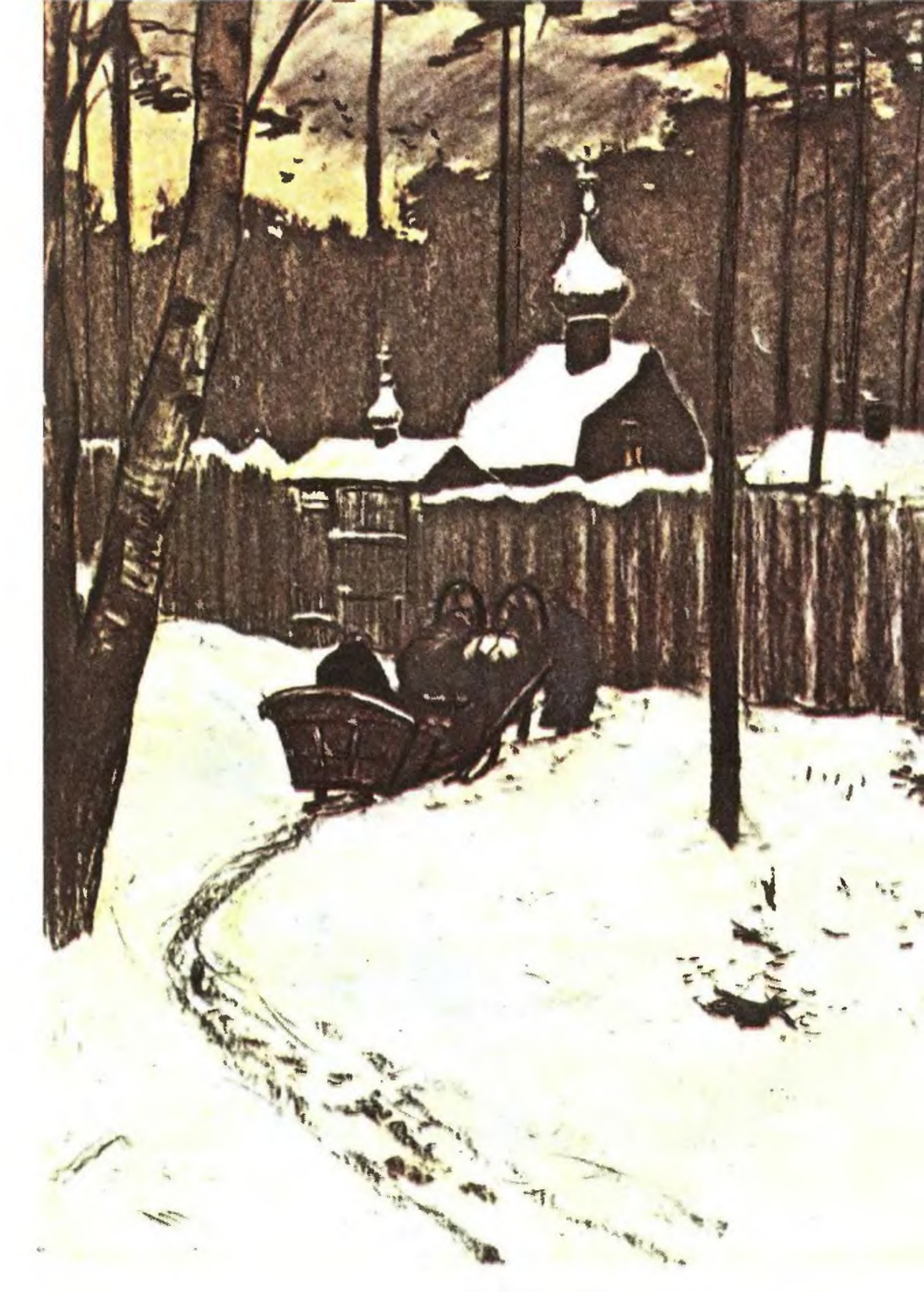
— С удельной и того хуже. Удел земель не продает. Да что об этом толковать прежде времени? Коли дело пойдет, как уговорились, в Питере отхлопочем за тебя прииски, а коли ты, Патап Максимыч, на попятный, так после пеняй на себя...

— Кто на попятный? — вскрикнул Патап Максимыч.— Никогда я на попятный ни в каком деле не поворачивал, не таков я человек, чтоб на попятный идти. Мне бы только увериться... Обожди маленько, окажется дело верное, тотчас подпишу условие, и деньги тебе в руки. А до тех пор я не согласен.

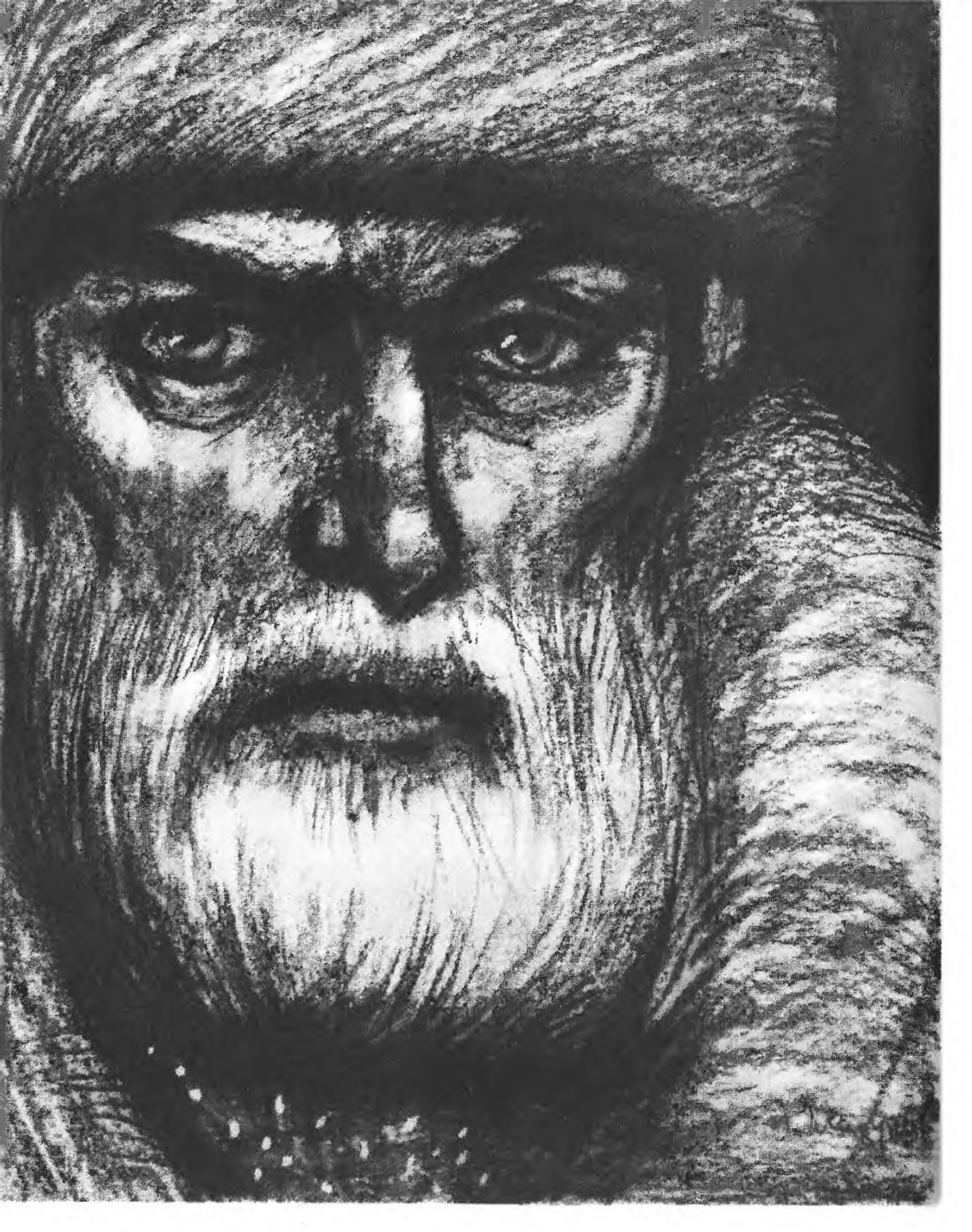
— Да ты не всякому пузырек-от показывай,— сказал паломник.— А то могут заподозрить, что это золото из Сибири, краденое. Насчет этого теперь строго,— как раз в острог.

— Малого ребенка, что ли, вздумал учить? — вспыхнул Патап Максимыч.— Разве мы этого не понимаем?.. Барин верный. Дружок мне — не выдаст. Отсюда прямо в город к нему.

— А вот что, Патап Максимыч,— сказал паломник,— город городом, и ученый твой барин пущай его смотрит, а вот я что еще придумал. Торопиться тебе ведь некуда. Съездили бы мы с тобой в Красноярский скит к отцу Михаилу. Отсель рукой подать, двадцати верст не будет. Не хотел я прежде про него говорить,— а ведь он у нас в доле,— съездим к нему на денек, ради уверенья...



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Глава XVI



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Глава XIV

— По мне, пожалуй, для че не съездить,— сказал Патап Максимыч.— Да что это за отец Михаил?

— Игумен Красноярского скита,— ответил Стуколов.— Увидишь, что за человек — поискать таких старцев!..

По совету Стуколова, уговорились ехать в скит пообедавши. Перед самым обедом паломник ушел в заднюю, написал там письмецо и отдал его Силантью. Через полчаса какие-нибудь хозяйский сын верхом на лошади съехал со двора задними воротами и скорой рысью погнал к Красноярскому скиту.

* * *

Совсем уже стемнело, когда путники добрались до скита Красноярского. Стоял он в лесной глуши, на берегу Усты́, а кругом обнесен был высоким деревянным частоколом. Посредине часовня стояла, вокруг нее кельи, совсем не похожие на кельи Каменного Вражка и других чернораменских женских скитов. Все здесь было построено шире, выше, суразнее и просторней; кельи друг от дружки стояли подальше; не было на них ни теремков, ни светелок, ни вышек, ни смотрилен. Не будь середь обители высокой часовни да вкруг нее намогильных голубцов, Красноярский скит больше бы походил на острог, чем на монастырь. Такой же высокий частокол вокруг, такие же большие воро́та, местами обитые железом, такие же длинные, высокие, однообразные кельи с маленькими окнами и вставленными в них железными решетками. Вне ограды хоть бы какой клевушок.

Подъехав к скиту, путники остановились у ворот и дернули висевшую у калитки веревку. Вдали послышался звон колокола; залаяли собаки, и через несколько времени чей-то голос стал изнутри опрашивать:

— Кого господь да́рует?

— Люди знакомые, отец вра́тарь,— отозвался паломник.— Стуколов Яким с дорогими гостями. Доложись игумну, Яким, мол, Прохорыч гостей привез.

— Отец игумен повечерие правит. Обождите малехонько, схожу благословлюсь...— ответил за воротами привратник.

— Да ты поскорей, отец вратарь, мы ведь издалёка. Кони приустали, да и самим отдохнуть охота,— сказал Патап Максимыч.

— Ладно, поспешу,— отвечал голос за воротами.— А много ль вас народу-то?

— Пятеро,— сказал Стуколов,— ты молви только отцу игумну: Яким, дескать, Прохорыч Стуколов с гостями приехал.

— Ладно, ладно, скажу.

Привратник ушел и долго не возвращался. Набежавшие к воротам псы так и заливались свирепым лаем внутри монастыря. Тут были слышны и сиплый, глухой лай какого-то старинного стража Красноярской обители, и тявканье задорной шавки, и завыванье озлившегося волкопеса, и звонкий лай выжлятника... Все сливалось в один оглушительный содом, и вдали слышались ржанье стоялых коней, мычанье коров и какие-то невразумительные людские речи.

— Ну, брат, в этот скит, как в царство небесное, сразу не попадешь,— сказал Патап Максимыч паломнику.

— Нельзя в лесах иначе жить,— отвечал Стуколов.— С большой опаской здесь надо жить... потому глушь; верст на десять кругом никакого жилья нет. А недобрых людей немало — как раз пограбят... Старцы же здешние — народ пуганый.

— А что? — спросил Патап Максимыч.

— Мучили их. Забрались одинова разбойники — грабили.

— Как так? — спросил Патап Максимыч.

— Так же,— отвечал паломник.— Пошла слава про монастырь, что богат больно, а богат-от он точно богат, от того самого дела — смекаешь... Вот погоди, сам своими глазами увидишь... Годов десять тому и польстись на Красноярскую обитель неведомо какие злодеи, задумали старцев пограбить... Сговорились с бельцом ихнего же монастыря, тот у привратника ключи украл и впустил ночью разбойников. Человек пятнадцать их было, народ молодой, здоровенный... Которых старцев в кельях заперли, которых по рукам, по ногам перевязали да, этак распорядившись, зачали по-своему хозяйничать... Часовню разбили, образа ободрали, к игумну пришли. Все мышиные норки у него перерыли, а денег два с пол-

тиной только нашли. Принялись за отца Михаила, говорят: подавай деньги... Тот уперся... Никаких, говорит, денег у меня нет, опричь тех, что вы отобрали. Разбойники его пытать — уж чего они над ним не творили: и били-то его всячески, и арапником-то стегали, и подошвы-то на бересте палили, и гвозди-то под ногти забивали... Вытерпел старец — слова не проронил, только молитву читал, как они его мучили. За́мертво бросили в чулан, думали, нѐжив. Но помиловал бог — отдышался. За келейника игуменовского принялись. Тот, не стерпя мук, может статься, и сказал бы, да, богу благодаренья, сам не знал, куда игумен деньги запрятал. Так и не покорыстовались... Разыскали после разбойников, сослали...

— Этак, пожалуй, старцы нас и не пустят, подумают, опять разбойники нагрянули,— сказал Патап Максимыч.

— Пустят, как не пустить. Меня знают,— отвечал Стуколов.

Прошло немало времени, как в монастыре снова послышались людские голоса.

— Отец вратарь, скоро ли ты? Отпирай! — крикнул Стуколов.

— Да вот отец казначей пришел поспрошать, что за̀ люди,— послышалось из-за ограды.

— Ты, что ль, будешь, отец Михей? — крикнул Стуколов.

— Я, грешный инок Михей,— отвечал казначей.— А вы кто такие?

— Да ведь сказано было вратарю, что Стуколов Яким гостей привез... Сказывали отцу игумну аль нет еще?

— Отец Михаил повечерие правит — нельзя с ним теперь разговаривать,— отвечал привратник.— Потому я отцу казначею и доложился.

— Аль меня по̀ голосу-то не признаёшь, отец Михей? — спросил паломник.

— Как через воро̀та человека признать по́ голосу? Я же и на ухо крепонек.

— Ах вы, старцы божьи!..— крикнул Стуколов.— Не воры к вам приехали, свои люди, знакомые. Благослови, отец Михей, ворота̀ отворить.

— Да гости-то кто такие с тобой? — спросил казначей.

— Дюков Сампсон Михайлович, дружок отцу-то Михаилу,— сказал Стуколов,— да еще Патап Максимыч Чапурин из Осиповки.

— Не братец ли матушки Манефы комаровской? — спросил отец Михей.

— Он самый,— отвечал Стуколов.

— Ин обождите маленько, пойду благословлюсь у отца игумна,— сказал казначей, и вскоре послышались шаги удалявшихся внутрь монастыря. Притихший собачий лай поднялся пуще прежнего.

Из себя вышел Патап Максимыч, браниться зачал. Бранил игумна, бранил казначея, бранил вратаря, бранил собак и всю красноярскую братию. Пуще всего доставалось Стуколову.

— К какому ты лешему завез меня! — кричал он на весь лес.— Понесла же меня нелегкая в это гнездо проклятое... Чтоб их всех там свело да скорчило!.. Ночевать, что ли, тут в лесу-то?.. Шайтан бы побрал их, этих чернецов окаянных!.. Что они морозить нас вздумали?.. Аль деревенских девок прячут по подпольям?..

— Не греши праздным словом на божьих старцев,— уговаривал его паломник.— Потерпи маленько. Иначе нельзя — на то устав... Опять же народ пуганый — недобрых людей опасаются. Сам знаешь: кого медведь драл, тот и пенька в лесу боится.

Не внимал уговорам Патап Максимыч, ругани его конца не виделось. До того дошел, что он, харкнув на ворóта и обозвав весь монастырь нехорошими словами, хотел садиться в сани, чтобы ехать назад, но в это время забрякали ключами, и продрогших путников пустили в монастырскую ограду. Там встретили их четверо монахов с фонарями.

До десятка собак с разнообразным лаем, ворчаньем и хрипеньем бросились на вошедших. Псы были здоровенные, жирные и презлые. Кроме маленькой шавки, с визгливым лаем задорно бросавшейся гостям под ноги, каждая собака в одиночку на волка ходила.

— Лыска!.. Орелка!.. Жучка!.. По местам, проклятые!.. Цыма, Шарик!.. Что под ноги-то кидаешься?.. По местам...— кричали на собак монахи и насилу-насилу успели их разогнать.

— Чего с такой псарней разбою бояться,— ворчал не уходивший еще Патап Максимыч.— Эти псы целый стан разбойников перегрызут.

— Повечерие на отходе,— чуть не до земли кланяясь Патапу Максимычу, сказал отец Спиридоний, монастырский гостиник, здоровенный старец, с лукавыми, хитрыми и быстро, как мыши, бегающими по сторонам глазками.— Как угодно вам будет, гости дорогие,— в часовню прежде, аль на гостиный двор, аль к батюшке отцу Михаилу в келью? Получаса не пройдет, как он со службой управится.

— По мне все едино,— сухо ответил Патап Максимыч.— В часовню так в часовню, в келью так в келью.

— Так уж лучше в часовню пожалуйте,— сказал отец Михей.— Посмотрите, как мы, убогие, божию службу по силе возможности справляем... А пожитки ваши мы в гостиницу внесем, коней уберем... Пожалуйте, милости просим.

И казначей отец Михей повел гостей по расчищенной между сугробами, гладкой, широкой, усыпанной красным песком дорожке, меж тем как отец гостиник с повозками и работниками отправился на стоявший отдельно в углу монастыря большой, ставленный на высоких подклетах, гостиный дом для богомольцев и приезжавших в скит по разным делам.

Войдя в часовню, Патап Максимыч поражен был благолепием убранства и стройным чином службы. Старинный, ярко раззолоченный иконостас возвышался под самый потолок. Перед местными в золоченых ризах иконами горели ослопные свечи, все паникадила были зажжены, и синеватый клуб ладана носился между ними. Старцы стояли рядами, все в соборных мантиях с длинными хвостами, все в опущенных низко, на самые глаза, камилавках и ка́фтырях. За ними ряды по̀слушников и трудников из мирян; все в черных суконных подрясниках с широкими черными усменными[1] поясами. На обоих клиросах стояли певцы; славились они не только по окрестным местам, но даже в Москве и на Иргизе. Середи часовни, перед аналогием, в соборной мантии, стоял высокий, широкий в плечах, с длинными седыми волосами и большой окладистой, как серебро белой, бо-

[1] *Усма* — выделанная кожа, *усменный* — кожаный.

родой, старец и густым голосом делал возгласы. Это был сам игумен — отец Михаил.

Служба шла так чинно, так благоговейно, что сердце Патапа Максимыча, до страсти любившего церковное благолепие, разом смягчилось. Забыл, что его чуть не битых полчаса заставили простоять на морозе. С сиявшим на лице довольством рассматривал он красноярскую часовню.

«Вот это служба так служба,— думал, оглядываясь на все стороны, Патап Максимыч.— Мастера богу молиться, нечего сказать... Эко благолепие-то какое!.. Рогожскому мало чем уступит... А нашей Городецкой часовне — куда! Тех же щей да пожиже влей... Божье-то милосердие какое, иконы-то святые!.. Просто загляденье, а служба-то, служба-то — первый сорт!.. В Иргизе такой службы не видывал!..

Наружность игумна тоже понравилась Патапу Максимычу. Еще не сказав с ним ни слова, полюбил уж он старца за порядки. Прежней досады как не бывало.

«Эка здоровенный игумен-от какой, ровно из матерого дуба вытесан...— думал, глядя на него, Патап Максимыч.— Ему бы не лестовку в руку, а пудовый молот... Чудное дело, как это он с разбойниками-то не справился... Да этакому старцу хоть на пару медведей в одиночку идти... Лапища-то какая!.. А молодец богу молиться!.. Как это все у него стройно да чинно выходит...»

Кончилось повечерие. Проговорил отпуст отец Михаил и обратился к старцам:

— Отцы и братие и служебницы сея честныя обители!.. Возвещаю вам радость велию: убогое жительство наше посетили благочестивые христолюбцы, крепкие ревнители святоотеческой веры нашея древлего благочестия. Чем воздадим за такую милость, к нам бывшую? Помолимся убо о здравии их и спасении и воспоем господу богу молебное пение за милости творящих и заповедавших нам, недостойным, молиться о них.

Братия, обернувшись зáраз, чуть не до земли поклонились гостям, а отец Михаил замолитвовал канон о здравии и спасении. Головщик правого клироса звонким голосом поаминил и дробно начал чтение канона.

Тут уж совсем растаял Патап Максимыч. Любил почет, особенно почет церковный. Пуще всего дорожил он тем, что с самой кончины родителя, многие годы быв-

шего попечителем Городецкой часовни, сам постоянно был выбираем в эту должность. Льстило его самолюбию, когда, бывая в той часовне за службой, становился он впереди всех, первый подходил к целованию Евангелия или креста, получал от беглого попа в крещенский сочельник первый кувшин богоявленской воды, в вербну заутреню первую вербу, в светло воскресенье первую свечу... Но такого почета, какой был оказан ему в Красноярском скиту, никогда ему и во сне не грезилось. Как было не растопиться сердцу, как не забыть досады, что взяла было его у ворот монастыря? Слеза даже прошибла Патапа Максимыча.

«Сторублевой мало! — подумал он.— Игумен человек понимающий. По крайности сторублевую с двумя четвертными надо вкладу положить».

Слушает, а отец Михаил поминает о здравии и спасении рабов божиих Патапия, Ксении, девицы Анастасии, девицы Параскевы, инокини Манефы, рабы божией Агрипины.

«Глядь-ка, глядь-ка,— удивлялся Патап Максимыч,— всех по именам так и валяет... И Груню не забыл... От кого это проведал он про моих сродников?.. Две сотенных надо, да к Христову празднику муки с маслом на братию послать».

Когда же наконец стал отец Михаил поминать усопших родителей Чапурина и перебрал их чуть не до седьмого колена, Патап Максимыч, как баба, расплакался и решил на обитель три сотни серебром дать и каждый год мукой с краснораменских мельниц снабжать ее.

Таким раем, таким богоблагодатным жительством показался ему Красноярский скит, что, не будь жены да дочерей, так хоть век бы свековать у отца Михаила. «Нет,— думал Патап Максимыч,— не чета здесь Городцу, не чета и бабьим скитам... С Рогожским потягается!.. Вот благочестие-то!.. Вот они, земные ангелы, небесные же человеки... А я-то, окаянный, еще выругал их непригожими словами!.. Прости, господи, мое согрешение!»

* * *

После службы игумен, подойдя к Патапу Максимычу, познакомился с ним.

— Любезненькой ты мой! Касатик ты мой! — приветствовал он, ликуясь с гостем.— Давно была охота

повидаться с тобой. Давно наслышан, много про тебя наслышан, вот и привел господь свидеться.

— Случая до сей поры не выдавалось, отец Михаил,— отвечал Патап Максимыч.— Редко бываю в здешних местах, а на Усте совсем впервой.

— Ну, спаси тебя, господи, что надумал нас, убогих, посетить,— говорил игумен.— Матушка-то Манефа комаровская по плоти сестрица тебе будет?

— Сестра ро́дная,— отвечал Патап Максимыч.

— Дивная старица! — сказал отец Михаил.— Духовной жизни, опять же от писания какая начетчица, а уж домостроительница какая!.. Поискать другой такой старицы, во всем христианстве не найдешь!.. Ну, гости дорогие, в тра́пезу не угодно ли?.. Сегодня день недельный, а ради праздника сорока мучеников полиелей — по уставу вечерняя тра́пеза полагается: разрешение елея. А в прочие дни святыя четыредесятницы ядим единожды в день.

Пошли в келарню игумен, братия, служебницы, работные трудники и гости. Войдя в тра́пезу, все разом положили уставные поклоны перед иконами и сели по местам. Патап Максимыча игумен посадил на почетное место, рядом с собой. Между соборными старцами уселись Стуколов и Дюков. За особым столом с бельцами и трудниками сели работники Патапа Максимыча.

Тра́peза совершалась по чину. Чередовой чтец заунывным голосом протяжно нараспев читал «синаксарь». Келарь, подойдя к игумну, благословился первую яству ставить братии, отец чашник благословился квас разливать, отец будильник на разносном блюде принял пять деревянных ставцев с гороховой лапшой, келарь взял с блюда ставец и с поклоном поставил его перед игумном. Отец Михаил и тут воздал почет Патапу Максимычу: ставец перед ним поставил, себе взял другой. Также и чашу с квасом и кашу соковую, поданную келарем, все от себя переставлял гостю.

Когда Патап Максимыч, проголодавшись дорогой, принялся было уписывать гороховую лапшу, игумен наклонился к нему и сказал потихоньку:

— Ты, любезненькой мой, на лапшицу-то не больно налегай. В гостинице наказал я самоварчик изготовить да закусочку ради гостей дорогих.

— Зачем это, отче? — отозвался Патап Максимыч.— Были бы сыты и за трапезой, ишь какая лапша-то у вас вкусная. Напрасно беспокоился.

— Нет, касатик, уж прости меня, Христа ради, а у нас уж такой устав: мирским гостям учреждать особу тра́пезу во утешение... Вы же путники, а в пути и пост разрешается... Рыбки не припасти ли?

— Нет, отец Михаил, не надо — пост,— сказал Патап Максимыч.

— В пути и в морском плавании святые отцы пост разрешали,—молвил игумен.—Благослови рыбку приготовить,—прибавил он, понизив голос.—А рыбка по милости господней хорошая: осетринки найдется и белужинки.

— Нет, нет, отец Михаил,— продолжал отнекиваться Патап Максимыч,— и в грех не вводи.

— Говорю тебе, что святые отцы в пути сущим и в море плавающим пост разрешали,— настаивал игумен.— Хочешь, в книгах покажу?.. Да что тут толковать, касатик ты мой, со своим уставом в чужой монастырь не ходят... Твори, брате, послушание!

— Ох ты, отец Михаил!.. Какой ты, право!..— сказал Патап Максимыч, сдаваясь на слова игумна и решаясь, по его веленью, сотворить послушание.— Нечего делать,— прибавил он, улыбаясь,— послушание паче поста и молитвы. Так, что ли, писано, отче?

— Ах ты, касатик мой! Ох ты, мой любезненькой!..— молвил игумен и, подозвав отца Спиридония, велел ему шепнуть Стуколову и Дюкову, чтоб и они не очень налегали на лапшу да на кашу.

Тра́пеза кончилась, отец будильник с отцом чашником собрали посуду, оставшиеся куски хлеба и соль. Игумен ударил в кандию, все встали и, стоя на местах, где кто сидел, в безмолвии прослушали благодарные молитвы, прочитанные канонархом. Отец Михаил благословил братию, и все попарно тихими стопами пошли вон из келарни.

— Ну, гости дорогие, любезненькие вы мои,— сказал отец Михаил, оставшись с ними в опустевшей келарне,— теперь я вас до гостиного двора провожу, там и успокоитесь... А ты, отец будильник, гостям-то баньку истопи, с дороги-то пускай завтра попарятся... Да пожарче, смотри, топи, чтоб и воды горячей и щелоку было довольно, а веники в квасу распарь с мятой, а в воду

и в квас, что̀ на каменку поддавать, тоже мятки положь да калуферцу... Чтоб все у меня было хорошо... Не осрами, отче, перед дорогими гостями, порадей, чтоб возлюбили убогую нашу обитель.

— В исправности будет, отче святый,— смиренно отвечал будильник, низко кланяясь.— Постараюсь гостям угодить.

— Ко́ням-то засы́пал ли овсеца-то, отец казначей?— спрашивал игумен, переходя из келарни в гостиницу.— Засыпа́л бы без меры, сколько съедят... Да молви, не забудь, отцу Спиридонию, приезжих-то работников хорошенько бы упокоил... Ах вы, мои любезненькие! ах вы, касатики мои!.. Каких гостей-то мне бог даровал!.. Беги-ка ты, Трофимушка,— молвил игумен проходившему мимо бельцу,— беги в гостиницу, поставь фонарь на лестнице, да молви, самовар бы на стол ставили, да отец келарь медку бы сотового прислал, да клюковки, да яблочков, что ли, моченых... Ненароком приехали-то вы ко мне, гости любезные,— не взыщите... Не изготовился принять вас, как надобно...

В гостинице, в углу большой, небогато, но опрятно убранной горницы, поставлен был стол, и на нем кипел ярко вычищенный самовар. На другом столе отец гостиник Спиридоний расставлял тарелки с груздями, мелкими рыжиками, волнухами и вареными в уксусе белыми грибами, тут же явился и сотовый мед, и моченая брусника, и клюква с медом, моченые яблоки, пряники, финики, изюм и разные орехи. Среди этих закусок и заедок стояло несколько графинов с настойками и наливками, бутылка рому, другая с мадерой ярославской работы.

— Садитесь, гости дорогие, садитесь к столику-то, любезненькие мои,— хлопотал отец Михаил, усаживая Патапа Максимыча в широкое мягкое кресло, обитое черною юфтью, изукрашенное гвоздиками с круглыми медными шляпками.— Разливай, отец Спиридоний... Да что это лампадки-то не зажгли перед иконами?.. Малец,— крикнул игумен молоденькому бельцу, с подобострастным видом стоявшему в передней,— затепли лампадки-то да и в боковушах у гостей тоже затепли... Перед чайком-то настоечки, Патап Максимыч,— прибавил он, наливая рюмку.— Ах ты, мой любезненькой!

— Да не хлопочи, отец Михаил,— говорил Патап Максимыч.— Напрасно.

— Как же это возможно не угощать мне таких гостей? — отвечал игумен.— Только уж не погневитесь, ради Христа, дорогие мои, не взыщите у старца в келье — не больно-то мы запасливы... Время не такое — приехали на хрен да на редьку... Отец Спиридоний, слетай-ка, родименькой, к отцу Михею, молви ему тихонько — гости, мол, утрудились, они же, дескать, люди в пути сущие, а отцы святые таковым пост разрешают, прислал бы сюда икорки, да балычка, да селедочек копченых, да провесной белорыбицы. Да взял бы звено осетринки, что к масленой из Сибири привезли, да белужинки малосольной, да севрюжки, что ли, разварил бы еще.

Отец Спиридоний низко поклонился и пошел исполнить игуменское повеление.

— Что же настоечки-то?.. Перед чайком-то?.. Вот зверобойная, а вот зорная, а эта на трефоли настоена... А не то сладенькой не изволишь ли?.. Яким Прохорыч, ты, любезненькой мой, человек знакомый и ты тоже, Самсон Михайлович, вас потчевать много не стану. Кушайте, касатики, сделайте божескую милость.

Выпили по рюмочке, закусили сочными яранскими груздями и мелкими вятскими рыжиками, что зовутся «бисерными»...

— Отец Михаил, да сам-то ты что же? — спросил Патап Максимыч, заметив, что игумен не выпил водки.

— Наше дело иноческое, любезненькой ты мой Патап Максимыч, а сегодня разрешения на вино по уставу нет,— отвечал он.— Вам, мирянам, да еще в пути сущим, разрешение на вся, а нам, грешным, не подобает.

— Говорится же, что гостей ради пост разрешается? — сказал Патап Максимыч.

— Ах ты, любезненькой мой, ах ты, касатик мой! — подхватил отец Михаил.— Оно точно что говорится. И в уставах в иных написано... Много ведь уставов-то иноческого жития: соловецкий, студийский, Афонския горы, синайский — да мало ли их.— мы больше всего по соловецкому.

— Ну, и выкушал бы с нами чару соловецкую,— шутя сказал Патап Максимыч.

— Ах ты, любезненькой мой!.. Какой ты, право!.. Греха только не будет ли?.. Как думаешь, Яким Прохорыч? — говорил игумен.

— Маленькую можно,— сухо проговорил паломник.

— Ох ты, касатик мой! — воскликнул игумен, обняв паломника, потом налил рюмку настойки, перекрестился широким, размашистым крестом и молодецки выпил.

«Должно быть, и выпить не дурак,— подумал Патап Максимыч, глядя на отца игумена.— Как есть молодец на все руки».

Воротился отец Спиридоний, доложил, что передал игуменский приказ казначею.

— Отец Михей говорит, что есть у него малая толика живеньких окуньков да язей, да линь с двумя щучками, так он хотел еще уху гостям сготовить,— сказал отец Спиридоний.

— Ну бог его спасет, что догадался, а мне, старому, и невдомек,— сказал отец Михаил.— Это хорошо с дороги-то ушки горяченькой похлебать... Ну, бог тебя благословит, отец Спиридоний!.. Выкушай рюмочку.

— Не подобает, отче,— смиренно проговорил гостиник, а глаза так и прыгают по графинам.

— Э-эх! все мы грешники перед господом! — наклоняя голову, сказал игумен.— Ох, ох, ох! грехи наши тяжкие!.. Согрешил и я, окаянный,— разрешил!.. Что станешь делать?.. Благослови и ты, отец Спиридоний, на рюмочку — ради дорогих гостей господь простит...

Отец гостиник не заставил себя уговаривать. Беспрекословно исполнил он желание отца игумна.

Выпили по чашке чаю, налили по другой. Перед второй выпили и закусили принесенными отцом Михеем рыбными снедями. И что это были за снеди! Только в скитах и можно такими полакомиться. Мешечная осетровая икра точно из черных перлов была сделана, так и блестит жиром, а зернистая троечная [1], как сливки — сама во рту тает, балык величины непомерной, жирный, сочный, такой, что самому донскому архиерею не часто на стол подают, а белорыбица, присланная из Елабуги, бела и глянцевита, как атлас. Хорошо едят скитские старцы, а лучше того угощают нужного человека, коли бог в обитель его принесет. Медной копейки не тратит обитель на эти «утешения» — все усердное даяние христолюбцев.

---

[1] Белужью зернистую икру лучшего сорта, до железных дорог, отвозили в Москву и другие места на почтовых тройках тотчас после посола. Оттого и звали ее «троечной».

Живет христолюбец, век свой рабочих на пятаки, покупателей на рубли обсчитывает. Случится к казне подъехать — и казну не помилует, сумеет и с нее золотую щетинку сорвать. Плачутся на христолюбца обиженные, а ему и дела мало, сколачивает денежку на черный день, под конец жизни сотнями тысяч начнет ворочать да разика два обанкрутится, по гривне за рубль заплатит и наживет миллион... Приблизится смертный час, толстосум сробеет, просит, молит наследников: «Устройте душу мою грешную, не быть бы ей во тьме кромешной, не кипеть бы мне в смоле горючей, не мучиться бы в жупеле огненном». И начнут поминать христолюбца наследники: сгромоздят колокольню в семь ярусов, выльют в тысячу пудов колокол, чтобы до третиего небеси слышно было, как тот колокол будет вызванивать из ада душу христолюбца-мошенника. Риз нашьют парчовых с жемчугами да с дорогими каменьями, таких, что попу невмоготу и носить их, да и страшно — поручь одна какая-нибудь впятеро дороже всего поповского достоянья. Сотни рублей платят наследники христолюбца голосистому протодьякону, чтобы такую «вечную память» сорал он по тятеньке, от какой бы и во аде всем чертям стало тошнехонько. И вызвонят и выревут таким способом грешную душу из вечныя муки...

Раскольникам так спасать родителей не доводится — колокола, ризы и громогласные протодьяконы у них возбраняются. Как же, чем же им, сердечным, спасать душу тятенькину?.. Ну и спасают ее от муки вечныя икрой да балыками, жертвуют всем, что есть на потребу бездонного иноческого стомаха... Посылай неоскудно скитским отцам-матерям осетрину да севрюжину — несомненно получит тятенька во всех плутовствах милосердное прощение. Ведь старцы да старицы мастера бога молить: только деньги давай да кормы посылай, любого грешника из ада вымолят... Оттого и не скудеет в скитах милостыня. Ел бы жирней да пил бы пьяней освященный чин—спасенье всякого мошенника несомненно.

Откушал Патап Максимыч икорки да балычка, селедок переславских, елабужской белорыбицы. Вкусно — нахвалиться не может, а игумен рад-радехонек, что удалось почествовать гостя дорогого. Дюков долго глядел на толстое звено балыка, крепился, взглядывая на паломника,— прорвало-таки, забыл великий пост, согре-

шил — оскоромился. Врагу действующу, согрешили и старцы честные. Первым согрешил сам игумен, глядя на него — Михей со Спиридонием. Паломник укрепился, не осквернил уст своих рыбным ядением.

Покончив с рыбными снедями, принялись за чай с постным молоком, то есть с ромом. Тут старцы от мирян не отстали, воздержней других оказался тот же паломник.

Поразвеселились, языки развязались, пошла беседа откровенная, даже Дюков помаленьку начал разговаривать.

— Что, отец Михаил, скучно, чай, в лесу-то жить? — спросил Патап Максимыч у игумна.

— Распрелюбезное дело, касатик ты мой,— отвечал он.— Как бы от недобрых людей не было опаски, лучше бы лесного житья во всем свете, кажись, не сыскать... Злодеи-то вот только шатаются иной раз по здешним местам... Десять годов тому, как они гостить приезжали к нам... Памятки от тех гостин до сей поры у меня знать... Погляди-ка, вот ухо-то как было рассечено,— прибавил он, снимая камилавку и приподнимая седые волосы.— А вот еще ихняя памятка,— продолжал игумен, распахивая грудь и указывая на оставшиеся после ожога белые рубцы,— да вот еще перстами не двигаю с тех пор, как они гвоздочки под ноготки забивали мне.

И показал Патапу Максимычу два сведенные в суставах пальца левой руки.

— Как бы не страх от этих людей, какой бы еще жизни! — продолжал отец Михаил.— Придет лето, птичек божьих налетит видимо-невидимо; от зари до зари распевают они на разные гласы, прославляют царя небесного... В воздухе таково легко да приятно, благоухание несказанное, цветочки цветут, травки растут, зверки бегают... А выйдешь на Усту́, бредень закинешь, окуньков наловишь, линей, щучек, налим иной раз в вершу попадет... Какого еще житья?.. Зимней порой поскучнее, а все же нашего лесного житья не променять на ваше городское... Ведь я, любезненькой мой, пятьдесят годов в здешних-то лесах живу. Четырнадцати лет в пустыню пришел; неразумный еще был, голоусый, грамоте не знал... Так промеж людей в миру-то болтался: бедность, нужда, нищета, вырос сиротой, самый последний был человек, а привел же вот бог обителью править: без году двадцать лет игуменствую, а допреж того в келарях

десять лет высидел... Как же не любить мне лесов. болезный ты мой, как мне не любить их?.. Ведь они родные мои.

— Конечно, привычка,— заметил Патап Максимыч.

— Да, касатик мой, истинное слово ты молвил,— отвечал отец Михаил.— Это, как у вас в миру говорится: «Привычка не рукавичка, на спичку ее не повесишь». Всякому свое, до чего ни доведись... в Книзе животней, яже на небеси, овому писано грады обладати, овому рать строити, овому в хораблях моря преплывати, овому же куплю деяти, а наше дело о имени Христове подаянием христолюбцев питаться и о всех истинных христианах древлего благочестия молитвы приносити. Свет истинный везде, и в море далече, и во градах, и в весях, и нет места ближе ко Христу-свету, как в лесах да в пустынях, в вертепах и пропастях земных. Так-то, касатик, так-то, родненький!..

— Так у вас в обители, говоришь, соловецкий чин содержится? — спросил Патап Максимыч.

— Чин соловецкий, любезненькой ты мой, а также и по духовной грамоте преподобного Иосифа Волоцкого. Прежде всего о том тщание имеем, како бы во обители все было благообразно и по чину... А ты, миленький отец Спиридоний, налей-ка гостям еще по чашечке, да ромку-то не жалей, старче!.. Ну, опять же, касатик ты мой Патап Максимыч, блюдем мы опасно, дабы в трапезе все сидели со благоговением и в молчании... Ведь святые-то отцы что написали о монастырской трапе́зе? «Яко, глаголют, святый жертвенник, тако и братская трапе́за во время обеда — равны суть»... Да ты что осовел, отец Спиридоний, подливай гостям-то, не жалей обительского добра... Ах ты, любезненькой мой, Патап Максимыч!.. Вот принес Христос гостя нежданного да желанного!.. А уж сколько забот да хлопот о потребах монастырских, и рассказать всего невозможно. И о пище-то попекись и о питии, об одежде и о́бущи [1] и о монастырском строении, и о ко̀нях, и о скотном дворе, обо всем... А братией-то править, думаешь, легкое дело?.. О-ох, любезненькой ты мой, как бы знал ты нашу монастырскую жизнь... Грехи-грехи наши! Потчуй, а ты, отец Спиридоний... Да что же уши́цу-то, ушицу?.. Отец Михей, давай скорее, торопи на поварне-то, гости, мол, ужинать хотят.

[1] Обувь.

Минут через пять казначей воротился, и за ним принесли уху из свежей рыбы, паровую севрюгу, осетрину с хреном и кислую капусту с квасом и свежепросольной белужиной. Ужин, пожалуй, хоть не у старца в келье великим постом.

И старцы и гости, кроме паломника, все согрешили — оскоромились. И вина разрешили во утешение довольно. Кончив трапезу, отец Михей да отец Спиридоний начали носом окуней ловить. Сильно разбирала их дремота.

— Ты бы, отче, благословил отцам-то успокоиться, смотри, глаза-то у них совсем слипаются,— молвил Стуколов, быстро взглянув на игумна.

— Ин подите в самом деле, отцы, успокойтесь, бог благословит,— молвил игумен.

Положив уставные поклоны и простившись с игумном и гостями, пошли отцы вон из кельи. Только что удалились они, Стуколов на леса свел речь. Словоохотливый игумен рассказывал, какое в них всему изобилие: и грибов-то как много, и ягод-то всяких, помянул и про дрова и про лыки, а потом тихонько, вкрадчивым голосом, молвил:

— А посмотрел бы ты, касатик мой, Патап Максимыч, что в недрах-то земных сокрыто, отдал бы похвалу нашим палестинам.

— А что такое? — спросил Патап Максимыч.

— От других потаю, от тебя не скрою, любезненькой ты мой,— отвечал игумен.— Опять же у вас с Якимом Прохорычем, как вижу, дела-то одни... Золото водится по нашим лесам — брать только надо умеючи.

— Слыхал я про ваше ветлужское золото,— сказал Патап Максимыч,— только веры что-то неймется, отче святый... Пробовали, слышь, топить его, одна гарь выходит.

— Это ему вечор Силантий насудачил,— вступился Стуколов.

— Какой Силантий? — спросил игумен.

— Да в деревне Лукерьине Силантия Петрова разве не знаешь? — молвил паломник.

— А, лукерьинский!.. Коротенька-Ножка?.. Как не знать! — отозвался игумен.— Да чего ж он в этом деле смыслит! Навалил, поди, песку в горшок, да и ну калить!.. Известно, этак, окроме гари, не выйдет ничего...

Тут, любезненькой мой Патап Максимыч, науку надо знать. Кого бог наукой умудрил, тот и может за это дело браться, а темному человеку, невегласу, оно никогда не дается... Читал ли «Шестоднев» Василья Великого? Там о премудрых-то хитрецах что́ сказано? «Тайны господни им ведомы, еже в пучинах морских, еже в недрах земных».

— Это так, отче, это ты верно говорищь,— сказал Патап Максимыч.— Ну, так как же из того песку золото делать?

— Не умудрил меня господь наукой, касатик ты мой... Куда мне, темному человеку! Говорил ведь я тебе, что и грамоте-то здесь, в лесу, научился. Кой-как бреду. Писание читать могу, а насчет грамматического да философского учения тут уж, разлюбезный ты мой, я ни при чем... Да признаться, и не разумею, что такое за грамматическое учение, что за философия такая. Читал про них и в книге «Вере» и в «Максиме Греке», а что такое оно обозначает, прости, Христа ради, не знаю.

— Почему ж ты знаешь, отче, что из того песку можно золото делать? — спросил Патап Максимыч.

— Ах ты, любезненькой мой!.. Ах ты, касатик! — восклицал отец Михаил.— А вот я тебе все по̀ряду скажу. Ты вот у нас в часовне-то за службой был, святые иконы видел?

— Видел,— отвечал Патап Максимыч.

— Хороши? — спросил игумен.

— Нечего и толковать,— отвечал Патап Максимыч.— Такого благолепия сроду не видал. У нас, в Городецкой часовне, супротив вашей — плевое дело.

— То-то же,— сказал игумен.— А чем наши иконы позолочены? Все своим ветлужским золотом. Погоди, вот завтра покажу тебе ризницу, увидишь и кресты золотые, и чаши, и оклады на Евангелиях, все нашего ветлужского золота. Знамо дело, такую вещь надо в тайне держать; сказываем, что все это приношение благодетелей... А какие тут благодетели? Свое золото, доморощенное.

— Так неужель у тебя в скиту про это дело вся братия знает? — сказал Патап Максимыч.

— Как возможно, любезненькой ты мой!.. Как возможно, чтобы весь монастырь про такую вещь знал?..— отвечал отец Михаил.— В огласку таких делов пускать

не годится... Слух-от по скиту ходит, много болтают, да пустые речи пустыми завсегда и остаются. Видят песок, а силы его не знают, не умеют, как за него взяться... Пробовали, как Силантий же, в горшке топить; ну, известно, ничего не вышло; после того сами же на смех стали поднимать, кто по лесу золотой песок собирает.

— Как же, честный отче, сами-то вы с ним справляетесь? — спросил Патап Максимыч.

— Ох ты, любезненькой мой, ох ты, касатик мой!.. Что мне сказать-то, уж я, право, и не знаю,— заминаясь, отвечал отец Михаил, поглядывая то на паломника, то на Дюкова.

— Сказывай, как есть,— молвил Стуколов.— Таиться нечего: Патап Максимыч в доле по этому делу.

— По золотому? — спросил игумен, кидая смутный взгляд на паломника.

— А по какому же еще? — быстро подхватил Стуколов и, слегка нахмурясь, строго взглянул на отца Михаила.— Какие еще дела могут у тебя с Патапом Максимычем быть? Не службу у тебя в часовне будет он править... Других делов с ним нет и быть не должно.

— А я думал, что ты, любезненькой мой, с Патапом Максимычем по всем делам заодно,— несколько смутившись, молвил игумен.

Быстро Стуколов с места встал и торопливыми шагами прошелся по келье. Незаметно для Патапа Максимыча, легонько толкнул он игумна.

— Расскажи ему, отче, как вы с песком тем справляетесь,— сказал он потом мягким голосом.

— Да уж, пожалуйста, поведай мне,— молвил Патап Максимыч.— Бог даст, заодно станем работать... Прииски откроем.

— Ах ты, любезненькой мой! ах ты, касатик!..— воскликнул отец Михаил, обнимая Патапа Максимыча.— А ты вот облепихи-то рюмочку выкушай. Из Сибири прислали благодетели, хорошая наливочка, попробуй... Расчудесная!

Патап Максимыч выпил облепихи. Наливка оказалась в самом деле расчудесною.

— Ну, так как же, отче?..— сказал он.— Как у вас песок-от в золото переделывают?

— Теперь у нас такого знатока нет,— отвечал игумен.— Был да годов с десяток помер. А ноне, любез-

ненькой ты мой Патап Максимыч, вот как мы делаем. Я, грешный, да еще двое из братии только и знаем про это дело. Летней порой, тайком от других, мы и сбираем сколько бог приведет песочку, да по зиме в Москву его и справляем... А на Москве есть у нас други-приятели, в этом деле силу они разумеют. Господь их ведает, какою хитростью делают они из нашего песку золото, а на нашу долю сколько его причтется, деньгами высылают... По науке, касатик ты мой, по науке до этого доходят, а мы что? Люди слепые, темные, куда нам разуметь такую силу!..

Задумался Чапурин... Обращаясь к отцу Михаилу, сказал он:

— Вот и я тоже говорю Якиму Прохорычу: прежде испытать надо, а потом за дело браться.

— Справедлива речь твоя, любезненькой ты мой,— отвечал игумен,— справедливая речь!.. «Искуси и познай», в писании сказано. Без испытания нельзя.

— Вот и думаю я съездить в город,— сказал Патап Максимыч,— там дружок у меня есть, по эвтой самой науке доточный. На царских золотых промыслах служил... Дам ему песочку, чтоб испробовал, можно ль из него золото делать.

— Что ж, съезди, съезди, любезненькой ты мой!.. Уверься!.. Не соваться же и в самом деле в воду, не спросясь броду? — говорил игумен.

Паломник с досады опять вскочил, пройдясь раза два по келье, сердито он взглянул на отца Михайла и вышел.

— А много ль, примерно, каждый год наберете вы этого песку? — спросил Патап Максимыч игумна.

— Да что наше дело! Совсем пустое,— отвечал отец Михаил.— Ино лето чуть не полпуда наберешь, а пользы всего целковых на сто, либо на полтораста получишь.

— Что так мало? — спросил Патап Максимыч.— Ведь золота пуд на плохой конец двенадцать тысяч целковых.

— Ах ты, любезненькой мой!.. Что же нам делать-то? — отвечал игумен.— Дело наше заглазное. Кто знает, много ль у них золота из пуда выходит?.. Как поверить?.. Что дадут, и зато спаси их Христос, царь небесный... А вот как бы нам с тобой да настоящие промысла завести, да дело-то бы делать не тайком, а с ве-

дома начальства, куда бы много пользы получили... Может статься, не одну бы сотню пудов чистого золота каждый год получали...

Смолк Патап Максимыч. Погрузился он в расчеты. Между тем вошел Стуколов и еще суровей взглянул на отца Михаила. Тот вздохнул тяжело, спустил на лоб камилавку и потупил глаза.

— Что же? Какое теперь будет твое решенье? — спросил у Патапа Максимыча Стуколов.

— Да я не прочь, только наперед съезжу увериться,— отвечал Патап Максимыч.

— Когда поедешь? — спросил паломник.

— Отсюда прямо,— отвечал Патап Максимыч.

Петухи запели, отец Михаил с места поднялся.

— Ахти, закалякался я с тобой, разлюбезный ты мой Патап Максимыч,— сказал он.— Слышь, вторы кочета поют, а мне к утрени надо вставать... Простите, гости дорогие, усните, успокойтесь... Отец Спиридоний все изготовил про вас: тебе, любезненькой мой Патап Максимыч, вот в этой келийке постлано, а здесь налево Якиму Прохорычу с Самсоном Михайлычем. Усни во здравие, касатик мой, а завтра, с утра, в баньку пожалуй... А что, на сон-то грядущий, мадерцы рюмочку не искушаешь ли?

Патап Максимыч с Дюковым выпили по рюмке, выпил и гостеприимный хозяин. Паломник мрачно простился с отцом Михаилом.

* * *

Крепко полюбился игумен Патапу Максимычу. Больно по нраву пришлись и его простодушное добросердечие, его на каждом шагу заметная домовитость и уменье вести хозяйство, а пуще всего то, что умеет людей отличать и почет воздавать кому следует. «На все горазд,— думал он, укладываясь спать на высоко взбитой перине.— Молебен ли справить, за чарочкой ли побеседовать... Постоянный старец!.. Надо наградить его хорошенько!»

Уверения игумна насчет золота пошатнули несколько в Патапе Максимыче сомненье, возбужденное разговорами Силантья. «Не станет же врать старец божий, не станет же душу свою ломать — не таков он человек»,— думал про себя Чапурин и решил непременно приняться

за золотое дело, только испробует купленный песок. «Сам игумен советует, а он человек обстоятельный, не то что Яким торопыга. Ему бы все тотчас вынь да положь».

В думах о ветлужских сокровищах сладко заснул Патап Максимыч, богатырский храп его скоро раздался по гостинице. Паломник и Дюков еще не спали и, заслышав храп соседа, тихонько меж собой заговорили.

— Эк его, старого хрена, дернуло! — шептал паломник.— Чем бы заверять да уговаривать, а он в город советует: «Поезжай, уверься!» Кажется, все толком писал к нему с Силантьевым сыном — так вот поди ж ты с ним... Совсем с ума выступил!

— Что ж, пущай его съездит! — молвил Дюков.

— Пущай съездит! — передразнил паломник приятеля.— А что Силантий-от продал ему? Какой у него песок-от?

— Мягонькой? — улыбнувшись, спросил Дюков.

— То-то и есть,— ответил Яким Прохорыч.— Надо дело поправлять.

— Надо,— согласился Дюков.

— Ты вот что сделай,— говорил паломник.— В баню с ним вместе ступай, подольше его задерживай, я управлюсь тем временем. Смекаешь?

— Ладно,— сказал Дюков.

— Сибирским подменю, настоящим.

— Понимаю.

— Целковых на триста отсыпать придется,— ворчал Стуколов.— Ишь оно, пустое-то мелево, чего стоит!.. Триста целковых не щепки... Поди-ка выручай потом.

— Выручишь!— сказал Дюков.

— Выручим ли с Патапа, нет ли, а завтра же я триста целковых со старого болтуна справлю... Эка язык-от не держится... Слышал?.. Ведь он чуть-чуть про картинку не брякнул...

— Да... Я, признаться, струхнул,— молвил Дюков.

— Писано было ему, старому псу, подробно все писано: и как у ворот подольше держать, и какую службу справить, и как принять, и что говорить, и про рыбную пищу писано, и про баню, про все. Прямехонько писано, чтоб, окроме золотого песку, никаких речей не заводил. А он — гляди-ка ты!

— Да,— согласился Дюков.

— Хоть бы тысчонок десять с Патапа слупить,— молвил паломник.— И за то бы можно было благодарить создателя... Ну, да утро вечера мудренее — прощай, Самсон Михайлыч.

— Спокойной ночи,— отвечал, зевая, полусонный Дюков и, повернувшись на бок, заснул.

Но паломник еще долго ворочался на тюфяке — жаль было ему расставаться с сибирским песком.

Поднялись ранехонько, на заре, часу в шестом. Только узнал игумен, что гости поднимаются, сам поспешил в гостиницу, а там отец Спиридоний уж возится вкруг самовара.

— Что, гости дорогие, каково спали-ночевали, весело ли вставали? — радушно улыбаясь, приветствовал Патапа Максимыча с товарищами отец Михаил.

— Важно спали, честный отче! — ответил Патап Максимыч.— Уж так ты нас успокоил, так уважил, что вовеки не забуду.

— Ах ты, любезненькой мой!..— говорил игумен, обнимая Патапа Максимыча.— Касатик ты мой!.. Клопы-то не искусали ли?.. Давно гостей-то не бывало, поди голодны, собаки... Да не мало ль у вас сугреву в кельето было!.. Никак студено?.. Отец Спиридоний, вели-ка мальцу печи поскорее вытопить, да чтобы скутал их вовремя, угару не напустил бы.

Молча поклонился гостиник и поспешил исполнить веление настоятеля.

— А в баньку-то? — спросил игумен Патапа Максимыча.— Уж опарили... Коли жарко любишь, теперь бы шел. Мы, грешные, за часы пойдем, а ты тем временем попарься.

По строгому монастырскому уставу, что содержится в скитах, баня не дозволяется. Мыться в бане, купаться в реке, обнажать свое тело — великий грех, а ходить век свой в грязи и всякой нечистоте — богоугодный подвиг, подъятый ради умерщвления плоти. Возненавидь тело свое, смиряй его постом, бдением, бессчетными земными поклонами, наложи на себя тяжелые вериги, веселись о каждой ране, о каждой болезни, держи себя в грязи и с радостью отдавай тело на кормление насекомым,— вот завет византийских монахов, перенесенный святошами и в нашу страну. Но не весь этот завет исполняется. Старые народные обычаи крепко держатся, и баня с вени-

ками, которым, говорят, еще апостол Андрей дивовался на Ильмени, удержалась и в пустынях, и в монастырях, несмотря на греческие проклятья. Не ходят в баню лишь те скитские жители, что самое подвижное житие провождают, да и те ину пору не могут устоять против «демонского стреляния» — парятся.

В Красноярском скиту от бани никто не отрекался, а сам игумен ждет, бывало, не дождется субботы, чтоб хорошенько пропарить грешную плоть свою. Оттого банька и была у него построена на славу: большая, светлая, просторная, с липовыми полка̀ми и лавками, менявшимися чуть не каждый год.

Узнав из письма, присланного паломником из Лукерьина, что Патапа Максимыча хоть обедом не корми, только выпарь хорошенько, отец Михаил то̀тчас послал в баню троих трудников с скобелями и рубанками и велел им как можно чище и глаже выстрогать всю баню — и полки, и лавки, и пол, и стены, чтобы вся была, как новая. Чуть не с по̀лночи жарили баню, варили щелоки, кипятили квас с мятой для распариванья веников и поддаванья на каменку.

Диву дался Патап Максимыч, войдя в баню; уважение его к отцу Михаилу удвоилось. Такой баней сроду никто не угощал его. В предбаннике на лавках высоко̀, в несколько рядов, наложены были кошмы, покрытые белыми простынями; весь пол устлан войлоками, и на них раскидано пахучее сено, крытое тоже простынями. В бане на полка̀х и на лавках настланы были обданные кипятком калуфер, мята, чабер, донник [1] и другие пахучие травы. На лавках лежали веники, стояли медные луженые тазы со щелоком и взбитым мылом, а рядом с ними большие туеса̀ [2], налитые подогретым на мяте квасом для окачивания перед тем, как лезть на полок. На особом, крытом скатертью, столике разложены были суконки, мелко расчесанные вехотки [3] и куски казанского яичного мыла.

— Сумел банькой употчевать отец игумен,— молвил Патап Максимыч дюжим бельцам, посланным его па-

---

[1] *Калуфер*, или кануфер,— balsamita vulgaris; *чабер* — satureia hortensis; *донник* — melilotus officinalis.

[2] Бурак, сделанный из бересты, с тугою деревянною крышкой.

[3] *Вехотка* — пучок расчесанного мочала. *Суконка* — лоскут сукна или байки, которым мылятся.

рить.— Вот баня так баня, хоть царю в такой париться. Ай да отец Михаил!

Две пары веников охлыстали бельцы о Патапа Максимыча, а он таял в восторге да покрикивал:

— Поддавай, поддавай еще!.. Прибавь парку, миленькие!.. У, жарко!.. Поддавай а ты, поддавай!..

И дюжие бельцы, не жалея мятного кваса, плескали на спорник[1] ту́ес за туесом и, не жалея Патапа Максимыча, изо всей силы хлыстали его как огонь жаркими вениками.

Вдруг Патап Максимыч прыгнул с полка и стремглав кинулся к дверям. Распахнув их, вылетел вон из бани и бросился в сугроб. Снег обжег раскаленное тело, и с громким гоготаньем начал Чапурин валяться по сугробу. Минуты через две вбежал назад и прямо на поло̀к.

— Хлыщи жарче, ребятушки... Поддавай, поддавай, миленькие!..— кричал он во всю мочь, и бельцы принялись хлыстать его еще пуще прежнего.

Три раза валялся в сугробе Патап Максимыч, дюжину веников охлыстали об него здоровенные бельцы, целый жбан холодного квасу выпил он, запивая банный пар, насилу-то, насилу отпарился.

И когда лег в предбаннике на разостланные кошмы, совсем умилился душой, вспоминая гостеприимного игумна.

— На все горазд отец Михаил,— говорил он Дюкову,— а уж насчет бани, просто сказать, первый человек на свете.

— Старец хороший,— чуть слышно промычал Дюков и задремал на кошме. Он тоже упарился.

Между тем как Патап Максимыч наслаждался в бане, паломник, рассчитав время, тихими стопами вышел из часовни и направился в гостиницу. Там заперся изнутри и вошел в келью, где ночевал Патап Максимыч. Порывшись в его пожитках, скоро нашел пузырек, взятый у Силантия. Стуколов поспешно его опорожнил и насыпал своим песком. Положив пузырек на прежнее место, паломник преспокойно отправился в часовню и там усердно стал перебирать лестовку, искоса взглядывая на игумна. Взоры их, наконец, встретились. Смутившийся игумен возвел очи горе́.

[1] Крупный булыжник в банной каменке; мелкий зовется «конопляником».

В келарне потрапезовали, когда Патап Максимыч с Дюковым воротились из бани. Игумен поспешил в гостиницу.

— Ну, банька же у тебя, отче!..— сказал Патап Максимыч, низко кланяясь отцу Михаилу.— Спасибо... Вот уважил, так уважил!..

— Ах ты, любезненькой мой! Ах ты, касатик мой!— восклицал игумен, обнимая Патапа Максимыча.— Уж не взыщи, Христа ради, на убогих наших недостатках... Мы ото всей души, родненький... Чем богаты, тем и рады.

— Не ложно скажу тебе, отче, сроду так не парился. Уж такая у тебя банька, такая банька, что рассказать невозможно...— говорил Патап Максимыч.

— После баньки-то выкушать надо,— молвил игумен, наливая рюмку сорокатравчатой,— да и за стол милости просим. Не взыщи только, любезненькой ты мой Патап Максимыч.

Обед был подан обильный, кушаньям счету не было. На первую перемену поставили разные пироги, постные и рыбные. Была кулебяка с пшеном и грибами, была другая с вязигой, жирами, молоками и сибирской осетриной. Кругом их, ровно малые детки вкруг родителей, стояли блюдца с разными пирогами и пряженцами. Каких тут не было!.. И кислые подовые на ореховом масле, и пряженцы с семгой, и ватрушки с грибами, и оладьи с зернистой икрой, и пироги с тельным из щуки. Управились гости с первой переменою, за вторую принялись: для постника Стуколова поставлены были лапша соковая да щи с грибами, а разрешившим пост уха из жирных ветлужских стерлядей.

— Покушай ушицы-то, любезненькой мой,— угощал отец Михаил Патапа Максимыча,— стерлядки, кажись, ничего себе, подходящие,— говорил он, кладя в тарелку дорогому гостю два огромных звена янтарной стерляди и налимьи печенки.— За ночь нарочно гонял на Ветлугу к ловцам. От нас ведь рукой подать, верст двадцать. Заходят и в нашу Усту стерлядки, да не часто... Растегайчиков к ушице-то!.. Кушайте, гости дорогие.

Отработал Патап Максимыч и ветлужскую уху и растегайчики. Потрудились и сотрапезники, не успели оглянуться, как блюдо растегаев исчезло, а в миске на донышке лежали одни стерляжьи головки.

— Винца-то, любезненькой ты мой, винца-то благослови,— потчевал игумен, наливая рюмки портвейна.— Толку-то я мало в заморских винах понимаю, а люди пили да похваливали.

Портвейн оказался в самом деле хорошим, Патап Максимыч не заставил гостеприимного хозяина много просить себя.

Новая перемена явилась на стол — блюда рассольные. Тут опять явились стерляди разварные с солеными огурцами да морковью, кроме того поставлены были осетрина холодная с хреном, да белужья тёшка с квасом и капустой, тавранчук осетрий, щука под чесноком и хреном, нельма с солеными подновскими огурцами, а постнику грибы разварные с хреном, да тертый горох с ореховым маслом, да каша соковая с маковым маслом.

За рассольной переменой были поданы жареная осетрина, лещи, начиненные грибами, и непомерной величины караси. Затем сладкий пирог с вареньем, левашники, оладьи с сотовым медом, сладкие кисели, киевское варенье, ржевская пастила и отваренные в патоке дыни, арбузы, груши и яблоки.

Такой обед закатил отец Михаил... А приготовлено все было хоть бы Никитишне впору. А наливки одна другой лучше: и вишневка, и ананасная, и поляниковка, и морошка, и царица всех наливок, благовонная сибирская облепиха [1]. А какое пиво монастырское, какие меда ставленные — чудо. Таково было «учреждение» гостям в Красноярском скиту.

Насилу перетащились от стола до постелей, Патап Максимыч, как завел глаза, так и пустил храп и свист на всю гостиницу. Отец Михей да отец Спиридоний едва в силу убрались по кельям, воссылая хвалу создателю за дарование гостя, ради которого разрешили они надокучившее сухоядение, сменили гороховую лапшу на диковинные стерляди и другие лакомые яства. Отец Михаил, угощая других, и себя не забывал. Не пошел он к себе в келью, а, кой-как дотащившись до постели паломника, заснул богатырским сном, поохав перед тем маленько и сотворив не один раз молитву: «Согреших

---

[1] *Поляника*, или княженика,— rubus arcticus; *облепиха* — hippophaë rhamnoïdes, растет только за Уральскими горами.

перед тобою, господи, чревоугодьем, пианственного пития вкушением, объядением, невоздержанием...»

Дюков тоже завалился на боковую. Один только постник Стуколов остался свежим и бодрым... Когда сотрапезники потащились к постелям, презрительно поглядел он на объевшихся, сел за стол и принялся писать.

Часа через полтора игумен и гости проснулись. Отец Спиридоний притащил огромный медный кунган с холодным игристым малиновым медом, его не замедлили опорожнить. После того отец Михаил стал показывать Патапу Максимычу скит свой...

И братские кельи и хозяйственные постройки срублены были из толстого кондового леса, а часовня, келарня и настоятельская «стая» из такой лиственницы, что ее облюбовал бы каждый строитель корабля. Все было пригнано вплотную, ничего не покосилось, ничего не выдалось ни вперед, ни назад. Не было на кельях ни вышек, ни теремков, никаких других украшений, зато глядели они богатырскими покоями. Внутри келий не было так приглядно и нарядно, как в женских скитах: большие, тяжелые столы, широкие лавки на толстых, в целое бревно ножках, изразцовые печи и деревянные столярной работы божницы в углах — вот и все внутреннее убранство. Ни зеркальца, ни картинки на стене, ни занавески, ни горшков с бальзамином и розанелью на окнах, столь обычных в Комарове и других чернораменских обителях, в заводе не было у красноярской братии. Только и было сходства с женскими скитами в опрятности и удушливом запахе ладана и восковых свеч. В сенях между кельями понастроено было несчетное число чуланов, отделявшихся не жиденькими перегородками, а толстыми мшенными срубами. И везде так широко и просторно. Не то что в келье, в каждом чулане с привольем могла бы поместиться любая крестьянская семья из степных, безлесных наших губерний.

У отца Михаила заведен был особый порядок: общежитие шло наряду с собственным хозяйством старцев. И монахи и бельцы получали от обители пищу и одежду, но каждый имел и свои деньги. На эти деньги и ели послаще в своих кельях и платья носили получше того, какое каждый год раздавал им казначей. Большею частью старцы божьи изводили свои денежки на «утешение», то есть на чай да на хмельное и разные к нему

закуски. Редкий день, бывало, пройдет, чтоб честные отцы не сбирались у кого-нибудь вкупе: чайку попить, пображничать да от писания побеседовать; а праздник придет, у игумна утешаются, либо у казначея. Так и коротали дни свои небесные ангелы, земные же человеки, проводя время то на молитве, то на работе, то за утешением. Монастырь был богатый, и братия весело поживала во всяком довольстве и даже избытке.

На конный двор пошли, там стояли лошади рослые, жирные, откормленные, шерсть на них так и лоснится. Сыплют им овса, задают сено без счета, без меры, зато и кони были не чета деревенским мужичьим клячам, слоны слонами. На что хороши разгонные лошади у Патапа Максимыча, да нет, далеко им до игуменских. Заглянули в сараи, там телеги здоровенные, кибитки с кожаными верхами и юфтовыми за̀понами, казанские тарантасы, и все это на железных осях с шинами в два пальца толщиной, все таково крепко да плотно сработано и все такое новое, ровно сегодня из мастерской... Отправились на скотный двор, там десятка четыре рослых, жирных холмогорских коров, любо-дорого посмотреть, каждая корова тамбовской барыней смотрит. А на птичном дворе куры всех возможных пород, от великанов голландок до крошек шпанок. В особом помещенье содержались гуси, утки, индейки, цесарки, это уж так, для охоты и ради «утешения» мирских гостей, посещавших честную обитель во время мясоедов.

В работные кельи зашли, там на монастырской обиход всякое дело делают: в одной келье столярничают и точат, в другой бондарь работает, в третьей слесарня устроена, в четвертой иконописцы пишут, а там пекарня, за ней квасная. В стороне кузница поставлена. И везде кипит безустанная работа на обительскую потребу, а иное что и на продажу... Еще была мастерская у отца Михаила, только он ее не показал.

— Домовитый же ты хозяин, отец Михаил,— сказал Патап Максимыч, возвращаясь в гостиницу.— К тебе учиться ездить нашему брату.

— Ох ты, любезненькой мой! — восклицал игумен.— Какой ты, право! Уж куда тебе у нашего брата, убогого черица, учиться. Это ты так только ради любви говоришь... Конечно, живем под святым покровом владычицы, нужды по милости христолюбцев, наших благо-

детелей, не терпим, а чтоб учиться тебе у нас хозяйствовать, это ты напрасное слово молвил.

— Не обык я зря, с ветру говорить, отец Михаил,— резко подхватил Патап Максимыч.— Коли говорю — значит, дело говорю.

— Ну, ну, касатик ты мой! — ублажал его игумен, заметив подавленную вспышку недовольства.— Ну, Христос с тобой... На утешительном слове благодарим.

И низко-пренизко поклонился Патапу Максимычу.

— Живет у меня молодой парень, на все дела руки у него золотые,— спокойным голосом продолжал Патап Максимыч.— Приказчиком его сделал по токарням, отчасти по хозяйству. Больно приглянулся он мне — башка разумная. А я стар становлюсь, сыновьями господь не благословил, помощников нет, вот и хочу я этому самому приказчику не вдруг, а так, знаешь, исподволь, помаленьку домовое хозяйство на руки сдать... А там что бог даст...

— Что ж, дело доброе, коли человек надежный. Облегчение от трудов получишь, болезный ты мой,— говорил отец Михаил.

— Надежный человек,— молвил Патап Максимыч.— А говорю это тебе, отче, к тому, что, если бог даст, уверюсь я в нашем деле, так я этого самого Алексея к тебе с известьем пришлю. Он про это дело знает, перед ним не таись. А как будет он у тебя в монастыре, покажи ты ему все свое хозяйство, поучи парня-то... И ему пригодится, и мне на пользу будет.

— Ладно, хорошо, любезненькой ты мой, все покажу, обо всяком деле расскажу,— отвечал игумен.— Что ж, как ты располагаешься?.. В город отсюда?

— Сегодня же в город,— сказал Патап Максимыч.

— Погости у нас, убогих, гость нежданный да желанный, побудь с нами денек-другой, дай наглядеться на тебя, любезненькой ты мой,— уговаривал отец Михаил.

Но Патап Максимыч не внимал уговорам и велел запрягать лошадей.

На расставанье написал он записочку и подал ее отцу Михаилу.

— Пошли ты, отче, с этой запиской работника ко мне в Красную рамень на мельницу,— сказал он,— там ему отпустят десять мешков крупчатки... Это честнóй братии ко Христову дню на куличи, а вот это на сыр да на красные яйца.

И вручил отцу Михаилу четыре сотенных.

— Ах ты, любезненькой мой!.. Ах ты, кормилец наш! — восклицал отец Михаил, обнимая Патапа Максимыча и целуя его в плечи.— Пошли тебе, господи, доброго здоровья и успеха во всех делах твоих за то, что памятуешь сира и убога... Ах ты, касатик мой!.. Да что это, право, мало ты погостил у нас. Проглянул, как молодой месяц, глядь, ан уж и нет его.

— Нельзя, отче, нельзя, пора мне, и то замешкался... Дома есть нужные дела,— отвечал Патап Максимыч.

— Не забудь же нас, убогих, не покинь святую обитель... Ох ты, любезненькой мой!.. Постой-ка, я на дорогу бутылочку тебе в сани-то положу... Эй!.. отец Спиридоний!.. Положи-ка в кулечек облепихи бутылочки две либо три, полюбилась давеча она благодетелю-то, да поляниковки положь, да морошки.

— Напрасно, отче, право, напрасно,— отговаривался Патап Максимыч, но должен был принять напутственные дары отца игумна.

Паломник с утра еще жаловался, что ему нездоровится. За обедом почти ничего не ел и вовсе не пил. Когда отец Михаил водил Патапа Максимыча по скиту, он прилег, а теперь слабым, едва слышным голосом уверял Патапа Максимыча, что совсем разнемогся: головы не может поднять.

— Поезжай ты в город с Самсоном Михайлычем,— говорил он,— а я здесь, бог даст, пообмогусь как-нибудь... Авось эта хворь не к великой болезни.

— Да как же мы без тебя, Яким Прохорыч?..— заговорил было Патап Максимыч.— С тобой-то бы лучше, ты бы и сам уверился... Дело-то было бы тогда без всякого сумнения.

— И теперь знаю, что оно безо всякого сумнения, ты ведь только Фома неверный,— сказал Стуколов.— Нет, не поеду... не смогу ехать, головушки не поднять... Ох!.. Так и горит на сердце, а в голову ровно молотом бьет.

— Когда ж свидимся? — спросил Патап Максимыч.

— Да уж, видно, надо будет в Осиповку приехать к тебе,— со стонами отвечал Стуколов.— Коли господь поднимет, праздник-от я у отца Михаила возьму... Ох!.. Господи, помилуй!.. Стрельба-то какая!.. Хворому

человеку как теперь по распутице ехать?... Ох... Заступнице усердная!.. А там на Фоминой к тебе буду... Ох!.. Уксусу бы мне, что ли, к голове-то либо капустки кочанной?

Отец Спиридоний и уксусу и кочанной капусты принес. Стуколову обложили голову, но он начинал бредить, заговорил об Опоньском царстве, об Египте, о Белой Кринице.

— Эка бедняга! как его размочалило. Гляди-ка-сь,— тужил, стоя, Патап Максимыч.

Делать нечего, поехал с одним Дюковым.

Отец игумен со всею братией соборне провожал нового монастырского благодетеля. Сначала в часовню пошли, там канон в путь шествующих справили, а оттуда до ворот шли пеши. За воротами еще раз перепрощался Патап Максимыч с отцом Михаилом и со старшими иноками. Напутствуемый громкими благословеньями старцев и громким лаем бросавшихся за повозками монастырских псов, резво покатил он по знакомой уже дорожке.

* * *

Проводив гостя, отец Михаил пошел в гостиницу к разболевшемуся паломнику.

— Ах ты, старый дурак! — вскричал больной, вскочив с места и швырнув с головы капусту.— И речью говорено тебе, и на письме тебе писано, а ты, кисельная твоя голова, что наделал?.. А?..

— Что ж я такого наделал, Якимушка?.. Кажись, дело-то клеится,— трусливо говорил отец Михаил.

— Клеится! — передразнил игумна Стуколов.— Клеится! Шайтан, что ли, тебе в уши-то дунул уговаривать его в город ехать? Для того разве я приводил его? Ах ты, безумный, безумный, шитая твоя рожа, вязаный нос!

— Да что ж ты ругаешься, Якимушка?.. Ведь он и без того хотел в город ехать,— оправдывался игумен.— Как же бы я перечить-то стал ему, сам рассуди.

— Твое дело было уверять его, тебе надо было говорить, что в город не́ по что ездить... А ты что̀ понес?.. Эх ты, фофан, в землю вкопан!.. Ну если б он сунулся в город с Силантьевским-то песком? Сам знаешь, каков он... Пропали б тогда все мои труды и хлопоты.

— Прости, Христа ради,— отвечал отец Михаил.— Признаться, этого мне и на ум не вспадало.

— То-то и есть. На ум ему не вспадало. Эх ты, сосновая голова, а еще игумен!.. Поглядеть на тебя с бороды, как есть Авраам, а на деле сосновый чурбан,— продолжал браниться паломник.— Знаешь ли ты, старый хрыч, что твоя болтовня, худо-худо, мне в триста серебром обошлась?.. Да эти деньги у меня, брат, не пропащие, ты мне их вынь да положь... Много ли дал Патап на яйца?.. Подавай сюда...

— Да ты постой, погоди, не сбивай меня с толку,— молил отец Михаил, отмахиваясь рукой.— Скажи путем, про какие ты деньги поминаешь?..

— Как бы ты ему не советовал в город ехать, он бы не вздумал этого,— сказал Стуколов.— Чапурин совсем в тебе уверился, стоило тебе слово сказать, ни за что бы он не поехал... А ты околесную понес... Да чуть было и про то дело не проболтался... Не толкни я тебя, ты бы так все ему и выложил... Эх ты, ворона!..

Творя шепотом молитву и перебирая лестовку, смиренно слушал отец Михаил брань и попреки паломника. По всему видно было, что он уж не хозяин, а безответный раб Стуколова.

— Про какие же деньги ты спрашиваешь, Якимушка? — робко спросил он.— Кажись, мы с тобою в расчете...

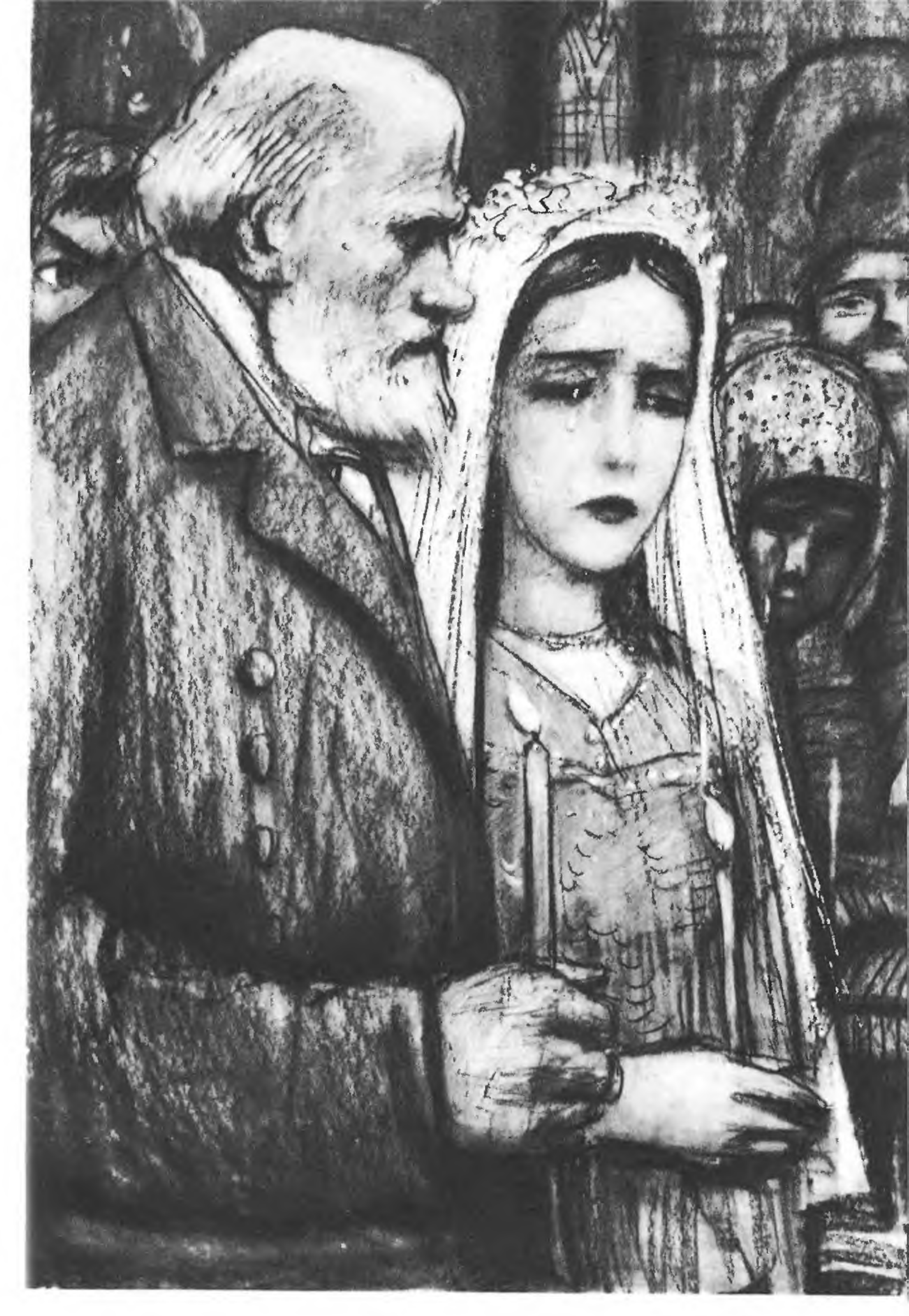
— Силантьев песок подменить надо было... Понял?.. Покаместь Чапурин парился, я ему сибирского на триста целковых засыпал.

— Ловко же спроворил ты, Якимушка,— с довольной улыбкой ответил игумен.— Подай тебе, господи, доброго здоровья...

— Деньги подай,— протягивая руку, сказал Стуколов.— Для того и хворым прикинулся я, для того и остался здесь, чтобы кровные денежки мои не пропали... Триста целковых!..

— Да как же это, Якимушка?.. За что ж мне платить, касатик?.. Полно, любезненькой мой,— лебезил перед паломником отец Михаил.

— Жалких речей на меня не трать,— сухо ответил ему Стуколов.— Слава богу, не вечор друг дружку спознали... Деньги давай!.. Ты наболтал, ты и в ответе.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Глава IV

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Глава V

— Ну, так и быть, грех пополам — бери полтораста, Якимушка,— сказал отец Михаил.

— А ты узоров-то не разводи!.. Сам знаешь цену сибирскому песку. Сказано триста, и дело с концом,— решительно отвечал Стуколов.— Спорить со мной не годится.

— Да уступи сколько-нибудь, возьми хоть две сотенных,— торговался игумен.

— Деньги! — крикнул паломник, схватив его за руку.

— Ну, двести пятьдесят,— молил игумен, жалобно глядя на Стуколова.

— Говорят тебе, деньги! — на всю гостиницу крикнул паломник.

Дрогнул отец Михаил, отсчитал из денег, данных Патапом Максимычем, триста целковых и подал их Стуколову. Тот, не торопясь, вынул из кармана истасканный кожаный бумажник и спрятал их туда.

— Теперь о деле потолкуем,— сказал он спокойным голосом, садясь на кресло.— Садись, отче!

Игумен сел и опустил голову.

— С моим песком Чапурин уверится,— начал паломник.— Этот песок хоть на монетный двор — настоящий. Уверившись, Чапурин бумагу подпишет, три тысячи на ассигнации выдаст мне. Недели через три после того надо ему тысяч на шесть ассигнациями настоящего песку показать,— вот, мол, на твою долю сколько выручено. Тогда он пятидесяти тысяч целковых не пожалеет... Понял?

— Дальше-то что же? — спросил игумен.

— Чать, не впервóй,— ответил паломник.

— Опасно, Якимушка, боязно. Чапурин — не кто другой. Со всяким начальством знаком, к губернатору вхож... Не погубить бы нам себя,— говорил игумен.

— Обработаем — бог милостив,— сказал на то Стуколов.

— Разве насчет картинок? [1] Тут бы смирно сидел? — прищурясь, молвил игумен.

— На картинки не пойдет. Об этом и поминать нечего,— отвечал решительно Стуколов.— Много ль у тебя земляного-то масла?

---

[1] Фальшивые ассигнации.

— Немного наберется,— отвечал игумен.— К масленице осетров привезли — полфунта не нашлось.

— Ожидаешь еще?

— К празднику обещались.

— Сколько?

— Верно сказать не могу,— отвечал игумен.— С сибиряками-то в последний раз я еще у Макарья виделся; обещали зà зиму фунтов пяток переслать, да вот что-то не шлют.

— По крайности шесть фунтов надо Чапурину предоставить,— раздумывал Стуколов.

— У Дюкова, может, есть?..— сказал отец Михаил.

— Ни зернышка,— отвечал паломник.

— Здешним досыпать?

— Что пустяки-то городить!.. Хлопочи, на Фоминой бы шесть фунтов сибирского было... А теперь ступай. К вечеру подводу наряди!..

— Куда ж ты? — спросил игумен.

— А тебе что за дело? — сказал паломник.— Ступай с богом, не мешай. Мне надо еще письмо дописать.

Отец Михаил помолился на иконы, низко поклонился сидевшему паломнику и пошел было из гостиной кельи. Стуколов воротил его с полдороги.

— Картинок много? — спросил он.

— Есть,— шепотом ответил отец Михаил.

— Много ль?

— Синих на две тысячи, красных на три с половиной...

— Что лениво стал работàть? — слегка усмехнувшись, молвил паломник.

— Боязно, Якимушка,— прошептал игумен, наклонясь к самому уху Стуколова.— Наезды пошли частые: намедни исправник двое суток выжил, становой приезжал... Долго ль до беды?..

— Чать, не каждый день наезжают, а запоры у тебя крепкие, собаки злые — больно-то трусить, кажись бы, нечего... Давай красных, за каждую сотню по двадцати рублев «романовскими» [1].

— По тридцати намедни платили,— молвил игумен.

— Была цена, стала другая. Неси скорей, получай семьсот рублей государевых,— сказал Стуколов.

---

[1] Так фальшивые монетчики зовут настоящие ассигнации, по родовой фамилии государя.

— Обидно будет, Яким Прохорыч, право, обидно. Никогда такой цены не бывало.

— Мало ль чего прежде не бывало,— подхватил Стуколов.— Прежде в монастырях и картинок не писали, а ноне вот пишут. Всякому дневи довлеет злоба его.

— Прикинь хошь пять рубликов,— жалобно просил отец Михаил.

— Сказано двадцать, копейки не прикину.

— Ну, три рублевика!

— Ах, отче, отче,— покачивая головой, сказал отцу Михаилу паломник.— Люди говорят — человек ты умный, на свете живешь довольно, а того не разумеешь, что на твоем товаре торговаться тебе не приходится. Ну, не возьму я твоих картинок, кому сбудешь?.. Не на базар везти!.. Бери да не хнычь... По рублику пристегну беззубому на орехи... Неси скорее.

— По два бы прибавил, касатик,— клянчил игумен.— Любезненькой ты мой!.. Право, обидно!

— Не ври, отче, надоел,— неси скорее.

— А синих не надо? — спросил отец Михаил.

— Синих не надо.

— Что так? Взял бы уж заодно.

— Синих не надо,— стоял на своем паломник.

— Не все ль одно? Взял бы уж и синие. Я бы по двадцати отдал.

— Копейки не дам,— решительно сказал Стуколов.

— Да чем же они тебе стали противны? Кажись, картинки хорошие,— уговаривал игумен.

— То-то и есть, что не хорошие,— подхватил Стуколов.— Слепой увидит, какого завода. Тебе бы лучше их вовсе не тяпать. Не ровен час, влопаешься.

— Сбывали же прежде, Якимушка,— молвил игумен.— Авось, бог милостив, и теперь сбудем... Дай хоть по восьмнадцати.

— И в руки такую дрянь не возьму,— отвечал паломник.— Погляди-ка на орла-то — хорош вышел, нечего сказать!.. Курица, не орел, да еще одно крыло меньше другого... Мой совет: спусти-ка ты до греха весь пятирублевый струмент в Усту, кое место поглубже. Право...

— Пожалуй, что и так,— согласился игумен.— А последышки-то взял бы, родной, право... Не обидь стари-

ка, Якимушка... Так уж и быть, бери по пятнадцати романовских.

— Не надо... Неси красные...

Замялся игумен на месте, но Стуколов так на него крикнул, что тот почти бегом побежал из гостиницы.

Минут через пять отец Михаил принес красные картинки и получил от паломника семьсот рублей. Долго опытный глаз игумена рассматривал на свет каждую бумажку, мял между пальцами и оглядывал со всех сторон.

Яким Прохорыч уселся дописывать письмо.

Переглядев бумажки, игумен заговорил было с паломником, назвал его и любезненьким и касатиком; но касатик, не поднимая головы, махнул рукой, и среброкудрый Михаил побрел из кельи на цыпочках, а в сенях строго-настрого наказал отцу Спиридонию самому не входить и никого не пускать в гостиную келью, не помешать бы Якиму Прохорычу.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Приятель, к которому из Красноярского скита проехал Патап Максимыч, был отставной горный чиновник Колышкин. Громко и честно держалось на Волге имя его. Два парохода у него бегало, с Низу пшеницу до Рыбинска возили. Славно бегали, а лучше того зарабатывали. Не то что какие-нибудь одиночные пароходчики,— общества, компании завидовали делам Сергея Андреича. Те, сердечные, бывало, бьются на пристанях чуть не до водополи, закликают кладчиков, задают пшеничникам дорогие обеды, дюжинами ставят перед ними отборные вина, проигрывают им в трынку да в горку, а Сергей Андреич лежит себе на диване да сигаркой попыхивает. Еще с середки зимы у него ни забот, ни хлопот, на все путины клади готовы и условия подписаны. Как же пароходчикам не завидовать Колышкину, как не стараться ему ножку подставить?.. Дело известное: сча́стливым быть — всем досадить... А Сергей Андреич будто не замечает, что глядят на него не дружески, смешками да шутками ото всякого норовит отойти... А чтоб кто Сергею Андреичу повредил хоть какою малостью, того не случалось. Охота вредить была, да спорыньи не было...

Душевный человек был этот Сергей Андреич. Где он — там и смех и веселье, вон из беседы — хмара на всех... Любил шутку сшутить, людей посмешить, себя позабавить. А кто людей веселит, за того свет стоит... И любили его, особливо простой народ.

С рабочими был строг: всяко лыко у него в строку. Зорко на дело глядел: малости не спускал. Ни прогула, ни беспорядка, бывало, не простит, зато ко всем справедлив был. И рвались же к нему на службу, а кто попал, тот за хозяина и за его добро рад бывал и в огонь и в воду. Тем люб был простонародью Сергей Андреич, что не было в нем ни спеси, ни чванства, ни гордости... Другой, наживя богатство, вздуется, как тесто на опаре... близко не подходи: шагает журавлем, глядит козырем и, кроме своего же брата богатея, знать никого не хочет. Сергей Андреич был не таков... Приди к нему в обеденный час хоть самый последний кочегар — честь ему и место, хоть тут губернатор сиди. Говорили Колышкину приятели: зачем так делает, хороших людей обижает, сажая за один стол со всякою чернотой да мелкотой. «До бога нам далеко,— ответит, бывало, Сергей Андреич.— Верстаться с господом персти земной не приходится, а у него, света, за небесной трапезой иной нищий выше царей сидит... А я-то что?.. Знатней богато, что ли?.. Аль родом-породой выше его?.. Нет, братцы, сам я не княжой, не дворянской крови, сам из мужиков... Родитель мой на заводе в засыпках[1] жил, так мне гордиться чем стать?» Дивовались Сергею Андреичу, за углом подсмеивались, в глаза никогда... Да и совестно было смеяться, глядя на его голубые, лучистые глаза, что искрились умом, горели добром и сияли божьею правдой...

Родом с Урала был. На одном из тамошних горных заводов родитель его крепостным мастером значился. Сызмала дó смерти кержачил он[2]. Человек был домовитый, залежна копейка у него водилась, хоть и не гораздо большая. Была у Андрея Колышкина жена добрая,

---

[1] Засыпкой на горных заводах зовется рабочий, что в доменную печь «товар» (уголь, флюс, руду и толченый доменный сок) засыпает.

[2] *Кержачить* — в Пермской губернии значит раскольничать, кержак — раскольник. Это слово произошло от того, что первые раскольники, поселившиеся на Урале (в дачах Демидовских заводов) в первых годах XVIII века, пришли с Керженца.

смиренная, по хозяйству заботная; Анной звали, был сын Сергей да дочка Маринушка... Жили себе Колышкины тихо да ладно, бога хваля, ближнего любя. И промаячили бы век свой на заводе, если б юркость да затейность Сережи не повернули вверх дном всю ихнюю жизнь.

Шустрый мальчонок рос, сметливый, догадливый, развеселый такой. Десяти лет ему не минуло, и он уж все заводские песни знал наизусть, так и заливается, бывало, звонким голоском на запóльных[1] хороводах. Сереже семь лет минуло, и отец, помолясь пророку Науму, чтоб отрока Сергея на ум наставил, дал ему в руки букварь да указку и принялся учить его грамоте. По вечерам, как родитель, бывало, с домны аль с вагранки[2] домой воротится, долбит перед ним Сережа: «Аз, ангел, ангельский, архангел, архангельский», а утром тихонько от матери бежит в заводское училище, куда родители его не пускали, потому что кержачили... и думали, что училище то бусурманское. Там-де учат бритоусы да еще по гражданской грамоте, а гражданская грамота святыми отцами неблагословенная, пошла в мир от антихриста. Опять же в заводском училище цыфирной мудрости учат, а цыфирь — наука богоотводная... Так судили-рядили Сережины отец с матерью, а он бегает себе да бегает в училище, а чему там учится, от родителей держит в тайне...

Не дошел старик Колышкин с сыном до «свят, святитель», а тот уже по тóлкам и по титлам читает. Засадил за часослов, а он перву кафизму так и режет... Диву засыпка дался, что за сын такой у него уродился! Десяти годов нет, а он псалтырь так и дерет, хоть по мертвым читать посылай. «Мал малышок — а мудрые пути в себе кажет...» — думает отец. Дал ему минею месячную, дал минею цветную — Сереже все нипочем... Чему еще учить?.. Одиннадцати годов нет, а мальчуган всю кержацкую мудрость произошел... И учиться больше нечему... «И откуда мне сие? — раздумывает старик.— Уж не в сем ли отрочати чаяние нашей благоче-

---

[1] Запольными хороводами зовутся те, что бывают вне завода (селения при заводах зовут заводами же). Запольем зовется на Урале недальнее поле.

[2] *Домна* — большая чугуноплавильная печь. Вагранкой называется малая чугунолитейная печь.

стной веры лежит? Не от моего ль рождения глас вещания произыдет, не от него ль последует утверждение старой веры отцов наших?»

А между тем Сережа, играючи с ребятами, то меленку-ветрянку из лутошек сострoит, то круподерку либо толчею сладит, и все как надо быть: и меленка у него мелет, круподерка зерно дерет, толчея семя на сбойну бьет. Сводил его отец в шахту[1], он и шахту стал на завалинке рыть.

В то время из чужих краев приезжал на завод его владелец. Летним вечером, проходя мимо дома Колышкиных, заметил он мальчугана, копавшегося под окнами. Это Сережа шахту закладывал. Полюбилось это барину, понравилась и юркость мальчика, его светлый, умный взор. Разговорился он с Сережей, и вспало на мысль ему, что из засыпкина сына может он сделать знаменитого человека, другого Ломоносова — стоит только наукам его обучить. Наутро старика Колышкина в контору позвали, вольную для сына выдали и приказ объявили: снаряжать его для о́тправки в Питер с золотухой[2].

День-деньской без шапки, мрачно понурив голову, простоял засыпка под барскими окнами, с утра до́ вечера возле него выла и голосила Анна, Сережина мать. Барин остался непреклонным. Завидев его, Анна ринулась ниц и, судорожно охватив за̀ ноги барина, зачала причитать отчаянным, нечеловеческим голосом. Барин очень удивился, но не мог понять материнского вопля; по-русски не больно горазд был... А мать молила его, заклинала всеми святыми не басурманить ее рождения, не поганить безгрешную душу непорочного отрока нечестивым ученьем, что от бога отводит, к бесом же на погубу приводит... Насилу оттащили... Не обошлось без пинков и потасовки, а когда старик хотел отнять жену у десятских, и ему велено было десятка два засыпать... Столь горячо радел заводский барин о насаждении наук в России. Взглядывая на озлобленные глаза засыпки, на раскосмаченную Анну и плакавшего навзрыд Сережу, утешал он мальчика сладкими речами, подарил ему парижских конфет и мнил о себе, что самому Петру Великому будет он в вёрсту, что он прямой продолжатель

[1] Колодезь для добывания руд.

[2] Обоз (транспорт) с золотом, серебром и драгоценными камнями, отправляемый раза по два в год.

славных его деяний — ввожу, дескать, разума свет в темный дикий народ.

Ранним утром другого дня тронулась с завода золотуха. Сережу увезли. К вечеру старик Колышкин с женой и четырнадцатилетнею Маринушкой без вести пропали...

Меж тем заводский барин, убоясь русской стужи, убрался в чужие края, на теплые воды, забыв про петровскую свою работу и про маленького Колышкина. Забыл бы и Русь, да не мог: из недр ее зябкий барин получал свои доходы.

Попав на дорогу, Сережа с пути не свернул. Вышел из него человек умный, сильный духом, работящий. Кончив учение, поступил он на службу на сибирские казенные заводы, а потом работал на золотых промыслах одной богатой компании.

Проезжая в Сибирь, целый месяц Сергей Андреич прожил на родном Урале... Про отца с матерью все разведывал: куда делись, что с ними сталось... Но ровно вихрем снесло с людей память про Колышкиных.

Потужил Сергей Андреич, что не привел его бог поклониться сединам родительским, поплакать на иссохшей груди матери, приветить любовью сестру родимую, и поехал на старое пепелище, на родной завод — хоть взглянуть на места, где протекло детство его...

И на заводе про его стариков ни слуху, ни духу. Не нашел Сергей Андреич и дома, где родился он, где познал первые ласки матери, где явилось в душе его первое сознание бытия... На месте старого домика стоял высокий каменный дом. Из раскрытых окон его неслись песни, звуки торбана, дикие клики пьяной гульбы... Вверх дном поворотило душу Сергея Андреича, бежал он от трактира и тотчас же уехал из завода.

В Сибири Колышкин работал умно, неустанно и откладывал из трудовых денег копейку на черный день. Но не мимо пословица молвится: «От трудов праведных не наживешь палат каменных»... Свековать бы в денно-нощных трудах Сергею Андреичу, если б нежданно-негаданно не повернула его судьба на иной путь. Вспомнили про сынка родители, за гробом его вспомнили.

Как-то раз зимним вечером сидел Колышкин один в своей рабочей комнате, тишина была мертвая, только из соседней горницы раздавались мерные удары маятника... Вдруг кто-то кашлянул сзади него. Обернулся Сергей Андреич — видит старика в длиннополой, осыпанной снегом сибирке с заиндевелой от мороза густой бородой. У него в руках сундучок тагильского дела[1], окованный росписною жестью.

— Что тебе? — с места вскочив, спросил старика Колышкин.

— До твоей милости, Сергей Андреич,— хриплым, едва слышным голосом отвечал старик.

— Кто ты, откуда?

— Странник о Христе Исусе,— отозвался неведомый гость.— Посылочку принес,— прибавил он, ставя перед Колышкиным сундучок и возле него ключ.

— От кого? — спросил Сергей Андреич.

— Из лесов,— отвечал странник.

— Из каких лесов?.. От кого?..— спрашивал Колышкин, а сам, наклонясь, стал рассматривать сундучок.

Ответа не было. Оглянулся Сергей Андреич, странника след простыл. Ни на дворе, ни на улице не нашли его. Прислуга Колышкина не видела даже, ни как он в дом вошел, ни как вышел.

Отпер сундучок Сергей Андреич. В нем сверток и письмо, писанное уставом.

Стал читать:

«Его благородию господину Сергею Андреичу Колышкину грешного инока Серапиона землекасательное поклонение с пожеланием доброго здравия и всякого земного благополучия. За известие даем вашему благородию, что мимошедшего септеврия в седьмый день проживавший в нашем убогом братстве более тринадцати годов инок схимник Агапит от сея временныя жизни в вечныя кровы преселися... А отходя сего света, заповедал мне, недостойному, молитися о нем, к вашему благородию, яко сыну по плоти, справить сию посылку. Засим, прекратя письмо сие, остаемся доброжелате-

---

[1] В Тагиле (Верхотурского уезда) делают железные подносы и сундуки из кедрового дерева, обивают железом или жестью, раскрашивают яркими красками и кроют прочным лаком. Эти произведения зовутся «тагильским делом».

ли вашего благородия, грешный инок Серапион с братиею».

Ни числа, ни месяца, ни места, откуда письмо.

В свертке лежало пятнадцать тысяч рублей. Шесть тысяч были завернуты в особую бумажку, с надписью: «лета 7343, иулия в 21 день преставися инокиня Агния... Лета 7345, януария 15 дня преставися девица Марина».

Только!.. Вот и все вести, полученные Сергеем Андреичем от отца с матерью, от любимой сестры Маринушки. Много воды утекло с той поры, как оторвали его от родной семьи, лет пятнадцать и больше не видался он со сродниками, давно привык к одиночеству, но, когда прочитал письмо Серапиона и записочку на свертке, в сердце у него захолонуло, и божий мир пустым показался... Кровь не вода.

Где, в каких лесах, в каких пустынях дожили свой век старики?.. В каких обителях вечный сон смежил их очи? На склоне ли Уральских гор, в пу́стынях ли Невьянских и Тагильских, иль между Осинскими сходцами[1], иль на славном по всему старообрядству Иргизе, или в лесах Керженских-Чернораменских?.. Никому не узнать!.. Далеко́ и в ширь и в даль раскинулась земля Святорусская... Кто изочтет в ней дебри, леса и пустыни? Кто изведал в ней все «сокровенные места», где живут и долго еще будут жить «люди под скрытием», кинувшие постылую родину «сходцы», доживающие век свой в незнаемых миру дебрях, вдали от людей, от больших городов и селений? Разве вольный ветер, что̀ летает о́т моря до́ моря, да солнце ясное знают про все места сокровенные!.. Да, они только ведали, где кончили жизнь старики Колышкины...

Но отчего же они, посылая единородному сыну наследство, не послали ему ни приветного слова, ни родительской ласки, ни даже благословенья?.. Понимал это Сергей Андреич... Схимнику Агапиту, инокине Агнии горный чиновник был чуж-человек. Не рознь сословия — рознь веры разлучила стариков с любимым сыном... Суров, жесток завет старообрядский: «не подоба-

---

[1] Так на востоке Европейской России в Сибири зовут выходцев из разных губерний, поселившихся в обширных, не изведанных еще лесах. Они живут не только в разбросанных по лесу зимницах и кельях, но иногда целыми деревеньками, не зная ни ревизий, ни податей и никаких повинностей.

ет родительское благословение преподати сыну никонианину». Коротенькой запиской отец с матерью как будто говорили Сергею Андреичу: «Прими от родивших тебя тленное земное наследие, но за гробом нет тебе части с нами.— И блудник, и тать, и убийца наследуют жизнь вечную, еретика же самая кровь мученическая очистить не может. Нет тебе части с нами... Кое убо общение Христу с Велиаром?» Такие жестокие понятия казались бы несовместными с добродушием мягкосердого, любвеобильного нашего народа. Русскому человеку нет ничего на свете дороже любви родительской, нет ничего краше семейного лада... Откуда ж взялась такая жестокость, столь обычная между старообрядцами?.. Из чужих краев она принесена, чуждыми учителями на Русь навеяна... Бессердечные византийцы, суровые слагатели отшельнических уставов, дышащие злобой обличители еретичества древних лет, мертвящими буквами своих писаний навеяли на нашу добрую страну тлетворный дух ненависти... Лукавый дух злобы под видом светлого благочестия успел проникнуть даже в такую крепкую, в такую твердую и любительную семейную среду, какова русская... Сильна была Византия коварством, лестью да хитростью... «Суть же Греци льстиви даже до сего дни»,— давно сказано и верно сказано первым русским писателем. Только за то и спасибо Византии, что по ее милости Русская земля с римским папой не зналась...

* * *

Прошел год-другой после получения наследства. Сергей Андреич живет не по-прежнему, он был уж человек с достатком и вошел в паи по золотым приискам... Счастье повезло ему... В тайгах нашлись богатые россыпи, и он, как участник в деле, в короткое время стал богачом... Его товарищи по золотому делу были все кабацкие богатыри, набившие карманы спаиваньем народа смесью водки с водою и дурманом... Не лежало к этим людям сердце Сергея Андреича, стал он смотреть, как бы подобру-поздорову да прочь от них... Раскольничья кровь заговорила... Известно, что во все времена винных откупов ни один раскольник (а межу ними много богачей) не осквернил рук прибытком от народной порчи. Был один... но того старообрядцы считали за прокаженного.

Женился Сергей Андреич на дочери кяхтинского «компанейщика» и, взяв за женой ценное приданое, отошел от кабацких витязей. Наскучила ему угрюмая Сибирь, выехал в Россию, поселился на привольных берегах широкой Волги и занялся торговыми делами больше по казенным подрядам.

К торговому делу был он охоч, да не больно горазд. Приехал на Волгу добра наживать, пришлось залежные деньги проживать. Не пошли ему господь доброго человека, ухнули б у Сергея Андреича и родительское наследство, и трудом да удачей нажитые деньги, и приданое, женой принесенное. Все бы в одну яму.

Тот добрый человек был Патап Максимыч Чапурин. Спознал он Сергея Андреича, видит — человек хороший, добрый, да хоть ретив и умен — а взялся не за свое дело, оттого оно у него не клеится и вон из рук валится. Жалко стало ему бессчастного Колышкина и вывел он его из темной трущобы на широкую дорогу.

— Наплюй ты, Сергей Андреич, на эти анафемские подряды, послушай меня, старого торговца́,— говорил Патап Максимыч.— Не ради себя, ради махоньких деток своих послушайся, не пусти ты их с сумой под о̀конья... Верь моему слову: года не минёт, как взвоет у тебя мошна — и вон из кармана пойдет... Тебе ли, друг, с казенными подрядами вожжаться?.. Тут, милый человек, надо плутом быть, а коль не быть плутом, так всякое плутовство знать до ниточки, чтобы самого не оплели, не пустили бы по̀ миру. Кинь, ради Христа, подряды... Хоть убытки понесешь — наплевать, развяжись только с этим проклятым делом скорей... Знаю я его вдоль и поперек... Испробовал!.. А вот построй-ка ты лучше пароходишко, это будет тебе с руки, на этом деле не сорвешься. Право, так.

Послушался Колышкин, бросил подряды, купил пароход. Патап Максимыч на первых порах учил его распорядкам, приискал ему хорошего капитана, приказчиков, водоливов, лоцмано̀в, свел с кладчиками; сам даже давал клади на его пароход, хоть и было ему на чем возить добро свое... С легкой руки Чапурина разжился Колышкин лучше прежнего. Года через два покрыл неустойку за неисполненный подряд и воротил убытки...

Прошло еще три года, у Колышкина по Волге два парохода стало бегать.

Толстый, дородный, цветущий здоровьем и житейским довольством, Сергей Андреич сидел, развалившись в широких, покойных креслах, читая письма пароходных приказчиков, когда сказали ему о приходе Чапурина. Бросив недочитанные письма, резвым ребенком толстяк кинулся навстречу дорогому гостю. Звонко, радостно целуя Патапа Максимыча, кричал он на весь дом:

— Крестный!.. Ты ль, родной?.. Здорово!.. Здорово!.. Что запропал?.. Видом не видать, слыхом не слыхать!.. Все ли в добром здоровье?

— Ничего — живем да хлеб жуем,— отвечал, улыбаясь, Чапурин.— Тебя как господь милует?.. Хозяюшка здорова ль?.. Деточки?

После обычных приветствий и расспросов, после длинного разговора о кладях на низовых пристанях, о том, где больше оказалось пшеницы на свале: в Баронске аль в Балакове, о том, каково будет летом на Харчевинском перекате да на Телячьем Броде, о краснораменских мельницах и горянщине, после чая и плотной закуски Патап Максимыч молвил Колышкину:

— А ведь я к тебе с докукой, Сергей Андреич. Нарочно для того и в город меня примчало.

— Приказывай, крестный, что ни велишь, мигом исполним, только бы мочи да уменья хватило,— отвечал Колышкин.

— Мое дело во всей твоей мочи, Сергей Андреич,— сказал Патап Максимыч.— Окроме тебя по этому делу на всей Волге другого человека, пожалуй, и нет. Только уж, Христа ради, не яви в пронос тайное мое слово.

— Эка что ляпнул! — воскликнул Колышкин.— Не ухороню я тайного слова своего крестного!.. Да не грех ли тебе, толстобрюхому, такое дело помыслить?.. Аль забыл, что живу и дышу тобой?.. Теперь мои ребятки бродили б под оконьем, как бы господь не послал тебя ко мне с добрым словом... Обидно даже, крестный, такие речи слушать — право.

— Ну, ну, не серчай,— говорил Патап Максимыч.— Не в ту силу говорено, что не верю тебе... На вся-

кий случа́й, опаски ради слово молвило́сь, потому дело такое — проносу не любит, надо по тайности.

— Ну, сказывай, какое дело? — молвил Колышкин.

— Дело такое, Сергей Андреич, что тебе, по твоей науке, оно солнца ясней, а нашему брату, человеку слепому, неученому,— потемки, как есть потемки... Научи уму-разуму...

— Что ж такое?

— Видишь ли, у нас в лесах, за Волгой, река есть, Ветлугой зовется... Слыхал?

— Знаю,— отвечал Колышкин.— Как Ветлугу не знать?.. Не раз бывал и у Макарья на Притыке и в Баках[1]. И сюда, как из Сибири ехали — к жениной родне на Вятку заезжали, а отто́ль дорога на Ветлугу...

— Ладно, хорошо,— сказал Патап Максимыч.— Так в эту самую реку Ветлугу пала река Уста́.

— И Усту знаю и из Усты воду пивал,— отозвался Колышкин.

— Так вот что: меж Ветлуги и Усты золото объявилось, золотой песок,— полушепотом молвил Патап Максимыч.

Хоть и верил он Сергею Андреичу, хоть не боялся передать ему тайны, а все-таки слово про золото не по маслу с языка сошло. И когда он с тайной своей распростался, ровно куль у него с плеч скатился... Вздохнул даже — до того вдруг так облегчало.

А Колышкин так и помирает со́ смеху. Полные розовые щеки дородного пароходчика задрожали, как студень, грудь надрывалась от хохота, высокий круглый живот так и подпрыгивал. Сергей Андреич закашлялся даже.

— Ветлужское золото!.. Ха-ха-ха!.. Россыпи за Волгой!.. Ха-ха-ха!.. Не растут ли там яблоки на березе, груши на сосне?.. Реки молочные в кисельных берегах не текут ли?.. Ах ты, крестный, крестный,— уморил совсем... Ха-ха-ха!..

— Зачем гоготать? — молвил, нахмурясь, Чапурин.— Не выспросив дела путем, гогочешь, ровно гусь на проталине!.. Не след так, Сергей Андреич, не ладно... Ты наперед выспроси, узнай по порядку, вдосталь,

---

[1] Селения на Ветлуге, в Варнавинском уезде, Костромской губернии.

да потом и гогочи... А то на-ка поди!.. Не пустые речи говорю — сам видел...

Видя досаду Чапурина, Колышкин сдержал свой смех.

— Нестаточное дело, Патап Максимыч,— молвил он.— Покажи мне пегого коня, чтоб одной масти был, тогда разве поверю, что на Ветлуге нашлось золото.

— А это что? — резко сказал Патап Максимыч, ставя перед Сергеем Андреичем пузырек.

Колышкин взял и только что успел приподнять, как смеющееся лицо его думой подернулось. Необычный вес изумил его. Попробовал песок на оселке, пуще задумался.

— Что? — спросил Патап Максимыч.

Колышкин ни слова в ответ.

Глаз не спускал с него Патап Максимыч. Вынул Колышкин из стола вески какие-то, свесил песок, потом на тех же весках свесил его в воде.

— Что? — спросил Патап Максимыч, вставая с дивана. Колышкин опять ни слова.

Видит Патап Максимыч — «крестник» взял какую-то кастрюльку, налил в нее чего-то, песку подсыпал, еще что-то поделал и, отдавая пузырек, сказал:

— Золото.

Просиял Патап Максимыч.

— Видишь! — сказал он.— А гогочешь!.. Теперь, барин, кому над кем смеяться-то?.. Ась?..

— Где ж его промывали? — спросил Колышкин.— Промыто хорошо.

— Как промывали? — молвил Патап Максимыч.— Никто не мыл... Из земли такое берут.

— Не может этого быть,— решительно сказал Сергей Андреич.

— Как не может быть? — возразил Патап Максимыч.— Я тебе говорю, что песок из земли накопан...

— Сам видел? — спросил, прищурившись, Колышкин.

— Хвастать не хочу — сам не видал,— отвечал Патап Максимыч.

— Значит, люди сказывали, что они такой песок прямо из земли берут? — прервал его Колышкин.

— Так говорили,— ответил Патап Максимыч.

— Так-таки и сказывали, что в этом самом виде пе-

сок из земли копан? — продолжал свои спросы Колышкин.— Ни про какую промывку не было речи?

— Да,— подтвердил Патап Максимыч.

— Мошенники это тебе говорили — вот что!..— с сердцем крикнул Сергей Андреич.

— Как мошенники? — вскочив с места, еще громче вскрикнул Патап Максимыч.— Разве стану я водиться с мошенниками?

— Не туда, крестный, гнешь...— молвил Колышкин.— Не кипятись, слушай, что скажу. Сдается мне, на плутов ты попал... Денег просили?

— Мое дело,— нехотя отозвался Патап Максимыч.

— Не таи, тебя ж от обмана хочу оберечь,— говорил Колышкин.— Много ли дал?

— За пузырек-от? — после некоторого молчания спросил Патап Максимыч.

— Ну, да.

— Сорок целковых дадено,— сквозь зубы процедил Чапурин.

— С барышом поздравляю! — весело усмехнувшись, молвил Колышкин.— Пять серенькиx в карман попало!.. Э-эх, Патап Максимыч!.. Кто таковы знакомцы твои, не ведаю, а что плуты они, то знаю верно... И плуты они не простые, а большие, козырные... Маленький плут двухсот пятидесяти целковых зря не кинет.

— Какие двести пятьдесят целковых? — спросил Патап Максимыч.

— Да ведь в этой склянке без малого фунт чистого золота,— сказал Колышкин,— его фунт казенна цена триста целковых... Как же тебе за сорок-то продали?.. Смекаешь, каковы подкопы ведут под тебя?

— Невдомек! — почесывая затылок, молвил Патап Максимыч.— Эка в сам деле!.. Да нет, постой, погоди, зря с толку меня не сшибай...— спохватился он.— На Ветлуге говорили, что этот песок не справское золото; из него, дескать, надо еще через огонь топить настоящее-то золото... Такие люди в Москве, слышь, есть. А неумелыми руками зачнешь тот песок перекаливать, одна гарь останется... Я и гари той добыл,— прибавил Патап Максимыч, подавая Колышкину взятую у Силантья и́згарь.

Икнулось ли на этот раз Стуколову, нет ли, зачесалась ли у него левая бровь, загорелось ли левое ухо —

про то не ведаем. А подошла такая минута, что силантьевская гарь повернула затеи паломника вниз покрышкой. Недаром шарил он ее в чемодане, когда Патап Максимыч в бане нежился, недаром пытался подменить ее куском изгари с обительской кузницы... Но нельзя было всех концов в воду упрятать — силантьевская гарь у Патапа Максимыча о ту пору в кармане была...

Колышкин испробовал гарь и сказал:

— Не от того песку... Это от серного колчедана... Теперь ихнюю плутню насквозь вижу... Знаешь серный колчедан?..

— Не знаю, что за колчедан такой, не слыхивал...— отвечал Патап Максимыч.

— Дресву знаешь?

— Как дресвы не знать! — молвил Чапурин. — По нашим местам бабы дресвой полы моют.

— А как ее делают? — спрашивал Колышкин.

— Спорник с каменки [1] берут... потолкут в ступе, вот тебе и дресва,— сказал Патап Максимыч.

— Ладно, а замечал ты когда, что в дресве-то ровно золотые искорки светятся? — продолжал спрашивать Колышкин.

— Как не замечать!.. «Мышиным золотом» те блестки зовут.

— Ну вот, это «мышиное золото» и есть колчедан,— сказал Колышкин.— Ветлужское золото тоже «мышиное»... Понял?..

— Чудно́ что-то заговорил ты, Сергей Андреич,— молвил Патап Максимыч.— Мышиное золото искорками живет, блестками такими, а это, гляди-ка, что...— прибавил он, указывая на пузырек.

— Не про это тебе говорю, это золото настоящее и брато не на Ветлуге,— сказал Колышкин.— Говорю тебе про серный колчедан, про тот, что у вас «мышиным золотом» зовется. Местами он гнездами в земле лежит и с виду как есть золотой песок. Только золота из него не добудешь, а коли хочешь купоросное масло делать,— иная статья — можно выгоду получить... Эта гарь от колчедана, а по-вашему, от мышиного золота; а песок в склянке не здешний. То с приисков краденое настоя-

---

[1] В бане.

щее промытое золото... Берегись, крестный, под твои кошели подкопы ведут...

Задумался Патап Максимыч. Не клеится у него в голове, чтоб отец Михаил стал обманом да плутнями жить, а он ведь тоже уверял... «Ну пущай Дюков, пущай Стуколов — кто их знает, может и впрямь нечистыми делами занимаются,— раздумывал Патап Максимыч,— а отец-то Михаил?.. Нет, не можно тому быть... Старец благочестивый, игумен домовитый... Как ему на мошенстве стоять?..»

— А богат человек, что песок тебе продавал? — спросил Колышкин.

— Мужик справный,— ответил Патап Максимыч.

— Как, однако?

— Денежный человек,— изба хорошая, кони, коровы, все в порядке... Баклушами кормится — баклушник.

— Не тысячник? — спросил Колышкин.

— Какое тысячник! — молвил Патап Максимыч.— Баклушами в тысячники не влезешь... Сот семь либо восемь — залежных, может быть, есть, больше навряд...

— Двести пятьдесят целковых ему деньги?

— Еще бы не деньги! Да Силантью целый год таких денег не выручить. За сорок-то целковых он мне кланялся, кланялся.

— А давно ль ты его знаешь?—спросил Колышкин.

— Впервóй видел,— отвечал Патап Максимыч.— Ночь у него ночевал, пообедал, вот и знакомства всего...

— А в дело тебя звали? На золото денег просили?..— приставал Колышкин.

— Было,— нехотя молвил Патап Максимыч.

— Теперь мне все как на ладóнке,— сказал Колышкин.— Подумай, Патап Максимыч, статочно ли дело, баклушнику бобра заместо свиньи продать?.. Фунт золота за сорок целковых!.. Сам посуди!.. Заманить тебя хотят — вот что!.. Много ль просили?.. Сказывай, не таи...

— Да на первый раз не больно много: три тысячи на монету.

— А потом?

— А потом, коли дело на лад пойдет, пятьдесят тысяч целковых обещался им дать,— сказал Патап Максимыч.

— Э!.. Народ тертый!.. На свои руки топора не уронит...— молвил Колышкин.— Сибиряки, надо быть?

— Народ здешний,— отвечал Патап Максимыч.— Один, правда, живал в Сибири и на приисках золотых, сказывает, живал...

— Так и есть,— подхватил Колышкин.— Жил в Сибири, да выехал в Россию «земляным маслом» торговать... Знаю этих проходимцев!.. Немало народу по́ миру они пустили, немало и в острог да в ссылку упрятали... Нет, крестный, воля твоя — это дело надо бросить.

Задумался Патап Максимыч. Отец Михаил с ума нейдет... Как же это игумну в плутовских делах бывать?

— А ты бы, крестный, рассказал уж мне все по порядку, как зачиналось это дело и как шло до сих пор,— сказал Колышкин.— Подумали бы вместе,— гнилого ответа от меня не услышишь.

Молчит Чапурин. Хмурится, кусает нижнюю губу и слегка почесывает затылок. Начинает понимать, что проходимцы его обошли, что он, стыдно сказать, ровно малый ребенок, поверил россказням паломника... Но как сознаться?.. Друг-приятель — Колышкин, и тому как сказать, что плуты старого воробья на кривых объехали? Не три тысячи, тридцать бы в печку кинул, только б не сознаться, как его ровно Филю в лапти обули.

— Отчего не сказать всего по ряду? — приставал Колышкин.— Вдвоем посоветуем, как бы тех плутов изловить?

— А чего ради в ихнее дело обещал я идти? — вдруг вскрикнул Патап Максимыч.— Как мне сразу не увидеть было ихнего мошенства?.. Затем я на Ветлугу ездил, затем и маяту принимал... чтоб разведать про них, чтоб на чистую воду плутов вывести... А к тебе в город зачем бы приезжать?.. По́ золоту ты человек знающий, с кем же, как не с тобой, размотать ихнюю плутню... Думаешь, верил им?.. Держи карман!.. Нет, друг, еще тот человек на свет не рожден, что проведет Патапа Чапурина.

— А я-то про что тебе говорю? — сказал Колышкин, вдоль и поперек знавший своего крестного.— Про что толкую?.. С первого слова я смекнул, что у тебя на уме... Вижу, хочет маленько поглумиться, затейное дело

правским показать... Ну что ж, думаю, пущай его потешится... Другому не спущу, а крестному как не спустить?..

— А! Понял же, значит, что шутку хотел над тобой сшутить!—самодовольно улыбаясь, молвил Патап Максимыч.— Ишь ты!.. На саврасой, брат, тебя не объедешь!

— Не сразу, Патап Максимыч, не вдруг,—шутливо ответил Колышкин.—Сами с усами, на своем веку тоже кое-какие виды видали.

— Да ты у меня умный. Золотая головушка!..— сказал Патап Максимыч, гладя Сергея Андреича по голове.— С тобой говорить не наскучит.

— Ну ладно, ладно. Будет шутку шутить... Рассказывай, как в самом-то деле ихня затея варилась,— прервал Колышкин.— Глазком бы посмотреть, как плуты моего крестного оплетать задумали,— с усмешкой прибавил он.— Сидят, небось, важно, глядят задумчиво, не улыбнутся, толкуют чинно, степенно... А крестный себе на уме, попирает смех на̀ сердце, а сам бровью не моргнет: «Толкуйте, мол, голубчики, распоясывайтесь, выкладывайте, что́ у вас на уме сидит, а мне как вас насквозь не видеть?..» Ха-ха-ха!..

И звонкий хохот Колышкина раскатился по высоким комнатам.

— Экой догадливый! — тоже смеясь, молвил повеселевший Чапурин.— Ровно ты, Сергей Андреич, ту пору промеж нас сидел... Так уж верно ты рассказываешь.

— Так как же, как дело-то было? — спрашивал Колышкин.

И рассказал Патап Максимыч Колышкину, как приехали к нему Стуколов с Дюковым, как паломник при всех гостях, что случились, расписывал про дальние свои странствия, а когда не стало в горнице женского духа, вынул из кармана мешок и посыпал из него золотой песок...

— И такие пошел моты́ разматывать, только слушай,— говорил Патап Максимыч.— И стелет и метет, и врет и плетет, а сам глазом не смигнет, равно нет и людей перед ним... Занятно мне стало... Думаю: «Постой ты, баламут, точи лясы, морочь людей, вываливай из себя все дотла, а затеек твоих как нам не видать?..» Срод-

ственник на ту пору был у меня да приятель старинный — удельного голову Захлыстина Михайлу Васильевича не слыхал ли?.. Мы тому проходимцу будто и поверили, а он и говорит: «Золотой, дескать, песок неподалеку от ваших мест объявился — на Ветлуге». И давай нас умаливать, золоты прииски заявляйте, компанию заводите, миллионы, говорит, наживете. А мы: отчего ж, мол, не завести компании, Яким Прохорыч,— для че от счастья отказываться? Денег-то, скажи, много ль потребуется? «На первый раз, говорит, тысячи три бумажками, а станет дело на своих ногах, тысяч пятьдесят серебром будет надобно». Для видимости согласились мы, по рукам ударили. А мне о ту пору требовалось на Ветлуге побывать. Едем, говорю Стуколову, кажи, где такой песок водится. Поехали... Места не показал, а на Силантья, баклушника, навел.

— Ну? — спросил Колышкин смолкшего было Патапа Максимыча.

— Силантий и продал песок,— отвечал Патап Максимыч.— В лесу нарыл, говорит... И другие заверяли, что в лесу роют.

Кто эти другие, не сказал Патап Максимыч. Вертелся на губах отец Михаил, но как вспомнятся красноярские стерляди, почет, возданный в обители, молебный канон, баня липовая с калуфером — язык у Патапа Максимыча так и заморозит... «Возможно ль такого старца к пролазу Якимке приравнивать, к бездельнику Дюкову? — думал Патап Максимыч.— Обошли, плуты, честнаго игумна... Да нет, постой, погоди — выведу я вас на свежую воду!..»

— Все, кто тебя ни заверял,— одна плутовская ватага,— сказал, наконец, Колышкин,— все одной шайки. Знаю этих воров — нагляделся на них в Сибири. Ловки добрых людей облапошивать: кого пó миру пустят, а кого в поганое свое дело до той меры затянут, что пойдет после в казенных рудниках копать настоящее золото.

— Изловить бы их,— молвил Патап Максимыч.

— Ловить плутов — дело доброе,— заметил Колышкин.— Не одного, чай, облупили, на твоем только кошеле пришлось напороться... Целы теперь не уйдут...

— Не уйдут... Нет, с моей уды карасям не сорваться!.. Шалишь, кума,— не с той ноги плясать пошла,— говорил Патап Максимыч, ходя по комнате и потирая ру-

ки.—С меня не разживутся!.. Да нет, ты то посуди, Сергей Андреич, живу я, слава тебе господи, и дела веду не первый год... А они со мной ровно с малым ребенком вздумали шутки шутить!.. Я ж им отшучу!

— А ты, крестный, виду не подай, что разумеешь ихнюю плутню,— сказал Колышкин.— Улещай их да умасливай, а сам мани, как пташку на силок.— Да смотри —ловки ведь мошенники-то, как раз вьюном из рук выскользнут.— Вильнет хвостом, поминай как звали.

— Не сорвутся! — молвил Патап Максимыч.— Нет, не сорвутся! А как подумаешь про народ-от!.. — прибавил он, глубоко вздохнув и разваливаясь на диване.— Слабость-то какая пó людям пошла!..

— На скорые прибытки стали падки,— ответил Колышкин.— А слышал ты, как ветлужские же плуты Максима Алексеича Зубкова обработали?.. Знаешь Зубкова-то?

— Как не знать Максима Алексеича! — ответил Патап Максимыч.— Ума палата...

— Да денежка щербата,— перебил Колышкин.— Мягкую бумажку возлюбил — переводит... И огрели ж его ветлужские мастера — в остроге теперь сидит.

— Полно! Как так? — с удивлением спросил Патап Максимыч.

— Приходит к нему какой-то проходимец из вашего скита — Красноярский никак прозывается?

— Красноярский! — воскликнул Патап Максимыч.— Есть такой... Знаю тот скит... Что ж тако? — спрашивал он с нетерпеньем.

— Приходит к Зубкову из того скита молодой парень,— продолжал Колышкин.— О том, о сем они покалякали, знамо — темные дела разом не делаются. Под конец парень две сереньких Максиму Алексеичу показывает: «Купите, дескать, ваше степенство, дешево уступлю, по пятнадцати целковых казенными». Разгорелись глаза у Максима Алексеича—взял. Сбыл без сумнения. Да только сбыл, парень опять лезет с серенькими, только дешевле двадцати пяти за каждую не берет. Максим Алексеич и эти взял — видит, товар хороший. Да для пущего уверенья понес одну в казначейство... Приняли... Он другую, и ту приняли... Максим Алексеич и остальные понес — все взяли. «Эка работа-то важнецкая,— думает,— да с такой работой можно поскорости

миллион зашибить». Сам стал красноярского парня разыскивать, а тот как лист перед травой. «Такие дела, говорит, выпали, что надо беспременно на Низ съехать на долгое время, а у меня, говорит, на двадцать тысяч сереньких водится — не возьмете ли?» Максим Алексеич радехонек, да десять тысяч настоящими взамен и отсчитал... Да на первой же бумажке и попался — все фальшивые... Дело завязалось — обыск... Красноярские денежки сыскались у Зубкова в сундуке, а парня след простыл — ищи его как ветра в поле... И сидит теперь Максим Алексеич в каменных палатах за железными дверями...

— Поди же вот тут! — молвил Патап Максимыч.

— Первы-то бумажки парень давал ему настоящие,—продолжал Колышкин,— а как уверился Зубков, он и подсунул ему самодельщины... Вот каковы они, ветлужские-то!..

Патап Максимыч задумался. «Как же так? — было у него на уме.— Отец-от Михаил чего смотрит?.. Морочат его, старца божия!..»

— Да, избàловался народ, избàловался,— сказал он, покачивая головой.— Слабость да шатость пó людям пошла — отца обмануть во грех не поставят.

— Навострились, крестный, навострились,— отозвался с усмешкой Колышкин.— Всяк норовит на грош пятаков наменять.

— Ослепила корысть,— думчиво молвил Чапурин.— Ослепила она всех, от большого до малого, от первого до последнего. Зависть на чужое добро свет кольцом обвила... Последни времена!

— Ну! Заговори с тобой, тóтчас доберешься до антихриста,— сказал Колышкин.— Каки последни времена?.. До нас люди жили не ангелы, и после нас не черти будут. Правда с кривдой спокон века одним колесом по миру катится.

Замолчал Патап Максимыч, а сам все про отца Михаила размышляет. «Неужель и впрямь у него такие дела в скиту делаются!» Но Колышкину даже имени игумна не помянул.

Воротясь на квартиру, Патап Максимыч нашел Дюкова на боковой. Измаявшись в дороге, молчаливый купец спал непробудным сном и такие храпы запускал по горнице, что соседи хотели уж посылать в полицию... Не

скоро дотолкался его Патап Максимыч. Когда, наконец, Дюков проснулся, Чапурин объявил ему, что песок оказался добротным.

— Как же теперь дело будет? — спросил, зевая во весь рот, Дюков.

— Как лажено, так и будет,— решил Патап Максимыч.— Получай три тысячи. «Куда не шли три тысячи ассигнациями,— думал он,— а уж изловлю же я вас, мошенники!»

— Ладно,— отозвался Дюков, взял деньги, сунул в карман и, повернувшись на другой бок, захрапел пуще прежнего.

Вечером выехали из города. Отъехав верст двадцать, Патап Максимыч расстался с Дюковым. Молчаливый купец поехал восвояси, а Патап Максимыч поспешил в Городец на субботний базар. Да надо еще было ему хозяйским глазом взглянуть, как готовят на пристани к погрузке «горянщину».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Леса, что кроют песчаное Заволжье, прежде сплошным кряжем между реками Унжей и Вяткой тянулись далеко на север. Там соединялись они с Устюжскими и Вычегодскими дебрями. В старые годы те лесные пространства были заселены только по южным окраинам — по раменям — вдоль левого берега Волги, да отчасти по берегам ее притоков: Линды, Керженца, Ветлуги, Кокша́ги. По этим рекам изредка стояли деревушки, верстах на двадцати и больше одна от другой. Тамошний люд жил как отрезанный от остального крещеного мира. Церквей там вовсе почти не было, и русские люди своими дикими обычаями сходствовали с соседними звероловами, черемисой и вотяками; только языком и отличались от них. Детей крестили у них бабушки-повитухи, свадьбы-самокрутки венчали в лесу вокруг ракитова кустика, хоронились заволжане зря, где попало. «Жили в лесу, молились пенью́, венчались вкруг ели, а черти им пели»,— так говаривали московские люди про лесных обитателей Заволжского края...

Иной раз наезжали к ним хлыновские попы с Вятки, но те попы были самоставленники, сплошь да рядом венчали они не то что четвертые, шестые да седьмые браки, от живой жены или в близком родстве. «Молодец поп хлыновец за пару лаптей на родной матери обвенчает»,— доселе гласит пословица про таких попов. Духовные власти не признавали их правильными и законными пастырями... Упрекая вятских попов в самочинии, московский митрополит говорил: «Не вемы како и нарицати вас и от

кого имеете поставление и рукоположение»[1]. Но попы хлыновцы знать не хотели Москвы: пользуясь отдаленностью своего края, они вели дела по-своему, не слушая митрополита и не справляясь ни с какими уставами и чиноположениями. Таким образом, почва для церковного раскола в заволжских лесах издавна приготовлена была. И нынешние старообрядцы того края такие же точно, что их предки — духовные чада наезжих попов хлыновцев. Очень усердны они к православию, свято почитают старые книги и обряды, но держатся самоставленных или беглых попов, знать не хотят наших архиереев. Архиереев и попов австрийской иерархии тоже знать не хотят.

Каков поп, таков и приход. Попы хлыновцы знать не хотели Москву с ее митрополитом, их духовные чада — знать не хотели царских воевод, уклонялись от платежа податей, управлялись выборными, судили самосудом, московским законам не подчинялись. Чуть являлся на краю леса пóсланец от воеводы или патриарший десятильник, они покидали дома и уходили в лесные трущобы, где не сыскали б их ни сам воевода, ни сам патриарх.

С XVII столетия в непроходимые заволжские дебри стали являться новые насельники. Остатки вольницы, что во времена самозванцев и ляхолетья разбоем да грабежом исходили вдоль и поперек чуть не всю Русскую землю, находили здесь места безопасные, укрывавшие удальцов от припасенных для них кнутов и виселиц. Беглые холопы, пашенные крестьяне, не смогшие примириться с только что возникшим крепостным правом, отягощенные оброками и податьми слобожане, лишенные промыслов посадские люди, беглые рейтары, драгуны, солдаты и иные ратные люди ненавистного им иноземного строя,— все это валóм валило за Волгу и ставило свои починки и заимки по таким местам, где до того времени человек ноги не накладывал. Смуты и войны XVII века в корень расшатали народное хозяйство; неизбежным последствием явилось множество людей, задолжавших в казну и частным людям. Им грозили правеж или вековечное холопство; избегая того и другого, они тоже стремились в заволжские леса. Тогда-то и сложилась пословица: «Нечем платить долгу, дай пойду за Волгу».

[1] Митрополит Геронтий в восьмидесятых годах XV столетия.

Такова была закваска населения заволжских лесов, когда во второй половине XVII века явились туда новые насельники, бежавшие из сел и городов раскольники.

По скитским преданьям, начало старообрядских поселений в заволжских лесах началось чудесным образом. Во время «Соловецкого сиденья», когда царский воевода Мещеринов обложил возмутившихся старообрядцев в монастыре Зосимы и Савватия и не выпускал оттуда никого, древний старец инок-схимник Арсений дни и ночи проводил на молитве перед иконой Казанской богородицы. А та икона была прежде комнатною царя Алексея и пожалована им в Соловки еще до патриаршества Никона. Накануне взятия монастыря царскою ратью истомился Арсений, стоя на молитве, задремал. И, будучи в тонком сне, слышал он глас от иконы: «Гряди за мною ничто же сумняся, и где я становлюся, тамо поставь обитель, и пока икона моя будет в той обители, древлее благочестие будет в ней процветать». И видел Арсений, что икона богородицы в выспрь поднялась и в небесной высоте исчезла... Проснулся инок-схимник, иконы на месте не было... На другой день взят был монастырь. «Соловецких сидельцев» в кандалах перевезли на матерую землю, и здесь Арсению удалось бежать из-под царского караула в леса. Только что ступил он в лесную чащу, видит икону, перед которой молился; грядет та икона поверх леса на воздусех... Идет за нею изумленный и трепетный Арсений. Перед ним деревья расступаются, перед ним сохнут непроходные болота, перед ним невидимая сила валежник врозь раскидывает. «Чудя́ся бывшему о нем», Арсений идет да идет за иконою. И стала та икона в лесах Чернораменских, неподалеку от починка Ларионова, на урочище Ша̀рпан. И поставил тут Арсений первый скит [1].

С легкой руки соловецкого выходца старообрядские скиты один за другим возникали в лесах Заволжья. Вскоре их появилось больше сотни в Черной рамени,

[1] Ша́рпанский скит существовал сто семьдесят лет и окончательно уничтожен в 1853 году. В 1718 году в нем было 7 монахов и 44 монахини. В последнее время мужской обители в нем уже не было, но женщин жило больше сотни. Это был один из самых богатых и самых строгих скитов. Икона Казанской богородицы, почитаемая старообрядцами чудотворною, находится с 1849 года в мужском керженском Благовещенском единоверческом монастыре.

в лесах Керженских, в лесах Рымских и за рекой Ветлугой.

В скитах селились старообрядцы разного звания. В первые десятилетия существования раскола от «Никоновых новшеств» бегали не одни крестьяне и посадские люди, не одни простые монахи и сельские попы. Уходили и люди знатных родов, из духовенства даже один архиерей сбежал в леса[1]. И в Черной рамени являлись знатные люди: из пределов смоленских бежали туда Салтыковы, Потемкины и другие. Основали они свой скит неподалеку от первоначального скита Ша́рпанского. Давно лесом поросло старинное жилье богатых и влиятельных старообрядцев; но остатки гряд, погребных ям, заросших бурьяном могил и двенадцать надгробных камней до сих пор видны на урочище, прозванном «Смолья́ны»... В XVIII столетии в Комаровском скиту была основана обитель Бояркина, названа так оттого, что была основана княжной Болховской и первоначально вся состояла из боярышень. В ее часовне на венце иконы Спаса нерукотворенного до последнего времени висела александровская лента с орденским крестом: ее носил Лопухин, дядя основательницы обители... В Оленевском ските одна обитель была основана Анфисой Колычевой, родственницей святого Филиппа митрополита... Когда старый Улангерский скит в последних годах прошлого столетия сгорел от молнии, ударившей в пору необычайную, в самый крещенский сочельник, галицкая помещица Акулина Степановна Свечина со своею племянницей Федосьей Федоровной Сухониной собрала разбежавшихся от ужаса матушек, привела их на речку Козленец и поставила тут доныне существующий Ула̀нгерский скит. Все скитские жители с умиленьем вспоминали, какое при «боярыне Степановне» в Ула̀нгере житие было тихое да стройное, да такое пространное, небоязное, что за раз у нее по двенадцати попов с Иргиза живало, и полиция пальцем не смела их тронуть[2].

---

[1] Александр, первый епископ вятский, бежал в 1674 году в Вычегодские леса.

[2] В Ула́нгерском скиту, Семеновского уезда, лет тридцать тому назад жил раскольничий инок отец Иов, у которого в том же Семеновском уезде, а также в Чухломском были имения с крепостными крестьянами. Этот старик (Иона Михайлович Сухонин) был родственник Свечиной, едва ли не племянник ее. В Улангере, до самой высылки из скитов посторонних лиц (то есть не приписан-

Пребывание в некоторых обителях лиц из высших сословий, не прекращавшееся со времен смоленских выходцев, а больше того тесные связи «матерей» с богатыми купцами столиц и больших городов возвышали те обители перед другими, куда поступали только бедные, хотя и грамотные крестьянки из окрестных селений. Такие обители считались как бы аристократическими, имели свои предания. Этих преданий крепко держались, и за их сохранением зорко смотрели настоятельницы и старшие матери. Вход в такие обители, даже в число работниц, «трудниц», не всем был доступен. Нужны были для того связи, чье-нибудь покровительство. Большею частью игуменьи и старшие матери наполняли такие обители близкими и дальними своими родственницами. Бедные обители и небольшие скиты не очень дружелюбно смотрели на эти «прегордые» общины, завидовали их богатству, связям и почету, которым ото всех они пользовались.

Спервоначалу скиты керженские, чернораменские были учреждениями чисто религиозными, как и наши монастыри. Они служили убежищем «не хотевшим новины Никоновы прияти», но с течением времени, по мере того как религиозный фанатизм ослабевал в среде раскольников, скиты теряли первоначальный характер, превращаясь в рабочие общины с артельным хозяйством. На деле оказалось, что женские скиты были способней усвоить такое хозяйство, чем мужские. В женских твердо сохранялись и повиновение старшим и подчинение раз заведенным порядкам, тогда как в мужских своеволие, непокорность старшинам и неподчинение артельным уставам в корень разрушали общинное устройство. По мере того как женские общежития умножались и год от году пополнялись, ряды скитников редели, обители их пустели и, если не переходили в руки женщин, разрушались сами собою, безо всякого вмешательства гражданской или духовной власти. Ко времени окончательного уничтожения керженских и чернораменских скитов [1]

ных к скиту по ревизии), жили две дворянки, одна еще молоденькая, дочь прапорщика, другая старуха, которую местные старообрядцы таинственно величали «дамою двора его императорского величества». Дама эта действительно по мужу принадлежала к разряду придворных, но была вдова гоф-фурьера.

[1] В 1853 году.

не оставалось ни одного мужского скита; были монахи, но они жили по деревням у родственников и знакомых или шатались из места в место, не имея постоянного пребывания. Искатели иноческих трудов и созерцательной жизни удалялись в лесные трущобы и там жили совершенными отшельниками в вырытых землянках, иные в срубленных кое-как старческими руками кельях. Но таких пустынников было очень немного.

Во всех общежительных женских скитах хозяйство шло впереди духовных подвигов. Правда, служба в часовнях и моленных отправлялась скитницами усердно и неопустительно, но она была только способом добывания денежных средств для хозяйства. Каждая скитская артель жила подаяниями богатых старообрядцев, щедро даваемыми за то, чтобы «матери хорошенько молились». И матери добросовестно исполняли свои обязанности: нерадиво отправляли часовенную службу, молясь о здравии «благодетелей», поминая их сродников за упокой, читая по покойникам псалтырь, исправляя сорочины, полусорочины, годины и другие обычные поминовения. Под именем «канонниц», или «читалок», скитские артели отправляли в Москву и другие города молодых белиц к богатым одноверцам «стоять негасимую свечу», то есть день и ночь читать псалтырь по покойникам, «на месте их преставления», и учить грамоте малолетних детей в домах «христолюбивых благодетелей». Отправляли по разным местам и сборщиц с книжками. Ежегодно к празднику Пасхи такие сборщицы съезжались в скит и привозили значительные суммы денег и целые возà с припасами разного рода и с другими вещами, нужными в хозяйстве.

В стенах общины каждый день, кроме праздников, работа кипела с утра до нóчи... Пряли лен и шерсть, ткали новины, пестряди, сукна; занимались и белоручными работами: ткали шелковые пояски, лестовки, вышивали по канве шерстями, синелью и шелком, шили золотом, искусно переписывали разные тетради духовного содержания, писали даже иконы. Но никто на себя работать не смел, все поступало в общину и, по назначенью настоятельницы, развозилось в подарки и на благословенье «благодетелям», а они сторицею за то отдаривали.

Главною распорядительницей работ и всего обительского хозяйства была игуменья. Ей помогали: уставщи-

ца, по часовенной службе и по всему, что касалось до религиозной части; казначея, у ней на руках было обительское имущество, деньги и всякого рода запасы, кроме съестных,— теми заведовала мать-келарь, в распоряжении которой была келарня, то есть поварня, столовая. Уставщица, казначея, келарь и еще три-четыре, иногда и больше старших матерей, называясь «соборными», составляли нечто вроде совета настоятельницы, решавшего обительские дела. При настоятельнице обыкновенно «ходила в ключах» особая инокиня, заведовавшая частным ее хозяйством, ибо игуменье дозволялось иметь частную собственность. Мать ключница обыкновенно вела обительскую переписку и имела не последнее место в обительском совете — «соборе», как называли его. Иногда в ключницах бывали и белицы. Выбор ключницы зависел от одной игуменьи.

Таково было внутреннее устройство скитских обителей. Таково было устройство и в обители Манефиной, богатейшей и многолюднейшей из всех обителей Комаровского скита, стоявшего на Каменном Вражке.

В лесах Черной рамени, в верхоти́нах Линды, что пала в Волгу немного повыше Нижнего, середи лесов, промеж топких болот выдался сухой остров. Каменным Вражком зовут его.

В самом деле место тут каменистое. Белоснежным кварцевым песком и разноцветными гальками усыпаны отлогие берега речек, а на полях и по болотам там и сям торчат из земли огромные валуны гранита. То осколки Скандинавских гор, на плававших льдинах занесенные сюда в давние времена образования земной коры. За Волгой иное толкуют про эти каменные громады: последние-де русские богатыри, побив силу татарскую, похвалялись здесь бой держать с силой небесною и за гордыню оборочены в камни.

Еще недавно на Каменном Вражке стояло обширное селение; остатки его целы. С виду селение то не похоже было на окрестные деревеньки. Вокруг его хоть бы крохотная полоска пашни. Не сеяли, не жали в Каменном Вражке, а в каждом амбаре закромы круглый год ломились от насыпно́го хлеба. И золотистая пшеница кубанка, и чистая рожь яранская, и отборное сызранское пшено, и крупная греча, и тяжеловесный вятский овес до́верха наполняли скитские сусеки. В клетях и чуланах тесно

было от мешков с пушистою казанской крупчаткой, с разными солодами и крупами, тогда как спокон века ни в едином доме на Каменном Вражке ни сохи, ни бороны не бывало. В тамошних речонках, кроме рыбки-малявки, ничего не водилось, а в погребах засеченные в лед пересеки стаивали полным-полнехоньки с осетриной, с белужиной, с сибирскими рыбами: нельмой, муксунами и другими, а в кладовых бывали навешаны жирные донские балыки, толстые пуки вязиги, вяленые судаки, лещи, сазаны. Никакого промысла на Каменном Вражке не бывало, ни завода, ни фабрики, а всякого добра водилось вдоволь. Люди там как в раю жили — никому не гребтелось, как концы с концами по хозяйству свести, откуда добыть деньгу — богу на свечу, себе на рукавицы, на соль, на деготь, на ков, на привар да на штоф зелена вина, как гребтится мужику рядовому. Выдайся год дородный, выдайся год голодный, стой в межень на Волге десять четвертей, бреди через нее курица, на Каменном Вражке ни думушки нет, ни заботы: будет день, будет и пища.

Внутри околицы общирного селенья не было ни улицы, ни односторонки, ни курмыша̀. Обнесенные околицей жилые строенья и разные службы были расположены кругом обширного двора, середи которого возвышалась часовня. Строенья стояли задом наружу, лицом на внутренний двор. Такое расположение домов очень давнее: в старые годы русская община всегда так строилась; теперь редко где сохранился круговой порядок стройки, все почти наши селенья как по струнке вытянулись в длинные улицы или односторонки. За Волгой и в северных лесных пространствах кое-где сохранились еще круговые поселенья, напоминающие древнюю общинную жизнь предков. Таковы были и скиты.

На Каменном Вражке в последнее время было до двенадцати общин «обителей», стоявших отдельно. Между ними стояли избенки, где жили не принадлежавшие к общинам — «сиротами» звались они. Каждое сиротское строенье на свою сторону смотрело: избы, обычной деревенской постройки, то жались в кучу, то отделялись друг от друга и от обителей просторными пустырями, огородами, кладбищами. Пустыри покрыты были луговиной, на ней паслись гуси, куры и другие домашние птицы обительские, тут же стлали новины для беленья.

В огородах, окружавших со всех почти сторон каждую обитель, много было гряд с овощами, подсолнечниками и маком, ни единого деревца: великорус — прирожденный враг леса, его дело рубить, губить, жечь, но не садить деревья. Чуть ли не в одной Манефиной обители на кладбище и возле него росли березы, рябины и черемуха. Плодовых деревьев в скитах не бывало — за Волгой земля холодна, неродима, ни яблоков, ни вишен, ни груш не родится. Кладбища середи строений были и старые: запущенные, заросшие бурьяном, и новые, с покрытыми свежим дерном холмиками и с деревянными, почерневшими от дождей и снежных сугробов, столбиками, к которым прибиты медные кресты. Изредка попадались на тех кладбищах деревянные голубцы, еще реже надгробные камни.

Строенье в обителях на Каменном Вражке не похоже было ни на городское, ни на деревенское. Обыкновенно пять-шесть больших бревенчатых изб на высоких подклетах ставились одна вплоть к другой, либо отделенные одни от других тесовыми холодными сенями. Строены под одну кровлю, соединялись меж собой сенями и крытыми переходами. Такое строенье называлось «стаей» и напоминало допетровские городские хоромы зажиточных людей. В каждой стае бывало по пяти, по шести, иногда до десяти теплых горниц, каждая с перегородками чистой столярной работы, иногда ольховыми, иногда ясеневыми. Вокруг по стенам каждой горницы стояли вделанные в стены широкие деревянные лавки, но в иных покоях бывали и диваны, и кресла, и стулья красного дерева, обитые шерстяною или шелковой материей. В переднем углу каждой горницы поставлена была деревянная божница с иконами и лампадами, под нею висела шелковая пелена с крестами из позумента. Светло, сухо, тепло было в тех горницах, а чистота и опрятность такая, что разве только домам Голландии можно было поспорить со скитскими кельями.

Кроме теплых покоев, в каждой стае много бывало холодных сеней с темными чуланами и каморками, переходов, тайников. Внизу под жилыми покоями устроены были теплые повалуши, а под сенями глухие подклеты, наверху чердаки, теплые светелки и холодные летники, вышки и смотрильни, в которых под самою кровлей порублены были на все четыре стороны едва видные око-

шечки. Крыши делались обыкновенно в два теса со «скалой» [1], утверждались на застрехах и по большей части бывали с «полицами», то есть с небольшими переломами в виде полок для предупреждения сильного тока дождевой воды. Несколько высоких крылец и едва видных выходов окружали каждую стаю.

Две, три, иногда до десяти стай с разбросанными между ними избами обычной деревенской постройки, амбарами, погребами, житницами, с стоявшими о̀даль сараями, конюшнями, конным и скотным дворами, с примыкавшими к строенью огородами, с одним или двумя кладбищами обносились особою изгородью или пряслами из дрючкового леса. Это составляло особую общину и называлось «обителью».

Несколько таких обителей составляли *скит*.

Часовни, сажен по пятнадцати в длину, по шести, по семи в вышину, строились на один лад: каждая составляла огромный четыреугольный бревенчатый, не обшитый тесом дом, с окнами в два, иногда в три ряда, под огромною крутою на два ската тесовою кровлей с крестом вместо конька и с обширною папертью, на которой возвышались небольшие колокольни, давно, впрочем, стоявшие без колоколов. Для призыва к часовенной службе запрещенные колокола заменялись «билами» и «клепалами», то есть повешенными на столбах досками, в которые колотили деревянными молотками. В обителях, не имевших часовен, внутри главной стаи устраивались обширные моленные. Это были те же часовни, но, так сказать, домашние, стоявшие в одной связи с кельями.

Вот что известно из скитских преданий про начало скита Комаровского и про обитель матери Манефы.

Вскоре после «Соловецкого сиденья» на Каменном Вражке поселился пришлый из города Торжка богатый старообрядец, по прозвищу Комар. По имени его и скит прозвали Комаровым. Сначала тут было четыре обители, к концу прошлого столетия было их до́ сорока, а жителей считалось до двух тысяч.

Долгое время, около ста лет, Комаровский скит на Каменном Вражке был незнаменитым скитом. В год мо-

---

[1] Береста, ряд которой кладут между двумя рядами теса, для прочности крыши, чтоб не скоро гнила. В городах запрещено употреблять скалу на крыши в предупреждение пожаров, но по деревням она до сих пор в большом употреблении.

сковской чумы и зачала старообрядских кладбищ в Москве — Рогожского и Преображенского[1] — зачалась слава скита Комаровского. В том году пришли на Каменный Вражек Игнатий Потемкин, Иона Курносый и Манефа Старая.

Еще при царе Алексее Михайловиче смоленские старообрядцы знатных родов, Сергий Салтыков, Спиридон и Ефрем Потемкины и многие другие, переселились в Черную рамень, неподалеку от первоначального скита Шарпанского. Впоследствии родственница Сергия, Анна Ивановна, сделалась императрицей, а при Екатерине родственник Ефрема и Спиридона сделался великомощным князем Тавриды... Во времена силы Салтыковых в лесах заволжских не оставалось родичей Сергия, но Потемкины живали в Черной рамени до дней князя Таврического. Там, сказывают скитские предания, жил старец Игнатий из рода Потемкиных, внук Спиридонова племянника. Был он смолоду на службе, воевал под начальством Миниха с турками и татарами, весь израненный удалился в Черную рамень «спасаться» и, будучи старообрядцем, постригся в иноки, с именем Игнатия. Когда родич его князь Потемкин возвысился, Игнатий поехал к нему в Петербург, показал какие-то бумаги, и «великолепный князь Тавриды» признал раскольничьего инока своим родственником. С богатыми дарами щедрого фаворита воротился смиренный инок в леса заволжские и на Каменном Вражке, в Комаровском скиту, построил обитель, прозванную по имени его Игнатьевою. Впоследствии мужская обитель не устояла; подобно другим, и она сделалась женскою... До последнего времени существования скитов керженских и чернораменских хранилась память о том, будто старец Игнатий Потемкин, представленный своим родичем императрице Екатерине, получил какие-то письма императрицыной руки, на основании которых нельзя будто бы было никогда уничтожить заведенной им обители. По поводу этих мнимых писем была немалая молва во время уничтожения скитов в 1853 году... У настоятельницы Игнатьевой обители матери Александры требовали их, но она не могла ничего представить.

До того лет за двадцать, в первые годы елизаветинского царствования, поселилась в Комарове старая дева,

[1] 1771 год.

княжна Болховская. Она основала обитель Бояркиных, составленную первоначально из бедных дворянок и из их крепостных женщин. На родовой, древнего письма, иконе Спаса нерукотворенного повесила княжна орден Александра Невского, принадлежавший дяде ее, сосланному в Сибирь, Лопухину.

Потемкин!.. Княжна!.. Обитель Бояркина!.. Александровский орден!.. Эти слова имели сильное обаяние на раскольников... Со всех сторон текли новые насельники и еще более новые насельницы на Каменный Вражек. И с тех пор Комаров скит стал расти, прочим же скитам оставалось ма̀литися.

В числе знаменитых пришельцев был много начитанный старец Иона, по прозванью Курносый, пришедший из Зауралья, с заводов демидовских, ублажаемый и доселе старообрядцами за ревность по вере, за писания в пользу старообрядства и за строгую жизнь. Имя его не осталось бесследным в истории русского раскола. Этот Иона был одним из замечательнейших людей московского старообрядского собора 1779 года, утвердившего «перемазыванье» приходящих от великороссийской церкви. Его считают праведным. В давно запустелой и развалившейся обители Иониной, стоявшей рядом с Игнатьевою, цела еще могила его, осененная огромною елью. «Ионина ель» — предмет почитания старообрядцев: ствол ее чуть не весь изгрызен. Страдающие зубною болью приходят сюда, молятся за умершего или умершему и грызут растущее над могилой его дерево в чаянии исцеления. И верующие, как сказывают, исцелевают.

Тогда же пришла на Каменный Вражек Манефа Старая. Была она из купеческого рода Осокиных, города Балахны, богатых купцов, имевших суконную фабрику в Казани и медеплавильные заводы на отрогах Урала. Управляющие демидовскими заводами на Урале были ей также свойственники. Когда Осокины стали дворянами, откинулись они от скита раскольничьего, обитель обедняла, и обитель Осокиных прозвалась обителью Рассохиных. Бедна и скудна была, милостями матери Манефы только и держалась.

Эти насельники возвысили Комаровский скит перед другими. Разнеслась о нем слава по всем местам, от Петербурга до Сибири и Кубани, и в обители его отовсюду полились щедрые даяния «благодетелей». Но самою бо-

гатою, самою знатною обителью стала обитель Манефы Новой, оттого, что в ней прочно основано было общежительство, строги были уставы общины и не видано, не слыхано было про какое-нибудь от них отступление. По имени настоятельницы называлась она «Манефиной» и своим благосостоянием обязана была целому ряду домовитых, бережливых, распорядительных игумений, следовавших одна за другой в продолжение целого почти столетия.

Но не одна домовитость, не одна бережливость были источниками богатств, скопленных в Манефиной обители в первые годы ее существования. Прежние игуменьи, особенно мать Назарета, обогащали обитель свою иными способами.

Шарташ, Уктус, пу́стыни Висимских лесов[1] были в постоянных сношениях с ними. Во время óно нередко приходили оттуда на Каменный Вражек возы с сибирскими осетрами и с коровьим маслом. Потрошила тех осетров и перетапливала масло всегда сама Манефа Старая, и никого тогда при ней не бывало, а когда померла она, преемница ее игуменья Назарета принялась за то же дело. Хоть ни та, ни другая об алхимии не слыхивали, но из осетровых потрохов и подонков растопленного масла умели добывать чистое золото. Делом тем занимались они в подземелье, куда уходили через тайник, устроенный в игуменской стае... Назарета была уже в преклонных летах, когда настал французский год. Рассказывали, что в ту страшную пору купцы, бежавшие из Москвы от неприятеля, привезли Назарете много всяких сокровищ и всякой святыни, привезли будто они то добро на пятистах возах, и Назарета самое ценное спрятала в таинственное подземелье, куда только перед большими праздниками одна опускалась и пробывала там пó двое, пó трое суток. Всем это было на удивление. Как ни пытались обительские матери разведать тайну игуменьи, никто разведать не мог. Как ни спрашивали ее, как у ней ни допытывались, молчит, бывало, строгая старица, отмалчивается богомольница, никому своей тайны не поведая. Много было зависти оттого по другим обителям и по малым скитам. Пошла недобрая молва про матушку

[1] *Шарташ* и *Уктус* — большие скиты поблизости Екатеринбурга. *Висимские леса*, где много было скитов,— недалеко от Нижнетагильского завода.

Назарету Комаровскую. В своей-то обители толковали, что она чересчур скупа, что у ней в подземелье деньги зарыты, и ходит она туда перед праздниками казну считать, а за стенами обители говорили, что мать Назарета просто-напросто запоем пьет, и как на нее придет время, с бочонком отправляется в подземелье и сидит там, покаместь не усидит его. Много и других нехороших сплетен плели про мать Назарету... Меж тем французы ушли из Москвы, купцы уехали из скита, но пожитки оставили у Назареты до лета, чтоб взять их, когда отстроят погорелые дома в Москве. Вскоре после Пасхи Назарета умерла и благословила быть в обители настоятельницей своей племяннице Вере Иевлевне, с тем чтоб она постриглась. Хоть молода была Вера Иевлевна, тридцати лет тогда ей не минуло, но все у одра умиравшей Назареты согласились быть под ее началом. Хотели тем угодить Назарете, очень ее уважая, а вместе с тем и то у матерей на уме было: уйдет Вера из обители, теткины богатства с собою унесет, а останется, так все с ней в обители останется... В самый смертный час подозвала мать Назарета Веру Иевлевну, велела ей вынуть из подголовка ключ от подземелья и взяла с нее зарок со страшным заклятьем самой туда ходить, но других никого не пускать. «Там найдешь бумагу, в ней все написано»,— сказала умиравшая, и это были последние слова ее... Когда Вера, схоронив тетку, в первый раз спустилась в подземелье, воротилась от страха полумертвая, но потом, однако же, чаще да чаще стала туда похаживать... Зачали говорить ей матери: «Вера Иевлевна, не пора ль тебе, матушка, ангельский чин воспринять, черную рясу надеть, чтобы быть настоящей игуменьей по благословению покойницы матушки». Но Вера Иевлевна неделю за неделей откладывала, и так прошло месяца с три... И случился тут соблазн, какого не бывало в скитах керженских, чернораменских с тех пор, как зачинались они... Молодая настоятельница ушла в подземелье и несколько дней не возвращалась... Ждут, пождут ее, с неделю времени прошло, слышат, что Вера повенчана в Пучеже с купеческим сыном Гудковым, и повенчана-то в православной церкви... Прямо из-под венца она уехала с мужем в Москву... Выбрали матери новую настоятельницу, мать Екатерину, ту самую, при которой Манефа Чапурина в обитель вступила. Когда Екатерина, несколько дней погодя, вместе со старшими матерями че-

рез тайник спустилась в подземелье, кроме пустых сундуков там ничего не нашли... В углу подземелья была отыскана дверь, отворили ее, а там ход. Пошли тем ходом: шли, шли и вышли в лес, на самое дно Каменного Вражка... Матери перепугались, исправник, мол, узнает, беда; зарыли и ход и подземелье. И только что кончили это дело, на другой же день, бог знает отчего, загорелась келья матери Назареты, и стая сгорела дотла... Приехали купцы из Москвы за своим добром. Что в обительских кладовых было спрятано, получили обратно, но золото, серебро, жемчуги и другие драгоценные вещи так и пропали. Зато муж Веры Иевлевны переехал в Петербург, богачом сделался... коммерции советник, в орденах, знатные люди у него обедывали... Но чужое добро впрок нейдет: салом на бирже большие дела делал, но прогорел, сам умер в недостатках, дети чуть не по миру ходили.

Темная история Веры Иевлевны не повредила Манефиной обители. Мать Екатерина, умная и строгая женщина, сумела поддержать былую славу ее. Ни с Москвой, ни с Казанью, ни с уральскими заводами связи не были ею порваны. Правда, к матери Екатерине не привозили осетров и масла с золотом, а из Москвы именитые купцы перестали наезжать за добытым в скитском подземелье песочком, но подаяния не оскудевали, новая игуменья с нужными людьми ладить умела.

Мать Манефа была вся в свою предшественницу Екатерину. Обитель при ней процвела.

Она считалась лучшей обителью не только во всем Комарове, но и по всем скитам керженским, чернораменским. Среди ее, на широкой поляне, возвышалась почерневшая от долгих годов часовня, с темной, поросшей белесоватым мхом кровлей. До трех тысяч икон местных, средних и штилистóвых стояли в большом и в двух малых придельных иконостасах, а также на полках по всем стенам часовни. В середине большого пятиярусного иконостаса, поставленного у задней стены на возвышенной солее, находились древние царские двери замечательной резьбы; по сторонам их стояли местные иконы в серебряных ризах с подвешенными пеленами, парчовыми или бархатными, расшитыми золотом, украшенными жемчугом и серебряными дробницами. Перед ними ставлены были огромные серебряные подсвечники с пудовыми све-

чами. Древний деисус с ликами апостолов, пророков и праотцев возвышался на вызолоченном тябле старинной искусной резьбы. С потолка спускалось несколько паникадил с прорезными золочеными яблоками, с серебряными перьями, с репьями и витыми усами. Малые образа древней иконописи, расставленные по полкам, были украшены ризами обронного, сканного и басменного дела с жемчужными цатами и ряснами[1]. Тут были иконы новгородского пошиба, иконы строгановских писем первого и второго, иконы фряжской работы царских кормовых зографов Симона Ушакова, Николы Павловца и других. Все это когда-то хранилось в старых церквах и монастырях или составляло заветную родовую святыню знатных людей допетровского времени. Доброхотные датели и невежественные настоятели, ревнуя не по разуму о благолепии дома божия, заменяли в своих церквах драгоценную старину живописными иконами и утварью в так называемом новом вкусе. Напудренные внуки бородатых бояр сбывали лежавшее в их кладовых дедовское благословение как ненужный хлам и на вырученные деньги накупали севрского фарфора, парижских гобеленов, редкостных табакерок и породистых рысаков или растранжиривали их с заморскими любовницами. Старообрядцы, не жалея денег, спасали от истребления неоцененные сокровища родной старины, собирая их в свои дома и часовни. Немало таких сокровищ хранилось в обители матери Манефы. Были тут и комнатные иконы старых царей, и наследственные святыни знатных допет-

---

[1] *Дробница* — металлическая бляха с священными изображениями, служила в старину украшением богослужебных облачений, пелен, образных, окладов, архиерейских шапок и пр. *Обронным* делом называлось в старину такое металлическое производство какой-либо утвари, когда посредством глубокой резьбы получались выпуклые рельефные изображения. *Сканное*, или филиграновое, дело объясняется самым названием от слова «скать», то есть сучить; «сканье» — сученье, «сканный» — сученый. В сканном деле обыкновенно свивали или скручивали вместе две металлические проволоки, из чего потом составляли разные узоры в сетку. Сканным делом называлась вообще всякая сквозная сетчатая работа. Сканное дело — самая изящная работа изо всех старинных русских металлических работ. *Басменным* делом называлась выбивка фигур и узоров на тонких плющенных металлических листах. *Цата* — полукруглая или сердцеобразная металлическая подвеска у икон под ликом, прикрепленная к краям венца. *Рясно* — ожерелье или подвески, поднизи.

ровских родов, и драгоценные рукописи, и всякого рода древняя церковная и домашняя утварь.

Вкруг часовни были расположены обительские стаи. Та, что стояла прямо против часовенной паперти, была и выше и обширней других. Здесь жила сама игуменья со своими наперсницами. Из этой стаи выдавалась вперед большая пятистенная [1] ее келья, с пятью окнами на лицо, по два на каждой боковой стене. С одной стороны в келью вело высокое, широкое крыльцо под навесом, с другой был маленький выход из подклета. Над самой игуменьиной кельей возвышалась светлица в виде теремка, с двумя окнами, убранными вокруг резным узорочьем. Здесь в летнее время живали племянницы матушки Манефы и Дуня, дочь богатого купца, рыбного торговца Смолокурова, когда они воспитывались в ее обители.

Поближе к часовне стоял небольшой новенький деревянный домик, вовсе не похожий на скитские. Он был строен по-городскому. Пять больших лицевых окон этого домика с бемскими стеклами и блестящим медным прибором весело глядели на сумрачную обитель. Сквозь стекла виднелись шелковые занавески с аграмантом, клетки с канарейками, горшки с цветами. Домик обшит был тесом, выкрашенным в дикую краску, крыша железная ярко-зеленого цвета. Перед окнами невысоким решетчатым забором огорожен был палисадник, занесенный теперь сугробом, из которого поднималось десятка полтора обверченных в кошмы и рогожи молодых деревьев. В том уютном домике жила двадцатисемилетняя бездетная вдова из богатого купеческого дома, Марья Гавриловна Масляникова. Овдовев, поселилась она у Манефы в обители, не вступая в общежительство. Дом построила на свой счет и жила в нем своим хозяйством. Ее все любили, уважали за строгую жизнь и доброту, а еще больше за ее богатство.

Неподалеку от игуменьиной стаи стояла обширная, почерневшая от времени изба, на высоком подклете, но без светлиц и повалуш. Это келарня. Тут была общая обительская трапеза, стряпущая и кладовая с разными запасами. Рядом с келарней стояли погреба. В трапезе

---

[1] *Пятистенной* избой, пятистенным домом зовут строение, состоящее из двух срубов.

на темных бревенчатых стенах повешены были иконы с горевшими перед ними лампадами, от входа до самых почти передних окон в три ряда поставлены были длинные столы, вокруг них переметные ска́мьи. Здесь не только могли обедать все жительницы Манефиной обители,— а было их до сотни,— доставало места и посторонним, приходившим из деревень на богомолье или погостить у гостеприимных матерей и послаще поесть за иноческой трапезой. В переднем конце среднего стола стояли старинные кресла, обитые побуревшею от времени, бывшею когда-то черной, кожей с медными гвоздиками. Перед креслами на столе стояла кандия с крестом на верхушке. В переднем углу келарни, под киотом с иконами, лежало несколько книг в старых черных переплетах, стояли кацея́ и ладанница[1]. Перед образами стоял складной кожаный налой, за ним во время трапезы читали положенное уставом на тот день поучение или житие святого, память которого тот день праздновалась.

Келарня служила и сборным местом жительниц обители. Сюда сходились старшие матери на сборы для совещаний о хозяйственных делах, для раздачи по рукам денежной милостыни, присылаемой благодетелями; здесь на общем сходе игуменья с казначеей учитывала сборщиц и канонниц, возвращавшихся из поездок; сюда сбегались урвавшиеся от «трудов» белицы промеж себя поболтать, здесь же бывали по зимним вечерам «су́прядки». С гребнями, с прялками, с пяльцами, с разным шитьем и всяким рукодельем после вечерен белицы и инокини, которые помоложе, работали вместе вплоть до ужина под надзором матушки-келаря. На су́прядки прихаживали девицы и из других обителей. Поэтому обители чередовались су́прядками: в одну сбирались по понедельникам, в другую по вторникам, кроме субботы и канунов праздничных дней. В Манефиной келарне су́прядки по четвергам бывали.

---

[1] *Кандия* — медная чашка, служащая в монастырских трапезах колокольчиком. Звоном ее назначают начало и конец трапезы, перемену блюд и пр. В нее ударяет старшее лицо, присутствующее за трапезой. *Кацея*, или ручная кадильница,— род жаровенки с крестом на кровле и длинною рукояткою. Она делается из двух чаш, соединяющихся у рукоятки посредством вертлюга. *Ладанница* — металлическая коробка на ножках с шатровою крышечкой. В ней хранится ладан.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В один из таких четвергов, незадолго перед масленицей, собралось белиц до двадцати. Тут были и свои, и гости от Бояркиных, от Жжениных и других обителей. Рядами сидели они по скáмьям. Кто за пяльцами, кто за кружевной подушкой, а кто и за гребнем, другие, отложив работу к сторонке, весело пересмеивались с подругами. Маленькая, юркая старушка, с выразительными черными глазками, со следами былой красоты, взад и вперед бродила по келарне и напрасно старалась унять разболтавшихся белиц от веселых криков и хохота. Это была мать Виринея, келарь обители. Как ни хотелось старушке положить конец «мирской», «греховной» беседе, как ни хлопотала она, хóдя вкруг молодых девушек,— все было напрасно. Слушать ее никто не хотел. Не скупилась мать Виринея ни на брань, ни на угрозы, но это девицам было как к стене горох. Знали они, что добродушная, любящая всех и каждого мать Виринея поворчит, поворчит, а тем дело и кончит.

— Искушение с вами, девицы, беда да и только,— бранилась она.— Эти ваши беседы, эти ваши сýпрядки — просто господне наказание. Чем бы из Пролога что почитать, али песню духовную спеть, у вас на уме только смешки да баловство. Этакие вы непутные, этакие бесстыжие!.. Погоди, погоди вот, приедет матушка, все ей доложу, все доложу, бесстыдницы вы этакие!.. Слышь, говорю, замолчите!.. Оглохли, что ль? — крикнула она, наконец, топнув ногой.

Смолкли девицы, но шушуканье вполголоса не прекращалось.

— Завтра что? Какого святого? — спрашивала мать Виринея, дергая за рукав белицу Евдокеюшку, свою племянницу, жившую при ней в келарне.

— Преподобного отца нашего Ефрема Сирина,— глухо отвечала молчáливая и всегда, на общем даже веселье, сумрачная Евдокеюшка.

— Так, Ефрема Сирина,— продолжала мать Виринея.— А знаете ли вы, срамницы, чтó это за святой, знаете ли, что на святую память его делать надобно?

— Домового закармливать,— бойко отвечала красивая, пышущая здоровьем и силой Марьюшка, головщица правого клироса, после Фленушки первая бáловница

всей обители. На руках ее носили и старые матери и молодые белицы за чудный голос. Подобного ему не было по всем скитам керженским, чернораменским.

На слова Марьюшки девицы покатились со смеху.

— Что-о-о?.. Что́ ты сказала?..— быстро подойдя к ней, закричала мать Виринея.

— На Ефрема Сирина по деревням домового закармливают, каши ему на загнеток кладут, чтобы добрый был во весь год,— отвечала Марья, смеясь в глаза Виринее. Пуще прежнего захохотали девицы.

— А вот я тебя за такие слова на поклоны поставлю,— вскричала мать Виринея,— да недели две, опричь черствой корки, ты у меня в келарне ничего не увидишь!.. Во святой обители про идольские басни говорить!.. А!.. Вот постой ты у меня, непутная, погоди, дай только матушке Манефе приехать... Посидишь у меня в темном чулане, посидишь!.. Все скажу, все.

— Ну и посижу,— бойко отвечала Марья.— Эка беда?.. А кто на клиросе-то будет запевы запевать? Ты, что ли, козьим своим голосом?..

— А вот я гребень-то из донца выну да бока-то тебе наломаю, так ты у меня не то что козой, коровой заревешь... С глаз моих долой, бесстыжая!.. Чтобы духом твоим в келарне не пахло!.. Чтобы глаза мои на тебя, бесстыжую девчонку, не глядели!..

— Ну и пойду,— смеясь, отвечала Марья, накидывая на голову большой ковровый платок.— Ну и пойду... Благодарим покорно за угощенье, матушка Виринея,— низко поклонившись, прибавила она и, припрыгивая, побежала к двери.

— Постой, постой, Марьюшка, погоди, не уходи,— ласково заговорила вслед уходившей добродушная Виринея.— Ну полно, девка, дурить,— образумься... Ах ты, озорная!.. Гляди-ка!.. Ну, клади поклоны — давай прощаться.

— Аль уж в самом деле попрощаться с матушкой-то? — смеясь, молвила, обращаясь к подругам, головщица и, приняв степенный вид, стала перед образами класть земные поклоны, творя вполголоса обычную молитву прощения. Кончив ее, Марьюшка обратилась к матушке Виринее, чинно сотворила перед нею два уставные метания, проговоривши вполголоса:

— Матушка, прости меня, грешную, в чем перед тобой согрешила... Матушка, благослови.

— Бог простит, бог благословит,— чинно ответила мать Виринея.

Напущённого гнева на лице мягкосердой старушки как не бывало. Добродушно положив руку на плечо озорной головщицы, а другою поглаживая ее по голове, кротко, ласкающим, даже заискивающим голосом спросила ее:

— Скажи же, Марьюшка, скажи, голубушка, потешь меня, скажи про святого отца нашего Ефрема Сирина. Чем он господу угодил?.. А?.. Скажи, моя девонька, скажи, умница.

— Святые книги писал, матушка, о пустынном житии, об антихристе, о последних временах,— скромно опустив глаза, отвечала шаловливая головщица.

— То-то, дева,— вздохнув, сказала мать Виринея и, сев на скамью, склонила щеку на руку.— То-то, родная моя, о пустынном житии писал преподобный Ефрем, как в последние дни от антихриста станут люди бегать в дебри и пустыни, хорониться в вертепы и пропасти земные. Про наше время, девонька, про нас писал преподобный. Хоть мы и на каждый час грешим перед господом, хоть и нет на свете грешников паче нас, но по вере мы чисты и непорочны, а по благочестию нет на свете первее нас. За веру и благочестие чаем и грехов отпущения и вечныя жизни в селениях праведных... Ведь и мы, бегая сетей антихристовых, зашли в сии леса и пустыни, всё как есть по слову преподобного Ефрема. Потому и надо нам почитать святую его память... Так-то, девоньки, так-то, разумницы!.. Вот и вы бы почитали от книг преподобного Ефрема Сирина, а я бы, старуха, послушала... Подайка мочку, Евдокеюшка,— промолвила мать Виринея, обращаясь к племяннице и садясь за гребень.

— Так-то, мои ластовицы,—продолжала она, быстро вертя веретеном,— так-то, разумницы. Чем смехотворничать да празднословить, вы бы о душах-то своих подумали... О грехах надо помышлять, девушки, сердцем к молитве гореть, вражеских сетей беречься. А вам все смешки да шутки. Нехорошо это, голубушки вы мои, больно нехорошо. Не живут так во святых обителях. Того разве не знаете, что смех наводит на грех? От малого небрежения в великие грехопадения не токмо мы, грешницы, но

и великие подвижники, строгие постники, святые праведные частехонько впадали... О, о, ох, ох, ох!.. Грехи-то наши, грехи тяжкие!.. А вы, девушки, не забыв бога живите, не буянно поступайте... Да ты, Устьинья, что это выдумала?.. Опять хохотать!.. В Москве, что ли, научилась? Смотри у меня!

— Да я ничего, матушка,— молвила, едва сдерживая смех, молоденькая канонница, только что воротившаяся из Москвы, где у богатых купцов читала «негасимую» по покойникам да учила по часослову хозяйских ребятишек.

— То-то ничего! Сама грешишь и других на грех наводишь... Ох, девоньки, девоньки, что-то глазыньки у меня слипаются,— прибавила мать Виринея, кладя веретено и зевая,— хоть бы спели что-нибудь, а то скучно что-то.

— Мы тотчас, матушка,— лукаво подхватила Марья головщица и, переглянувшись с подругами, начала с ними:

Не свивайся, не свивайся трава с повиликой,
Не свыкайся, не свыкайся молодец с девицей,
Хорошо было свыкаться, тошно расставаться.

— Ох, искушение!.. Ах вы, беспутные!.. Очумели вы, девицы, аль с ума спятили? — в источный голос кричала мать Виринея, изо всей силы стуча по столу кленовым гребнем.— Да перестаньте же, бесстыжие, перестаньте, непутные!.. Сейчас у меня перестаньте, не то возьму кочергу да всех из келарни вон.

Насилу-насилу добилась старушка, чтоб смолкла песня греховная. Зато шутливая болтовня и веселый хохот поднялись пуще прежнего. Повскакали девицы из-за работы, и пошла у них такая возня, что хоть святых вон неси.

Устала мать Виринея. Задыхаясь, села на лавку, опустила руки на колена.

— Ах, вы, бесстыжие! — изнемогая, ворчала она.— Ах вы, разбойницы! Уморили меня, старуху... Услышит Марья Гавриловна, что тогда будет?.. Что про вас подумает?.. А?.. Погодите у меня, дайте срок: все матушке Манефе скажу, все, все... Задаст она вам, непутные!.. Заморит на поклонах да в темных чуланах...

Нашалившись досыта, усталые девицы, через силу переводя дух, расселись по лавкам, где кто попало. Пристают к Виринее:

— Матушка, не сердись! Преложи гнев на милость!.. Мы ведь только маленько... Прости, Христа ради... Да пожалуйста, матушка... Мы тебе хорошую песню споем, духовную.

Так говорили девицы, перебивая друг дружку и ласкаясь к матери Виринее.

— Ах вы, злодейки, злодейки!.. Совсем вы меня измучили... Бога вы не боитесь. Совести нет у вас в глазах... Что вы, деревенские, что ли, мирские?.. Ах вы, греховодницы, греховодницы!..

И голос Виринеи все мягче и мягче становился; не прошло трех-четырех минут, обычным добродушным голосом говорила она пристававшим к ней девицам:

— Полно же, полно... Ну, бог простит... Спойте же хорошее что-нибудь... Живете в обители, грех беса тешить греховными бесстудными песнями.

Марья головщица сильным грудным голосом завела унылую скитскую песню. Другие белицы дружно покрыли ее хором:

Воззримте мы, людие, на сосновы гробы,
На наши превечные домы,
О, житие наше маловременное!
О, слава, богатство суетное!
И слезы убожества и гордость завистная
На сем вольном свете все минёт.

Бог нам дает много, а нам-то все мало,
Не можем мы, людие, ничем ся наполнить!
И ляжем мы в гробы, прижмем руки к сердцу
Души наши пойдут по делам своим,
Кости наши пойдут земле на предание,
Телеса наши пойдут червям на съедение,
А богатство, гордость, слава куда пойдут?

Покинем же гордость,
Возлюбим мы кротость,
За всех потрудимся,
И тем себе купим
Небесное царство.

Стихли уныло-величавые звуки песни о смертном часе, и дума хмарой подернула веселые лица. Никто ни слова. Мать Виринея, облокотясь руками и закрыв лицо, сидела у края стола. Только и слышна была неустанная, однообразная песня сверчка, приютившегося за огромною келарскою печкой.

— Спаси вас господи, родненькие! — подымая голову, дрожащим сквозь слезы голосом говорила мать Виринея.— Ну вот так и хорошо, вот так и прекрасно... Теперь и ангелы божии прилетели на нашу беседу да, глядя на вас, радуются... А то все у вас скоки да гòлки... Нехорошо, девушки... Как дым отгоняет пчелы, так бесчинные беседы и бесстудные песни ангелов божиих отгоняют. Отходящим же им приходит бес тéмен, сея свой злосмрадный дым посредине беседующих. Слышания же чтения и песен духовных враг стерпети не может, далече бежит от бесед благочестивых. Так-то, девоньки!.. Нуте-ка, пойте еще, красавицы, утешьте старуху... Зачинай-ка, Марьюшка!

Началась новая песня:

Ах, увы, беда,
Приходит чреда,
Не вем, когда
Отсель возьмут куда...
Боюся страшного суда,
И где явлюся я тогда?..

Плоть-то моя немощнá,
А душа вельми грешна.
Ты же... смерте, безобразна и страшнá!

Образом своим страшишь,
Скоро ты ко мне спешишь,
Скрыты твои трубы и коса,
Ходишь всюду нагá и босá.

О, смерте! Нет от тя обороны —
И у царей отъемлешь ты короны,
Со архиереи и вельможи не медлишь,
Даров и посулов не приемлешь;
Скоро и мою ты хощешь душу взяти
И на страшный суд богу отдати.

О люте в тот час и горце возопию,
Когда воззрю на грозного судию.

В глубокое умиление пришла мать Виринея. Лицо ее, выражавшее душевную простоту и прямоту, сияло теперь внутренним ощущением сладостной жалости, радостного смирения, умильного, сердечного сокрушенья.

— Касатушки вы мои!.. Милые вы мои девчурочки!..— тихонько говорила она любовно и доверчиво окружавшим ее девицам,—живите-ка, голубки, по-божески,

пуще всего никого не обидьте, ссор да свары ни с кем не заводите, всякому человеку добро творите — не страшон тогда будет смертный час, оттого что любовь все грехи покрывает.

В порыве доброго, хорошего чувства ласкались девицы к доброй Виринее. Озорная Марьюшка прильнула губами к морщинистой руке ее и кропила ее слезами.

Резкий скрип полозьев у окна послышался.

Все подняли головы, стали оглядываться.

— Взглянь-ка, Евдокеюшка,— молвила племяннице мать Виринея.— Кого бог принес? Кой грех, не из судейских ли?

Накинув нá голову шубейку, вышла Евдокеюшка из келарни и тòтчас воротилась.

— Матушка приехала! — воскликнула она.

— Ну, слава богу! Насилу-то,— сказала, вставая со скамьи, мать Виринея.— Идти было к ней. Здорова ли то приехала?

Поспешно стали разбирать свои рукоделья девицы и скоро одна за другой разошлись. В келарне осталась одна Евдокеюшка и стала расставлять по столам чашки и блюда для подоспевшей ужины...

* * *

В игуменской келье за перегородкой сидела мать Манефа на теплой изразцовой лежанке, медленно развязывая и снимая с себя платки и платочки, наверченные на ее шею. Рядом, заложив руки зá спину и грея ладони о жарко натопленную печь, стояла ее наперсница, Фленушка, и потопывала òб пол озябшими ногами. Перед игуменьей с радостными лицами стояли: мать София, ходившая у нее в ключах, да мать Виринея. Прежде других матерей прибежала она в заячьей шубейке внакидку встретить приехавшую мать настоятельницу. Дверь в келью то и дело отворялась, и морозный воздух клубами белого пара каждый раз врывался в жарко натопленную келью. Здоровенная Анафролия, воротившаяся с игуменьей из Осиповки, да еще две келейные работницы, Минодора да Наталья, втаскивали пожитки приехавших, вместе с ними узлы, мешки, кадочки, ставешки с гостинцами Патапа Максимыча и его домочадцев. Одна за другой приходили старшие обительские матери здороваться

с игуменьей: пришла казначея, степенная, умная мать Таифа, пришла уставщица, строгая, сумрачная мать Аркадия, пришли большого образа соборные старицы: мать Никанора, мать Филарета, мать Евсталия. Каждая при входе молилась иконам, каждая прощалась и благословлялась у игуменьи, спрашивая об ее спасении — все по чину, по уставу... Вскоре боковуша за перегородкой наполнилась старицами.

— Да скоро ль вы переносите? — хлопотала Виринея около Анафролии и келейных работниц.— Совсем келью-то выстудили. Матушка и без того с дороги иззябла, а вы тут еще валандаетесь... Иное бы что и в санях покинули.

— Истоплено хорошо,— вступилась мать София.— Перед вечерней печи-то только скутаны, боюсь разве — не угарно ли.

— Угару нет, кажись,— заметила мать Виринея,— а ты бы, матушка София, чайку поскорей собрала. Самоварчик-от у тебя поставлен ли?

— Как не поставлен? — отвечала мать София.— Поди, чай, кипит.

И, выйдя в сени, сама притащила в келью шипящий «самоварчик» ведра в полтора...

— Ну как вы, матушка, время проводили? Все ль подобру-поздорову? — сладеньким заискивающим голосом спрашивала казначея мать Таифа едва отогревшуюся на горячей лежанке игуменью.

— Не больно крепко здоровилось,— разбитым голосом отвечала Манефа.

— Что ж так, матушка? — спросила Таифа.— Чем недомогали? Поясница, что ли, опять?

— Головушку разломило. Известно: дело мирское — суета, содом с утра дò ночи,— говорила Манефа.

— Много, чай, гостей-то понаехало на именины? — спросила уставщица мать Аркадия.

— Было довольно всяких гостей,— сухо ответила ей мать Манефа.

— Из городу, поди, наехали? Купцы были? — спросила мать Никанора.

— Из городу были, и из деревень были, и купцы были: всякие были. Да ну их — господь с ними. Вы-то как без меня поживали? — спросила Манефа.

— Благодарение господу. За вашими святыми молитвами все было хорошо и спокойно,— сказала уставщица Аркадия.— Службу каждодневно справляли как следует. На преподобную Ксению, по твоему приказу, утренне бдение с полиелеем стояли. Пели канон преподобным общий на два лика с катавасиями.

— С которого часа зачали службу? — спросила игуменья.

— В два часа за́ полночь велела я в било ударить,— отвечала мать Аркадия.— Когда собрались, когда что — в половине третьего пение зачали. А пели, матушка, утреню по минеи. У местных образов новы налепы горели, что к Рождеству были ставлены, паникадила через свечу зажигали.

— А на тра́пезе,— подхватила мать Виринея,—ставлено было четыре яствы: капуста с осетриной да с белужиной, да щи с головизной, да к ним пироги с вязигой да с семгой, что̀ от Филатовых прислана была еще до вашего, матушка, отъезда, да лещи были жареные, да пшенники с молоком. Браги и квасу сыченого на трапезу тоже ставили. А на вечери три яствы горячих подавали.

— А трудники в тот день дела не делали,— прибавила казначея Таифа.

— А на утрие, на Григория Богослова, тоже с полиелеем служба была, икону святителя, строгановского письма, на поклон становили,— докладывала уставщица.

— Бог вас спасет, матери,— поклонясь, молвила игуменья.— Добро, что порядок блюли и божию службу справляли как следует. А что Марья Гавриловна, здорова ли? — осведомилась мать Манефа.

— Здорова, матушка, слава богу,— отвечала Таифа.— В часовне у служеб бывала и у часов и к повечерию. К утрене-то ленивенька вставать, разве только что в праздники.

— Ее дело,— строго заметила Манефа.— А ты бывала ль у нее в дому-то?

— Как же, матушка, раза три ходила,— отвечала казначея,— да вот и мать Аркадия к ней захаживала, а Марьюшку так почти каждый день Марья Гавриловна к себе призывала.

— Не слыхали ль чего, не гневается ли она на Патапа Максимыча? — обращаясь ко всем, спросила мать Манефа.— За хлопотами совсем позабыл к ней письмо отписать, в гости позвать ее... Уж так он кручинится, так кручинится...

— Нет, матушка, кажись, ничего не заметно, чтобы гневалась на кого Марья Гавриловна,— молвила мать Таифа.

Аркадия подтвердила слова казначеи.

— Какой гнев, матушка! — подхватила Марья головщица.— Сколько раз она со мной и Настеньку с Парашей, и Патапа Максимыча поминала, и все таково любовно да приятно.

— Завтра после часов надо сходить к ней, повидаться, гостинцы снести,— озабоченно говорила Манефа.— А вам, матери и девицы, Аксинья Захаровна тоже гостинцев прислала за то, что хорошо ее ангелу праздновали, по рублю на сестру пожаловала, опричь иного. Завтра, мать Таифа,— прибавила она, обращаясь к казначее,— возы придут. Прими по росписи... Фленушка, у тебя никак роспись-то?

Фленушка порылась в дорожном мешке и, вынув сложенный начетверо лист бумаги, подала его Манефе.

— Читай-ка, мать Таифа,— сказала игуменья, подавая казначее роспись.— Благо, все почти матери здесь в сборе, читай, чтобы всем было ведомо, какое нашей святой обители сделано приношенье.

Мать Таифа, с трудом разбирая скоропись, медленно стала читать:

— «Рыбы осетрины свежей шесть пудов, да белужины столько ж, да севрюги соленой четыре пуда. Тешки белужьей да потрохов осетровых по пуду. Икры садковой полпуда, осетровой салфеточной пуд. Жиров да молок два пуда с половиной, балыков донских три. Муки крупичатой четыре мешка, гороху четыре четверти, ветчины окорок...»

Мать казначея руками развела, дочитавшись до такого приношения.

— Как ветчины? — строго спросила игуменья.

— Ветчина писана, матушка,— отвечала Таифа, показывая роспись Манефе.

— Ох, искушение!..— послышалось между инокинями.

Белицы улыбались, отворачиваясь в сторону, чтобы матушка не заметила и не вздумала б началить их за нескромность.

— Ты писала? — нахмурившись, обратилась Манефа к Фленушке.

— Настенька это приписала,— отвечала Фленушка.— На смех. А как стали укладываться, она и в самом деле сунула в воз не то окорок, не то два.

— Верченая девка! Егоза!..— заворчала Манефа, и, обращаясь к матерям, прибавила: — Давно ли, кажись, из обители, а поглядели бы вы, какова стала моя племянница.

— Что ж, матушка, дело молодое — шутки да смехи еще на уме... Судьбы господь не посылает ли? — умильно спросила мать Евсталия.— Женишка не приискали ль родители-то?

— Нет,— сухо ответила Манефа.

— А намедни мужичок проезжал из Осиповки в Баки за хлебом,— продолжала Евсталия,— у Бояркиных приставал, говорил, что жених приезжал к Патапу Максимычу. Из Самары, слышь, купеческий сын.

— Приезжать приезжал,— нехотя отвечала Манефа,— только про сватовство не то что речи, и думы не бывало. Наврал тебе, Евсталия, твой мужичонко с три короба, а ты и плетешь. Похожего ничего не бывало. Да.

Мать Евсталия замолчала и ушла в угол, заметив, что игуменья маленько на нее осерчала.

— Известно дело, матушка, деревенский народ завсегда пустого много городит,— отозвалась уставщица Аркадия.— Пусти уши в люди — чего не наслушаешься.

— То-то и есть,— внушительно молвила Манефа,— коль мирских пустых речей не переслушаешь, так нечего и разговоры с проезжими заводить... Не погневайся, мать Евсталия.

Евсталия вышла из угла и, подойдя к игуменье, смиренно поклонилась. Та молча ответила малым поклоном.

— Как благоволите, матушка, утреню править? — спросила Аркадия.— Завтра память преподобного Ефрема Сирина... с полиелеем аль рядовую?

— Как прежде бывало? — спросила Манефа.

— Всяко бывало, матушка,— отвечала уставщица.— Служили с полиелеем, служили и рядовую. В уставе сказано: «Аще велит настоятель».

— Так служи, мать Аркадия, рядовую,— решила игуменья.— Послезавтра надо еще полиелей справлять и службы с величаньем трем святителям. А у нас и без того свечей-то, кажись, не ахти много?

— За Пасху, матушка, хватит, а к лету надо будет новых доспеть,— отвечала казначея.

— То-то же,— примолвила игуменья,— поберегать свечи-то надо. Великий пост на дворе, службы большие, длинные, опять же стоянья со свечами.

— А насчет ветчины-то как же, матушка, прикажете? — спросила казначея.— Собакам выкинуть аль назад отослать? Сиротам бы мирским подать — да молва про обитель пойдет.

— Спрячь подальше, соблазну бы не было,— сказала игуменья.— Не пòгань — пригодится: исправник приедет, али кто из чиновников — сопрут... Устинья Московка приехала?

— Приехала, матушка, в ту пятницу прибыла,— ответила казначея.— Расчет во всем подала как следует — сто восемьдесят привезла, за негасимую должны оставались. Да гостинцу вам, матушка, Силантьевы с нею прислали: шубку беличью, камлоту на ряску, ладану росного пять фунтов с походом, да масла бутыль, фунтов, должно быть, пятнадцать вытянет. Завтра обо всем подробно доложу, а теперь не пора ли вам и покою дать? Устали, чай, с дороги-то?

— И то устала, матери,— отвечала Манефа,— костоньки все разломило.

— Матушка-то и в Осиповке совсем больнешенька была,— молвила Фленушка, прибирая чайную посуду.— Последние дни больше лежала, из боковуши не выходила.

— Вам, матушка, завтра в баньку не сходить ли? Да редечкой велели бы растереть себя,— сказала, обращаясь к игуменье, ключница мать София.

— Поглядим, что завтра будет,— отвечала Манефа,— а к утрени, матушка Аркадия, меня не ждите. В самом деле что-то неможется. Рада-рада, что домой добралась... Прощайте, матери.

И стали матери одна за другой по старшинству подходить к игуменье прощаться и благословляться. Пошли за ними и бывшие в келье белицы. Остались в келье с игуменьей мать София да Фленушка с головщицей Марьей.

— Топлено ль у Фленушки-то? — спросила Манефа у ключницы.

— Топлено, матушка, топлено,— отвечала она.— Зараз обе кельи топили, зараз и кутали.

— Спаси тебя Христос, Софьюшка,— отвечала игуменья.— Постели-ка ты мне на лежаночке, да потри-ка мне ноги-то березовым маслецом. Ноют что-то. Ну, что Марьюшка,— ласково обратилась Манефа к головщице,— я тебя и не спросила: как ты поживала? Здорова ль была, голубка?

— Слава богу, матушка, вашими святыми молитвами,— отвечала, целуя Манефину руку, головщица.

— Больно вот налегке ходит,— ворчала ключница, постилая на лежанку толстый киргизский войлок.— Ты бы, Марьюшка, когда выходишь на волю, платок бы, что ли, на шею-то повязывала. Долго ль простудить себя? А как с голосу спадешь — что мы тогда без тебя будем делать?

— Э, матушка София, что мне делается? Я не из неженок. Авось, бог милостив,— ответила головщица.

— Не говори так, Марьюшка,— остановила ее Манефа.— На бога надейся, сама не плошай... Без меня где ночевала — у Таифы, что ли?

— К Таифе не пускала я ее, матушка,— ответила за головщицу София,— у ней келья угарная и тесновато. Мы с Марьюшкой в твоей келье домовничали, Минодорушка с Натальей ночевать к нам прихаживали.

— Ну, ступайте-ка, девицы, спать-ночевать,— сказала Манефа, обращаясь к Фленушке и Марьюшке.— В келарню-то ужинать не ходите, снежно, студено. Ехали мы, мать София, так лесом-то ничего, а на поляну как выехали, такая метель поднялась, что свету божьего не стало видно. Теперь так и метет... Молви-ка, Фленушка, хоть Наталье, принесла б вам из келарни поужинать, да яичек бы, что ли, сварили, аль яиченку сделали, молочка бы принесла. Ну, подите со Христом.

Фленушка и Марьюшка простились и благословились на сон грядущий у матушки и пошли через сени в другую келью.

— Ну, Софьюшка, рассказывай, как без меня поживали,— спросила игуменья свою ключницу, оставшись с нею вдвоем.

— Да ничего такого не случилось, матушка,— отвечала София.— Все слава богу. Только намедни мать Филарета с матерью Ларисой пошумели, да на другой день ничего, попрощались, смирились...

— Чего делили? — строго спросила Манефа.

— Видишь ли, с чего дело-то зачалось,— продолжала София, растирая игуменье ноги березовым маслом.— Проезжали этто из Городца с базара колосковские мужики, матери Ларисы знакомые,— она ведь сама родом тоже из Колоскова. Часы у нас мужички отстояли, потрапезовали чем бог послал, да меж разговоров и молвили, будто ихней деревни Михайла Коряга в попы ставлен.

— Слышала и я, слышала, Софьюшка,— вздыхая, промолвила Манефа.— Экой грех-от!.. Стяжателю такому, корыстолюбцу дали священство!.. Какой он поп?.. Отца родного за гривну продаст.

— Ну вот, матушка, ты в одно слово с Филаретой сказала,— а мать Лариса за Корягу горой. Ну и пошли. Да ведь обе они горячие, непокорливые, друг перед другом смириться не хотят, и зачалась меж ними свара, шумное дело. Столько было греха, столько греха, что упаси царь небесный. Мать Лариса доказывать стала, что не нам, дескать, о таком великом деле рассуждать, каков бы, дескать, Коряга ни был, все же законно поставлен в попы, а Филарета: «Коли, говорит, такого сребролюбца владыко Софроний поставил, значит-де, и сам он того же поля ягода, недаром-де молва пошла, что он святыней ровно калачами на базаре торгует». А Лариса такая ведь огненная, развернись да матушку Филарету в ухо. Та едва отскочить успела.

— Где ж это было?.. В келарне?.. При мужиках?..— встав с лежанки и выпрямляясь во весь рост, строгим, твердым голосом спросила Манефа.

— Случилось это, матушка, у Аркадии в келье,— ответила мать София.— Так матери в два веника и метут— шум, гам, содом такой, что вся обитель сбежалась. Про-

сто, матушка, как есть вавилонское языков смешение!.. И уж столько было промеж них сраму, столько было искушения, что и сказать тебе не могу. Как пошли они друг дружке вычитывать, так и Михайлу Корягу с епископом забыли, и такие у них пошли перекоры, такие дела стали поминать, что и слушать-то стало грешно... Что и смолоду водилось, а чего, может статься, и не бывало — все подняли. Уж судачили они, судачили, срамили себя, срамили — с добрый час времени прошло. Мать Таифа их было уговаривать — и слышать не хотят. Насилу-то насилу мать Аркадия их развела, а то бы, пожалуй, в драку полезли, искровенились бы.

— Марья Гавриловна слышала? — спросила игуменья.

— Как не слыхать, матушка. Приходить не приходила, а Таня, девица ее, прибегала,— отвечала София.

— Злочинницы! — резко сказала Манефа, ходя взад и вперед по келье.— Бога не боятся, людей не стыдятся!.. На короткое время обители нельзя покинуть!.. Чем бы молодых учить, а они, гляди-ко!.. Как смирились?

— Известно, миротворица наша, мать Виринея, в дело вступилась... ну и помирила. На другой день целое утро она, сердечная, то к той, то к другой бегала, стряпать даже забыла. Часа три уговаривала: ну, смирились, у нее в келарне и попрощались.

— То-то Филарета давеча стояла, глаз не поднимаючи, а Лариса даже и не пришла встретить меня,— молвила Манефа.

— Хворает, матушка, другой день с места не встает,— подхватила София,— горло перехватило, и сама вся ровно в огне горит. Мать Виринея и бузиной ее, и малиной, и шалфеем, и кочанной капусты к голове ей прикладывала, мало облегчило.

— Не погляжу я на хворь ее,— молвила гневно Манефа.— Не посмотрю, что соборные они старицы: обеих на поклоны в часовню поставлю и за трапезой... В чулан запру!.. Из чужих обителей не было ль при том кого?

— Нет, матушка, никого не было.

— А толки пошли?

— Как толкам не пойти,— отвечала мать София.— Известно, обитель немалая: к нам люди, и наши к чужим. Случился грех, в келье его не спрячешь.

— Обитель срамить!..— продолжала Манефа.— Вот я завтра с ними поговорю... А девицы в порядке держали себя?

— Все слава богу, матушка, никакого дурна не было.

— Супрядки бывали?

— Бывали, матушка, и сегодня вплоть до твоего приезда у Виринеи в келарне девки сидели.

— Чужие приходили?

— Бывали, матушка, и чужие: от Жжениных прихаживали, от Бояркиных.

— А от Игнатьевых? — быстро спросила Манефа.

— Как можно, матушка! Статочно ли дело супроти́в твоего приказа идти? — отвечала мать София.

— Деревенских парней не пускали ль?

— Ай что̀ ты, матушка! Да сохрани господи и помилуй! Разве мать Виринея не знает, что на это нет твоего благословенья? — сказала София.

— Хорошая она старица, да уж добра через меру,— молвила Манефа, несколько успокоившись и ложась на войлок, постланный на лежанке.— Уластить ее немного надо. У меня пуще всего, чтоб негодных толков не пошло про обитель, молвы бы не было... А тараканов в скотной морозили?

— Выморозили, матушка, выморозили. Вчера только перешли,— отвечала мать София.

— А Пестравка отелилась?

— Телочку принесла, матушка, а Черногубка бычка.

— И Черногубка? Гм! Теперь что же у нас, шестнадцать стельных-то? — спросила Манефа.

— Да, должно быть, что шестнадцать, матушка,— отвечала София.

— Масла много ль напахтали? — продолжала расспросы Манефа.

— Не могу верно тебе доложить,— отвечала София,— а вечор мать Виринея говорила, что на сырную неделю масла будет достаточно, с завтрашнего дня хотела творог да сметану копить.

— Сапоги работникам купили?

— Купили, матушка, еще на той неделе с базару привезли.

— Зажил глаз у Трифины?

— Все болит у сердечной,— отвечала София,— совсем врозь глазок-от у нее разнесло... Выльется он у нее, матушка, беспременно выльется.

— Лекарство-то прикладывает ли? — спросила Манефа.— Не даром за него деньги плачены.

— Прикладывает, матушка, только пользы не видится. Уж один бы конец,— отвечала мать София.

— Из господ не наезжал ли кто? — спросила Манефа.

— Третьего дня окружный на короткое время приезжал,— отвечала София.— На въезжей не бывал, напился чаю у Глафириных да и поехал в город. А то еще невесть какие-то землемеры наезжали, две ночи ночевали на въезжей... Да вот что, матушка, доложу я тебе: намедни встретилась я с матерью Меропеей от Игнатьевых, так она говорит, что на Евдокеин день выйдет им срок въезжу держать, а как, дескать, будет собранье, так, говорят, беспременно на вашу обитель очередь наложим: вы, говорит, уж сколько годов въезжу не держите.

— Этому не бывать,— сказала Манефа.— Покаместь жива, не будет у меня в обители въезжей. С ней только грех один.

— Известно дело, матушка,— как уж тут без греха,— сказала София.— И расходы, и хлопоты, и беспокойство, да и келью табачищем так прокурят, что года в три смраду из нее не выживешь. Иной раз и хмельные чиновники-то бывают: шум, бесчинство...

— Нельзя, нельзя,— говорила игуменья.— Может статься, Настя опять приедет погостить, опять же Марье Гавриловне не понравится... Рассохины пусть держат, что надо заплачу. Побывай у них завтра, поговори с Досифеей.

— Девицы, матушка, сказывали, закурила, слышь. матушка-то Досифея опять,— отвечала мать София.

— Опять?

— Другу неделю во хмелю. Такой грех.

— С Евстихией поговори,— сказала Манефа.— На ней же и лежит все у них. Спроси, что возьмут за год въезжу держать. Деньгами не поскуплюсь, припасы на угощенья мои. Так и скажи... Да скажи еще Евстихии, ко мне бы пришла: братец Патап Максимыч по пяти целковых на кажду бедну обитель прислал. Рассохиным, На-

польным, Солоникеиным, Марфиным, Заречным... Всех повести... Да повести еще сиротам, заутра бы к часам приходили; раздача, мол, на блины будет... Ох, господи помилуй, господи помилуй!..— примолвила мать Манефа, зевая и крестя открытый рот.— Подай-ка мне, Софьюшка, келейную манатейку да лестовку... Помолюсь-ка я да лягу, что-то уж очень сон стал клонить.

Мать София подала игуменье все нужное простилась с ней и, поправив лампадки, ушла в свою боковушу. Манефа стала на молитву.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Пока Манефа расспрашивала ключницу, в соседних горницах Фленушка сидела за ужином с Марьей головщицей.

Во Фленушкиных горницах, где перед тем жили и дочери Патапа Максимыча, было четыре комнаты, убранные гораздо наряднеи, чем келья игуменьи. Стены оклеены были обоями, пол крашеный, лавок не было, вместо них стояла разнообразная мебель, обитая шерстяной материей. Семь окон заставлены были цветочными горшками и убраны кисейными занавесками. Стояли пяльцы, швейки, кружевные подушки и маленький станок для тканья шелковых поясков. По стенам в крашеных деревянных рамках висели незатейливые картины. То были виды афонской горы, иргизских монастырей, Рогожского кладбища; рядом с ними висели картины, изображавшие апокалипсические видения, страшный суд и Паскевича с Дибичем на конях.

За столом, уставленным келарским кушанием и сластями, привезенными из Осиповки, сидели девушки, толкуя о разных разностях. Сначала беседа их шла вяло, Фленушке не совсем было весело. Досада разбирала ее. Очень хотелось ей недельку-другую еще погостить в Осиповке, да не удалось. Спервоначалу Манефа и соглашалась было оставить ее у Патапа Максимыча до Пасхи, но, заболев в день невестиных именин и пролежав после того три дня, заговорила другое. «Бог знает, буду ль живая я до Пасхи-то,— отвечала старица на просьбы Фленушки и племянниц,— а без того не хочу помереть.

чтобы Фленушка мне глаз не закрыла». И казалось, никогда еще мать Манефа не была так ласкова, так нежна к своей любимице, как в эти дни. Фленушке хоть и очень, очень не хотелось ворочаться в кельи на скуку и однообразную жизнь, но, беззаветно любя Манефу, она не решилась ее огорчить. Патап Максимыч был не прочь, чтобы бойкая Фленушка поскорей убралась из его дома. Не то чтоб он подозревал что-нибудь, а сдавалось ему, что сбивает она с толку его Настю. «Какая прежде тихая, какая сговорчивая была у нас Настасья,— говорил он жене,— а проявилась эта Фленушка — сорочий хвост,— ровно ее перевернуло всю. И не думай, Аксинья, унимать ту егозу, не упрашивай Манефу здесь ее оставлять, авось без нее девка-то выкинет дурь из головы». Пыталась было защищать Аксинья Захаровна и Фленушку и дочь, но Патап Максимыч цыкнул, и та замолчала. Накануне Манефина отъезда завела было речь Фленушка, чтоб отпустили Настю с Парашей в обитель гостить да кстати уж и поговеть великим постом. Сама Аксинья Захаровна, видя, что Насте хочется побывать в скиту, сказала мужу, отчего бы и не отпустить их. Придут, дескать, великие дни, девки к службе божьей привыкли, а, живучи в деревне, где помолятся, особенно же на страстной неделе? Патап Максимыч отказал наотрез. Настя знала, что стоит ей захотеть, так она переупрямит отца и во всем поставит на своем; хотела взяться за дело, но Фленушка остановила ее. «Молчи, не приставай к отцу,— сказала она,— пожалуй, испортишь все. Пущай его маленько повеличается, а уж я жива быть не хочу, коли не будешь ты у нас в скиту великим постом, не го весною». Как ни твердо была уверена Фленушка в успехе своего намеренья, все же ей было скучно теперь и досадно. Не люба, не приветна показалась ей родная келья с ее обстановкой, не похожей на убранство богатого дома Патапа Максимыча.

— Рассказывай, Фленушка, все по̀ ряду, как наши девицы в миру живут. Помнят ли нас, грешных, аль из памяти вон? — спрашивала Марьюшка.

— Как не помнить,— ответила Фленушка.— Тебе особенно кланяться наказывали.

— Бог их спасет, коль и нас из людей не выкинули,— молвила головщица.

— Кончила подушку-то, что в Казань шила?— спросила Фленушка.

— Дошила, вечор из пялец выпорола,— отвечала Марьюшка.

— Нову зачинай. Настя подарок прислала тебе: канвы, шерстей, синели, разных бисеров, стеклярусу. Утре разберусь, отдам.

— Благодарим покорно,— ответила головщица.— Только нову-то подушку вряд ли придется мне шить. Матушка омофор епископу хотела вышивать.

— Когда это будет, про то еще сорока на воде хвостом писала,— молвила Фленушка.— Матушка не один год еще продумает да по всем городам письма отписывать будет, подобает, нет ли архиерею облаченье строить из шерсти. Покаместь будут рыться в книгах, дюжину подушек успеешь смастерить.

— Ин спроситься завтра у матушки,— сказала головщица.

— Спросись, а Настя тебе и новых узоров прислала,— заметила Фленушка.

— Ну, вот за этот за подарочек так оченно я благодарна,— молвила Марьюшка.— А то узорами-то у нас больно уж стало бедно, все старые да рваные... Да что ж ты, Фленушка, не расскажешь, как наши девицы у родителей поживают. Скучненько, поди: девиц под пару им нет, все одни да одни.

— Параша-то не скучает,— молвила Фленушка.

— Что так? — спросила головщица.

— Да что она? Увалень,— ответила Фленушка.— Как здесь сонуля была, так и в миру. Пухнет инда со сна-то, глаза совсем почти заплыли.

— Что ж это она? Со скуки, поди? — сказала Марьюшка.

— Не разберешь,— ответила Фленушка.— Молчит все больше. День-деньской только и дела у нее, что поесть да на кровать. Каждый божий день до обеда проспала, встала — обедать стала, помолилась да опять спать завалилась. Здесь все-таки маленько была поворотливей. Ну, бывало, хоть к службе сходит, в келарню, туда, сюда, а дома ровно сурок какой.

— Поди же ты, какая стала,— покачивая головой, молвила Марьюшка.— Ну, а Настасья Патаповна что? Такая же все думчивая, молчаливая?

— Поглядела бы ты на нее! — усмехнувшись, ответила Фленушка.— Бывало, здесь водой ее не замутишь, а в деревне так развернулась, что́ только ой.

— Полно ты! — удивилась головщица. — Бойка стала.

— Меня бойчей — вот как,— оживляясь, ответила Фленушка.— Чуть не всем домом вертит. На что родитель — медведь, и того к рукам прибрала. Такая стала отважная, такая удалая, что беда.

— Поди вот тут,— говорила Марьюшка.— Долго ли, кажись, в миру пожила, на воле-то. Здесь-то, бывало, смотрит тихоней, словечко не часто проронит.

— На̀ людях и теперь не больно говорлива,— молвила Фленушка.— А на своем захочет поставить — поставит. Люта стала, вот уж что называется вьется ужом, топорщится ежом.

— Платьев, поди что̀ нашили им? — спросила головщица.

— Полны сундуки,— ответила Фленушка.— А какие платья-то, посмотрела бы ты, Марьюшка. Одно другого пригляднее. И по будням в шелку ходят. Отродясь не видала я нарядов таких: сережки бриллиантовые, запонки так и горят огнями самоцветными. Параша что! На нее, как на пень, что ни напяль, все кувалдой смотрит. А уж Настя! Надо чести приписать, разрядится — просто королева. В именины-то, знаешь, у них столы народу ставили, ста два человек кормились: день-от был ясный да теплый, столы-то су́против дома по улице стояли. Вот тут посмотрела бы ты на ихние наряды, как с родителями да с гостями они вышли народ угощать.

— В чем Настенька-то была? — спросила головщица.

— Был на ней сарафан шелковый голубой, с золотым кружевом,— рассказывала Фленушка, — рукава кисейные, передник батистовый, голубой синелью расшитый, на голове невысокая повязка с жемчугами. А как выходить на улицу, на́ плечи шубейку накинула алого бархата, на куньем меху, с собольей опушкой. Смотреть загляденье!

— Хоть бы глазком взглянула! — сказала, вздохнув, Марьюшка.

— А вот погоди, к нам в гости приедут, увидишь,— молвила Фленушка.

— Где увидать? — покачав головой, ответила головщица.— Разве в скиту в таком уборе ходят девицы?

— А может статься, и в миру увидишь ее,— прищурившись и зорко глядя на головщицу, сказала Фленушка.

— Где уж нам, Флена Васильевна, мирские радости видеть!..— с горьким чувством, вздохнув, молвила Марьюшка.— Хорошо им при богатых родителях, а у нашей сестры что в миру? Беднота, пить-есть нечего, тут не до веселья. И то денно и нощно бога благодаришь, что матушка Манефа призрела меня, сироту. По крайности не голодаешь, как собака. А и то сказать, Флена Васильевна, разве легко мне у матушки-то жить: чужой-от ведь обед хоть сладок, да не спор, чужие-то хлеба живут приедчивы. Мед чужой и тот горек, Фленушка.

— Ну, разрюмилась, что радуница,— подхватила Фленушка,— нечего хныкать, радость во времени живет, и на нашу долю когда-нибудь счастливый часок выпадет... Из Саратова нет ли вестей? — спросила Фленушка, лукаво улыбаясь.— Семенушка не пишет ли?..

— А ну, пес его дери! — с досадой ответила Марьюшка.— Забыла об нем и думать-то.

— Врешь! По глазам вижу! — приставала Фленушка.

— Ей-богу, право,— продолжала головщица.— Да что? Одно пустое это дело, Фленушка. Ведь без малого целый год глаз не кажет окаянный... Ему что̀? Чай, и думать забыл... А тут убивайся, сохни... Не хочу, ну его к ляду!.. Эх, беднота, беднота!..— прибавила она, горько вздохнув.— Распроклятая жизнь!

— Полно тебе!.. Меня, дева, не обморочишь,— усмехнувшись, сказала Фленушка.— Получила весточку?.. А?.. По глазам вижу, что получила...

— Ну, получила. Ну, что же? — резко ответила головщица.

— Письмо, что ли, прислал?

— Ну, письмо прислал... Еще что будет?.. Тебе из Казани не пришло ли письмеца от Петрушки черномазого?

— Мое дело, голубушка, иное,— усмехаясь, ответила Фленушка.— Мне только слово сказать, за̀раз свадьбу уходом сыграем... Матушку только жаль,— вздохнув, прибавила она,— вот что... В гроб уложишь ее.

— А мне и гадать про свадьбу нечего,— желчно сказала Марьюшка.— Не равны мы с тобой, Флена Васильевна. Тебе в ларцах у матушки Манефы кое-что припасено, а у меня, сироты, приданого-то голик лесу да кузов земли.

— Да полно тебе, надоела с своей беднотою, как горькая редька,— молвила Фленушка.— Хнычет, хнычет, точно на смерть ведут ее. Скажи-ка лучше: сходились без меня на супрядки?

— Сходились,— ответила головщица.— И сегодня вплоть до вашего приезда сидели.

— Что ж? Весело? — спросила Фленушка.

— Какое веселье! Разве не знаешь? — молвила Марьюшка.— Как допрежь было, так и без тебя. Побалуются маленько девицы, мать Виринея ворчать зачнет, началить... Ну, как водится, подмаслим ее, стихеру споем, расхныкается старуха, смякнет — вот и веселье все. Надоела мне эта анафемская жизнь... Хоть бы умереть уж, что ли!.. Один бы конец.

— Это кровь в тебе бродит, Марьюшка,— внушительно заметила Фленушка.— Знаю по себе. Иной раз до того доходит, так бы вот взяла да руки на себя и наложила... Приедет, что ли, Семен-от Петрович?

— Обещался... Да кто его знает, может, обманет; у ихнего брата завсегда так — на словах, как на санях, а на деле, как на копыле. Тут сиди себе, сохни да сокрушайся, а он и думать забыл,— сказала Марьюшка.

— Обещался, так приедет,— утешала ее Фленушка.— Не кручинься... Завсегда он наезжает, только Волга вскроется. Гляди, после Пасхи приедет. Вот, Марьюшка, веселье-то у нас тогда пойдет: к тебе Семенушка приедет, моего чучелу из Казани шут принесет, Настеньку залучим да ее дружка приманим...

— Шибаева-то, что ли? — спросила головщица.

— Ну его к лешему! — молвила Фленушка.— Поближе найдем.

— Про самарского жениха говоришь? — сказала Марьюшка.— Болтали намедни, Снежков-де какой-то свататься к ней приезжал. Богатый, слышь!

— Какой тут Снежков! — молвила Фленушка.— Не всяк голова, у кого борода, не всяк жених, кто присва-

тался, иному от невестиных ворот живет и поворот. Погоди, завтра все расскажу... Видишь ли, Марьюшка, дельце затеяно. И тому делу без тебя не обойтись. Ты ведь воструха, девка хитроватая, глаза отводить да концы хоронить мастерица, за уловками дело у тебя не станет. Как хочешь, помогай.

— Что ж? Рада помочь, коли смогу... Для Настеньки на все я готова,— ответила Марьюшка.

— Она на тебя, что на каменну гору, надеется,— молвила Фленушка.— Ай, батюшки!.. Забыла сказать... Про шерсти да бисера̀ помянула, а про самые-то первые подарки забыла. Платок шелковый прислала тебе, ситцу на сарафан, колечко с бирюзой, цепочку.

— Напрасно это,— с ужимкой ответила Марьюшка.— Разве я из корысти? Ситец-от какой?

— Розовый с разводами.

— Ой ли! Такого давно мне хотелось. А платочек?

— Голубой со звездочками, да с изюминами,— сказала Фленушка.

— Спаси ее Христос, что не забывает меня, сироту,— сказала, довольная подарками, Марьюшка.

— И впредь обижена не будешь,— молвила Фленушка.—Удалось бы только нам дельце наше состряпать, будут у тебя и шелковы сарафаны.

— Ну уж и шелковы! —улыбнулась Марьюшка.

— Я тебе говорю,— молвила Фленушка,— только молчи да ухо держи востро... Видишь ли, какое дело вышло — слушай. Только приехали мы в Осиповку, гляжу я на Настю, думаю, чтó это такое сталось с ней. Ровно не она; заговоришь с ней, то заревом вспыхнет, то муки белей станет, глаза горят, а вдруг ни с того ни с сего затуманятся. Зачнет говорить — в речах путается, видимо — другое что в мыслях держит... Думаю я, тут что-нибудь да не так, это не то, что с Васькой Шибаевым соловьев у перелеска слушать. Стала пытать; созналась девка.

— Слюбилась? — живо спросила Марьюшка.

— Посмотрела бы ты, Марьюшка, парень-от какой,— сказала Фленушка.— Такой молодец, что хоть прямо во дворец. Высокий да статный, сам кровь с молоком, волос-от черный да курчавый, глаза-то как угли, за

одно погляденье рубля не жаль. А умница-то какая, смышленый какой...

— Кто ж он таков? Из купцов? Заезжий? — спрашивала Марьюшка.

— Деревенщина, голь перекатная,— ответила Фленушка.— И вовсе не заезжий, у них в дому живет.

— Кто ж такой? — допытывалась Марьюшка.

— Токарь, в работники его Патап-от Максимыч нанял,— ответила Фленушка.— Деревнюшка от них есть неподалеку. Поромово прозывается,— оттоле. Незадолго до нашего приезда и нанят-то был.

— Стал-быть Настенька допрежь водилась с ним? — спрашивала Марьюшка.

— Слыхом не слыхала, что есть на свете Алешка Лохматый,— ответила Фленушка.

— Алексеем зовут?

— Да. А ты слушай: только увидела она его, сердце у ней так и закипело. Да без меня бы не вышло ничего, глаза бы только друг на дружку пялили.. А что в ней, сухой-то любви?.. Терпеть не могу... Надо было смастерить... я и смастерила — сладились.

— Как же?

— Как водится,— сказала Фленушка.— По весне надо дело до конца довести,— прибавила она, немножко помолчав.

— Как довести? — спросила Марьюшка.

— Окрутить Алешку с Настасьей,— отвечала Фленушка.

— Уходом? — спросила Марьюшка.

— Да.

— Смотри, Фленушка, не обожгись,— молвила Марьюшка.— Патапа Максимыча я мало знаю, а толкуют, что ежели он на кого ощетинится, тому лучше с бела̀ света долой. Не то что нас с тобой, всю обитель вверх дном повернет.

— У медведя лапа-то пошире, да и тот в капкан попадает,— смеючись, подхватила Фленушка.— Сноровку надо знать, Марьюшка... А это уж мое дело, ты только помогай. Твое дело будет одно: гляди в два, не в полтора, одним глазом спи, другим стереги, а что устережешь, про то мне доводи. Кто мигнул, кто кивнул, ты догадывайся да мне сказывай. Вот и вся недолга...

— Да я готова; боязно только, — говорила Марьюшка.

— Э! Перестань. Прежде смерти не умрешь! — сказала ей Фленушка.— Зубаст Патап Максимыч, да нас с тобой не съесть ему, а и захотел бы, так не по горлу придемся — подавится. Говорила тебе, хочешь в шелковых сарафанах ходить?

— Да так-то оно так, Фленушка,— в раздумье говорила Марьюшка.— Ну, а как Патап Максимыч проведает, тогда что?

— А как же это ему проведать-то? — возразила Фленушка.— Летом на Низ сплывет, тогда все и сработаем. Приезжай после на готовое-то, встречай зятя с молодой женой. Готовь пиры, созывай гостей — это уж дело его...

Чуть не до полночи протолковали девицы, как бы половчей состряпать Настину свадьбу уходом.

* * *

На утро, еще до̀ света, по всей Манефиной обители поднялась обычная, не суетливая, но спорая работа. Едва северо-восток небосклона зардел тонкой розовой полосой, как пятеро пожилых, но еще крепких и бодрых трудников с лопатами на плечах пришли в обитель с конного двора, стоявшего за околицей, и начали расчищать снежные сугробы, нанесенные за ночь едва стихшею под утро метелью. Прочистили они дорожку от часовни к келарне, и пошли по ней только что отпевшие утреню инокини и белицы, прочистили еще дорожки к игуменской келье, к домику Марьи Гавриловны и от одной стаи до другой, к погребам, к амбарам и к другим обительским строеньям. После заутрени по всем кельям огоньки засветились. Толстые, здоровенные белицы из рабочих сестер, скинув коты и башмаки, надели мужские сапоги и нагольные тулупы, подпоясались кушаками и, обернув головы шерстяными платками, стали таскать охапки дров, каждая в свою стаю, а все вместе в келарню и к крыльцу матушки игуменьи. Через полчаса высокие столбы дыма высоко вились над трубами в тихом, недвижном, морозном воздухе. Трудницы меж тем таскали из колодца воду по кельям, скоблили скребка-

ми крыльца, подтирали в кельях и в сенях натоптанные с вечера следы. Мать Виринея со своими подручницами хлопотала в келарне, оттаивала принесенную из кладовой рыбу; перемывала рубленую капусту, засыпала в чугуны горох и гречневую крупу. А в обитель меж тем собирался посторонний люд. Мать София не выходила еще из Манефиной кельи, но сироты, уж бог их знает как, проведали о предстоящей раздаче на блины и на масло, пришли к заутрене и, отслушав ее, разбрелись по обители: кто на конный двор, кто в коровью избу, а кто и в келарню, дожидаться, когда позовет их мать игуменья и велит казначее раздать подаянье, присланное Патапом Максимычем.

Совсем рассвело. В сенях уставщицы раздался серебристый звон небольшого колокольчика. Ударили девять раз, затем у часовни послышался резкий звук деревянного била. Мерные удары его разносились по обители. Вдалеке по сторонам послышались такие же звуки бил и клепал из других обителей. Это был скитский благовест к часам.

Вскоре Манефина часовня наполнилась народом, инокини в черных мантиях и креповых наметках чинно становились рядами перед иконостасом, певицы по клиросам, впереди всех Марьюшка. Сироты тоже прибрели в часовню, но стали в притворе, мужчины по одну сторону, женщины по другую. Еще раздались три удара в колокольчик уставщицы, а за ним учащенные звуки била, и входные двери часовни распахнулись настежь. Вошли рядом две сгорбленные древние старушки в черной одежде, расшитой красными крестами и буквами молитвы «Святый боже». То были инокини-схимницы. Опираясь на деревянный костыль, медленно выступала за ними мать Манефа в длинной черной мантии, в апостольнике и камилавке с черною креповой наметкой. Ровною поступью проходила она между рядами склонявшихся перед нею до земли инокинь и белиц и стала на свое игуменское место. За нею, склоня голову, шла Фленушка и стала за правым клиросом. Вслед за Манефой вошла Марья Гавриловна, высокая, стройная, миловидная женщина, в шерстяном сером платье, в шелковой кофейного цвета шубейке, подбитой куньим мехом, и в темной бархатной шапочке, отороченной соболем. Вдовушка

прошла сторонкой подле стен и стала рядом с Фленушкой.

— За молитвы святых отец наших, господи Исусе Христе сыне божий, помилуй нас,— громко возгласила Манефа.

— Аминь,— ответила стоявшая середи часовни за налоем белица, исправлявшая должность канонарха. Неспешно, истово отчеканивая каждое слово, начала она чтение часов.

Чинно, уставно, с полным благоговением справляли келейницы службу. Мать Аркадия, как уставщица, стояла у аналоя, поставленного середи солеи и подобно церковному престолу покрытого со всех сторон дорогою парчой. В положенное время, поклонясь игуменье, Аркадия делала возгласы. Все стояли рядами недвижно, все были погружены в богомыслие и молитву, никто слова не молвит, никто на́ сторону не взглянет: оборони бог — увидит матушка Манефа, а она зоркая, даром что черный креп покрывает половину лица ее. Увидит, тут же при всех осрамит — середи часовни на поклоны поставит, не посмотрит ни на лета, ни на почет провинившейся. Все разом крестились и кланялись в положенное уставом время, все враз бросали перед поклонами на пол подручники, все враз поднимали их, все враз перебирали лестовки. Часа полтора продолжалось протяжное чтение часов и медленное пение на клиросах. Наконец, Манефа сделала несколько шагов вперед и прочитала «про̀щу». Все до земли поклонились ей, и она также. Затем рядами пошли все вон из часовни.

Сойдя с паперти, шедшая впереди всех Манефа остановилась, пропустила мимо себя ряды инокинь, и, когда вслед за ними пошла Марья Гавриловна, сделала три шага ей навстречу. Обе низко поклонились друг другу.

— Здравствуете ли, сударыня Марья Гавриловна? — ласково спросила у нее мать Манефа.— Как вас господь бог милует, все ль подобру-поздорову?

— Вашими святыми молитвами, матушка,— отвечала Марья Гавриловна.— Вы как съездили?

— Что́ про меня, старуху, спрашивать? — ответила Манефа.— Мои годы такие: скорби да болезни. Все почти время прохворали, сударыня... Брате Патап Максимыч приказал вам поклониться, Аксинья Захаровна, Настя с Парашей...

— Благодарим покорно,— с улыбкой ответила Марья Гавриловна.— Здоровы ли все они?

— Слава богу, сударыня,— сказала Манефа и, понизив голос, прибавила: — Братец-от очень скорбит, что вы его не посетили... Сам себя бранит, желательно было ему самому приехать к вам позвать к себе, да дела такие подошли, задержали. Очень уж он опасается, не оскорбились бы вы...

— Э, полноте, матушка,— ответила Марья Гавриловна.— Разве затем я в обитель приехала, чтоб по гостям на пиры разъезжать? Спокой мне нужен, тихая жизнь... Простите, матушка,— прибавила она, поклонясь игуменье и намереваясь идти домой.

— До свиданья, сударыня,— ответила Манефа.— Вот я не на долгое время в келарню схожу, люди там меня ждут, а после к вам прибреду, коли позволите.

— Милости просим, удостойте,— отвечала Марья Гавриловна.— Будем ждать. Фленушка,— прибавила она, обращаясь к ней,— пойдем ко мне... Марьюшка! Ко мне на чашку чаю.

И, поклонясь еще раз матери Манефе, Марья Гавриловна пошла к своему домику, а за ней Фленушка с головщицей.

Мать Манефа с инокинями, белицами и сиротами прошла в келарню. Там столы были уже накрыты, но кушанье еще не подано. В дверях встретила игуменью мать Виринея с своими подручницами и поклонилась до земли. Клирошанки запели тропарь преподобному Ефрему Сирину, Манефа проговорила «прóщу» и села на свое место. Инокини расселись по сторонам по старшинству; белицы стояли за ними. Лицом к игуменье у самых дверей рядами стали пришедшие сироты. Легкий шепот раздавался по келарне. Мать Манефа ударила в кандию, и все смолкло.

— Здравствуйте о Христе Исусе,— сказала она, обращаясь к сиротам.

Те враз поклонились ей до земли.

— Бог вам милости прислал,— продолжала Манефа,— а Патап Максимыч Чапурин кланяться велел.

Еще раз сироты, молча, до земли поклонились.

— Говорила я ему про вашу бедность и нужды, вот приходит, мол, сырная неделя к великой четыредесят-

нице приуготовление, а нашим сиротам не на́ что гречневой мучки купить да маслица. И Патап Максимыч пожаловал вам, братие и сестры, по рублю ассигнациями на двор.

— Дай бог многолетнего здравия Патапу Максимычу и всему дому его,— проговорили сироты, опять кланяясь до земли.

Бабы отирали слезы, мужики гладили бороды, ребятишки, выставленные вперед, разинув рот, удивленными глазами смотрели на игуменью и на сидевших вокруг нее инокинь

— По муку да по крупу на базар вам ездить не надо,— продолжала мать Манефа не допускающим противоречия голосом.— Нечего время попусту тратить. Отпусти, Таифа, сиротам на каждый двор муки да масла. Сняточков прибавь, судачка вяленого да пшеничной мучки на пряженцы. Разочти, чтоб на каждый двор по рублю с четвертью приходилось. По четверти от нашей худости примите,— промолвила Манефа, обращаясь к сиротам.

Почесал иной мужик-сирота затылок, а бабы скорчили губы, ровно уксусу хлебнули. Сулили по рублю деньгами — кто чаял шубенку починить, кто соли купить, а кто думал и о чаре зелена́ вина. А все-таки надо было еще раз земной поклон матушке Манефе отдать за ее великие милости...

— Молитесь же за здравие рабов божиих Патапия, Ксении, Анастасии и Параскевы,— продолжала мать Манефа.— Девицы, возьмите по бумажке да пишите на память сиротам, за кого им молиться. Кроме семьи Патапа Максимыча еще благодетели будут.

Три белицы принесли бумаги и стали писать «памятки» на раздачу сиротам. Манефа вынула из кармана три письма и, подав казначее, сказала:

— Читай, мать Таифа.

Надев на нос очки в медной оправе, казначея стала читать:

— «Господи Исусе Христе сыне божий, помилуй нас. Аминь. Крайнего и пресветлого, грядущего града небесного Иерусалима взыскательнице, любозрительных же и огнелучных ангельских сил ревнительнице, плоть свою Христа ради изнурившей, твердому и незыблемому адаманту древлеблагочестивыя отеческия нашея веры, пре-

светло аки луча солнечная сияющей во благочестии и христоподражательном пребывании пречестной матушке Манефе, о еже во Христе с сестрами пречестныя обители святых, славных и всехвальных, верховных апостол Петра и Павла земнокасательное поклонение и молитвенное прошение о еже приносити подателю всех благ, всевышнему богу о нас грешных и недостойных святыя и приятныя ваши молитвы. По сем возвещаем любви вашей о божием посещении, на дом наш бывшем, ибо сего января в 8 день на память преподобного отца нашего Георгия Хозевита возлюбленнейший сын наш Герасим Никитич от сего тленнаго света отъиде и преселися в вечный покой. И вам бы его поминати на двадцатый и на сороковой день, полугодовыя и годовыя памяти творити, и вписати бы его в сенаник и вечно поминати его, а в день кончины его и на тезоименитство, 4-го марта, кормы ставить: по четыре яствы горячих и квасы сыченые, и кормити, опричь обительских, и сирот, которые бога ради живут в ските вашем. Пять сот рублев на серебро вкладу на вечное поминовение пришлем с Ростовской ярмарки, а теперь посылаем двести пятьдесят рублев ассигнациями в ручную раздачу по обители и по сиротам и по всем старым и убогим, которые бога боящеся живут постоянно: на человека на каждого по скольку придется, и вы по ним по рукам раздайте. А нас письменно уведомьте, все ли получили деньги, и означьте в письме вашем доподлинно имена обительских, а также сирот, которым раздадите наше усердное приношение. Только тем подавайте, которые хорошо молятся и живут постоянно, помолились бы хоть по три поклона на день во все шесть недель за Гарашу покойника и за нас, о здравии Никиты и Евдокии и о вдовице Гарашиной Анисии с чадами. А здесь у нас на дому молятся хорошо — негасимую и всенощную читает ваша читалка, Аринушка, прилежно и усердно, все чередом идет. У Богдановых она годовую отчитала, и мы ее взяли к себе. А как у нас отчитает, то мы пришлем в вашу обитель еще приношение по силе возможности. За сим, припадая к стопам ног вашея честности и паки прося святых ваших молитв, остаемся ваши доброжелатели Никита Зарубин с сожительницею, снохою и внучатами».

— Пишите, девицы,— сказала Манефа,— в ряд после Патапа Максимыча семейства: «за здравие Никиты,

Евдокии, Анисии с чадами», а на затыле пишите: «за упокой Герасима новопреставленного». Другое письмо читай, мать Таифа.

— «Пречестная матушка, Манефа Максимовна, с соборными о Христе сестрами, здравствуйте. Когда мы виделись с вами, матушка, последний раз у Макарья в прошедшую ярмарку в лавке нашей на Стрелке, сказывал я вашей чести, чтобы вы хорошенько богу молились, даровал бы господь мне благое поспешение по рыбной части, так как я впервые еще тогда в рыбную коммерцию попал и оченно боялся, чтобы мне в карман не наклали, потому что доселе все больше по подрядной части маялся, а рыба для нас было дело закрытое. И теперь вижу, что бога молили вы как не надо лучше, потому что, вот как перед самим истинным Христом, вовсе не думал по рыбе займоваться, потому думал, дело плевое, а вышло дело-то способное. И вашими святыми молитвами на судаке взял я по полтине барыша с пуда, да на коренной двадцать три копейки с деньгой. А Егор Трифонов хотел перебить у меня эту часть, да и проторговался. Так ему хорошо въехала судачина, что копеек по двенадцати с пуда скостить должон, а икра вся прогоркла да, почитай, и совсем протухла; разве что в Украйну сбурит, а здесь, на Москве, никто такой икры и лизнуть не захочет. И такое божие милосердие вашим святым молитвам припisуючи, шлю вам, матушка, сто рублев на серебро и раздачу обительским да сиротам по рукам, которые хорошо бога молили. А Игнатьевым в обитель отнюдь не давайте для того, что они за Егорку Трифонова бога молят, он еще у Макарья при моих глазах деньги им давал и судаками. Только ихняя-то молитва, видимо, не так до́ бога доходна, как ваша. Просим и впредь не оставить, молиться хорошенько, чтоб господь по нашей торговле больше барышей нам подавал. А поминать за здравие меня да супругу нашу Домну Григорьевну. За сим, пожелав вам всякого благополучия, остаемся известный вам Сергей Орехов».

— Пишите, девицы: «за здравие Сергия и Домны»,— проговорила обычным, невозмутимым голосом Манефа.— Третье письмо читай, мать Таифа.

— «Любезненькая наша матушка Манефа, ангельские твои уста, серафимские твои очи!.. Что это вы, матушка, давно нам не отписываете, каково в трудах своих

подвизаетесь, и о здоровье вашем и о Фленушке милой ничего мы не знаем, как она, голубушка наша, поживает, и про племяннинок ваших, про Настасью Патаповну, Прасковью Патаповну. А мы с Варенькой каждый день вас поминаем, как летось гостили в вашей обители и уже так вами были обласканы, и уж так всем были удовольствованы, что остается только богу молиться, чтобы и еще когда сподобил в вашем честно́м пребывании насладиться спасительною вашею беседой. Извещаю вас, матушка, что Вареньке моей бог судьбу посылает. Сосватана она за Петра Александрыча Саблукова — в нашем городу что ни на есть первые люди, а Петр Александрыч, хоша и вдовец, однако же бездетен, и самому всего двадцать седьмой годочек пошел. У отца у ихнего фабрика здесь кумачовая, два сына да дочка замужем, отделенная, а в капитале они в хорошем. Одно только, что по единоверию они, по новоблагословенной, значит, как в Москве у Салтыкова моста, аль по вашим местам Медведевской церкви, а впрочем, люди хорошие. Свадьбу сыграем в пятницу перед масленой, хоша и не все приготовлено, да не ждать же Фоминой недели,— что хорошего томить жениха с невестой?.. А присватался-то поздненько, на самое богоявленье по рукам били. При сем посылаю вам, матушка, сто двадцать рублев на серебро, помолились бы вы и ваши богоугодные сестры, а также которые сироты живут постоянно, за дочку за нашу и за жениха, чтобы послал им господь брак честен, ложе нескверно и житие безмятежно. А бисерную лестовку и подручник, шитый по канве, мы получили и много за то благодарствуем. Засим, прося ваших святых и до́ бога доходных молитв и уповая на милость вашу, остаюсь доброжелательница ваша Наталья Шарымова».

— Пишите: «за здравие Петра, Варвары и Наталии»,— сказала Манефа.

— Можно ли, матушка, жениха-то поминать? Ведь он не нашего согласа,— наклонясь к игуменье, шепотом спросила уставщица мать Аркадия.

— По́минайте жениха без сумнения,— громко ответила Манефа.— Инославных за упокой поминать не подобает, а за здравие можно. Молимся же за державного, за боляры и за вои.

— Так то ведь власти, матушка,— продолжала полушепотом мать Аркадия.— За всяку власть предержа-

щую по апостолу молимся. А шарымовский жених что́ нам за власть?

— Зато благодетель,— молвила Манефа.— А за благодетелей первее всего подобает молиться. Впрочем, вольному воля,— прибавила она, немного помолчав,— кому не по совести молиться за Петра Александрыча, тот не молись. Сказывайте, кому не по совести, того мы выключим из раздачи шарымовских денег.

Всем было по совести. Никто не отказался от части в шарымовской присылке.

— Мать Таифа,— сказала игуменья, вставая с места — Тысячу двадцать рублев на ассигнации разочти как следует и, по чем придется, сиротам раздай сегодня же. И ты им на масленицу сегодня же все раздай, матушка Виринея... Да голодных из обители не пускай, накорми сирот чем бог послал. А я за трапезу не сяду. Неможется что-то с дороги-то,— лечь бы мне, да боюсь: поддайся одной боли да ляг — другую наживешь; уж как-нибудь, бродя, перемогусь. Прощайте, матери, простите, братия и сестры.

Провожаемая низкими поклонами и громкими благодарностями сирот, мать Манефа медленно удалилась из келарни.

Проводя игуменью, все стали вокруг столов. Казначея мать Таифа, как старейшая, заняла место настоятельницы. Подали в чашках кушанье, Таифа ударила в кандию, прочитали молитву перед трапезой, сели и стали обедать в строгом молчании. Только один резкий голос канонницы, нараспев читавшей житие преподобного Ефрема Сирина, уныло раздавался в келарне.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В Казани, за Булаком, несмотря на частые пожары, и до сих пор чуть ли не цел небольшой каменный дом старинной постройки, где родилась Марья Гавриловна. Во время óно принадлежал тот дом купцу третьей гильдии Гавриле Маркелычу Залетову.

Не был Гаврила Маркелыч в числе первостатейных купцов, не ворочал миллионами, но считался весьма зажиточным. В Плетенях на Кабане был у него мыловаренный завод, рядом с ним китаечная фабрика. Заведены были они не на широкую ногу, зато устроены исправ-

но и держались в хорошем порядке. У Макарья Залетов торговал, там у него было две лавки; в понизовых городах дела вел, в степи да за Урал за сырьем езжал. Опричь того, две расшивы у него возили по Волге пшеницу от Балакова до Рыбинска. В это дело сам он не вступался, предоставив его старшему женатому сыну, жившему с отцом за одну семью. Очень хотелось Гавриле Маркелычу пароход завести, потому что видел он скорый конец неуклюжим расшивам, баркам, коломенкам и ладьям, что исстари таскали кладь по Волге. Из головы у него не выходил пароход: целые часы, бывало, ходит взад и вперед и думает о нем; спать ляжет, и во сне ему пароход грезится; раздумается иной раз, и слышатся ему то свисток, то шум колес, то мерный стук паровой машины... Но не мог Гаврила Маркелыч исполнить заветной, долгие годы занимавшей его мечты — денег не хватало на постройку, а он сроду ничего в долг не делывал и ни за какие блага не стал бы делать займа... Зато ничего не пожалел бы, жену, детей рад бы, кажется, был продать, если б только можно было ему пароход свой доспеть.

Ходила молва по купечеству, что у Залетова денег много, и хоть не пишется он в первую гильдию, а будет богаче иных первогильдейцев. Как сказано, должен он сроду никому не бывал, торговал всегда на наличные. Выпадали случаи, столь обычные в жизни торгового человека, что Гавриле Маркелычу деньги бывали нужны дозарезу; тогда всякий бы с радостью готов был одолжить его, но Залетов ни за что на свете копейки у чужих людей не брал. «Нет,— говаривал он,— чужи-то денежки зубасты, возьмешь лычко, отдашь ремешок, займы та же кабала». Сын приставал иной раз, уговаривал вести торговлю на кредит.

— Батюшка,— скажет, бывало, ему,— сами вы у себя деньги отнимаете,— иной раз какой бы можно было оборот сделать, а нет в наличности денег — дело и пропустишь... На ином деле можно бы такой барыш взять, что пароход бы выстроили.

— Не смущай ты меня, Антип,— отвечал обыкновенно на это Гаврила Маркелыч.— Экой лукавый — знает, чем смутить... Не поминай, не моги смущать родителя... Побольше тебя на свете живем, побольше твоего и видали. Зачни-ка делать долги,— втянешься так, что по уши завязнешь... Слыхал, какие в прежние годы в нашем го-

роду богатеи были? Вихляевых, к примеру, взять, Круподеровых — какими делами ворочали, какие были у них заводы, а как пошли по этому чайному делу да стали на пустышку дело вести, все прахом пошло. Вон вихляевский-то внук в извозчиках на бирже стоит, а дед, прадед первыми людьми по всей Казани были... Нет, Антип, покаместь на свете живу, копейки ни у кого не возьму, да и тебе нет моего благословенья ни в долги входить, ни людям давать... Это все заморски купцы выдумали кредит этот — немцы... Ну их к бесовой матери!.. Одно нажденье!.. Будут у тебя залежные, строй пароход — дело выгодное, не чета твоим расшивам. А построивши пароход, коли еще лишних денег наживешь — другой выстрой, третий, а не то уж лучше по-старинному — в кубышку да в подполье. Там крепче деньгам лежать, за́ море не улетят... А пуще всего в люди деньги давать не моги, потому это баловство одно, как есть малодушие и больше ничего. Коли видишь человека в нужде, а человек он добрый, стоящий,— дай ему, только не в долг, а без отдачи. Справится по времени, принесет деньги — прими, не принесет — не поминай. А давай не грош, не гривну, а чтобы справиться можно было человеку. Пуще всего родне взаймы не давай да друзьям-приятелям, потому что долг остуда любви и дружбы. А случится, надоест какой человек и не сможешь ты от него ничем отделаться, дай ему взаймы, глаз не покажет... Это завсегда так: верь отцовскому слову... Помни это, Антип, во всю твою жизнь помни и детям своим заповедай, говаривал-де мне покойник родитель: «Плут кто берет, плут, кто дает...»

Так думал и так поступал Гаврила Маркелыч, оттого и жил в своей среде особняком. Не то чтобы люди его бегали, аль б он от людей сторонился, но дружество ни с кем у него не клеилось.

А скрягой нельзя было назвать его. Никто честней Залетова с рабочими не разделывался. В заводе не бывало того у Гаврилы Маркелыча, чтобы обсчитать бедного человека. Да если бы паче чаяния и случилось, чтобы сын его сделал такое дело, гривну бы какую при расчете утянул, Гаврила Маркелыч ему голову бы, кажется, сорвал. У него было так: не ладен работник аль лентяй какой, сейчас расчет, отдаст ему, что следует, до копейки, да тут же и на порог укажет, а хорошему рабочему сверх

уговора что-нибудь даст, только накажет ему строго-на́строго о прибавке никому не сказывать... А в часовню, что у Татарского моста на булаке стояла (раскольничал Гаврила Маркелыч, по беглому священству был), кто больше всего жертвовал?.. Кто ризы на иконах золотил, кто ослопные свечи к каждой Пасхе, к каждому Рождеству перед местными образами ставил, кто сирот и странников в часовенной богадельне всем удоволить старался?.. Гаврила Маркелыч Залетов, даром что из часовенного общества другие не в пример богаче его были... У кого кажду субботу нищим ручная раздача милостыни? У Гаврилы Маркелыча... Кто каждо воскресенье, каждый праздник в острог калачи посылает? Гаврила Маркелыч... У кого на окнах снаружи приворотной светелки кажду ночь хлеб, пироги и другую, какая случится, пищу кладут, ради тайной милостыни? У Гаврилы Маркелыча...

В гостином дворе аль на Бакалде[1] зачнут, бывало, купцы к нему приставать:

— Чтой-то ты, Гаврила Маркелыч, делаешь? Всем, сударь мой, ты на удивленье! С такими деньгами, с этаким твоим капиталом сидишь, братец мой, в третьей гильдии. Для че в перву не пишешься?

— Э, други мои любезные,— молвит на то Гаврила Маркелыч.— Что́ за невидаль ваша первая гильдия? Мы люди серые, нам, пожалуй, она не под стать... Говорите вы про мой капитал, так чужая мошна темна, и денег моих никто не считал. Может статься, капиталу-то у меня и много поменьше того, как вы рассуждаете. Да и какой мне припен в первой гильдии сидеть? Кораблей за море не отправлять, сына в рекруты все едино не возьмут, коль и по третьей запишемся, из-за чего же я стану лишни хлопоты на себя принимать?

— Почету больше, Гаврила Маркелыч,— говорят ему торговцы.

— Ну уж почет,— нечего сказать! — ответит, бывало, Залетов.— Свысока-то станешь глядеть — глаза запорошишь. Не в пример лучше по-нашему, по-серому: лежи низенько, ползи помаленьку, и упасть некуда, а хоть и упадешь, не зашибешься. Так-то, други вы мои любезные.

---

[1] *Бакалдою* называется пристань на Волге, близ Казани.

В семейном быту Гаврила Маркелыч был с головы до ног домовладыка старорусского завета. Любил жену, любил детей, но по-своему. Всегда казался к ним холоден, бывал даже суров ни за что ни про что, так — здорово живешь. «Хозяин всему голова,— говаривал он,— жена и дети мои: хочу — их милую, хочу — в гроб заколочу». Воля Гаврилы Маркелыча была законом, малейшее проявление своей воли у детей считал он непокорством, непочтеньем, влекущим за собой скорую и строгую расправу. Когда сыну его пришла пора жениться, он сказал ему:

— Антипушка, пора тебе закон свершить, а невесту тебе я сыскал. Матвея Петровича Солодова дочку Аннушку видал?.. Хозяйка по тебе: смирная, работящая, из себя казиста — видная такая, кость широкая, собой девка здоровенная, нàдолго тебе ее хватит, небось, не овдовеешь... Говорю тебе, по всем статьям останешься доволен... Завтра сватов надо засылать, для́ того что мясоеду остается немного... Скорым делом вас окрутим; благо поп с Иргиза наехал.

Хоть об Аннушке Солодовой Антипу Гавриловичу и в голову никогда не приходило, но, не поморщившись, исполнил он волю родительскую, пошел под венец с кем приказано... И после ничего... Не нахвалится, бывало, женой. Ладно жили между собою.

Дочка еще была у Гаврилы Маркелыча — детище моленое, прошеное и страстно, до безумия любимое матерью. И отец до Маши ласков бывал, редко когда пожурит ее. Да правду сказать, и журить-то ее было не за что. Девочка росла умненькая, добрая, послушная, а из себя такая красавица, каких на свете мало родится. Заневестилась Марья Гавриловна, семнадцатый годок ей пошел, стал Гаврила Маркелыч про женихов думать-гадать.

В старинных русских городах до сих пор хранится обычай «невест смотреть». Для того взрослых девиц одевают в лучшие платья и отправляются с ними в известный день на условное место. Молодые люди приходят на выставку девушек, высматривают суженую. В новом Петербурге такие смотрины бывают на гулянье в Летнем саду, в старых городах — на крестных ходах. Так и в Казани водится.

Приближался день приноса чудотворной иконы из Семиозерной пустыни, когда казанские женихи невест высматривают. Гаврила Маркелыч велел жене Машу顺 вырядить и отправиться на смотр[1]. Разрядилась Маша в шелки-бархаты и рано утром с матерью и невесткой пошла на широкую луговину, что расстилается между кремлем и Кижицами. Через нее должны были проносить икону богородицы. Прихватили Залетовы с собой бабушку Абрамовну, двоюродную тетку Гаврилы Маркелыча, кочевавшую по родным и знакомым, где подомовничать, где за больным походить, где по хозяйству перед праздниками пособить. Маленько и сватаньем занималась Абрамовна.

Дело было в июне. С раннего утра гудел торжественный звон колоколов с пятидесяти казанских колоколен. Погода стояла теплая, ясная; поднимавшееся на небосклон солнце ярко освещало городские здания и кремлевские стены и переливчатым блеском играло на золотом шаре Сумбекиной башни. Разряженные горожане густыми толпами спешили по луговине к Кижицкому монастырю, куда еще с вечера принесли икону из Семиозерной обители. Женщин, как всегда и везде в подобных случаях, было гораздо больше, чем мужчин; белые, красные, голубые и других ярких цветов наряды, цветные зонтики, распущенные над головами богомолок, придавали необычный в другое время, праздничный вид луговине, весной заливаемой водопольем, а потом посещаемой разве только косцами да охотниками за болотной дичью. Чем ближе к монастырю, тем гуще и пестрей становились толпы. Народный говор, гиканье казаков, летавших взад и вперед по дороге, крики полицейских, в поте лица работавших над порядком, стук экипажей, несшихся к монастырю, и колокольный благовест — все сливалось в один праздничный гул, далеко разносивший-

[1] На смотринах при крестных ходах и старообрядцы принимают участие. В своих часовнях и моленных не могут они устраивать смотрин «страха ради иудейска», то есть, попросту говоря, страха ради полиции, не допускающей больших раскольничьих сборищ. А смотреть невест надо — без того нельзя обойтись. И вспомянули ревнители древлего благочестия изреченные лет полтораста тому назад словеса своего «страдальца», протопопа Аввакума Петровича, разрешившего поклоняться чудотворным иконам, хранимым никонианами, но не иначе, как на открытом месте, например, на крестных ходах, отнюдь не под церковными сводами.

ся по окрестностям. Семейство Гаврилы Маркелыча остановилось у того места, где должны были встретиться два крестные хода: один из города, другой из монастыря. Шестнадцатилетняя Маша сияла красотой: черные, как смоль, волосы оттеняли смуглое, румяное личико, огневые черные глаза так и горели из-под длинных ресниц. Высокая, стройная, статная девушка скромно стояла на месте, глаз не поднимаючи, а молодежь так и кружится вокруг нее, так на нее и заглядывается. На всем поле не было красивее Маши Залетовой.

Но вот вместо мерного благовеста в монастыре затрезвонили. Затрезвонили тотчас и на городских колокольнях. Толпы пришли в движение: кто спешил к монастырю, кто к месту встречи крестных ходов. Из Кижиц показалось церковное шествие: хоругви, кресты и, наконец, всеми ожидаемая икона, во время óно, как гласит предание, спасшая Казань от моровой язвы. Несли икону на руках священники, сопровождаемые пришлыми из дальних и ближних мест богомольцами... Запылены те богомольцы в пути, навьючены котомками и пещурами... В то же время по крутому спуску к реке Казанке, из Тайницких ворот кремля, двинулось другое шествие. Там развевались цеховые значки и церковные хоругви, блестели на солнце дородоровые ризы духовенства, расшитые золотом мундиры казанских властей и штыки гарнизонного батальона, расставленного рядами по сторонам пути. Звон колоколов, грохот барабанов, военная музыка, пение клира и глухой перекатный топот многотысячной толпы сливались в нестройные, но торжественные звуки.

На приготовленном месте встретились крестные ходы. Все смолкло: и звон, и пение, и барабанный бой, и музыка, и народный топот, и говор. Всякий звук замер в громадной толпе, и далеко по луговине раздалось бряцанье серебряного кадила в руке архиерея, приветствовавшего фимиамом пришествие владычицы. Слышались еще шумный шорох от движенья десятков тысяч рук крестившегося народа да звонкая, вольная песня жаворонка, лившаяся нá землю из лазурного пространства. Но вот архиерей, приняв на свои руки принесенную святыню, передал ее городскому голове, и клир торжественно воскликнул: «Днесь светло красуется град сей, яко зарю солнечную восприемше, владычице, чудотворную твою

икону!..» Блеснули слезами взоры молящейся толпы, и десятки тысяч поверглися ниц пред ликом девы Марии. Опять загудели колокола, опять загрохотали барабаны, опять раздалось громкое пение, опять грянула военная музыка. Шествие двинулось в кремль. И у всех на душе было светло, легко и радостно.

— Ну, вот и привел господь проводить владычицу! Слава те, господи,— говорили пришедшие издалека богомольцы, собираясь восвояси, иные за сотню верст и больше от Казани.

— Слава те, господи! Дождались матушку пресвятую богородицу! Привел бог встретить царицу небесную,— набожно крестясь, говорили расходившиеся по домам горожане. И, встречаясь с знакомыми, весело и радостно поздравляли они друг друга с великим празднеством. У всех лица сияли чистой, светлой радостью. На что толстый, широкоплечий, со здоровенными кулаками, частный пристав Хоменко, долго и неустанно возбуждавший православных к благоговению и порядку, даже и тот, остановясь у Тайницких ворот, раза два перекрестился усталою рукою... А затем, окинув с высоты горы орлиным взором расстилавшуюся внизу луговину и заметив на ней кучки богомольцев, там и сям рассевшихся по траве, подозвал квартального и зычным голосом отдал приказ:

— Ишь их, чертей, что там насело!.. Взять трех хожалых да казаков. Для усиления четырех подчасков — через полчаса чтоб не было народу на поле. У меня не зевать!

И меньше чем через полчаса народу на поле не оставалось ни одного человека.

По случаю торжества в городской думе был завтрак, стоивший двух обедов. Это городской голова угощал архиерея с духовенством, губернатора со властями и почетное купечество. Стерляди были уму помрачение, разварной осетр глядел богатырем, а кулебяка вышла такая, что первый знаток поваренного дела, дюжий помещик Петр Александрович Кострицов, хотел было пальчики облизать, да застыдился. Он ограничил восторг свой тем, что издали низенько поклонился голове, сделал ему ручкой и щелкнул языком. Голова, погладив бороду, собственноручно подлил хорошему человеку вина и примолвил: «Пожалуйте-с!..» Тостов было множество, пили за

всех и за вся. Вечером город был иллюминован, а в Швейцарии[1], на даче губернатора, составился танцевальный вечер. Через день в губернских ведомостях напечатана была умилительная и в высшей степени благонамеренная статья о минувшем торжестве. Все в ней было сказано, ни о чем не забыто — говорилось и о лазурных небесах, и о майском зефире в июне месяце, не были забыты ни яркое солнце, сочувствовавшее ликованию благочестивых жителей богоспасаемого града, ни песни жаворонка, ни осетры на завтраке, ни благочестие монахов Кижицкого и особенно Зилантова монастыря, ни восхитительные наряды дам на танцевальном вечере в Швейцарии, ни слезы умиления, ни превосходный полицейский порядок. В заключение упомянуто, что все жители города, без малейшего исключения, беспредельно преданы душой и сердцем его превосходительству господину губернатору и видят в нем не начальника, а отца. Статья понравилась, и все были уверены, что ее перепечатают в «Северной пчеле». Губернатор, читая статью, прослезился, читали ее даже казанские дамы, а редактор в первое воскресенье был приглашен к губернатору обедать, и после обеда губернаторша имела с ним разговор о поэзии в чувствах.

Дела давно минувших дней! А давно ли, кажется, были они?

Но возвратимся к семейству Гаврилы Маркелыча. Там жизнь не краснее, зато цельнее и не в пример своеобразней.

* * *

Когда на луговине перед Кижицами встретились крестные ходы, сделалась такая теснота, такая толкотня и давка, что Маша не успела оглянуться, как ее оттеснили от матери и чуть не сбили с ног. Не видя вкруг ни одного знакомого лица, девушка заплакала... Положение Маши, никогда не бывавшей на многолюдстве, в самом деле было трудное... Но нашелся избавитель. Красивый, статный молодой незнакомец взял трепетавшую от страха девушку под руку, сильной рукой раздвинул толпу и вывел на простор полуживую Машу. Она оправляла помятое платье и, глядя по сторонам, искала своих. Растеряв-

---

[1] *Швейцарией* в Казани называется загородное место, где устроены дачи горожан. Швейцарий две — Немецкая и Русская.

шись, не догадалась даже поблагодарить молодого человека, не взглянула даже на него хорошенько.

— Вы с кем-с? С маменькой, что ли-с? — спрашивал Марью Гавриловну ее избавитель, любуясь красотой плачущей девушки.

— С маменькой... с сестрицей... да еще бабушка с нами...— отвечала Маша, всхлипывая.

— Не плачьте-с... они придут... сейчас придут-с,— успокоивал ее молодой человек.— Будемте стоять здесь на одном месте, непременно придут-с.

Взглянула Маша на молодого человека, и сердце у нее упало. Сроду не видала она таких красавцев. Да и где было видеть их, сидя дома чуть не взаперти?

Скоро заметила она и мать и невестку, успевших кое-как выдраться из толпы. Она подбежала к ним. Когда все ахали и охали, а Маша сказывала, что ее совсем было задавили, да, спасибо, добрый человек выручил, он подошел к Залетовым. Мать поблагодарила его, но разговор у них не клеился. Узнали однако ж, что это был купеческий сын из Москвы, Евграф Макарыч Масляников, накануне приехавший в Казань, где знакомых у него не было ни единого человека. Машина мать сказала Масляникову, кто они такие и где живут. Затем расстались.

Не вздумай сам Гаврила Маркелыч послать жену с дочерью на смотрины, была бы в доме немалая свара, когда бы узнал он о случившемся. Но теперь дело обошлось тихо. Ворчал Гаврила Маркелыч вплоть до вечера, зачем становились на такое место, зачем не отошли вовремя, однако все обошлось благополучно — смяк старик. Сказали ему про Масляникова, что если б не он, совсем бы задавили Машу в народе. Поморщился Гаврила Маркелыч, но шуметь не стал.

— Как его зовут, говоришь ты? — спросил он жену.

— Евграфом Макарычем,— ответила она.

— Из Москвы?

— Московский, сказывал.

— Гм! Уж не тех ли это Масляниковых, что дом на Сыромятниках? Макарыч по отчеству-то? — спрашивал Гаврила Маркелыч.

— Макарыч.

— Пожалуй, что из них,— молвил Гаврила Маркелыч.— Старика-то Макар Тихоныч зовут; люди бога-

тые, в миллионе... Вот бы тебе, Маша, такого молодца подцепить,— прибавил он, обращаясь к дочери.

Маша поникла головой и зарделась, как маков цвет.

— Чего краснеть-то? — молвил отец,— дело говорю, нечего голову-то гнуть, что кобыла к овсу... Да если б такое дело случилось, я бы тебя со всяким моим удовольствием Масляникову отдал: одно слово, миллионеры, опять же и по нашему согласию — значит, по Рогожскому. Это по нашему состоянию дело не последнее... Ты это должна понимать... Чего глаза-то куксишь?.. Дура!

— Да я... тятенька... право, не знаю...— бессвязно говорила Маша, а у самой так и волнуется грудь, так и замирает сердце, так и подступают рыданья, напрасно силится она сдержать их, глядя на отца перепуганными глазами.

— Чего тут — тятенька! — ворчал свое Гаврила Маркелыч.— Подчаль такого жениха, коль на самом деле сыном Макару Тихонычу приходится, я тебе, кажись, в ноги поклонюсь, даром что отец, а ты мое рожденье... Ей-богу, право, поклонился бы... Чего рюмишь? Понимаешь ли ты, глупая, что́ такое означает одно слово Масляников?.. То пойми — миллионеры... Ведь если бы господь такую благодать послал, не то что тебя, нас бы тогда рукой не достать!.. Чужих денег не бирывал, а от тебя, от своего рожденья, завсегда могу взять... Потому я тебя на свет породил... Пароходище какой бы я тогда сляпал — понимаешь ты это аль нет?.. Строят теперь на Балахне «Сампсона», чуть не в пятьсот сил, я бы в тысячу выстроил... Ты это понимать должна!.. Потому, что ты дочь — мое рожденье... Так ли говорю?.. А?.. Так аль не так?

Маша только рыдала.

— Хныкать-то нечего! — продолжал свое Гаврила Маркелыч.— За ум берись. Говорят тебе: причаливай жениха — лучше этого в жизнь не будет... Бог даст, завернет к нам, а не завернет, сам пойду, разыщу, заманю... Смотри ж у меня, Марья,— скачи перед ним задом и передом — это уж ваши девичьи ухватки, тут вашу сестру учить нечего, а чтоб у меня этот жених был на причале... Слышала?.. Мне бы только пароход, а все прочее, как знает господь, так и устроит... Его святая воля!.. Только ты у меня смотри, Марья, хоть и сказано тебе от отца, от родителя значит: причаливай Масляникова, а

того не забывай — коли прежде венца до греха дойдешь, живой тебе не быть. Мужа прилучай, а девичью честь не порушай... Помни мое слово, ты уж не махонькая — все понимать должна.

Дня через два молодой Масляников приехал к Гавриле Маркелычу будто китайку торговать, хоть ему ни до какой китайки дела не было. Китайки у Гаврилы Маркелыча не оказалось, работали ее только по заказам. Зашли разговоры о том, о сем, и Гаврила Маркелыч с удовольствием узнал, что гость его в самом деле сын московского богача Масляникова. Знакомство завязалось. Гаврила Маркелыч частенько зазывал Евграфа Макарыча на вольном воздухе чайком побаловаться, в саду, в беседке. Хоть Масляников в Казани был проездом и никаких дел у него там не было, однако прожил недели три и чуть не каждый вечер распивал чаи в беседке Гаврилы Маркелыча, а иногда оставался на короткое время один на один с Машей. Сначала они молчали, потом разговорились... Прошла неделя, другая, третья, и зоркий глаз бабушки Абрамовны, лазившей за чем-то на чердак, подкараулил, как в темном уголке сада, густо заросшем вишеньем, Масляников не то шептал что-то Маше на ухо, не то целовал ее. Сослепа старуха хорошенько не разглядела...

Пока Абрамовна раздумывала, сказать аль нет родителям про то, что подглядела, Масляников, собравшись в путь, попросил Гаврилу Маркелыча переговорить с ним наедине о каком-то важном деле. Долго говорили они в беседке, и кончился разговор их тем, что Евграф Макарыч весело распростился со всеми, а Гаврила Маркелыч обещался на другой день проводить его до пристани.

Воротясь домой, Залетов говорит жене:

— Помнишь, как вы тогда со смотрин из Кижиц пришли? Шутки я тогда с Марьей шутил, хорошо бы, мол, Евграфа Макарыча подчалить? Шутки-то на правду стали походить.

— Что ты, Маркелыч? — вскрикнула жена его.—Неужли в самом деле?

— Врать, что ли, стану? — закричал Гаврила Маркелыч, да так, что жена маленько вздрогнула.— Посватался,— прибавил он, понизив голос.

— Что ж ты сказал, Маркелыч? Как решил?—спросила взволнованная мать.

— Нечего пока решать-то,— ответил Гаврила Маркелыч.— Сказал, что тут прежде всего воля родительская, если, мол, Макар Тихоныч пожелает с нами родниться, мы, мол, не прочь.. Станем ждать вестей из Москвы... Да ты Марье-то покаместь не говори... нечего прежде времени девку мутить. Да никому ни гу-гу, лучше будет.

Но Маша смекнула, что Масляников сватался. Видя, что отец был необычайно ласков на прощанье с Евграфом Макарычем, даже на пароход проводил его, с радостным трепетом сердца она догадалась, что дело на лад пошло. Расцвела, повеселела девушка, стала краше прежнего. С раннего утра до позднего вечера вольной пташкой распевала она, бегая по отцовскому садику, вспоминая, на каком месте какие сладкие речи говаривал ее желанный. Отец гораздо мягче стал, крику его больше не слышно; даже ласкал то и дело Машу. Бывало, придет в сад, взглянет на нее и молвит, улыбаясь:

— Не приустала ль, Машенька? Что это день-деньской ты по́ саду все строчишь?

— Нет, тятенька. Какая мне усталь? Не работа какая.

— Ну гуляй, девка, гуляй, пой свои песенки,— молвит Гаврила Маркелыч и своей дорогой пойдет.

Письмо из Москвы пришло, писал Евграф Макарыч, что отец согласен дать ему благословенье, но наперед хочет познакомиться с Гаврилой Маркелычем и с будущей невесткой. Так как наступала Макарьевская ярмарка, Евграф Макарыч просил Залетова приехать в Нижний с Марьей Гавриловной. Тут только сказали Маше про сватовство. Ответила она обычными словами о покорности родительской воле: за кого, дескать, прикажете, тятенька, за того и пойду, а сама резвей забегала по́ саду, громче и веселей запела песни свои.

— Человек он хороший,— как-то сказал ей отец.— Люб он тебе, Маша?

— Он добрый... пригожий такой...— краснея, проговорила Маша.

— Что пустяки-то городишь! — крикнул Гаврила Маркелыч.— Пригожий!.. А какого шута тебе в его пригожестве? С мужнина лица не воду пить; какого бог уродил, таков и будет — все едино... Тут главна причина, что один сын у отца: рано ли, поздно ли все капиталы

ему без разделу достанутся. Опять же люди они постоянные, благочестивые. Дом богобоязненный, от кого ни послышишь. Вот это статья!.. Ты не на рожу, в мошну гляди.— Уж выдать бы мне только тебя, Марья, за Масляникова, какой бы мы с тобой пароход спустили!.. Первый по Волге был бы!..

* * *

Старик Масляников был старый вдовец. Схоронив Евграфову мать, женился он на молоденькой девушке, из бедного семейства, но и та пожила недолго. Поговаривали, будто обе жены пошли в могилу от кулаков благоверного. В третий раз Макар Тихоныч жениться не хотел.

«Куда мне, старому грибу, с молодой женой возиться!.. Пора душу спасать, век мой на исходе»,— говаривал он свахам, зачастившим было к богатому вдовцу с предложеньями своего товара. «Правда,— продолжал он,— без бабьего духа в доме пустым что-то пахнет, так у меня сыну двадцать первый пошел, выберу ему хорошую невесту, сдам дела и капитал, а сам запрусь да богу молиться зачну. Мы свое изжили, наше время прошло,— молодым надо дорогу давать. Да и то сказать надо, не хочу от врага рода человеческого жену себе пояти, потому сказано: «Перва жена от бога, втора от людей, третья от беса».

Воротясь из Казани, Евграф Макарыч, заметив однажды, что недоступный, мрачный родитель его был в веселом духе, осторожно повел речь про Залетовых и сказал отцу: «Есть, мол, у них девица очень хорошая, и если б на то была родительская воля, так мне бы лучше такой жены не надо».

— Ишь ты! — усмехнулся отец.— Я его на Волгу за делом посылал, а он девок там разыскивал. Счастлив твой бог, что поставку хорошо обладил, не то бы я за такое твое малодушие спину-то нагрел бы. У меня думать не смей самому невесту искать... Каку даст отец, таку и бери... Вот тебе и сказ... А жениться тебе в самом деле пора. Без бабы и по хозяйству все не ходко идет, да и в дому жилом не пахнет... По осени беспременно надо свадьбу сварганить, надоело без хозяйки в доме.

— А разве, тятенька, у вас есть на примете? — взволнованным голосом спросил Евграф.

— А тебе что за дело? Сыщу, так скажу.

Замолк Евграф Макарыч, опустил голову, слезы на глазах у него выступили. Но не смел су́против родителя словечка промолвить. Целу ночь он не спал, горюя о судьбе своей, и на разные лады передумывал, как бы устроить, чтоб отец его узнал Залетовых, чтобы Маша ему понравилась и согласился бы он на их свадьбу. Но ничего придумать не мог. Одолела тоска, хоть руки наложить, так в ту же пору.

Прошло с неделю времени. Приехал однажды Макар Тихоныч из города развеселый. Сели обедать, говорит он сыну:

— Сегодня нам с тобой, Евграф, счастья бог послал — всю залежь, что ее в лавке ни было, с рук спустил. Что ни было старого, негодящего товару, весь сбыл, да еще за наличные. Думал убытки нести, выпал барыш, да какой!

— Кому же, тятенька, продали? — робко спросил Евграф Макарыч.

— Послал господь олуха. Благодари создателя!.. Из Сибири дурак приехал. Дела-то свои только что начинает, толку-то ни в чем еще не смыслит. Молоденький, вот как твое же дело, легковерный такой; что ему ни ври, всему верит... Уж и объегорил же я его, обул как Филю в чертовы лапти!.. Ха-ха-ха!.. Не забудет меня до веку... Надо будет завтра на Рогожское съездить, господа поблагодарить... Вели-ка после обеда приказчику пшеничной муки туда свезти, по кулю на каждую палату, да масла деревянного бутылки две богу на лампадки.

— Слушаю, батюшка.

— А ведь тебе, дураку, не удастся этак с алтыном под полтину подъехать! — хвалился Макар Тихоныч.— Посмотрю я на тебя, Евграф, толку-то в тебе нисколько нет — ни на маково зернышко... Помру — в прах проторгуешься. Ей-богу, помяни мое слово. Сноровки, братец, до сих пор не знаешь, не знаешь, как обойти покупателя, как ему намолоть с три короба, чтоб у него в глазах помутилось, в мыслях бы затуманило. Да что про это толковать,— со вздохом прибавил Макар Тихоныч,— известно дело, что глупому сыну и родной отец ума к коже не пришьет... Разве вот как женю тебя, не будешь ли маленько поумнее?.. Да, чуть было не забыл спросить... Намедни ты про Залетовых поминал... Ездит он к Макарью аль нет?

— Как же, тятенька! Ездит,— немного оторопев от нежданного вопроса, ответил Евграф Макарыч.— В казенном гостином дворе, в китаечном ряду, лавка у него, да в деревянных рядах мылом торгует.

— Так. В китаечном да в мыльном...— раздумывал Макар Тихоныч.— Это хорошо... Фабрика у него, сказываешь, да завод?

— Так точно, тятенька.

— Ладно... Оборот велик?

— Не могу сказать, а должно быть, немалый... Гаврило же Маркелыч только на наличные торгует, грошом не кредитуется,— отвечал Евграф.

— Дурак, значит, хоть его сегодня в Новотроицком за чаем и хвалили,— молвил Макар Тихоныч.— Как же в кредит денег аль товару не брать? В долги давать, пожалуй, не годится, а коль тебе деньги дают да ты их не берешь, значит, ты безмозглая голова. Бери, да коль статья подойдет, сколь можно и утяни, тогда настоящее будет дело, потому купец тот же стрелец, чужой оплошки должен ждать. На этом вся коммерция зиждется... Много ль за дочерью Залетов дает?

— Не знаю, тятенька, о том речи не было. Как же бы смел я без вашего приказанья спросить? — отвечал Евграф Макарыч.

— Это ты умно сказал!.. Обмолвился, должно быть,— проговорил Макар Тихоныч, выпив стакан холодного квасу и погладив седую бороду.— Один сын, говоришь, да дочь, только всего и детей?

— Только, тятенька.

— Сын-от отделен?

— Нет еще, не отделен,— отвечал Евграф Макарыч.— Дал родитель ему расшивы на весь отчет, а прочее все при нем.

— Так...— промычал Макар Тихоныч.— Много хорошего про Залетова я наслышан,— продолжал он, помолчав и поглядывая искоса нá сына.— С кем в городе ни заговоришь, опричь доброго слова ничего об нем не слыхать... Вот что: у Макарья мы повидаемся, и коли твой Залетов по мысли придется мне, так и быть, благословлю — бери хозяйку... Девка, сказывают, по всем статьям хороша... Почитала бы только меня да из моей воли не выходила, а про другое что, как сами знаете.

На тот раз тем разговор и кончился. Но и этого много было Евграфу. На другой же день отписал он к Гавриле Маркелычу.

Поехали на ярмарку и Масляниковы и Залетовы. Свиделись. Макару Тихонычу и сам Залетов по нраву пришелся. «Человек обстоятельный»,— сказал он сыну по уходе его. Хотя слово то было брошено мимоходом, но, зная отцовский нрав, Евграф так обрадовался, что хоть вприсядку.

Дня через три завернул старик Масляников в китаечный ряд, свиделся там с Гаврилой Маркелычем. Слово за слово. Залетов позвал гостя наверх в палатку чайку напиться. Поломался маленько Макар Тихоныч, однако пошел. Тут увидал семейных Гаврилы Маркелыча. Маша ему приглянулась.

— Девка придется нам ко двору,— молвил он сыну, воротясь домой.— Экой ты плут какой, Евграшка! Кажись, и не доспел разумом, а какую паву выследил — умному так впору. Как бы ты по торговой-то части такой же дока был, как на девок, тебя бы, кажется, озолотить мало... Засылай сваху, дурак!..

— Тятенька! — вне себя от радости вскричал Евграф, кидаясь отцу в ноги и целуя его руки.— Тятенька! Благослови вас господи!

— Дурак! Не тебе меня благословлять, а мне тебя... Ноги выше головы не растут,— угрюмо ответил Макар Тихоныч, отстраняя Евграфа.— Чего лижешься, ровно теленок?.. Очумел?.. Ишь как его прорвало!.. Сказано: сваху засылай — чего еще тебе?.. По всему видно, каков ты разумом: люди говорят: «Дурак и посуленому рад». Так и ты

— Тятенька, тятенька! — говорил Евграф, и смеясь и заливаясь слезами.— Вы родитель мой... вы отец... глава... Не отталкивайте меня... Как бог, так и вы... батюшка...

— Да чего визжать-то? Сказано, есть на то воля родительская... Какого тебе еще лешего?

Отыскал Евграф Макарыч знакомую купчиху, попросил ее за сваху быть. Без свахи нельзя — старозаветный обычай соблюсти необходимо. Решили после ярмарки ехать в Москву и там свадьбу играть. По-настоящему-то жениху бы с родней надо было ехать к невесте,

да на это Макар Тихоныч не пошел бы... Гордыня!.. Поедет такой богатей к купцу третьей гильдии!.. Как же!..

* * *

Полная светлых надежд на счастье, радостно покидала родной свой город Марья Гавриловна. Душой привязалась она к жениху и, горячо полюбив его, ждала впереди длинного ряда ясных дней, счастливого житья-бытья с милым избранником сердца. Не омрачала тихого покоя девушки никакая дума, беззаветно отдалась она мечтам об ожидавшей ее доле. Хорошее, счастливое было то время! Доверчиво, весело глядела Марья Гавриловна на мир божий.

Макар Тихоныч непомерно был рад дорогим гостям. К свадьбе все уже было готово, и по приезде в Москву отцы решили повенчать Евграфа с Машей через неделю. Уряжали свадьбу пышную. Хоть Макар Тихоныч и далеко не миллионер был, как думал сначала Гаврила Маркелыч, однако ж на половину миллиона все-таки было у него в домах, в фабриках и в капиталах — человек, значит, в Москве не из последних, а сын один... Стало быть, надо такую свадьбу справить, чтобы долго о ней потом толковали.

В свадебных хлопотах помолодел старик Масляников, нравом даже ровно переродился. Незаметно стало в нем порывов своенравия, всячески угождал он назва́ным родным, а к невесте так был ласков, что всем знавшим крутой и мрачный нрав его было то на великое удивленье.

Венчанье назначено. За несколько дней перед тем Залетов, как водится, сделал сговор на своей квартире. Немало гостей съехалось, и все шло обычной чередой: пели девушки свадебные песни, величали жениха со невестою, величали родителей, сваха плясала, дружка балагурил, молодежь веселилась, а рядом в особой комнате почетные гости сидели, пуншевали, в трынку[1] играли, про свои дела толковали. Макар Тихоныч верховодил и, видя воздаваемый ему со всех сторон почет, вполне благодушествовал. Нередко выходил он в комнату, где молодежь справляла свое дело, подшучивал над товари-

---

[1] *Трынка* — карточная игра, в старину была из «подкаретных» (кучера под каретами игрывали), но впоследствии очень полюбилась купечеству, особенно московскому. Задорная игра.

щами Евграфа: «Нуте-ка, дескать, сыщите другую такую королеву», подсаживался к Маше, называл ее милою дочкой и, шутя, низко кланялся и просил, чтоб она, сделавшись хозяйкою, не согнала его, старого хрыча, со двора долой, а покоила б и берегла старость его да поскорей бы внучат народила ему. Маша краснела от шуток нареченного свекра, ласкалась к нему робко, но так доверчиво, как не всякая дочь к родному отцу ласкается. Глядя на жениха, утопала она в счастье.

Ужинать сели. Как водится, жениха с невестой рядом посадили, по другую сторону невесты уселся Макар Тихоныч. Беседа шла веселая, вино рекой лилось — хорошо пировали. Вдоволь угостился Макар Тихоныч, поминутно сыпал шутками. В конце стола, взглянув на невесту, сказал, обращаясь к Гавриле Маркелычу:

— Ну, сватушка, нечего сказать — умел дочку родить, умел и вырастить. Такой красавицы, такой умницы, пройти всю Москву насквозь, с огнем не отыщешь.

— Какова есть — вся тут,— шутил Гаврила Маркелыч.— Отдаем без обману.

— И молодцов таких, как Евграф Макарыч, тоже с огнем поискать,— думая польстить Макару Тихонычу, молвила Машина мать.— Тоже по всей Москве другого такого, пожалуй, не найдется.

— Таких-то здесь непочатой угол,— ответил Макар Тихоныч.— Много почище найдется!

— Где же много? — сказала Залетова.— Что-то ровно таких и не видать.

— А хоть бы я, например? — отрезал Масляников, облокотясь на стол и прищурясь на Машу.— Куда ж ему равняться со мной? У меня голова на плечах, а у него что? Тыква, не голова!

— Про это что говорить,— молвила Машина мать.— Только уж не прогневайтесь, Макар Тихоныч, старый молодому не ровня, наше с вами время прошло.

— Про это бабушка-то надвое сказала,— ляпнул подгулявший Макар Тихоныч.— Хоть седа борода, а за молодого еще постою. Можно разве Евгращку со мной равнять? Да он ногтя моего не стоит!.. А гляди, какую королеву за себя брать вздумал... Не по себе, дурак, дерево клонишь — выбирай сортом подешевле,— прибавил он, обратясь к оторопевшему сыну.

— Чтой-то вы, Макар Тихоныч? — вступился Залетов.— Как же можно так обижать?

— Какая тут обида? — кричал Масляников.— Кому?.. Чать, Евграшка маленько сродни мне приходится. Что хочу, то с ним и делаю — хочу с кашей ем, хочу — масло из него пахтаю. Какая ему от меня обида быть может?

Все замолчали, видя разгорячившегося Макара Тихоныча.

— Что за шутки, сватушка?..— молвила Машина мать.— Время ль теперь?

— Какие шутки! — на всю комнату крикнул Макар Тихоныч.— Никаких шуток нет. Я, матушка, слава тебе, господи, седьмой десяток правдой живу, шутом сроду не бывал... Да что с тобой, с бабой, толковать — с родителем лучше решу... Слушай, Гаврила Маркелыч, плюнь на Евграшку, меня возьми в зятья — дело-то не в пример будет ладнее. Завтра же за Марью Гавриловну дом запишу, а опричь того пятьдесят тысяч капиталу чистоганом вручу... Идет, что ли?

Жених пополовел — в лице ни кровинки. Зарыдала Марья Гавриловна. Увели ее под руки. Гаврила Маркелыч совсем растерялся, захмелевший Масляников на сына накинулся, бить его вздумал. Гости один по другому вон. Тем и кончился Машин сговор.

Все думают, захмелел старик за ужином и, не помня себя, наговорил глупых речей. Но хмель со сном прошел, а блажь из головы Макара Тихоныча не вылезла. Шальная мысль, засев в голову пьяного самодура, ровно клином забита была... «А дай-ка распотешу всех,— думал, проснувшись и потягиваясь на одинокой постели, Макар Тихоныч,— сем-ка женюсь в самом деле на Марье. Пущай Москва две недели про мою свадьбу толкует... Девка же сдобная, важная — грудь копной, глаза так и прыгают. Крепыш девка, ровно репа — знатная будет жена!» — думал, подзадоривая себя, Макар Тихоныч.

Наутро вырядился, прямо к Залетовым.

— Коли хочешь со мной родниться,— сказал Гавриле Маркелычу,— выдавай дочь за меня. Мой молокосос рылом не вышел, перстика ее не стоит — какой он ей муж?.. Толковать много нечего, не люблю... Кончать, так разом кончай, делом не волочи... Угостил ты меня вечор на славу, Гаврила Маркелыч, развеселое было у тебя

пированье... Спасибо за угощенье... Ну, грешным делом, хоть и шумело у меня в голове, и хоть то слово во хмелю было сказано, однако ж я завсегда правдой живу: от слова не пячусь. Отдашь за меня Марью Гавриловну, сегодня ж ей дом и пятьдесят тысяч в опекунский совет на ее имя внесу... Ты это понимай, как оно есть, Гаврила Маркелыч: все будет записано на девицу Марью Гавриловну Залетову, значит, если паче чаяния помрет бездетна, тебе в род пойдет... А пароход мой, что на Волге бегает, знаешь, чать, «Смелый» прозывается, в шестьдесят сил, да две баржи при нем — это у меня тестю в подарок сготовлено.

Вот он пароход-от!.. Век думал, гадал про него Гаврила Маркелыч, совсем было отчаялся, а он ровно с неба упал. Затуманилось в голове — все забыл,— один пароход в голове сидит.

— Как же это будет? — раздумывал Гаврила Маркелыч.

— Так же и будет, как сказываю,— отозвался Макар Тихоныч.— А то, пожалуй, отдавай свою дочь и за Евграшку, перечить не стану; твое детище, твоя над ним и воля. Только знай, что ему от меня медного гроша не будет ни теперь, ни после... Бери зятя в дом, в чем мать на свет его родила — гроша, говорю, Евграшке не дам,— сам женюсь, на ком бог укажет, и все, что есть у меня, перепишу на жену. А не женюсь, все добро до копейки размытарю. С цыганками пропью, в трынку спущу, а Евграшке медной пуговицы не оставлю. Слово мое крепко.

Пароход, дом, пятьдесят тысяч, а пуще всего пароход... Взглянул Гаврила Маркелыч на иконы, перекрестился и, подавая руку Масляникову, сказал:

— Видно, есть на то воля божия. Будь по-твоему, любезный зятюшка.

Обнялись старики, поцеловались.

— Когда ж невесте-то станешь объявлять? — спросил новый жених.

— Как хочешь,— ответил Гаврила Маркелыч.— Хоть сегодня же. Привози только наперед купчие да билеты. Тут ей и скажем.

Нашла коса на камень. Попал топор на сучок... Думал Масляников посулом отъехать, да не на такого напал... А сердце стариковское по красавице разгорелось — крякнул Макар Тихоныч, поморщился, однако ж поехал купчии совершать и деньги в совет класть.

На другой день отдал он бумагу и билеты нареченному тестю. Продали Машу, как буру корову.

Свадьбу сыграли. Перед тем Макар Тихоныч послал сына в Урюпинскую на ярмарку. Маша так и не свиделась с ним. Старый приказчик, приставленный Масляниковым к сыну, с Урюпинской повез его в Тифлис, оттоль на Крещенскую в Харьков, из Харькова в Ирбит, из Ирбита в Симбирск на Сборную. Так дело и протянулось до Пасхи. На возвратном пути Евграф Макарыч где-то захворал и помер. Болтали, будто руки на себя наложил, болтали, что опился с горя. Бог его знает, как на самом деле было.

* * *

Восемь лет выжила Марья Гавриловна с ненавистным мужем. Что мук стерпела, что брани перенесла, попреков, побоев от сурового старика. Тому только удивляться надо, как жива осталась... Восемь лет как в затворе сидела, из дому ни разу не выходила: старый ревнивец, под страхом потасовки, к окнам даже запретил ей подходить. Только и жила бедная памятью о милом сердцу, да о тех немногих, как сон пролетевших, днях сердечного счастья, что выпали на ее долю перед свадьбой. Истаяла вся, стала худа, желта и совсем опротивела мужу. Макар Тихоныч ядреных, дородных любил.

Совсем одичала Марья Гавриловна, столько лет никого не видя окроме скитских стариц, приезжавших в Москву за сборами. Других женщин никого не позволялось ей принимать. Отец с матерью померли, братнина семья далекó, а Масляников строго-настрого запретил жене с братом переписываться.

Впрочем, Макар Тихоныч человек был благочестивый, набожный, богомольный. На сгибах указательных и средних пальцев от земных поклонов мозоли у него наросли, и любил он выставлять напоказ эти признаки благочестия. Много денег жертвовал на скиты и часовни, не только все посты соблюдал, понедельничал даже, потому и веровал без сомнения в спасение души своей. Чтоб это было еще повернее, в доме читалку ради повседневной божественной службы завел. Случалось, что читалка после келейных молитв с Макаром Тихонычем куда-то ночью в его карете ездила, но что ж тут поделаешь? — враг силен, крепких молитвенников всегда на-

водит на грех, а бренному человеку как устоять против демонского стреляния? И то надо помнить, что этот грех замолить — плевое дело. Клади шесть недель по̀ сту поклонов на́ день, отпой шесть молебнов мученице Фомаиде, ради избавления от блудныя страсти, все как с гуся вода,— на том свете не помянется.

Приехала раз в Москву мать Манефа. Заговорили об ней на Рогожском. Макар Тихоныч давно ее знал и почитал чуть не за святую. Молил он матушку посетить его, тут-то и познакомилась с нею Марья Гавриловна.

Мать Манефа наслышана была про судьбу бедной женщины и, вспоминая свое прошлое, поняла ее страданья. Коротко они сблизились, Марья Гавриловна вполне высказалась Манефе, ни с кем никогда так по душе она не разговаривала, как с нею. Игуменья плакала с ней и утешала не мертвыми изречениями старых книг, а задушевными словами женщины, испытавшей сердечное горе. Тихонько от Макара Тихоныча и от его читалки молилась Манефа с Марьей Гавриловной за упокой раба божия Евграфа. Молитвой, терпеньем, упованьем на милость господню Манефа учила ее врачевать наболевшее сердце. И слезы Марьи Гавриловны, после каждой беседы с игуменьей, казались ей не столь горьки, как прежде, а на душе становилось светлей. Не водворялось в этой душе сладкого, мирного покоя, что бывает уделом немногих страдающих, зато холодное бесстрастие, мертвенная притупленность к ежедневным обидам проникли все ее существо. Мало-помалу перестала Марья Гавриловна ненавидеть своего злодея, стала думать о нем с сожаленьем. Даже на молитве стала поминать мужа, а прежде и в голову ей того не приходило.

Тогда Манефа бывала в Москве нередко, и с каждым приездом ее Марья Гавриловна сильней к ней привязывалась. Дело понятное: кроме Евграфа, никто еще не относился к ней с истинной любовью. Отец продал ее за пароход, мать любила, но сама же уговаривала идти за старика, что хочет их всех осчастливить; брат... да что и поминать его, сам он был у отца забитый сын, а теперь, разбогатев от вырученного за счастье сестры парохода, живет себе припеваючи в своей Казани, и нет об нем ни слуху ни духу. Мать Манефа всех дороже стала Марье Гавриловне.

На девятый год третьего своего супружества, в понедельник на масленице, Макар Тихоныч, накушавшись

первых блинов с икрой у знакомого и запив блины холодненьким, воротился домой, обругал хозяйку, прилег на диван и отдал богу спасенную душу свою.

На волю вышла Марья Гавриловна... Фабрика, дом, деньги — все ее. Богатство, свобода, а не с кем слова перемолвить...

Куда деваться двадцатипятилетней вдове, где приклонить утомленную бедами и горькими напастями голову? Нет на свете близкого человека, одна как перст, одна головня в поле, не с кем поговорить, не с кем посоветоваться. На другой день похорон писала к брату и к матери Манефе, уведомляя о перемене судьбы, звала их в Москву. Манефа долго ждать себя не заставила. Много с ней толковала молодая вдова, как и где лучше жить — к брату ехать не хотелось Марье Гавриловне, а одной жить не приходится. Сказала Манефа:

— Да к нам милости просим, в нашу святую обитель: мы бы вас успокоили.

— Не могу я, матушка, снести иноческой жизни,— не в силах черной рясы надеть.

— А зачем ее надевать? — возразила игуменья.— У нас обитель большая, места вдоволь, желательно со мной жить, место найдется, хоть, правду сказать, тесненько вам покажется, после этих хором неприглядно. Не то поставьте себе келью, какую знаете, и живите в ней со своими девицами. Угодно к службе божией — ходите, не угодно — не взыщем. Будете жить на своем отчете и на полной своей воле. А если насчет пищи или одежды беспокоитесь, так вы не в числе обительских будете: у нас свой устав, у вас будет свой, и скоромное кушайте на здоровье и цветное носите.

Так расхвалила Манефа жизнь монастырскую, что Марье Гавриловне понравилось ее приглашенье. Жить в уединении, в тихом приюте, середь добрых людей, возле матушки Манефы, бывшей во дни невзгод единственною ее утешительницей,— чего еще лучше?

— А вы, сударыня Марья Гавриловна, вот как сделайте,— советовала ей Манефа.— Сорочины по покойнике придутся в понедельник на шестой. До того из дому вам уехать нельзя: и люди осудят, и перед богом грешно... Каков ни был Макар Тихоныч, царство ему небесное, все же супруг — простить надо его, сударыня, за все озлобления... молиться надо, успокоил бы господь мно-

гомятежную душу его... Вот мы вместе с вами и помолимся... Если угодно, останусь у вас до сорочин. В то время устройте дела, на шестой неделе, если реки пропустят, поедемте к нам за Волгу. Пасха-то нынче ранняя, кажись бы к тому времени дорогам не надо испортиться. Страстную службу у нас послушаете, воскресение Христово встретим, а потом и гостите у нас, сколько заблагорассудится... Посмотрите на наши обычаи, узнаете наше житье-бытье и, коли понравится, ставьте к зиме келью себе. местечко отведу хорошее, возле самой часовни, и садик разведете и все, что вам по мысли придется.

Марья Гавриловна согласилась. Когда брат ее приехал из Казани и стал уговаривать богатую сестру ехать к нему на житье, она ему наотрез отказала. Обещалась, впрочем, летом побывать к нему на короткое время в Казань.

Явились наследники, были предъявлены векселя покойника. Марья Гавриловна продала фабрику, разделалась со всеми без споров. У ней осталось больше двухсот тысяч наличными да дом полная чаша.

К Пасхе Манефа воротилась в Комаров с дорогою гостьей. Марье Гавриловне скитское житье приятным показалось. И не мудрено: все ей угождали, все старались предупредить малейшее ее желанье. Не привыкшая к свободной жизни, она отдыхала душой. Летом купила в соседнем городке на своз деревянный дом, поставила его на обительском месте, убрала, разукрасила и по первому зимнему пути перевезла из Москвы в Комаров все свое имущество.

Москву, кроме горя, нечем было ей помянуть, и она прервала с нею все сношения. Наследники, очень довольные ее непритязательностью, хотя и называвшие ее за то дурой, кредиторы, которым с другого без споров и скидок вряд ли бы можно было получить свои деньги, писали к ней ласковые письма, она не отвечала. На родину, в Казань, к брату ездила. Там и братняя семья и другие родные и знакомые, помня Марью Гавриловну еще девочкой, наперерыв друг перед дружкой за ней ухаживали. И женихи закружились вкруг богатой молодой вдовушки. Выгоднее ее по всему Поволжью вряд ли другая невеста была; но она никому ни словом, ни взглядом не подала на успех надежды. Свахам от нее был один ответ: «Из скитов замуж не выходят». И брат

и невестка пытались уговаривать Марью Гавриловну выбрать друга по мысли, но она на речи их только головой качала. Несмотря на неудачи, искатели не оставляли в покое богатой невесты. Надоело ей, и поспешила она уехать в мирный приют на Каменном Вражке.

Тихо, спокойно потекла жизнь Марьи Гавриловны, заживали помаленьку сердечные раны ее, время забвеньем крыло минувшие страданья. Но вместе с тем какая-то новая, небывалая, не испытанная дотоле тоска с каждым днем росла в тайнике души ее... Чего-то недоставало Марье Гавриловне, а чего — и сама понять не могла, все как-то скучно, невесело... Ни степенные речи Манефы, ни резвые шалости Фленушки, ни разговоры с Настей, которую очень полюбила Марья Гавриловна, ничто не удовлетворяло... Куда деваться? Что делать?

Ото всех одаль держалась Марья Гавриловна. С другими обителями вовсе не водила знакомства и в своей только у Манефы бывала. Мать Виринея ей пришлась по душе, но и у той редко бывала она. Жила Марья Гавриловна своим домком, была у нее своя прислуга,— привезенная из Москвы, молоденькая, хорошенькая собой девушка — Таня; было у ней отдельное хозяйство и свой стол, на котором в скоромные дни ставилось мясное.

Дочери Патапа Максимыча, жившие у тетки, понравились ей. С самого приезда в скит Марья Гавриловна ласкала девушек, особенно Настю. Бывали у нее еще Фленушка с Марьюшкой, другие редко, и то разве по делу какому.

Патап Максимыч очень был доволен ласками Марьи Гавриловны к дочерям его. Льстило его самолюбию, что такая богатая, из хорошего рода женщина отличает Настю с Парашей от других обительских жительниц. Стал он частенько навещать сестру и посылать в скит Аксинью Захаровну. И Марья Гавриловна раза по два в год езжала в Осиповку навестить доброго Патапа Максимыча. Принимал он ее как самую почетную гостью, благодарил, что «девчонок его» жалует, учит их уму-разуму.

Добра была до Патапа Максимыча Марья Гавриловна и во всем ему верила. Капитал ее лежал в опекунском совете, и часто предлагала она Чапурину взять у нее хоть все двести тысяч на его обороты... Патап Максимыч не соглашался, но, взявши не по силам подряд на

горянщину, поклонился Марье Гавриловне, и она дала ему двадцать тысяч по векселю сроком по 8 июля... По весне увидал Патап Максимыч, что к сроку денег ему не собрать, сказал про то Марье Гавриловне, и она его обнадежила, что готова хоть год, хоть и больше ждать, а когда придет срок,— вексель она перепишет.

ГЛАВА ПЯТАЯ

За круглым столом в уютной и красиво разубранной «келье» сидела Марья Гавриловна с Фленушкой и Марьей головщицей. На столе большой томпаковый самовар, дорогой чайный прибор и серебряная хлебница с такими кренделями и печеньями, каких при всем старанье уж, конечно, не сумела бы изготовить в своей келарне добродушная мать Виринея. Марья Гавриловна привезла искусную повариху из Москвы — это ее рук дело.

Заспала ли Фленушка свою досаду, в часовне ли ее промолила, но, сидя у Марьи Гавриловны, была в таком развеселом, в таком разбитном духе, что чуть не плясать готова была. Да и заплясала бы и запела бы залихватскую песенку, да стыдно было ей перед Марьей Гавриловной. Недолюбливала вдовушка шумного веселья; опять же обитель — можно там и поплясать, можно и песенку спеть, но все ж опасаючись, слава не пошла бы, не было бы на обитель нарекания. Все можно, все позволительно, только втайне, чтоб иголки никто не подточил. Тогда ничего: «Тайно содеянное, тайно и судится». Так говорится в обителях.

Развеселая Фленушка так и заливалась, рассказывая Марье Гавриловне про гостины у Патапа Максимыча. Пересыпая речь насмешками и издевками, описывала она именинный пир и пересмеивала пировавших гостей. Всех перецыганила и Манефу не помиловала. Очень уж расходилась, не стало удержу. До того увлеклась смехотворными рассказами, что, выскочив на середь горницы, пошла в лицах представлять гостей, подражая голосу, походке и ухваткам каждого. Весело слушала Марья Гавриловна болтовню баловницы обительской и улыбалась на ее выходки. Марья головщица держала себя сдержанно.

— Матушка идет,— выглядывая из передней, молвила хорошенькая, свеженькая Таня, одетая не по-скитски, а в «немецкое» платье.

Поджала хвост Фленушка, как ни в чем не бывало, чиннехонько уселась за стол и скромно принялась за сахарную булочку... Марья Гавриловна спешила в переднюю навстречу игуменье.

Войдя в комнату, Манефа уставно перекрестилась перед иконами, поздоровалась с Марьей Гавриловной, а та, как следует по чину обительскому, сотворила перед нею два обычных метания.

— Садитесь-ка, матушка,— приглашала ее Марья Гавриловна, придвигая к столу мягкое кресло.— Утомились в келарне-то. Покорно прошу чайку покушать, а мы уж, простите, Христа ради, по чашечке, по другой пропустили, вас дожидаючи...

— На здоровье!.. Бог благословит,— промолвила мать Манефа.— Где меня дожидаться?.. Делов-то у меня немало — совсем измаялась в келарне. Стара становлюсь, сударыня Марья Гавриловна, устаю: не прежни годà. Видно, стары кости захотели деревянного тулупа... Живым прахом брожу — вот что значит стары-то годы.

— Какие еще ваши годы, матушка? — ответила Марья Гавриловна, подавая чашку и ставя перед игуменьей серебряную хлебницу.— Разве вот от хлопот от ваших? Это, пожалуй... Оченно вы уж заботны, матушка, всяку малость к сердцу близко принимаете.

— Хлопоты, заботы само по себе, сударыня Марья Гавриловна,— отвечала Манефа.— Конечно, и они не молодят, ину пору от думы-то и сон бежит, на молитве даже ум двоится, да это бы ничего — с хлопотàми да с заботами можно бы при господней помощи как-нибудь сладить... Да... Смолоду здоровьем я богата была, да молодость-то моя не радостями цвела, горем да печалями меркла. Теперь вот и отзывается. Да и годы уж немалые — на шестой десяток давно поступила.

— Что ж это за годы, матушка? — сказала Марья Гавриловна.

— Не в годах сила, сударыня,— ответила Манефа.— Не годы человека старят, горе, печали да заботы... Как смолоду горя принято вдоволь, да потом как из забот да из хлопот ни день, ни ночь не выходишь, поневоле раньше веку состаришься... К тому же дело наше женское —

слабое, недаром в людях говорится: «сорок лет — бабий век». Как на шестой-от десяток перевалит, труд да болезнь только останутся... Поживете с мое, увидите... вспомните слова мои... Ну, да ваше дело иное, Марья Гавриловна, хоть и знали горе, все-таки ваша жизнь иная была,— глубоко вздохнув, прибавила Манефа.

— Матушка! — быстро подхватила Марья Гавриловна, вскинув черными своими глазами на Манефу.— Жизнь мою вы знаете — это ль еще не горе!..

— Всякому человеку только свой крест тяжел, сударыня,— внушительно ответила Манефа.— Все же видали вы красные дни, хоть недолгое время, а видали... И вот теперь, привел бог, живете без думы, без заботы, аки птица небесная... Печали человека только крушат, заботы сушат. Горе проходчиво, а забота, как ржа, ест человека до смерти... А таких забот, как у меня, грешной, у вас и прежде не бывало и теперь не предвидится... Конечно, все во власти божией, а судя по человечеству, кажись бы, и наперед таких забот вам не будет, какие на мне лежат. Ведь обителью править разве легкое дело? Семейка-то у меня, сами знаете, какая: сто почти человек — обо всякой подумай, всякой пить, есть припаси, да порядки держи, да смотри за всеми. Нет, не легко начальство держать... Так тяжело, сударыня, так тяжело, что, самой не испытавши, и понять мудрено... Так вот какое мое дело, далеко не то, что ваше, Марья Гавриловна... Какие вам заботы? Все у вас готово, чего только не вздумали!.. Опять же и здоровьем не такие, как я в ваши годы была. Оттого и старость поздней к вам придет.

— Как про то знать наперед? — сказала Марья Гавриловна.— Все во власти господней.

— Вестимо так,— ответила Манефа и, немного помолчав, заговорила ласкающим голосом: — А я все насчет братца-то, сударыня Марья Гавриловна. Очень уж он скорбит, что за суетами да недосугами не отписал к вам письмеца, на именины-то не позвал. Так скорбит, так кручинится, не поставили бы ему в вину.

— Полноте, матушка,— отвечала Марья Гавриловна.— Ведь я еще давеча сказала вам... Затем разве я в обители поселилась, чтобы по пирам разъезжать... Бывала прежде у Патапа Максимыча и еще как-нибудь соберусь, только не в такое время, как много у него народу бывает...

— Да так-то оно так,— продолжала мать Манефа,— все ж, однако, гребтится ему — не оскорбились ли?.. Так уж он вас уважает, сударыня, так почитает, что и сказать невозможно... Фленушка, поди-ка, голубка, принеси коробок, что Марье Гавриловне прислан.

— Напрасно это, матушка, право, напрасно,— говорила Марья Гавриловна, между тем как Фленушка, накинув шубейку, побежала по приказанию Манефы.— Скажите-ка лучше, как поживает Патап Максимыч? Аксинья Захаровна что?.. Девочки ихние как теперь?

— Слава богу,— отвечала Манефа,— дела̀ у братца, кажись, хорошо идут. Поставку новую взял на горянщину, надеется хорошие барыши получить, только не знает, как к сроку поспеть. Много ли времени до весны осталось, а работников мало, новых взять негде. Принанял кой-кого, да не знает, управится ли... К тому ж перед самым Рождеством горем бог его посетил.

— Что такое случилось? — озабоченно спросила Марья Гавриловна.

— Знавали ль вы у него приказчика Савельича? — спросила мать Манефа.

— Как не знать, матушка, славный такой старичок,— ответила Марья Гавриловна.

— Помер ведь...

— Полноте?

— Помер, сердечный,— продолжала Манефа.— На Введеньев день в Городец на базар поехал, на обратном пути застань его вьюга, сбился с дороги, плутал целую ночь, промерз. Много ль надо старику? Недельки три поболел и преставился...

— Царство небесное!..— набожно перекрестясь, молвила Марья Гавриловна.— Добрый был человек, хороший. Марьюшка,— прибавила она, обращаясь к головщице,— возьми-ка там у меня в спальне у икон поминанье. Запиши, голубушка, за упокой. Егором никак звали? — обратилась она к Манефе.

— Так точно, Георгием.

— Прошу я вас, матушка, соборне канон за единоумершего по новопреставленном рабе божием Георгии отпеть,— сказала Марья Гавриловна.— И в сенаник извольте записать его и тра̀пезу на мой счет заупокойную по душе его поставьте. Все, матушка, как следует исправьте, а потом, хоть завтра, что ли, дам я вам денег

на раздачу, чтоб год его поминали. Уж вы потрудитесь, раздайте, как кому заблагорассудите.

— Благодарим покорно, сударыня,— молвила, слегка поклонясь, Манефа.— Все будет исправлено... Да, плохо, плохо стало братцу Патапу Максимычу без Егора Савельича,— продолжала она.— Одно то сказать — двадцать лет в дому жил, не шутка в нынешнее время... Хоть не родня, а дороже родного стал. Правой рукой братцу был: и токарни все у него на отчете были, и красильни, и присмотр за рабочими, и на торги ездил,— верный был человек,— хозяйскую копейку пуще глаза берег. Таких людей ныне что-то мало и видится... Тужит по нем братец, очень тужит.

— Как, матушка, не тужить по таком человеке! — отозвалась Марья Гавриловна.— Жаль, очень жаль старика. Как же теперь без него Патап Максимыч? Нашел ли кого на место его?

— Взял человечка, да не знаю, выйдет ли толк,— отвечала Манефа.— Парень, сказывают, по ихним делам искусный, да молод больно... И то мне за диковинку, что братец так скоро решился приказчиком его сделать. По всяким делам, по домашним ли, по торговым ли, кажись, он у нас не торопыга, а тут его ровно шилом кольнуло, прости господи, сразу решил... Каку-нибудь неделю выжил у него парень в работниках, вдруг, как нежданный карась в вёршу попал... Приказчиком!..

— Откуда же он добыл его? — спросила Марья Гавриловна.

— Из окольных,— ответила Манефа.— Нанимал в токари, да ровно он обошел его: недели, говорю, не жил — в приказчики. Парень умный, смиренный и грамотник, да все-таки разве возможно человека узнать, когда у него губы еще не обросли? Двадцать лет с чем-нибудь... Надо бы, надо бы постарше... Да что с нашим Патапом Максимычем поделаешь, сами знаете, каков. Нравный человек — чего захочет, вынь да положь, никто перечить не смей. Вот хоть бы насчет этого Алексея...

— Какого Алексея? — спросила Марья Гавриловна.

— Да я все про нового-то приказчика,— продолжала Манефа.— Хоть бы про него взять. Аксинье Захаровне братец хоть бы единое слово наперед сказал: беру, мол, парня в дом,— нет, сударыня. При гостях к слову пришлось, так молвил, тут только хозяюшка и узна-

ла. Говорила ему после того Аксинья Захаровна: «Хоть, мол, Алексей человек и хороший, кроткий и тихий, да ладно ли, говорит, будет молодому парню быть у нас в приближенье? Уедешь ты на Низ аль в Москву, останется он в доме один, другого мужчины нет. Долго ль до славы? Ну, как зачнут люди пустые речи про дочерей нести?.. Девки на возрасте...» Так и слушать, сударыня, не хочет: «Никто, говорит, не смеет про моих дочерей пустых речей говорить; голову, говорит, сорву тому, кто посмеет».

— Напрасно,— молвила Марья Гавриловна.—Живучи в миру, от сплетен да от напраслины мудрено уйти. Падки люди до клеветы, матушка!

— Да не то что в миру, сударыня,— сказала Манефа.— У нас по обителям, кажись бы, этого и быть не должно, а разве мало клеветы да напраслин живет?.. Нет, гордостен больно Патап-от Максимыч, так гордостен, что сказать невозможно. Не раз я ему говаривала и от писания вычитывала: «Послушай меня, скудоумную, не хуже тебя люди речи мои слушают: не возносися гордостью. Сатана на небесех сидел, а загордился, куда свалился? Навуходоносор, царь, превыше себя никого быть не чаял, гордостью, аки вол, наполнился, за то господь в вола его обратил; фараон, царь египетский, за гордость в море потоп. Вот, говорю, цари были, а гордостью проклятой до чего дошли? Мы-то как, мол, загордимся, так куда годимся?..» И ухом не ведет, сударыня.

Вошла Фленушка с увесистым коробом. Вскрыли его, два фунта цветочного чаю вынули, голову сахару, конфеты, сушеные плоды, пастилу, варенье и другие сласти.

— Напрасно это, право, напрасно,— говорила Марья Гавриловна, когда Фленушка, вынимая из коробка гостинцы, раскладывала их по столу.— Что это так беспокоится Патап Максимыч?

— Нельзя, сударыня,— молвила Манефа.— Как же бы я с именин без гостинцев приехала? Так не водится. Да и Патап Максимыч что бы за человек был, если б вас не уважил? И то кручинится — не оскорбились ли.

— Да перестаньте, пожалуйста, говорить про это, матушка,—возразила Марья Гавриловна.—На уме у меня не было сетовать на Патапа Максимыча. Скажите-

ка лучше, девицы наши как поживают, Настя с Парашей?

— Живут помаленьку,— отвечала Манефа.— В Параше мало перемены, такая же, а Настенька, на мои глаза, много изменилась с той поры, как из обители уехала.

— Чем же, матушка?—спросила Марья Гавриловна.

— Да как вам сказать, сударыня? — ответила Манефа.— Вы ее хорошо знаете, девка всегда была скрытная, а в голове дум было много. Каких, никому, бывало, не выскажет... Теперь пуще прежнего — теперь и не сговоришь с ней... Живши в обители, все-таки под смиреньем была, а как отец с матерью потачку дали, власти над собой знать не хочет... Вся в родимого батюшку — гордостная, нравная, своебычная — все бы ей над каким ни на есть человеком покуражиться...

— Что вы, матушка? — возразила Марья Гавриловна.— Настенька девица такая скромная.

— Нет в ней смиренья ни на капельку,— продолжала Манефа,— гордыня, одно слово гордыня. Так-то на нее посмотреть — ровно б и скромная и кроткая, особливо при чужих людях. опять же и сердца доброго, зато коли что не по ней — так строптива, так непокорна, что не глядела б на нее... На что отец, много-то с ним никто не сговорит, и того, сударыня, упрямством гнет под свою волю. Он же души в ней не чает — Настасья ему дороже всего.

— Значит, Настенька не дает из себя делать, что другие хотят? — молвила Марья Гавриловна.

Потом помолчала немного, с минуту посидела, склоня голову на руку, и, быстро подняв ее, молвила:

— Не худое дело, матушка. Сами говорите: девица она умная, добрая — и, как я ее понимаю, на правде стоит, лжи, лицемерия капли в ней нет.

— Да так-то оно так, сударыня,— сказала, взглянув на Марью Гавриловну и понизив голос, Манефа.— К тому только речь моя, что, живучи столько в обители, ни смирению, ни послушанию она не научилась... А это маленько обидно. Кому не доведись, всяк осудить меня может: тетка-де родная, а не сумела племянницу научить. Вот про что говорю я, сударыня.

— Ну, матушка, хорошо смиренье в обители, а в миру иной раз никуда не годится,— взволнованным голосом сказала Марья Гавриловна, вставая из-за стола.

Заложив руки за спину, быстро стала она ходить взад и вперед по горнице.

— И в миру смирение хвалы достойно,— говорила Манефа, опустив глаза и больше прежнего понизив голос.— Сказано: «Смирением мир стоит: кичение губит, смирение же пользует... Смирение есть богу угождение, уму просвещение, душе спасение, дому благословение, людям утешение...»

— Нет, нет, матушка, не говорите мне этого,— с горечью ответила Марья Гавриловна, продолжая ходить взад и вперед.— Мне-то не говорите... Не терзайте душу мою... Не поминайте!..

Манефа стихла и заговорила ласкающим голосом:

— Не в ту силу молвила я, сударыня, что надо совсем безответной быть, а как же отцу-то с матерью не воздать послушания? И в писании сказано: «Не поживет дней своих, еже прогневляет родителей».

— А написано ли где, матушка, чтоб родители по своим прихотям детей губили? — воскликнула Марья Гавриловна, становясь перед Манефой.— Сказано ль это в каких книгах?.. Ах, не поминайте вы мне, не поминайте!..— продолжала она, опускаясь на стул против игуменьи.— Забыть, матушка, хочется... простить,— не поминайте же...

И навзрыд заплакала Марья Гавриловна. Фленушка с Марьюшкой вышли в другую горницу. Манефа, спустив на́ лоб креповую наметку, склонила голову и, перебирая лестовку, шепотом творила молитву.

— Нет, матушка,— сказала Марья Гавриловна, отнимая платок от глаз,— нет... Мало разве родителей, что из расчетов аль в угоду богатому, сильному человеку своих детей приводят на заклание?.. Счастье отнимают, в пагубу кидают их?

— Бывает,— скорбно и униженно молвила мать Манефа.

— Не бывает разве, что отец по своенравию на всю жизнь губит детей своих? — продолжала, как полотно побелевшая, Марья Гавриловна, стоя перед Манефой и опираясь рукою на стол.— Найдет, примером сказать, девушка человека по̀ сердцу, хорошего, доброго, а родителю забредет в голову выдать ее за нужного ему человека, и начнется тиранство... девка в воду, парень в пет-

лю... А родитель руками разводит да говорит: «Судьба такая! богу так угодно».

Слова Марьи Гавриловны болезненно отдались в самом глубоком тайнике Манефина сердца. Вспомнились ей затейные речи Якимушки, свиданья в лесочке и кулаки разъяренного родителя... Вспомнился и паломник, бродящий по белу́ свету... Взглянула игуменья на вошедшую Фленушку, и слезы заискрились на глазах ее.

— Нездоровится что-то, сударыня Марья Гавриловна,— сказала она, поднимаясь со стула.— И в дороге утомилась и в келарне захлопоталась — я уж пойду!.. Прощенья просим, благодарим покорно за угощение... К нам милости просим... Пойдем, Фленушка.

И, придя в келью, Манефа заперлась и стала на молитву... Но ум двоится, и не может она выжить из мыслей как из мертвых восставшего паломника.

Разговор с Манефой сильно взволновал и Марью Гавриловну. Горе, что хотелось ей схоронить от людей в тиши полумонашеской жизни, переполнило ее душу, истерзанную долгими годами страданий и еще не совсем исцеленную. По уходе Манефы, оставшись одна в своем домике, долго бродила она по комнатам. То у одного окна постоит, то у другого, то присядет, то опять зачнет ходить из угла в угол. Вспоминались ей то минуты светлой радости, что быстролетной молнией мелькнули на ее житейском поприще, то длинный ряд черных годов страдальческой жизни. Ручьем катились слезы по бледным щекам, когда-то сиявшим пышной красотой, цветущим здоровьем, светлым счастьем.

* * *

На другой день по возвращении Манефы из Осиповки, нарядчик Патапа Максимыча, старик Пантелей, приехал в обитель с двумя возами усердных приношений. Сдавая припасы матери Таифе, Пантелей сказал ей, что у них в Осиповке творится что-то неладное.

— Пятнадцать лет, матушка, в доме живу,— говорил он,— кажется, все бы ихние порядки должон знать, а теперь ума не приложу, что у нас делается... После Крещенья нанял Патап Максимыч работника — токаря, деревни Поромовой, крестьянский сын. Парень молодой, взрачный такой из себя, Алексеем зовут... И как будто

тут неспроста, матушка, ровно околдовал этот Алексей Патапа Максимыча: недели не прожил, а хозяин ему и токарни и красильни на весь отчет... Как покойник Савельич был, так он теперь: и обедает, и чай распивает с хозяевами, и при гостях больше все в горницах... Ровно сына родного возлюбил его Патап Максимыч. Право, нет ли уж тут какого наваждения?

— Слышала, Пантелеюшка, слышала,— ответила мать Таифа.— Фленушка вечор про то же болтала. Сказывает, однако ж, что этот Алексей умный такой и до всякого дела доточный.

— Про это что и говорить,— отвечал Пантелей.— Парень — золото!.. Всем взял: и умен, и грамотей, и душа добрая... Сам я его полюбил. Вовсе не похож на других парней — худого слова аль пустошных речей от него не услышишь: годами молод, разумом стар... Только все же, сама посуди, возможно ль так приближать его? Парень холостой, а у Патапа Максимыча дочери.

— Правда твоя, правда, Пантелеюшка,— охая, подтвердила Таифа.— Молодым девицам с чужими мужчинами в одном доме жить не годится... Да не только жить, видаться-то почасту и то опасливое дело, потому человек не камень, а молодая кровь горяча... Поднеси свечу к сену, нешто не загорится?.. Так и это... Долго ль тут до греха? Недаром люди говорят: «Береги девку, что стеклянну посуду, грехом расшибешь — ввек не починишь».

— Пускай до чего до худого дела не дойдет,— сказал на то Пантелей,— потому девицы они у нас разумные, до пустяков себя не доведут... Да ведь люди, матушка, кругом, народ же все непостоянный, зубоскал, только бы посудачить им да всякого пересудить... А к богатым завистливы. На глазах лебезят хозяину, а чуть за угол, и пошли его ругать да цыганить... Чего доброго, таких сплеток наплетут, таку славу распустят, что не приведи господи. Сама знаешь, каковы нынешни люди.

— Что и говорить, Пантелеюшка! — вздохнув, молвила Таифа.— Рассеял враг по̀ людям злобу свою да неправду, гордость, зависть, человеконенавиденье! Ох-хо-хо-хо!

— Теперь у нас какое дело еще!.. Просто беда — все можем пропасть,— продолжал Пантелей.— Незнаемо какой человек с Дюковым с купцом наехал. Сказывает, от

епископа наслан, а на мои глаза, ровно бы какой проходимец. Сидит с ними Патап Максимыч, с этим проходимцем, да с Дюковым, замкнувшись в подклете чуть не с утра до ночи... И такие у них дела, такие затеи, что подумать страшно... Не епископом, а бесом смущать на худые дела послан к нам тот проходимец... Теперь хозяин ровно другой стал: ходит один, про что-то сам с собой бормочет, зачнет по пальцам считать, ходит, ходит, да вдруг и станет на месте как вкопанный, постоит маленько, опять зашагает... Не к добру, не к добру, к самой последней погибели!.. Боюсь я, матушка, ох, как боюсь!.. Сама посуди, живу в доме пятнадцать лет, приобык, я же безродный, ни за мной, ни передо мной никого, я их заместо своих почитаю, голову готов положить за хозяина... Ну да как беда-то стрясется?.. Ох ты, господи, господи, и подумать — так страшно.

— Что ж они затевают? — спросила Таифа.

— Затевают, матушка... ох затевают... А зачинщиком этот проходимец,— отвечал Пантелей.

— Что ж за дело такое у них, Пантелеюшка? — выпытывала у него Таифа.

— Кто их знает?.. Понять невозможно,— отвечал Пантелей.— Только сдается, что дело нехорошее. И Алексей этот тоже целые ночи толкует с этим проходимцем, прости господи. В одной боковушке с ним и живет.

— Да кто ж такой этот человек? Откуда?.. Из каких местов? — допытывалась мать Таифа.

— Родом будто из здешних. Так сказывается,— отвечал Пантелей.— Патапу Максимычу, слышь, сызмальства был знаем. А зовут его Яким Прохорыч, по прозванью Стуколов.

— Слыхала я про Стуколова Якима, слыхала смолоду,— молвила мать Таифа.— Только тот без вести пропал, годов двадцать тому, коли не больше.

— Пропадал, а теперь объявился,— молвил Пантелей.— Про странства свои намедни рассказывал мне,— где-то, где не бывал, каких земель не видывал, коли только не врет. Я, признаться, ему больше на лоб да на скулу гляжу. Думаю, не клал ли ему палач отметин на площади...

— Ну уж ты! Епископ, говоришь, прислал? — сказала Таифа.— Пошлет разве епископ каторжного?..

— Говорит, от епископа,— отвечал Пантелей,— а может, и врет.

— А если от епископа,— заметила Таифа,— так, может, толкуют они, как ему в наши места прибыть. Дело опасное, надо тайну держать.

— Коли б насчет этого, таиться от меня бы не стали,— сказал на то Пантелей.— Попа ли привезти, другое ли что — завсегда я справлю. Нет, матушка, тут другое что-нибудь... Опять же, если б насчет приезда епископа — стали бы разве от Аксиньи Захаровны таиться, а то ведь и от нее тайком... Опять же, матушка Манефа гостила у нас, с кем же бы и советоваться, как не с ней... Так нет, она всего только раз и видела этого Стуколова... Гости два дня гостили, а он все время в боковуше сидел... Нет, матушка, тут другое, совсем другое... Ох, боюсь я, чтоб он Патапа Максимыча на недоброе не навел!.. Оборони, царю небесный!

— Да что ж ты полагаешь? — сгорая любопытством, спрашивала Таифа.— Скажи, Пантелеюшка... Сколько лет меня знаешь?.. Без пути лишних слов болтать не охотница, всяка тайна у меня в груди, как огонь в кремне, скрыта. Опять же и сама я Патапа Максимыча, как родного, люблю, а уж дочек его, так и сказать не умею, как люблю, ровно бы мои дети были.

— Да так-то оно так,— мялся Пантелей,— все же опасно мне... Разве вот что... Матушке Манефе сам я этого сказать не посмею, а так полагаю, что если б она хорошенько поговорила Патапу Максимычу, остерегла бы его да поначалила, может статься, он и послушался бы.

— Навряд, Пантелеюшка! — ответила, качая головой, Таифа.— Не такого складу человек. Навряд послушает. Упрям ведь он, упорен, таких самонравов поискать. Не больно матушки-то слушает.

— Дело-то такое, что если матушка ему как следует выскажет, он, пожалуй, и послушается,— сказал Пантелей.— Дело-то ведь какое!.. К палачу в лапы можно угодить, матушка, в Сибирь пойти на каторгу!..

— Что ты, Пантелеюшка!— испугалась Таифа.— Ай, какие ты страсти сказал!.. На душегубство, что ли, советуют?

— Эк тебя куда хватило!..— молвил Пантелей.— За одно разве душегубство на каторгу-то идут? Мало ль перед богом да перед великим государем провин-

ностей, за которы ссылают... Охо-хо-хо!.. Только вздумаешь, так сердце ровно кипятком обварит.

— Да сказывай все по̀ ряду, Пантелеюшка,— приставала Таифа.— Коли такое дело, матушка и впрямь его разговорить может. Тоже сестра, кровному зла не пожелает... А поговорить учительно да усовестить человека в напасть грядущего, где другую сыскать су́против матушки?

Долго колебался Пантелей, но Таифа так его уговаривала, так его умасливала, что тот, наконец, поделился своей тайной.

— Только смотри, мать Таифа,— сказал наперед Пантелей,— опричь матушки Манефы словечко никому не моги проронить, потому, коли молва разнесется,— беда... Ты мне наперед перед образом побожись.

— Божиться не стану,— ответила Таифа.— И мирским великий грех божиться, а иночеству паче того. А если изволишь, вот тебе по евангельской заповеди,— продолжала она, поднимая руку к иконам.— «Буди тебе: ей-ей».

И, положив семипоклонный начал, взяла из киота медный крест и поцеловала.

Потом, сев на лавку, обратилась к Пантелею:

— Говори же теперь, Пантелеюшка, заклята̀ душа моя, запечатана...

— Дюкова купца знаешь? — спросил Пантелей.— Самсона Михайлыча?

— Наслышана, а знать не довелось,— ответила Таифа.

— Слыхала, что годов десять али больше тому судился он по государеву делу, в остроге сидел?

— Может, и слыхала, верно сказать не могу.

— Судился он за мягкую денежку,— продолжал Пантелей.— Хоша Дюкова в том деле по суду выгородили, а люди толкуют, что он в самом деле тем займовался. Хоть сам, может, монеты и не ковал, а с монетчиками дружбу водил и работу ихнюю переводил... Про это все тебе скажут — кого ни спроси... Недаром каждый год раз по десяти в Москву ездит, хоть торговых дел у него там сроду не бывало, недаром и на Ветлугу частенько наезжает, хоть ни лесом, ни мочалой не промышляет, да и скрытный такой — все молчит, слова от него не добьешься.

— Так что же? — спросила Таифа.

— А то, что этот самый Дюков того проходимца к нам и завез,— отвечал Пантелей.— Дело было накануне именин Аксиньи Захаровны. Приехали нежданные, незванные — ровно с неба свалились. И все-то шепчутся, ото всех хоронятся. Добрые люди так разве делают?.. Коли нет на уме ду́рна, зачем людей таиться?

— Известно дело,— отозвалась Таифа.— Что ж они Патапа-то Максимыча на это на самое дело и смущают?

— Похоже на то, матушка,— сказал Пантелей,— по крайности так моим глупым разумом думается. Словно другой хозяин стал, в раздумье все ходит... И ночью, подметил я, встанет да все ходит, все ходит и на пальцах считает. По делу какому к нему и не подступайся — что ни говори, ровно не понимает тебя, махнет рукой, либо зарычит: «Убирайся, не мешай!»... А чего мешать-то?.. Никакого дела пятый день не делает... И по токарням и по красильням все стало... Новый-от приказчик Алексей тоже ни за чем не смотрит, а Патапу Максимычу это нипочем. Все по тайности с ним толкует... А работники, известно дело, народ вольница, видят, нет призору, и пошли че́рез пень колоду валить.

— Да почему ж ты думаешь, что они насчет фальшивых денег? — спросила Таифа.

— А видишь ли, матушка,— сказал Пантелей,— третьего дня, ходивши целый день по хозяйству, зашел я в сумерки в подклет и прилег на полати. Заснул... только меня ровно кто в бок толконул — слышу разговоры. Рядом тут приказчикова боковуша. Слышу, там говорят, а сами впотьмах... Слышу Стуколова голос и Патапа Максимыча. Дюков тут же был, только молчал все, и Алексей тут же. Ну и наслышался я, матушка.

— Что ж они, Пантелеюшка? — с нетерпеньем спрашивала Таифа.— Про эти самые фальшивые деньги и толкуют?.. Ах ты, господи, господи, царь небесный!..

— Верно так,— ответил Пантелей.— Начало-то ихнего разговора я не слыхал — проспал, а очнулся, пришел в себя, слышу — толкуют про золотые пески, что по нашим местам будто бы водятся; Ветлугу поминают. Стуколов высчитывает, какие капиталы они наживут, если примутся за то дело. Не то что тысячи, миллионы, говорит, будете иметь... Про какие-то снаряды поминал... Так и говорит: «мыть золото» надо этими снарядами... И про то сказывал, что люди к тому делу есть у него на

примете, да и сам, говорит, я того дела маленько мерекаю... Смущает хозяина всячески, а хозяин тому и рад — торопит Стуколова, так у него и загорелось — сейчас же вынь да положь, сейчас же давай за дело приниматься. Стуколов говорит ему: пока снег не сойдет, к делу приступать нельзя. А потом, слышу, на Ветлугу хозяин собирается... Вот и дела!..

— Ах, дела, дела!.. Ах, какие дела! — охает мать Таифа.— Так-таки и говорят: «Станем фальшивы деньги делать»?

— Напрямик такого слова не сказано,— отвечал Пантелей,— а понимать надо так — какой же по здешним местам другой золотой песок может быть? Опять же Ветлугу то и дело поминают... Не знаешь разве, чем на Ветлуге народ займуется?

— А чем, Пантелеюшка? — спросила мать Таифа.

— Леса там большущие — такая палестина, что верст по пятидесяти ни жила, ни дорог нету,— разве где тропинку найдешь. По этим по самым лесам землянки ставлены, в одних старцы спасаются, в других мужики мягку деньгу куют... Вот что значит Ветлуга... А ты думала, там только мочалом да лубом промышляют?

— Ах, дело-то, какое дело-то!.. Матушка царица небесная!..— причитала мать Таифа.

— То-то и есть, что значит наша-то жадность! — раздумчиво молвил Пантелей.— Чего еще надо ему? Так нет, все мало... Хотел было поговорить ему, боюсь... Скажи ты при случае матушке Манефе, не отговорит ли она его... Думал молвить Аксинье Захаровне, да пожалел — станет убиваться, а зачнет ему говорить, на грех только наведет... Не больно он речи-то ее принимает... Разве матушку не послушает ли?

— Не знаю, Пантелеюшка,— сомнительно покачав головою, отвечала Таифа.— Сказать ей скажу, да вряд ли послушает матушку Патап Максимыч. Ведь он как заберет что в голову, указчики ступай прочь да мимо... А сказать матушке скажу... Как не сказать!..

В тот же день вечером Таифа была у игуменьи. Доложив ей, что присланные припасы приняты по росписи, а ветчина припрятана, она, искоса поглядывая на ключницу Софию, молвила Манефе вполголоса:

— Мне бы словечко вам сказать, матушка.

— Говори,— ответила Манефа.

— С глазу бы на глаз.

— Что за тайности? — не совсем довольным голосом спросила Манефа.— Ступай покаместь вон, Софьюшка,— прибавила она, обращаясь к ключнице.

— Ну, какие у тебя тайности? — спросила игуменья, оставшись вдвоем с Таифой.

— Да насчет Патапа Максимыча,— зачала было Таифа.

— Что такое насчет Патап Максимыча? — быстро сказала Манефа.

— Не знаю, как и говорить вам, матушка,— продолжала Таифа.— Такое дело, что и придумать нельзя.

— Толком говори... Мямлит, мямлит, понять нельзя!..— нетерпеливо говорила Манефа.

— Смущают его недобрые люди, на худое дело смущают,— отвечала мать казначея.

— Сказано: не мямли! — крикнула игуменья и даже ногой топнула.— Кто наущает, на какое дело?

— Фальшивы деньги ковать...— шепотом промолвила мать Таифа.

— С ума сошла? — вся побагровев, вскрикнула Манефа и, строго глядя в глаза казначее, промолвила: — кто наврал тебе?

— Пантелей, матушка,— опустя голову, смиренно сказала Таифа.

— Пустомеля!.. Стыда во лбу нет!.. Что городит!.. Он от кого узнал? — в тревоге и горячности, быстро взад и вперед ходя по келье, говорила Манефа.

— Ихний разговор подслушал...— отозвалась мать Таифа.

— Подслушал? Где подслушал?

— На полатях лежал, в подклете у них... Спал, а проснулся и слышит, что Патап Максимыч в боковуше с гостями про анафемское дело разговаривает.

— Ну?

— И толкуют, слышь, они, матушка, как добывать золотые деньги... И снаряды у них припасены уж на то... Да все Ветлугу поминают, все Ветлугу... А на Ветлуге те плутовские деньги только и работают... По тамошним местам самый корень этих монетчиков. К ним-то и собираются ехать. Жалеючи Патапа Максимыча, Пантелей про это мне за великую тайну сказал, чтобы кроме тебя, матушка, никому я не открывала... Сам чуть не пла-

чет... Молви, говорит, Христа ради, матушке, не отведет ли она братца от такого паскудного дела.

— С кем же были разговоры? — угрюмо спросила Манефа.

— А были при том деле, матушка, трое,— отвечала Таифа,— новый приказчик Патапа Максимыча да Дюков купец, а он прежде в остроге за фальшивые деньги сидел, хоть и не приличон остался.

— Третий кто? — перебила Манефа.

— А третий всему делу заводчик и есть. Привез его Дюков, а Дюков по этим деньгам первый здесь воротила... Стуколов какой-то, от епископа будто прислан...

Подкосились ноги у Манефы, и тяжело опустилась она на лавку. Голова поникла на плечо, закрылись очи, чуть слышно шептала она:

— Господи помилуй!.. Господи помилуй!.. Царица небесная!.. Что ж это такое?.. В уме мутится... Ах, злодей он, злодей!..

И судорожные рыданья перервали речь. Манефа упала на лавку. Кликнула Таифа ключницу и вместе с нею отнесла на постель бесчувственную игуменью.

Засуетились по кельям... «С матушкой попритчилось!.. Матушка умирает»,— передавали одни келейницы другим, и через несколько минут весть облетела всю обитель... Сошлись матери в игуменьину келью, пришла и Марья Гавриловна. Все в слезах, в рыданьях, Фленушка, стоя на коленях у постели и склонив голову к руке Манефы, ровно окаменела...

Софья говорила матерям, что, когда с игуменьей случился припадок, с нею осталась одна Таифа, хотевшая рассказать ей про какое-то тайное дело... Стали спрашивать Таифу. Молчит.

* * *

Недели три пролежала в горячке игуменья и все время была без памяти. Не будь в обители Марьи Гавриловны, не быть бы Манефе в живых.

Матери хлопотали вкруг начальницы, каждая предлагала свои лекарства. Одна советовала умыть матушку водой с громовой стрелы [1], другая — напоить ее вином,

---

[1] Песок, скипевшийся от удара молнии. Вода, в которую он пущен, считается в простонародье целебною.

наперед заморозив в нем живого рака, третья учила — деревянным маслом из лампадки всю ее вымазать, четвертая — накормить овсяным киселем с воском, а пятая уверяла, что нет ничего лучше, как достать живую щуку, разрезать ее вдоль и обложить голову матушке, подпаливая рыбу богоявленской свечой. Потом зачали все в одно слово говорить, что надо беспременно в Городец за черным попом посылать или поближе куда-нибудь за старцем каким, потому что всегдашнее желание матушки Манефы было перед кончиной принять великую схиму... Много было суеты, еще больше болтанья и пустых разговоров. Больная осталась бы без помощи, если б Марья Гавриловна от себя не послала в город за лекарем. Лекарь приехал, осмотрел больную, сказал, что опасна. Марья Гавриловна просила лекаря остаться в ските до исхода болезни, но хоть предлагала за то хорошие деньги, он не остался, потому что был один на целый уезд. Успела, однако, упросить его Марья Гавриловна пробыть в Комарове, пока не привезут другого врача из губернского города. Приехал другой врач и остался в обители, к немалому соблазну келейниц, считавших леченье делом господу неугодным, а для принявших иночество даже греховным.

Марья Гавриловна на своем настояла. Что ни говорили матери, как ни спорили они, леченье продолжалось. Больше огорчалась, сердилась и даже бранилась с Марьей Гавриловной игуменьина ключница София. Она вздумала было выливать лекарства, приготовленные лекарем, и поить больную каким-то взваром, что, по ее словам, от сорока недугов пользует. А сама меж тем, в надежде на скорую кончину Манефы, к сундукам ее подобралась... За то Марья Гавриловна, при содействии Аркадии, правившей обителью, выслала вон из кельи Софию и не велела Фленушке пускать ее ни к больной, ни в кладовую... Старания искусного врача, заботливый и умный уход Марьи Гавриловны и Фленушки, а больше всего, хоть надорванное, но крепкое от природы здоровье Манефы, подняли ее с одра смертной болезни...

Когда пришла она в сознание и узнала, сколько забот прилагала о ней Марья Гавриловна, горячо поблагодарила ее, но тут же примолвила:

— Ах, Марья Гавриловна, Марья Гавриловна!.. Зачем вы, голубушка, старались поднять меня с одра бо-

лезни? Лучше б мне отойти сего света... Ох, тяжело мне жить...

— Полноте, матушка!.. Можно ль так говорить? Жизнь ваша другим нужна... Вот хоть Фленушка, например...— говорила Марья Гавриловна.

— Ах, Фленушка, Фленушка!.. Милое ты мое сокровище,— слабым голосом сказала Манефа, прижимая к груди своей голову девушки.— Как бы знала ты, что у меня на сердце.

И зарыдала.

— Успокойтесь, матушка, это вам вредно,— уговаривала Манефу Марья Гавриловна.— Теперь пуще всего вам надо беречь себя.

Успокоилась ненадолго Манефа, спросила потом:

— От братца нет ли вестей?

— Патап Максимыч уехал,— отвечала Фленушка.

— Куда?

— На Ветлугу... говорят.

— На Ветлугу!..— взволнованным голосом сказала Манефа.— Один?

— Нет,— молвила Фленушка,— с купцом Дюковым да с тем, что тогда похожденья свои рассказывал...

Побледнела Манефа, вскрикнула и лишилась сознанья.

Ей стало хуже. Осмотрев больную и узнав, что она взволновалась от разговоров, врач строго запретил говорить с ней, пока совсем не оправится.

Только к Пасхе встала Манефа с постели. Но здоровье ее с тех пор хизнуло. Вся как-то опустилась, задумчива стала.

Однажды, когда Манефе стало получше, Фленушка пошла посидеть к Марье Гавриловне. Толковали они о матушке и ее болезни, о том, что хоть теперь она и поправилась, однако ж при такой ее слабости необходим за ней постоянный уход.

— Лекарь говорит,— сказала Марья Гавриловна,— что надо отдалить от матушки всякие заботы, ничем не беспокоить ее... А одной тебе, Фленушка, не под силу день и ночь при ней сидеть... Надо бы еще кого из молодых девиц... Марьюшку разве?

— У Марьюшки свое дело,— отвечала Фленушка.— Без нее клирос станет, нельзя безотлучно ей при матушке быть.

— Право, не придумаю, как бы это уладить,— сказала Марья Гавриловна.— Анафролия да Минодора с Натальей только слава одна... Работницы они хорошие, а куда ж им за больной ходить? Я было свою Таню предлагала матушке — слышать не хочет.

— Вот как бы Настя с Парашей приехали,— молвила Фленушка.

— И в самом деле! — подхватила Марья Гавриловна.— Чего бы лучше? Тут главное, чтоб до матушки, пока не поправится, никаких забот не доводить... А из здешних кого к ней ни посади, каждая зачнет сводить речь на дела обительские. Чего бы лучше Настеньки с Парашей... Только отпустит ли их Патап-от Максимыч?.. Не слыхала ты, воротился он домой аль еще нет?

— К страстной ждали, должно быть, дома теперь,— сказала Фленушка.

— Отпустит ли он их, как ты думаешь? — спросила Марья Гавриловна.

— Не знаю, как сказать,—отвечала Фленушка.—Сами станут проситься, не пустит.

— А если матушка попросит? — спросила Марья Гавриловна.

— Навряд, чтоб отпустил,— отвечала Фленушка.

— Попробовать разве поговорить матушке, что она на то скажет,— согласится, так напиши от нее письмецо к Патапу Максимычу,— молвила Марья Гавриловна.

— Тогда уж наверно не отпустит,— сказала Фленушка.— Не больно он меня жалует, Патап-от Максимыч... Еще скажет, пожалуй, что я от себя это выдумала. Вот как бы вы потрудились, Марья Гавриловна.

— Я-то тут при чем? — возразила Марья Гавриловна.— Для дочерей не сделает, для сестры больной не сделает, а для меня-то с какой же стати?

— А я так полагаю, что для вас одних он только это и сделает,—сказала Фленушка.—Только вы пропишите, что вам самим желательно Настю с Парашей повидать, и попросите, чтоб он к вам отпустил их, а насчет того, что за матушкой станут приглядывать, не поминайте.

— Понять не могу, Фленушка, с чего ты взяла, чтобы Патап Максимыч для меня это сделал. Что я ему? — говорила Марья Гавриловна.

— А вы попробуйте,— ответила Фленушка.— Только напишите, попробуйте.

— Право, не знаю,— раздумывала Марья Гавриловна.

— Да пишите, пишите скорее,— с живостью заговорила Фленушка, ласкаясь и целуя Марью Гавриловну — Хоть маленько повеселей с ними будет, а то совсем околеешь с тоски. Миленькая Марья Гавриловна, напишите сейчас же, пожалуйста, напишите... Ведь и вам-то с ними будет повеселее. Ведь и вы совсем извелись от здешней скуки... Голубушка... Марья Гавриловна!

— Чтоб он не осердился? — сказала Марья Гавриловна.

— На вас-то?.. Что вы?.. Что вы?..— подхватила Фленушка, махая на Марью Гавриловну обеими руками.— Полноте!.. Как это возможно?.. Да он будет радрадехонек, сам привезет дочерей да вам же еще кланяться станет. Очень уважает вас. Посмотрели бы вы на него, как кручинился, что на именинах-то вас не было... Он вас маленько побаивается...

— Чего ему меня бояться?—засмеялась Марья Гавриловна.— Я не кусаюсь.

— А боится — верно говорю... С вашим братцем, что ли, дела у него,— вот он вас и боится.

— Из чего же тут бояться? — сказала Марья Гавриловна.— Какие у них дела, не знаю... И что мне такое брат? Пустое городишь, Фленушка.

— Уж я вам говорю,— настаивала Фленушка.— Попробуйте, напишите — сами увидите... Да пожалуста, Марья Гавриловна, миленькая, душенька, утешьте Настю с Парашей — им-то ведь как хочется у нас побывать — порадуйте их.

Марья Гавриловна согласилась на упрашивания Фленушки и на другой же день обещалась написать к Патапу Максимычу. К тому же она получила от него два письма, но не успела еще ответить на них в хлопотах за больной Манефой.

Манефа рада была повидать племянниц, но не надеялась, чтобы Патап Максимыч отпустил их к ней в обитель.

— Без того ворчит, будто я племянниц к келейной жизни склоняю,— сказала она.— Пошумел он однова на Настю, а та девка огонь — сама ему наотрез. Он ей слово, она пяток, да вдруг и брякни отцу такое слово: «Я, дескать, в скиты пойду, иночество надену...» Ну какая

она черноризица, сами посудите!.. То ли у ней на уме?.. Попугать отца только вздумала, иночеством ему пригрозила, а он на меня как напустится: «Это, говорит, ты ей такие мысли в уши напела, это, говорит, твое дело...» И уж так шумел, так шумел, Марья Гавриловна, что хоть из дому вон беги... И после того не раз мне выговаривал: «У вас, дескать, обычай в скитах повелся: богатеньких племянниц сманивать, так ты, говорит, не надейся, чтоб дочери мои к тебе в черницы пошли. Я, говорит, теперь их и близко к кельям не допущу, не то чтоб в скиту им жить...» Так и сказал... Нет, не послушает он меня, Марья Гавриловна, не отпустит девиц ни на малое время... Напрасно и толковать об этом...

— А если б Марья Гавриловна к нему написала?.. К себе бы Настю с Парашей звала? — вмешалась Фленушка.

— Это дело другое,— ответила Манефа.— К Марье Гавриловне как ему дочерей на пустить. Су́против Марьи Гавриловны он не пойдет.

— Я бы написала, пожалуй, матушка, попросила бы Патапа Максимыча,— сказала Марья Гавриловна.

— Напишите в самом деле, сударыня Марья Гавриловна,— стала просить мать Манефа.— Утешьте меня, хоть последний бы разок поглядела я на моих голубушек. И им-то повеселее здесь будет; дома-то они все одни да одни — поневоле одурь возьмет, подруг нет, повеселиться хочется, а не с кем... Здесь Фленушка, Марьюшка... И вы, сударыня, не оставите их своей лаской... Напишите в самом деле, Марья Гавриловна. Уж как я вам за то благодарна буду, уж как благодарна!

Проводив Марью Гавриловну, Фленушка повертелась маленько вкруг Манефиной постели и шмыгнула в свою горницу. Там Марьюшка сидела за пяльцами, дошивая подушку по новым узорам.

Подбежала к ней сзади Фленушка и, схватив за́ плечи, воскликнула:

— Гуляем, Маруха!

И, подперев руки в боки, пошла плясать средь комнаты, припевая:

Я по жердочке иду,
Я по тоненькой бреду,
Я по тоненькой, по еловенькой.
Тонка жердочка погнется,
Да не сломится.

Хорошо с милым водиться,
По лугам с дружком гулять.

Уж я, девка, разгуляюсь,
Разгуляюся, пойду
За новые ворота,
За новые кленовые,
За решетчатые.

— Что ты, что ты? — вскочив из-за пялец, удивлялась головщица.

С начала болезни Манефы Фленушка совсем было другая стала: не только звонкого хохота не было от нее слышно, не улыбалась даже и с утра до ночи с наплаканными глазами ходила.

— Рехнулась, что ль, ты, Фленушка? — спрашивала головщица.— Матушка лежит, а ты гляди-ка что́.

— Что матушка!.. Матушке, слава богу, совсем облегчало,— прыгая, сказала Фленушка.— А у нас праздник-от какой!

— Что такое? — спросила ее Марьюшка.

— С праздником поздравляю, с похмелья умираю, нет ли гривен шести, душу отвести? — кривляясь и кобенясь, кланялась Фленушка головщице и потом снова зачала прыгать и петь.

— Да полно же тебе юродствовать! — говорила головщица.— Толком говори, что такое?

— А вот что: дён через пять аль через неделю в этих самых горницах будут жить:

Две девицы,
Две сестрицы,
Девушки-подруженьки:
Настенька с Парашенькой,—

напевала Фленушка, вытопывая дробь ногами.

— Полно? — изумилась Марьюшка.

— Верно! — кивнув головой, сказала Фленушка.

— Как так случилось? — спрашивала Марьюшка.

— Да так и случилось,— молвила Фленушка.— Ты всегда, Марьюшка, должна понимать, что если чего захочет Флена Васильевна — быть по тому. Слушай — да говори правду, не ломайся... Есть ли вести из Саратова?

— Ну его! Забыла и думать,— с досадой ответила Марьюшка.

— Да ты глаза-то на сторону не вороти, делом отвечай... Писал еще аль нет? — спрашивала Фленушка.

— Писать-то писал, да врет все,— отвечала Марьюшка.

— Не все же врет — иной раз, пожалуй, и правдой обмолвится,— сказала Фленушка.— Когда приедет?

— К Троице обещал — да врет, не приедет,— отвечала Марьюшка.

— К Троице!.. Гм!.. Кажись, можно к тому времени обладить все,— раздумывала Фленушка.— Мы твоего Семенушку за бока. Его же мало знают здесь, дело-то и выходит подходящее.

— Куда еще его? — спросила Марьюшка.— Что еще затевать вздумала?

— Да я все про Настю. Сказывала я тебе, что надо ее беспременно окрутить с Алешкой... Твоего саратовца в поезжане возьмем — кулаки у него здоровенные... Да мало ль будет хлопот, мало ль к чему пригодится. Мой анафема к тому же времени в здешних местах объявится. Надо всем заодно делать. Как хочешь, уговори своего Семена Петровича. Сказано про шелковы сарафаны, то и помни.

— Не знаю, право, Фленушка. Боязно...— промолвила головщица.

— Кого боязно-то?

— Патапа-то Максимыча. Всем шкуру спустит,— сказала Марьюшка.

— Ничего не сделает,— подхватила Фленушка.— Так подстроим, что пикнуть ему будет нельзя. Сказано: жива быть не хочу, коль этого дела не состряпаю. Значит, так и будет.

— Экая ты бесстрашная какая, Фленушка! — говорила Марьюшка.— Аль грому на тя нет?..

— Может, и есть, да не из той тучи,— сказала Фленушка.— Полно-ка, Марьюшка: удалой долго не думает, то ли, се ли будет, а коль вздумано, так отлынивать нечего. Помни, что смелому горох хлебать, а несмелому и редьки не видать... А в шелковых сарафанах хорошо щеголять?.. А?.. Загуляем, Маруха?.. Отписывай в Саратов: приезжай, мол, скорей.

— Уж какая ты, Фленушка! Как это господь терпит тебе! Всегда ты на грех меня наведешь,— говорила Марьюшка.

— И греха в том нет никакого,— ответила Фленушка.— Падение — не грех, хоть матушку Таифу спроси.

Сколько книг я ни читала, сколько от матерей ни слыхала,— падение, а не грех... И святые падали, да угодили же богу. Без того никакому человеку не прожить.

— Ну уж ты!..

— Э! Нечего тут! Гуляй, пока молода, состаришься — и пес на тебя не взлает,— во все горло хохоча, сказала Фленушка и опять заплясала, припевая:

Дьячок меня полюбил
И звонить позабыл;
По часовне он прошел,
Мне на ножку наступил,
Всю ноженьку раздавил;
Посулил он мне просфирок решето:
Мне просфирок-то хочется,
Да с дьячком гулять не хочется.
Полюбил меня молоденький попок,
Посулил мне в полтора рубли платок,
Мне платочка-то хочется...

Глянула в дверь Анафролия и позвала Фленушку к Манефе. Мигом бросилась та вон из горницы...

— Эка, вструха какая! — идя следом за ней, ворчала Анафролия.— Матушка головушки еще поднять не может, а она, глядь-ка поди,— скачет, аки бес... Ну уж девка!.. Поискать таких!..

СОДЕРЖАНИЕ

В ЛЕСАХ

Книга первая

П. И. МЕЛЬНИКОВ
(Андрей ПЕЧЕРСКИЙ)

Собрание сочинений
в восьми томах

Том II.

Оформление художника
Б. В. Столярова.

Технический редактор
А. И. Шагарина.

Сдано в набор 19/I 1976 г.
Подписано к печати 24/III 1976 г.
Бумага типогр. № 1. Формат 84×108 1/32.
Объем 22,26 усл. печ. л. 23,90 уч.-изд. л.
Тираж 375 000 экз. Изд. № 796. Зак. № 1394.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.

Индекс 70683

90 коп.